

У Н И В Е Р С И Т Е Т С К А Я

Б И Б Л И О Т Е К А

А Л Е К С А Н Д Р А

П О Г О Р Е Л Ь С К О Г О



С Е Р И Я

С О Ц И О Л О Г И Я

П О Л И Т О Л О Г И Я



СОЦИОЛОГИЯ ВЕЩЕЙ

СБОРНИК СТАТЕЙ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ ВИКТОРА ВАХШТАЙНА

МОСКВА

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО»

2006

ББК 60.56

С 69

СОСТАВИТЕЛИ СЕРИИ:

*В. В. Анашвили,
А. Л. Погорельский*

НАУЧНЫЙ СОВЕТ:

*В. Л. Глазьев, Л. Г. Ионин,
А. Ф. Филиппов, Р. З. Хестанов*

С 69 **Социология вещей.** Сборник статей / Под ред. В. Вахштайна. — М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. (Серия «Университетская библиотека Александра Погорельского»). — 392 с.

ISBN 5-91129-025-1

© Издательский дом
«Территория будущего», 2006

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Виктор Вахштайн. Социология вещей и «поворот к материальному» в социальной теории</i>	7
--	---

Часть I. Вещь в социологии

<i>Георг Зиммель. Ручка. Эстетический опыт</i>	43
<i>Георг Зиммель. Рама картины. Эстетический опыт</i>	48
<i>Ирвинг Гофман. Закрепление форм деятельности</i>	54
<i>Ром Харре. Материальные объекты в социальных мирах</i>	118
<i>Игорь Копытофф. Культурная биография вещей: товаризация как процесс</i>	134

Часть II. Социология вещей

<i>Брюно Латур. Об интеробъективности</i>	169
<i>Брюно Латур. Где недостающая масса? Социология одной двери</i> . . .	199
<i>Джон Ло. Объекты и пространства</i>	223
<i>Уильям Пиц. Материальные вознаграждения. Об истории договорного права</i>	244
<i>Карин Кнофф-Цетина. Социальность и объекты. Социальные отношения в постсоциальных обществах знания</i>	267
<i>Карин Кнофф-Цетина, Урс Брюггер. Рынок как объект привязанности: исследование постсоциальных отношений на финансовых рынках</i>	307
<i>Брюно Латур. Когда вещи дают отпор: возможный вклад «исследований науки» в общественные науки</i>	342

Вместо эпилога

<i>Брюно Латур. Надежды конструктивизма</i>	365
Сведения об авторах	390

ВИКТОР ВАХШТАЙН

СОЦИОЛОГИЯ ВЕЩЕЙ И «ПОВОРОТ К МАТЕРИАЛЬНОМУ» В СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ

Она обнаружила, что компанию ей могут составить простейшие вещи: газета, языка которой она не понимала; застойный канал с нефтяными пятнами; уличные углы... Джин подумала, что вещи не составляют замену другим вещам, они существуют сами по себе...

Дж. Барнс

...connecting people.

«Nokia»

Настоящий сборник посвящен проблематике соотнесения «социального» и «материального» в социологической теории. При его составлении мы решали две задачи, которые если и не противоречат друг другу, то находятся в весьма напряженных отношениях.

С одной стороны, мы постарались проследить историю концептуализации материального объекта в социальном теоретизировании, отобрав принципиально разнородные способы представления материальности средствами социологического воображения. Поэтому работы классика социальной мысли Георга Зиммеля соседствуют на страницах сборника с работами представителей современной социологии повседневности (И. Гофман), социальной антропологии (И. Копытофф), социологии знания (К. Кнорр-Цетина), истории права (У. Питц) и социологии техники (Б. Латур, Дж. Ло). Каждое имя здесь маркирует особый «конечный словарь», обладающий собственной метафорикой и логикой рассмотрения материальности. Другая наша задача — отражение современных дискуссий и новых исследовательских подходов, появление которых стимулировало рост

интереса к проблематике вещи. Это интеллектуальное брожение, начавшееся около двадцати лет назад благодаря работам Брюно Латура и Карин Кнопп-Цетины, сегодня часто именуют «поворотом к материальному» (material turn)¹ по аналогии с «лингвистическим поворотом» (linguistic turn) и «поворотом к практике» (practice turn). Его основное требование звучит в духе хайдеггеровского императива «Относиться к вещи как к вещи» — это требование нередукционистской проблематизации вещности социального мира.

Две сформулированные выше задачи — представление вещи средствами социологического воображения и новая проблематизация вещности — не образуют единой «системы уравнений»; напротив, решение одной из них затрудняет решение другой. В частности, потому что «нередукционистское» отношение к вещам означает отказ от попыток дать материальным объектам привычную *социальную интерпретацию*.

«Что для респектабельных общественных наук означало бы дать природным феноменам социальную интерпретацию? — замечает Брюно Латур. — Показать, что кварк, микроб, закон термодинамики, инерциальная система наведения и т. п. в действительности суть не то, чем они кажутся — не подлинно объективные сущности внеположной природы, а хранилища чего-то еще, что они преломляют, отражают, маскируют или скрывают в себе. Этим „чем-то еще“ в традиции общественных наук непременно выступают некие социальные функции и факторы. Так, социальная интерпретация в конечном счете подразумевает способность *заместить* некоторый объект, относящийся к природе, *другим*, принадлежащим обществу, и показать, что именно он является истинной сущностью первого»². Критический выпад Латура адресован, прежде всего, его оппонентам — последователям Пьера Бурдьё, для которых всякая материальная вещь (от окружающих нас объектов повседневного обихода до космических летательных аппаратов) есть социальный конструкт, результат «объективации», порождение социальных отношений. В то же время аргумент Латура справедлив для всего корпуса теорий, опирающихся на незыблемую аксиому социологического мышления: «*объяснять социальное социальным*» (Э. Дюркгейм). Из этой аксиомы напрямую следует требование «редукции материального», его замещения «социальным» и объяснения

¹ См. например: Pels D., Hetherington K., Vandenberghe F. The status of the object: performances, mediations and techniques // Theory, Culture and Society. 2002. Vol. 19. № 5/6.

² Латур Б. Когда вещи дают отпор: возможный вклад «исследований науки» в общественные науки. Наст. изд. С. 344.

социальным же — социальными функциями, повседневными практиками, общественными отношениями, взаимодействиями и коммуникациями. Поэтому социологу так легко дается представление вещи в образе «ансамбля социальных отношений», «результата объективации», «фетиша» или «оснащения повседневных практик».

Социологическое воображение подсказывает: вещь может быть описана на языке социологии только как маркер, знак, идентификатор социального явления, скрытого от глаз, но проявляющего себя в данном конкретном материальном объекте. Дорогой автомобиль — знак классового статуса, дом аборигена — проекция его представлений об устройении вселенной, телефон — материализация узла коммуникационной сети, космический корабль — признак технологического развития общества, предметы обстановки — реквизит в спектакле, именуемом «повседневными взаимодействиями». Ряд может быть продолжен: социология декодирует вещи, проблематизируя их социальные «означаемые» и одновременно делая непроблематичными их материальные «означающие». «Поворот к материальному» предполагает отказ от подобной логики рассуждения — зримая и осязаемая вещь не должна в конечном итоге редуцироваться к нематериальной «социальной вещи».

Если принять это требование адептов нового «поворота», наша задача № 1 — упорядочить существующие концептуализации материального объекта — выглядит как коллекционирование заблуждений, летописание истории «подмен» и продолжение «развеществления» мира, совершаемого от поколения к поколению авторами-социологами. Если же мы отказываемся признать необходимость «переосмысления материальности» и поиска новых способов проблематизации вещи, тогда наша задача № 2 выглядит сомнительно: не следует лишний раз покушаться на аксиоматические основы дисциплины; всякий «поворот» — это не столько «поворот к...», сколько «поворот от...».

И все же, почему пристальное внимание к материальным аспектам социального мира трактуется как угроза аксиомам социологии? Почему обращение к материальности социального, по замечанию К. Кнорр-Цетины, «требует весьма значительного расширения социологического воображения и словаря... и осуществить его... серьезная задача, встающая сегодня перед социальной теорией»³?

Один из возможных ответов состоит в том, что социология изначально формируется как наука о «нематериальном». Все классические

³ Кнорр-Цетина К. Социальность и объекты. Социальные отношения в постсоциальных обществах знания. Наст. изд. С. 268.

социологические проекты — те, в которых закладывалась аксиоматика дисциплины, — проводили четкие границы между областями «социального» и «не-социального». Само «социальное», как центральная объяснительная категория социологии, обязано своим рождением попыткам преодоления декартова дуализма между психическим (*res cogitans*) и материальным (*res extensa*). Очевидно, если различие, сформулированное Декартом, исчерпывающе, социологии места не остается: либо ее предмет относится к физическому миру и находится среди «протяженных вещей», либо он локализован в мире *res cogitans* и мало чем отличается от предмета психологии⁴. Право на автономию у социологии появляется лишь тогда, когда «социальное» обнаруживает свою суверенность, независимость от материального и психического. (Подтверждением этому служит замыкание каузальных рядов в дюркгеймовской формуле «объяснения социального социальным».) Суверенизация социологии идет параллельно ее размежеванию с психологией и естественными науками, а значит, неразрывно связана с де-психологизацией и де-материализацией ее предмета.

Один пример из истории социологии — в неокантианских теоретических проектах М. Вебера и Г. Зиммеля картезианскому дуализму противопоставляется идея *мира смыслов*, как пограничного царства, расположенного между миром ценностей и миром бытия (Г. Риккерт). Именно в нем локализован предмет социологии. Смысл, по выражению Г. Риккерта, есть нечто «независимо противостоящее этому миру». Вебер стоит на тех же позициях: *смысл* примера на вычитание не содержится в бумаге, на которой этот пример написан (равно как не содержится он и в «психике» решающего его ученика). И психическое, и материальное остаются в мире бытия, тогда как социальное принадлежит царству смыслов, которое данному миру независимо противопоставлено. Таким образом, социология отказывается от изучения «вещей *per se*», ограничив предмет своего исследования их социальными смыслами. Вернуть в социологическое рассуждение вещьность, значит разомкнуть каузальные ряды, отказаться от признания суверенитета социального, а вместе с ним — от самостоятельности социологии.

Собственно, редукция вещи к ее социальному смыслу — это одна из первых социологических концептуализаций материального объекта. Данный тип рассуждения о материальности ярко представлен в работах Георга Зиммеля. Зиммель единственный классик социологии, посвятивший ряд работ отдельным материальным предметам («Руина»,

⁴ Этот аргумент принадлежит А. Ф. Филиппову. См.: Филиппов А. Ф. Теоретические основания социологии пространства. М.: Канон-Пресс-Ц, 2003.

«Мост и дверь», «Рама картины», «Ручка»). Однако предметы для него — суть *смысловые*, а не *материальные* единства. «Комплексы свойств, которые мы называем вещами, — пишет он, — со всеми законами их взаимосвязи и развития, мы можем представить себе в их чисто предметном, логическом значении и, совершенно независимо от этого спрашивать, осуществлены ли эти понятия или внутренние созерцания... Этот содержательный смысл и определенность объектов не затрагиваются вопросом о том, обнаруживаются ли они затем в бытии».⁵

Такая постановка вопроса позволяет Зиммелю говорить о различных в восприятии вещах, как об «экземплярах» и «видах» (*Ausgestaltungen*) одной и той же вещи, его занимает не онтология, а *логика* вещей. Именно проблематизация «социальной логики вещей» позволяет ему утверждать, что «характер вещи зависит в конечном счете от того, является она целым или частью»: например, рама картины «...повторяет общее жизненное затруднение, которое заключается в том, что элементы общностей тем не менее претендуют на то, чтобы быть автономным целым для себя сами. Из этого видно, — продолжает Зиммель, — какое бесконечно тонкое равновесие выступлений и отступлений, должна удерживать рама, чтобы с наглядностью разрешать задачу разделяющего и объединяющего посредничества между произведением искусства и его окружением — задача, аналогией которой является историческое взаимодействие индивидуума и общества»⁶. Иными словами, материальный предмет — рама картины — служит проекцией двойственности социального отношения — отношения индивида и общества. Пограничное положение рамы, не являющейся ни частью самой картины, ни частью ее фона, служит для Зиммеля иллюстрацией занимающей его социологической проблемы «пограничности» как таковой⁷.

Та же логика исследования применяется им и к описанию ручки вазы. Подобно раме картины, ручка вазы занимает пограничное положение между произведением искусства и «внешним» миром. Она — точка интерференции миров, мира искусства и мира практической деятельности. Эта интерференция Зиммелем трактуется последова-

⁵ Georg Simmel Gesamtausgabe / Hrsgg. v. O. Ramstedt. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1992. VI. S. 317–318. Цит. по Филиппов А. Ф. Указ. соч. С. 82.

⁶ Зиммель Г. Рама картины. Эстетический опыт. Наст. изд. С. 53.

⁷ Другой атрибут зиммелевской теоретической схемы, допускающей перенесение на материальные объекты социальных отношений, — субстантивированный предлог «Между-сть» (*das Zwischen*), выражающий двойственность одновременно социального и пространственного расположения индивидов и групп.

тельно социологически: «Например, индивидуум, принадлежа закрытому кругу семьи, общины, одновременно является точкой проникновения в эти круги притязаний внешнего рода: требований государства, профессии. Государство окружает семью подобно тому как практическая среда окружает сосуд, и каждый из ее членов уподобляется ручке, при помощи которой государство манипулирует ею для своих целей. И так же как ручка своей готовностью к выполнению практических задач не должна нарушать единство формы вазы, так и искусство жизни требует от индивидуума, чтобы он, сохраняя свою роль в органической замкнутости одного круга, одновременно служил целям другой, более широкой общности и посредством этого служения помогал включению более узкого круга в круг его превосходящий»⁸.

Данная логика анализа — «визитная карточка» формальной социологии Г. Зиммеля. По Зиммелю, формальная социология — это социальная геометрия «форм обобществления» (*Formen der Vergesellschaftung*). Геометрия изучает пространственные формы абстрактно, в отрыве от их манифестаций в мире. Она интересуется только одним аспектом материального объекта — его пространственностью — оставляя другим наукам анализ прочих аспектов. Так же и Зиммеля занимают проблемы включения одного «социального круга» в другой «социальный круг», «точек интерференции», «отношений-„между“», «органической замкнутости» и «эксклавов». В сходных категориях «логического устройства» (безразличного к конкретным манифестациям в мире) могут анализироваться и события человеческой жизни, и целостность литературного произведения, и устройство публичного пространства, и порядок материальных предметов.

Оба опубликованных в настоящем сборнике исследования Г. Зиммеля начинаются как анализ эстетического опыта конкретной материальной вещи, продолжают концептуализацией воплотившихся в данной вещи отношений («части и целого», «интерференции миров») и завершаются приложением этих концептуализаций к проблемам социальным — сама же вещь как материальный объект в финале ускользает из поля зрения. «Возможно, — заключает Зиммель, — специфическая проблема ручки и не стоила бы столь пространного толкования, если бы само толкование не оправдывало себя широтой символических отношений, которое именно оно придает этому незначительному феномену».⁹ То есть, сама вещь — «незначительный феномен». Обращение к нему оправдывается лишь широтой стоящих за ним «сим-

⁸ Зиммель Г. Ручка вазы. Эстетический опыт. Наст. изд. С. 46.

⁹ Там же.

волических отношений». Материальное предстает спонтанной метафорой символического. Благодаря Зиммелю, поиск «социальной логики вещей» становится доминирующим способом проблематизации вещи, материальные свойства которой более не считаются релевантными социологическому рассуждению. Важно не то, что вещь «есть», а то, что она «говорит взгляду», то, как она «прочитывается».

Развитие этой схемы мы находим у современного классика социологии повседневности Ирвинга Гофмана. (В сборнике приводится глава из его фундаментального исследования «Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта».) Теория фрейм-анализа И. Гофмана изобилует аллюзиями на процитированные выше работы Зиммеля. Более того, само понятие фрейма (рамки социального взаимодействия) вводится в психологическую¹⁰, а затем и в социологическую¹¹ теорию по аналогии с рамой картины.

Например, театральное представление воспринимается зрителями именно как театральное представление (а не как фрагмент повседневной жизни) благодаря сцене. Сцена, подобно раме картины, очерчивает границы особой сферы опыта, не дает ему смешаться с опытом повседневности. Сходные рамки разграничивают различные формы повседневных взаимодействий — «семейный завтрак», «обсуждение прошедшего отпуска», «совещание», «подготовка презентации к докладу», «чтение на ночь», «написание предисловия». Наличие фреймов указывает на процессы *форматирования* социальной жизни. Там, где это форматирование дает сбой, происходят срывы взаимодействия, аналогичные массовой панике на премьере первой ленты братьев Люмьер. Актер, игравший Отелло и застреленный из зрительного зала, также пал жертвой поломки фрейма — зритель, не приученный распознавать фрейм сценической игры, воспринял увиденное в фрейме «нападения чернокожего на белую женщину».

Фреймы имеют зримые материальные корреляты, они воплощены в окружающих нас вещах повседневного обихода. Форматирование социальной жизни немыслимо без участия материальных объектов: «Каким бы изменчивым ни было содержание кувшина, — пишет Гофман, отсылая к работе Зиммеля, — его ручка остается вполне осязаемой

¹⁰ См. Бейтсон Г. Теория игры и фантазии // Экология разума. Избранные статьи по антропологии, психиатрии, эпистемологии / Пер. с англ. М.: Смысл, 2000.

¹¹ Гофман И. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта / Под ред. Г. С. Батыгина и Л. А. Козловой; вступ. статья Г. С. Батыгина. М.: Институт социологии РАН, 2003.

и неизменной»¹². Однако если для Зиммеля ручка вазы — метафора положения человека «на грани миров», то для Гофмана ручка — прежде всего, медиатор, материальный объект, связующий «внутреннее» и «внешнее», деятельность, вычленяемую фреймом, и подвижный, изменчивый мир за его пределами.

Эта осязаемость и неизменность закономерно привлекает внимание к материальному конституированию социальной жизни. Гофман делает шаг в данном направлении, вводя понятие «оснащения» (equipment) — всей совокупности опосредующих социальное взаимодействие материальных объектов, которые формируют интеракцию, закрепляют ее, наделяют объективностью. «Мы не можем сказать, что миры создаются „здесь и сейчас“, — замечает Гофман, — потому что независимо от того, говорим ли мы об игре в карты или о взаимодействии в ходе хирургической операции, речь идет об использовании некоторого традиционного реквизита, обладающего собственной историей в „большом“ обществе».¹³ Таким образом, материальный объект — это «якорь» (anchor) социального взаимодействия.

Казалось бы, гофмановское решение проблемы материальности — его концептуализация вещи как «якоря взаимодействия» — прямо противоположно классическому зиммелевскому пониманию вещи как смыслового единства, независимого от своих физических манифестаций. Однако это не вполне корректное противопоставление. Гофман и Зиммель решают задачи разной теоретической локализации. Зиммель ведет свой поиск в надмирном царстве смыслов, в котором вещь неизбежно подменяется «социальным значением вещи», Гофман же увлечен микромиром повседневных взаимодействий, где материальность вещей «проступает» во всей своей физической определенности и подобная редукция к смыслу затруднительна. Микросоциологу, изучающему взаимодействия лицом к лицу в ходе хирургической операции, довольно трудно игнорировать материальность скальпеля, лампы, кардиографа, хирургического стола и лежащего на нем тела. Для него они всегда нечто большее, чем «смысловые единства», хотя именно их смысловая определенность делает повседневные ситуации читаемыми, внятыми, проблематичными.

Впрочем, в микросоциологическом теоретизировании есть свои приемы редукции материальности. Если для Ирвинга Гофмана материальный объект является «якорем» повседневного взаимодействия

¹² Гофман И. Закрепление форм деятельности. Наст. изд. С. 56.

¹³ Goffman E. Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior. New York: Anchor, 1967. P. 27–28.

в силу «собственной истории в „большом“ обществе», то для Гарольда Гарфинкеля и исследователей-этнометодологов никакого исходного, предписанного и нерелятивируемого смысла объекта нет, а есть лишь его партикулярное использование в каждой конкретной социальной практике.¹⁴ Поэтому всякий объект оказывается «как-если-бы» объектом, чье значение обусловлено исключительно его использованием здесь и сейчас. Гарфинкелевское понятие «*as-of-which object*» указывает на несколько аспектов объектности — на ситуацию, в которую объект включен, на его связь с другими объектами в рамках данной ситуации, на то функциональное место в пространстве и времени, которое он занимает¹⁵. Например, спички, используемые игроками в покер вместо денежных купюр, не «замещают» денежные купюры, они *суть* деньги в данной конкретной практике.

Эта оппозиция гофмановского и гарфинкелевского рассуждения о материальном объекте иллюстрирует два альтернативных способа анализа вещи в микросоциологии — два способа ее исследования как *оснащения*. Гарфинкель отталкивается от хайдеггеровской идеи «оснастки» (*Zeug*). (Анализ такой трактовки вещи дан в опубликованной во второй части сборника статье К. Кнорр-Цетины «Социальность и объекты»). Вещь, понятая как оснастка, это вещь инструментальная или «инструментализируемая» практическим действием. Вы заводите свой автомобиль, ключ поворачивается в замке зажигания, мотор начинает работать ровно и без перебоев, вы производите ряд привычных манипуляций и машина как нечто проблематичное исчезает, она становится послушным инструментом ваших практических действий. Она была проблематичной в тот краткий момент, когда вы прислушивались к звуку мотора, но перестала быть таковой, как только вы убедились, что «все нормально». Лишь тогда, когда они выходят из строя и перестают быть инструментами, вещи вновь становятся «объектами» (Б. Латур справедливо указывает на коннотацию слова объект: «*to object*» — «возражать»). Например, когда в шариковой ручке заканчиваются чернила она из воплощенной функции письма становится проблематичной, непрозрачной материальной вещью. Мир практических нерелексивных действий — это мир послушных (по Хайдеггеру, «свернутых», «прозрачных») вещей.

¹⁴ Garfinkel H. Oriented object // Garfinkel H. Ethnomethodology's program: Working out Durkheim's aphorism. NY.: Rowman & Littlefield, 2002.

¹⁵ В дальнейшем Гарфинкель отказался от использования неологизма «*as-of-which*», вернувшись к понятию «ориентированного объекта» (*oriented object*). Я искренне признателен профессору Э. У. Роулз за разъяснения.

Определение «оснащения» („equipment“) у Гофмана противоположно определению «оснастки» („Zeug“). В теории фреймов вещь — это, скорее, реквизит, чем инструмент. То движение, которое совершает Гофман в направлении концептуализации материального объекта как оснащения-реквизита, возвращает вещам их объектность. Вещи более не «поглощаются» действиями людей, но скрепляют и направляют их: деловой костюм придает внятность взаимодействиям в «деловых» фреймах (отделяя деловые встречи от встреч «без галстуков»), спортивное снаряжение связывает взаимодействия в фреймах «активного отдыха» (см. в тексте Гофмана тезис о преемственности ресурсов взаимодействия). Таким образом, материальная атрибутика повседневной жизни придает социальным ситуациям связность и целостность.

Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что подобная концептуализация оставляет вещам ничуть не больше самостоятельности в качестве предметов исследования, чем их определение в категориях послушных и подручных объектов. Дело в том, что реквизит — это всегда знак, сообщение. А потому хоть флаг и не «поглощается» ритуалом парада так, как шариковая ручка «поглощается» практикой письма, но флагом его делает не материальность полотна и вещьность древка, а все те же скрывающиеся за ним «символические отношения». Мы вновь вернулись к зиммелевской постановке вопроса о социальной логике вещей и предложенному им решению: социальное содержание самозаконно, материальная форма — нет. В терминах Гофмана: «...*непрерывность* характера обращения [с предметами] навязана нам не объективной непрерывностью существования материальных вещей, но нашими *представлениями* о непрерывности духовно-значимых предметов. Священные реликвии, сувениры, подарки и локоны волос на память поддерживают некую физическую непрерывность связи с тем, о чем напоминают. Но именно наши культурные верования и представления о преемственности ресурсов деятельности придают таким реликвиям известное эмоциональное значение, личностное звучание — так же, как эти верования „придают“ нам нашу личность»¹⁶. Социологизированная подобным образом вещь предстает в образе физического объекта, опутанного паутиной смыслов. В этом отношении к материальности социального мира еще раз проявляется сходство позиций И. Гофмана и Г. Зиммеля.

Импликация такого решения — требование охранять демаркационную линию между социальным и материальным. Фреймы, хотя и имеют материальные корреляты, нематериальны. Например, «игра в шахма-

¹⁶ Гофман И. Закрепление форм деятельности. Наст. изд. С. 117.

ты, — отмечает Гофман, — содержит два принципиально различающихся основания: одно полностью принадлежит физическому миру, где происходит пространственное перемещение материальных фигурок, другое относится непосредственно к социальному миру противоборствующих в игре сторон»¹⁷. Из чего следует, что противоборство сторон — социально, тогда как «простые» материальные фигурки требуют оживления, анимации, включения в игру, без которой они обречены оставаться «просто» кусочками материала разной формы. За этой демаркацией материального и социального угадывается неэксплицируемая исследовательская установка: *материальное* — «просто», *социальное* — «сложно». Материальные вещи суть «просто вещи» (mere things), они не проблематичны и требуют внимания лишь настолько, насколько являются ингредиентами сложной субстанции социального. Социальное самодостаточно (шахматный поединок может вестись вслепую, без досок и фигурок), материальному же требуется опора в мире социальных значений.

Этот заход на определенном этапе развития социальной мысли становится исключительно эффективным средством социологической экспансии. Достаточно указать на нити паутины смыслов, тянущиеся за «простым» материальным объектом, и социология получает право неограниченного доступа к самым разнообразным предметам (поскольку исследует не то, что они «есть», а то, что они «значат» для представителей конкретного сообщества). Следы данной перспективы анализа можно обнаружить и в социальной (культурной) антропологии.

Так, в статье «Культурная биография вещей: товаризация как процесс», вошедшей в первую часть настоящего сборника, антрополог Игорь Копытофф использует сходную логику при атаке на аксиомы экономического мышления: «Для экономиста товары просто „есть“... С точки зрения культуры, производство товаров является культурным и когнитивным процессом: товары следует не только произвести физически как вещи, но и маркировать в координатах культуры как вещи определенного рода. Из всего диапазона предметов, наличествующих в обществе, лишь некоторые получают право называться товарами. Более того, один и тот же предмет может считаться товаром в один период времени и не считаться им в другой. И, наконец, один и тот же предмет может одновременно являться в глазах одного человека товаром, а в глазах другого — нет. Подобные изменения и разногласия при

¹⁷ Гофман И. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта / Под ред. Г. С. Батыгина и Л. А. Козловой; вступ. статья Г. С. Батыгина. М.: Институт социологии РАН, 2003. С. 84.

оценке того, является ли вещь товаром, свидетельствуют о существовании моральной экономики, которая скрывается за объективной экономикой, выражающейся в зримых сделках купли-продажи»¹⁸. Товар здесь понимается как своего рода «маркер», которым помечается материальный предмет сообразно закрепленным в культуре системам различий. Копытофф проблематизирует фундаментальное различие западной культуры — различие «мира людей» и «вселенной объектов». Его анализ охватывает феномены рабства, коллекционирования, суррогатного материнства, моды на антиквариат, аборт — при этом, чего бы ни касалось его исследование, Копытофф последователен в своем стремлении раскрыть стоящую за «объективной» экономикой «моральную» экономику культурных значений. Собственно, культурные значения, по Копытоффу, и определяют модус бытования вещи в том или ином сообществе.

Идея сама по себе не новая. Заслуживающей внимания ее делает методологическая база исследования — применение биографического метода для изучения «жизненного пути» и «карьерной траектории» материальных объектов. Под биографией вещи здесь понимается ее перемещение в пространстве социальных значений. «Например, в заирском племени *суку*, где я работал, — пишет Копытофф, — продолжительность жизни хижины составляет около десяти лет. Типичная биография хижины начинается с того, что она служит домом для пары или, в случае полигамной семьи, для жены с детьми. Со временем хижина последовательно становится гостевым домом или жилищем для вдовы, местом встреч подростков, кухней и, наконец, курятником или хлевом для коз — пока не разваливается, подточенная термитами. Физическое состояние хижины на каждом этапе соответствует конкретному применению; хижина, используемая не так, как диктует ее состояние, вводит людей *суку* в смущение и говорит о многом. Так, если гостя селят в хижине, которой положено быть кухней, это кое-что говорит о статусе гостя, а если на участке нет хижины для гостей, это кое-что говорит о характере хозяина участка — он ленив, негостеприимен или беден»¹⁹.

Насколько проблематично для Копытоффа упоминаемое здесь «физическое состояние» объекта? В гораздо меньшей степени, нежели динамика его «культурного статуса». Физическое старение хижины идет параллельно с ее культурным *старением* (как иначе назвать процесс приобретения социальной биографии, завершающийся физическим

¹⁸ Копытофф И. Культурная биография вещей: товаризация как процесс. Наст. изд. С. 135.

¹⁹ Там же. С. 137.

распадом?), а зачастую детерминирует его — термиты могут оборвать жизненный путь хижины и в бытность ее «домом для гостей». Но физическое старение описывается в данной схеме как однонаправленный, линейный, «простой» процесс в противоположность процессу культурного оформления биографий, допускающему возвратное движение в пространстве социальных значений («уникальный объект — товар — уникальный объект», «храм — бассейн — храм» и т. д.). Для того чтобы социальная и культурная мобильность вещи предстала как самостоятельный предмет анализа, требующий особой логики исследования, ее физическая биография должна быть описана максимально просто и непроблематично. В противном случае в объяснительную схему наряду с «когнитивным маркированием» и «культурно наполненными категориями» придется включить «термитов» и «качество строительного материала».

Наличие культурной биографии — свидетельство социальной сложности объекта. Исследование биографий позволяет проследить, как именно материальная вещь, получая опору в мире социальных значений, становится «больше-чем-вещью». Сходная проблема ставится и в статье Рома Харре «Материальные объекты в социальных мирах». Однако такой опорой в схеме Харре являются не конвенциональные для членов сообщества культурные различия, а множественные и дополняющие друг друга *нарративы*. Материальная вещь оказывается «социальным объектом» ровно настолько, насколько включена в то или иное повествование. (Так, христианский нарратив превращает несоциальный «алкоголь» в социальное «вино для причастия».) Нарративы — в отличие от изучаемых Копытоффом культурных установлений — подвижны и неконсистентны, они не образуют единой системы различий. Такая перспектива позволяет «...материальному предмету, определяемому его материальными атрибутами, существовать в качестве не одного, а нескольких социальных объектов, каждый из которых характеризуется особой ролью в повествовании»²⁰.

Соответственно, вещь лишается постоянного места в пространстве социальных смыслов (в котором она, по мысли Копытоффа, лишь периодически совершает перемещения), а вместе с ним — и постоянного, нерелятивируемого «собственного значения». В качестве социального объекта материальная вещь существует одновременно во множестве повествовательных миров. «Если кто-то захочет спросить: „каково значение моста как социального объекта?“ — пишет Харре, — потребуется выяснить, перекинут ли мост через Сену или через реку Квай... Другой

²⁰ Харре Р. Материальные объекты в социальных мирах. Наст. изд. С. 124.

пример: как тюремные стены, удерживающие заключенных внутри, могут быть поняты *социологически*? Из предыдущих рассуждений следует сделать вывод о том, что общего ответа на этот вопрос не существует. Ответ зависит от сюжетной линии. Для того, кто считает себя несправедливо заключенным, тюремные стены — это препятствия возвращению во внешний мир. Для того, кто чувствует себя в тюрьме беженцем, „те же самые“ материальные стены служат защитой от опасного внешнего мира. Данное наблюдение весьма банально, но его удивительно часто не принимают во внимание. Даже Фуко не обнаруживает полного понимания этого аспекта. Окна Паноптикона всегда допускают наблюдение за узниками и никогда — возможность заключенного посмотреть на других представителей рода человеческого»²¹.

«Сюжетные линии» в схеме Р.Харре, «культурно наполненные категории» в анализе И.Копытоффа, «системы фреймов» в теории И.Гофмана — эти концепты непосредственно между собой не связаны и не образуют единого пространства концептуализации материального объекта. Однако каждый из описанных способов рассуждения делает возможным собственно социологическое исследование вещи — изучение ее культурной биографии, нарративной артикуляции или обычного использования. Эта «социологичность» обеспечивается следованием зиммелевской максиме, согласно которой вещь есть, прежде всего, смысловое, а не материальное единство. Соответственно, задача социолога — установить, чем это единство обеспечено, какие «символические отношения» придают ему устойчивость. Социологизм требует от исследователя раскрыть механизмы смыслового конституирования материальных вещей, что в конечном итоге предполагает распроблематизацию и последующую редукцию вещи как материального объекта. «У обществоведов достаточно оснований полагаться на эффективность этой стратегии, — замечает Брюно Латур, — ведь она, по их мнению, работала в парадигматическом примере с религией в XIX в., когда складывались общественные науки. Обществоведы без особого труда убедили себя: чтобы объяснить ритуалы, верования, видения или чудеса (т. е. трансцендентные объекты, каковым акторы приписывают свойство быть первопричиной какого-либо действия) вполне допустимо (хотя и не всегда легко) *заместить* содержание этих объектов функциями общества, которые были скрыты в этих объектах и имитированы ими».²²

²¹ Харре Р. Материальные объекты в социальных мирах. Наст. изд. С. 129.

²² Латур Б. Когда вещи дают отпор: Возможный вклад «исследований науки» в общественные науки. Наст. изд. С. 344.

Полемический выпад Латура не вполне корректен методологически. «Конечный словарь» той или иной дисциплины определяется ее способностью создать собственную референцию изучаемого предмета. Чтобы получить возможность социологического исследования материального объекта необходимо этот объект описать, подобрав ему адекватную концептуализацию; концептуализации же, преимущественно, имеют вид метафор: «вещь как реквизит», «вещь как оснастка», «вещь как знак». Метафоры обладают способностью, высвечивая одни аспекты описываемого предмета, затенять и делать не проблематичными другие его возможные атрибуты. Так, предлагая собственную референцию материальной вещи, социологические концептуализации сделали не проблематичной саму материальность.

Сходную критику описания вещи мы находим у М. Хайдеггера. В эссе «Вещь» он атакует «научное знание» (недвусмысленно отождествляя его со знанием естественно-научным), из-за которого «...вещь как вещь остается оттесненной, ничтожной и в данном смысле уничтоженной»²³. Однако для Хайдеггера очевидно, что такая редукция конкретной материальной вещи — неизбежная операция научного разума: «наука сталкивается всегда только с тем, что допущено в качестве доступного ей предмета ее способом представления», говорит он, и именно из-за такой ограниченности представления «...наука делает вещь... чем-то ничтожным, не допуская вещи самой по себе существовать в качестве определяющей действительности». Ни Б. Латур, ни К. Кнорр-Цетина, ни другие теоретики «поворота к материальному» не делают вслед за Хайдеггером этого шага от осмысления феномена «развеществления» мира к критике научного знания как такового. Напротив, их задача — утвердить в дискурсе социальных наук идею «определяющей действительности вещи», «объект-центричной социальности». А потому, начавшись с требования новой концептуализации объекта средствами социальной теории, «поворот к материальному» вылился в попытку реорганизации всего социологического знания, ревизии его аксиоматики, логики и оптики.

Собственно, никакого единого направления, связанного с «поворотом к материальному», в настоящее время не существует. Существует ряд теоретических конструкций, выстроенных на фундаменте идей «объект-центричной социальности» (К. Кнорр-Цетина) и «интеробъективности» (Б. Латур), а также особое пространство дискуссий и ис-

²³ Хайдеггер М. Вещь // Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления. М.: Республика, 1993.

следований — преимущественно, исследований в области социологии знания, науки и техники. Сегодня «поворот к материальному» служит удобным именованием для особого стиля социологического теоретизирования, в фокусе которого находится проблематика вещиности социального мира. Этот стиль легко узнаваем в дискурсе современных социальных наук по таким характерным пассажам: «Объекты вновь возвращаются в современную социальную теорию. В образе товаров, машин, коммуникационных технологий, продуктов питания, произведений искусства, городских территорий появляется новый мир материальностей и объектностей. Разговаривая с разумными машинами, модифицируя свое тело посредством технологий протезирования и генной инженерии, срастаясь с мобильными телефонами, блуждая в виртуальном пространстве, воплощая фантазии робототехники, мы смешиваем собственную человеческую сущность с активными и деятельными объектами в завораживающей, но приводящей в замешательство манере»²⁴.

Дискуссия о роли материальных объектов в конституировании социальной реальности стимулируется развитием дисциплины «Наука, Техника и Общество» („Science, Technology and Society“, STS).²⁵ Именно в ней проблема «материального в социальном» и «социального в материальном» была переведена в плоскость эмпирических исследований. Бурное развитие STS, ставшее запоздалым ответом социологии на научно-техническую революцию, вернуло в социологическое теоретизирование не только интерес к материальным объектам, но и проблему преодоления дуализма — на этот раз дуализма «техники и общества».

Каким образом исследования науки и техники способны изменить расстановку сил на поле социальной теории? Создав новый социологический дискурс, в котором материальный объект станет предметом социологического анализа, не утратив при этом своей объектности. «Например, если велосипедист, наткнувшись на камень, слетел с велосипеда, — пишет Латур, — обществоведам нечего сказать по этому по-

²⁴ Pels D., Hetherington K., Vandenberghe F. The status of the object: performances, mediations and techniques // *Theory, Culture and Society*. 2002. Vol. 19. № 5/6. P. 1.

²⁵ Другая конвенциональная расшифровка аббревиатуры STS — «исследования науки и техники» (science and technology studies). Понятие «technology» может переводиться и как «техника», и как «технология». В данном случае речь идет не о «последовательности операций», а именно о «совокупности артефактов, выполняющих функцию опосредования», поэтому перевод «техника» кажется нам более удачным.

воду²⁶. Но стоит вступить на сцену полицейскому, страховому агенту, любовнику или доброму самаритянину, сразу же рождается социологический дискурс, потому что здесь мы получаем ряд общественно значимых событий, а не только каузальную смену явлений. Представители STS не согласны с таким подходом. Они считают социологически интересным и эмпирически возможным анализировать механизм велосипеда, дорожное покрытие, геологию камней, психологию ранений и т. п., не принимая разделение труда между естественными и общественными науками, основанное на дихотомии материи и общества. Несмотря на то, что такая уравниловка («симметрия», употребляя профессиональный жаргон) вызывает ожесточенные дискуссии в нашем лагере, все участники STS согласны относительно следующего: общественные науки должны *выйти за пределы* той сферы, которая до настоящего времени считалась сферой «общественного».²⁷ Стоит отметить, что попытки разомкнуть каузальные ряды социологии сегодня предпринимаются не только сторонниками изучения «протяженных вещей», но и теми, кто ратует за возвращение «вещей психических». Так, социальный психолог С. Московичи, атакует социологизм с противоположной, психической, стороны декартового дуализма. Если, по Латуру, невозможно объяснить социальное социальным и потому необходимо обратиться к «протяженному» (*res extensa*), то для Московичи провал программы социологизма служит обоснованием апелляции к «психическому» (*res cogitans*). Поскольку «...психическое, выброшенное за дверь, возвращается в социологию через окно».²⁸

Однако — если социологизм действительно содержит в своей аксиоматике некий врожденный порок тавтологии, — то каковы основания столь долгого его господства в качестве доминирующей логики социологического рассуждения? По мнению Латура, одна из причин победы социологизма (а затем и социального конструктивизма) состоит в том, что социология избежала внутреннего конфликта между «физической» и «социальной» составляющей. Существуют физиче-

²⁶ Здесь, очевидно, аллюзия на текст М. Вебера о категориях понимающей социологии: «Случайное столкновение велосипедистов мы не назовем общностно ориентированными действиями, но их предшествующие попытки избежать инцидента, а также их возможную „потасовку“ или попытку прийти к мирному „соглашению“, мы уже относим к действиям упомянутого типа». Вебер М. О некоторых категориях понимающей социологии // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 509.

²⁷ Латур Б. Когда вещи дают отпор... Наст. изд. С. 343.

²⁸ Московичи С. Машина, творящая богов. М.: КСП+, 1998. С. 31–52.

ская и социальная география, физическая и социальная антропология. Психология представляет собой своего рода континуум — от психофизиологии до социальной психологии и психологии личности. Демография разрывается между проблемами статистики и проблемами морали. И даже внутри экономики существует разделение на натурализацию рынка и экономизацию природы. «Есть *социальная* социология, но где же *физическая* социология? — отмечает Б. Латур. — Социобиология, увы, не годится: она слишком воинственно противостоит общественным наукам и слишком нерелексивна чтобы производить политически значимые „вещи“. Я бы предположил, скорее, что искомым двойником социологии должны стать именно STS, способные удержать дисциплину „на ее границах“. Они обратят внимание своих коллег, погруженных в „общественное“ и „символическое“, на чудовищную трудность рассмотрения объектов, которая требует от обществоведов принять радикальное смешение предметов, что придаст дисциплине больше сходства с остальными общественными науками. Общественное — не территория, но лишь один из голосов в ансамблях, собирающих вещи на этот новый (очень старый) политический форум: постепенное создание общего мира»²⁹.

Именно таков пафос большинства теоретиков, ассоциирующих свои работы с «поворотом к материальному» начала 80-х. Декларации («Назад к самим вещам!», «Относиться к вещи как к вещи!») и критика социологистского «мейнстрима» являются неотъемлемой частью риторики нового поворота, однако, принадлежат, скорее, внешней оболочке его исследовательской программы. Тогда как ее твердое ядро составляют концептуальные построения современной *акторно-сетевой теории* (ANT).

Хотя сам термин «акторно-сетевая теория» принадлежит не ему, Брюно Латур вполне может считаться ее основателем. Любопытно, что первая получившая известность работа Латура (в соавторстве со Стивом Вулгаром) вышла в 1979 г. под названием «Жизнь лаборатории: социальное конструирование научных фактов»³⁰. Вполне в духе критической социологии Латур и Вулгар показали, каким образом ученые создают в процессе своей деятельности нечто, чему затем приписывается объективное существование. Так, новый научный факт «тиреотропин-релизинг-гормон» при ближайшем рассмотрении оказался ситуативным феноменом, сконструированным в определенном

²⁹ Латур Б. Когда вещи дают отпор... Наст. изд. С. 358.

³⁰ Latour B., Woolgar S. Laboratory life: The social construction of scientific facts. London: Sage, 1979.

социально-культурном контексте. Однако уже во втором издании данной работы (1986 г.) слово «социальный» из названия исчезает.

Латур приводит следующий комментарий: «Что пошло не так? Поначалу идея выглядела совсем неплохо: было забавно, оригинально и поучительно использовать слово „конструктивизм“ для характеристики тех исследований науки и техники, которыми я занимался. Лаборатории действительно выглядели гораздо интереснее, будучи описанными как стройплощадки, а не как темные подземелья, где хранятся мумифицированные законы науки. И прилагательное „социальный“ также поначалу казалось очень удачно выбранным, поскольку я и мои коллеги помещали почтенную работу ученых в горячую ванну культуры и общества, с тем, чтобы снова вдохнуть в нее молодость и жизнь. Однако все пошло вкривь и вкось: мне пришлось со стыдом соскрести слово „социальный“ из подзаголовка „Жизни лаборатории“, как изображения Троцкого стирались с фотографий парадов на Красной площади».³¹ На смену социальному конструктивизму в работах Латура приходит конструктивизм, который можно назвать «*реципрокным*»: материальное и социальное находятся в процессе непрерывного взаимного конструирования. «Давно ставшая тривиальной тема социального конструирования, — пишет Латур, — перевернулась теперь с ног на голову: ученые стараются выявить ингредиенты, которые лежат в основе того или иного общественного порядка. Что было причиной, стало предварительным следствием. Общество не состоит из социальных функций и факторов...»³²

Однако назвать материальные объекты «ингредиентами общественного порядка» и ввести их в рассмотрение социологии недостаточно для того чтобы преодолеть дуализм материального и социального. Необходимо заново исследовать саму природу вещи.

«После произошедшего в эпоху модерна раскола между объективным миром и миром политического, — пишет Латур, — вещи больше не служат товарищами, коллегами, партнерами, соучастниками или союзниками в поддержании социальной жизни. Объекты могут выступать теперь только в трех качествах: как невидимые и надежные инструменты, как детерминирующая инфраструктура и как проекционный экран».³³ В качестве инструментов они передают социальную интенцию, которая проходит через них, без всякого на них влияния. В роли элементов инфраструктуры они образуют материальный фун-

³¹ Латур Б. Надежды конструктивизма. Наст. изд. С. 365.

³² Латур Б. Когда вещи дают отпор... Наст. изд. С. 350.

³³ Латур Б. Об интеробъективности. Наст. изд. С. 184.

дамент, «на котором затем надстраивается социальный мир знаков и репрезентаций». Как проекции они могут только служить предметом утонченной игры в описания. Латур иллюстрирует данное положение на примере окошка кассира, через которое общаются посетитель и служащий в почтовом отделении: «В качестве инструмента, окошко кассира призвано предотвращать нападения клиентов на сотрудников и не имеет никакого дополнительного назначения; оно не оказывает определяющего влияния на взаимодействие, а только облегчает или затрудняет его. Как инфраструктура, окошко неразрывно связано со стенами, перегородками и компьютерами, образуя материальный мир, полностью формирующий остальные отношения точно так же, как вафельница формирует вафлю. Как проекционный экран, то же окошко кассира лишается стекла, древесины, отверстия и всего остального — оно становится знаком, отличным от этих прозрачных панелей, барьеров, остекленного выступа, перегородок, тем самым, сигнализируя о различиях в статусе или свидетельствуя о модернизации общественной службы. Раб, господин или субстрат знака — в каждом случае сами объекты остаются невидимыми, в каждом случае они асоциальны, маргинальны и неспособны участвовать в созидании общества».³⁴ В результате этого разрыва объекты уже не могут вернуться в мир социального, не разрушив его.

Чтобы преодолеть разрыв, необходимо переописать объект, сделать его частью гетерогенной сети отношений, вернуть ему статус «конституенты действия». Для этого понятия «субъекта», «актора», «агента» не подходят, как слишком человеческие. По Латуру, «действовать — значит опосредовать действия другого»³⁵. Именно поэтому для описания агентности материального объекта Латур обращается к семиотике. Из структуралистской теории А.-Ж. Греймаса он заимствует идею «актанта». Актант понимается как предмет или существо, совершающее действие или подвергающееся действию. Согласно Л. Теньеру, у которого заимствовал данный термин сам Греймас, «актанты — это существа или предметы, участвующие в процессе в любом виде и в любой роли, пусть даже в качестве простых фигурантов или самым пассивным образом»³⁶. Между «Я упал» и «Камень упал» в лингвистическом отношении нет разницы. И «Я» и «Камень» — актанты, включенные в сеть разнородных агентностей. Но вслед за идеей «дей-

³⁴ Латур Б. Об интеробъективности. Наст. изд. С. 185.

³⁵ Латур Б. Об интеробъективности. Наст. изд. С. 190.

³⁶ Греймас А. Ж., Курте Ж. Семиотика. Объяснительный словарь // Семиотика / Сост., вст. ст. и общ. ред. Ю. С. Степанова. М.: Радуга, 1983.

ствующего» в ревизии нуждается и идея «действия». Что теперь является конституентой социального действия, если не связываемый с ним субъективно значимый смысл?

В программной статье «Об интеробъективности» Латур предлагает свое решение этой классической социологической проблемы. Его исходный вопрос: в чем принципиальное отличие интеракции людей от взаимодействия животных? На первый взгляд, такой вопрос должен показаться ложным теоретику акторно-сетевого подхода, ратующему за устранение модернистской дихотомии субъекта и объекта. Но для Латура подобная постановка проблемы вовсе не служит обоснованию превосходства людей над животными. Он старательно игнорирует всякие апелляции к «смыслу» или «символическим интерпретациям». Главное отличие человеческой интеракции от нечеловеческой — повсеместное присутствие материальных предметов: «Почему бы не обратиться к тем бесчисленным объектам, которые отсутствуют у обезьян и повсеместно присутствуют у людей, локализуя или глобализуя взаимодействие? Как можно воспринимать кассу без окошка, стекла, двери, стенок, стула? Как можно подводить ежедневный баланс офиса без формул, квитанций, счетов, бухгалтерских книг — и как можно упускать из виду прочность бумаги, долговечность чернил, нанесенные на клавиши буквы, практичность степлеров и громкие удары штемпеля? Не заблуждаются ли социологи, пытаясь сделать социальное из социального, подлатав его символическим, не замечая присутствия объектов в тех ситуациях, в которых они ищут лишь смысл?»³⁷.

Здесь следует особое внимание обратить на две характеристики объектов — их способность «локализовать» и «глобализовать» взаимодействие. Вернемся ненадолго к категориальному аппарату работ И. Гофмана. Для описания локальной интеракции Гофман использует понятие «фрейм» и более общее — «framework» (система фреймов). Фрейм задает ограничения взаимодействия в пространстве и времени, выступая одновременно и как «матрица возможных событий» и как «схема интерпретации происходящего» взаимодействующими индивидами. Латур, заимствуя у Гофмана эту категорию, приводит следующий пример: «Когда я покупаю на почте марки и обращаюсь к кассиру через окошко, рядом со мной нет моей семьи, коллег или начальников, дышащих мне в затылок. И, слава богу, официант в этот момент не рассказывает мне историй о теще или зубах своей

³⁷ Латур Б. Об интеробъективности. Наст. изд. С. 184.

благоверной! Такое счастье недоступно бабуину. Любой другой бабуин может вмешаться в любое взаимодействие»³⁸.

Таким образом, человеческую интеракцию от взаимодействия обезьян отличает именно ее *фреймированность*, локализованность, отгороженность от событий «внешнего» — по отношению к ситуации соприсутствия — мира. Но фрейм не существует лишь в сознании, как ментальная структура или чистая схема интерпретации. Он укоренен (*anchored*) в материальных предметах. «Что-то, — пишет Латур, — препятствует одновременно распространению человеческого взаимодействия „вовне“ и вмешательству в него „извне“. Является ли эта двусторонняя мембрана нематериальной, наподобие фрейма (понимаемого метафорически (как „рамка социального взаимодействия“), или материальной, вроде перегородки, стены или строения (взятых здесь в своем буквальном смысле)?»³⁹ Если сторонники таких наследующих Гофману направлений как когнитивная социология (Э. Зерубавель) и конверсативный анализ (Э. Щеглофф, Х. Сакс) акцентируют нематериальность фрейма, его укорененность в структурах коммуникации⁴⁰ и когнитивных схемах⁴¹, то для акторно-сетевого подхода значимы именно вещные, материальные ограничения интеракции. Таким образом, «framework» по Латуру — это вся совокупность «редукторов социального взаимодействия», фрагментирующих и делающих его парциальным, это обобщенная характеристика всех *локализирующих* его ограничений.

Однако есть и еще одно существенное отличие человеческого взаимодействия, которое Гофман, сфокусировавшись на ситуациях соприсутствия, оставил за кадром. По мнению Латура, гофмановская теория фреймов отказывается заглядывать в «пропасть, которая отделяет индивидуальное действие от всего трансцендентного общества». Фреймы не дают ответа на вопрос о том, что связывает взаимодействия, протекающие в различных локальностях, значительно удаленных друг от друга. «В отличие от социального взаимодействия обезьян, — отмечает Латур, — взаимодействие людей всегда кажется более размытым. Нет ни одновременности, ни непрерывности, ни гомогенности.

³⁸ Латур Б. Об интеробъективности. Наст. изд. С. 181.

³⁹ Там же. С. 175.

⁴⁰ Schegloff E. Goffman and the Analysis of Conversation // Sage Masters of Modern Social Thought / Ed. by G. A. Fine, G. Smith. Vol. IV. London: Sage Publications, 2000.

⁴¹ Zerubavel E. The Fine Line: Boundaries and Distinctions in Everyday Life. New York: Free Press, 1991.

Взаимодействие людей не ограничивается их телами, которые сосуществуют в одном времени и пространстве, связанные взаимным вниманием и общей деятельностью; для понимания человеческого взаимодействия приходится обращаться к другим элементам, другому времени, другим местам и другим акторам».⁴² Иными словами, помимо локализирующих характеристик, у социального взаимодействия есть характеристики «глобализующие», распространяющие, делающие его повсеместным.

Если «фрейм» — это «редуктор интеракции», то «*сеть*» — ее «дистрибьютор». Так в латуровской социологии понятие «framework» дополняется понятием «network». «Взаимодействие, — пишет Латур, — выражается в противоречивых формах: оно представляет собой *систему фреймов* (которая ограничивает интеракцию) и *сеть* (которая распределяет одновременность, близость и „персональность“ взаимодействий)»⁴³.

Подобно локализации, глобализация взаимодействия возможна благодаря его материальному опосредованию. Объекты одновременно и задают рамки интеракции, и размывают их. Латур приводит следующий пример: «Мы говорим, не придавая этому большого значения, что вовлечены во взаимодействие „лицом-к-лицу“. Действительно, вовлечены. Но одежда, которую мы при этом одеваем, привезена из другого места и произведена довольно давно; стены, в которых мы находимся, были спроектированы архитектором для клиента и сооружены рабочими — людьми, которые сейчас отсутствуют, хотя их действия вполне ощутимы. Сам человек, к которому мы обращаемся — продукт истории, выходящей далеко за пределы данного „фрейма“. Если вы попытаетесь нарисовать пространственно-темпоральную карту всего, что присутствует во взаимодействии, и набросать список всех, кто так или иначе в нем участвует, вряд ли вы получите хорошо различимую структуру; скорее — спиралевидную сеть с множеством самых различных дат, мест и людей»⁴⁴.

Для того чтобы фреймировать взаимодействие, необходимы перегородки и укромные места. Но сами эти места связаны между собой посредством объектов-медиаторов в гетерогенную сеть, которая смешивает времена, пространства и актантов. Вернувшись к примеру с окошком на почте, можно было бы сказать, что встроенное в него переговорное устройство является элементом сети подобных устройств

⁴² Латур Б. Об интеробъективности. Наст. изд. С. 182.

⁴³ Там же. С. 176.

⁴⁴ Там же.

и всех связанных с ним взаимодействий. Оно не просто разделяет клиента и служащего, обуславливая специфичность ситуации их коммуникации, но опутывает сетью отношений клиентов, служащих, представителей фирмы, поставляющей данные устройства, сотрудников охраны (следящих за тем, чтобы пуленепробиваемое стекло обеспечивало служащим необходимый уровень безопасности в случае нападения), представителей экологического и пожарного надзора (контролирующих безопасность данного устройства в эксплуатации), а также все многочисленные формы оборудования используемого для транспортировки, обслуживания и ремонта данного переговорного устройства. В описанную сеть следует также включить все те объекты, которые передаются через окошко в стекле — поскольку окошко сделано из расчета габаритов этих объектов.

Всякий раз, когда мы наклоняемся к переговорному устройству и передаем через узкую щель в стеклянной перегородке заказное письмо, мы встраиваемся в глобальную сеть отношений и интеракций, выходящую далеко за пределы наличной ситуации действия, ограниченной рамками определенного фрейма. Сети лишают социальное взаимодействие той определенности, которую сообщают ему фреймы — таков вывод Латура.

Подобное акторно-сетевое описание взаимодействия имеет ряд следствий, значимых для фундаментальной социальной теории. Теперь интеракция не может служить «отправной точкой», поскольку в случае людей — она всегда помещена в некоторую систему фреймов, которая размывается системой сетей, идущих через нее во всех направлениях. Если взаимодействие — не исходный, а конечный пункт теоретизирования, мы получаем принципиально иной взгляд на социальность, противоположный взгляду социологов и социальных конструктивистов. «Всякий раз, — пишет Латур, — когда мы переходим от комплексной социальной жизни обезьян к нашей собственной социальной жизни, нас поражает множество действующих одновременно сил, размещающих сопричастие в социальных отношениях. Переходя от одного к другому, мы движемся не от простой социальной сложности к комплексной, а от *комплексной* социальной — к *сложной*».⁴⁵ Хотя два этих прилагательных имеют общую этимологию («*complexe*» и «*complotique*»), они позволяют Латуру развести две формы социального существования. «Комплексное» означает одновременное присутствие во всех взаимодействиях значительного количества агент-

⁴⁵ Латур Б. Об интеробъективности. Наст. изд. С. 180.

ностей, которые не могут быть рассмотрены дискретно. «Сложное» используется для обозначения последовательного присутствия агентностей, «которые могут быть исследованы одна за другой, и сложены друг в друга на манер черного ящика».

Следовательно, взаимодействие людей — как совокупность разделенных и распределенных в пространстве и времени агентностей — является собой пример сложной, а не комплексной социальности (которая, скорее, присуща взаимодействию обезьян). Данную характеристику Латур экстраполирует на человеческое общество как таковое, «составленное, сконструированное, собранное, устроенное, слепленное и смонтированное». Совместное существование людей невозможно представить без множества связанных сетью интеробъективности артефактов, не «отражающих» социальное (так, как будто социальное пребывало в каком-то другом месте), а составляющих его субстрат.

Этот взгляд на социальность Б. Латур возводит к Габриэлю Тарду, точнее — к его работе «Монадология и социология»⁴⁶. Спустя столетие Тард празднует победу над Дюркгеймом: общество начинает рассматриваться не как онтологически данная тотальность, а как сложная система монад, пригнанных друг к другу, соединяющих материальное и нематериальное в гетерогенную сеть. Именно поэтому акторно-сетевая теория предпринимает попытку изъятия из словаря социологии дюркгеймовской категории «социальное» и замену ее понятием «ассоциации»⁴⁷.

Ассоциация множества материальных и нематериальных элементов (монад) — это гибрид, приобретающий свои свойства не в силу изначальной целостности, а благодаря индивидуальности каждого ингредиента и их специфических отношений, конфигураций. Латуровская теория, таким образом, связана через социологию Тарда (которого Латур называет «дедушкой акторно-сетевого анализа») со стоящей за ней лейбницевской онтологией, акцентирующей отношения гетерогенных элементов в составе социальной жизни, их релятивную природу.

Находясь в определенном отношении друг к другу, тела-элементы (а Латур говорит именно о протяженных телах) формируют *пространство*. Пространство не предшествует телам — оно есть порядок их сосуществования. Следовательно, всякая «ассоциация» (как порядок, конфигурация, сеть отношений) имеет пространственные характеристики. Но это уже не ньютоновское «пространство-вмести-

⁴⁶ Latour B. Gabriel Tarde and the end of the social // The Social in Question / Ed. by P. Joyce. London: Routledge, 1999.

⁴⁷ Latour B. The Powers of Association // Power, Action and Belief: a New Sociology of Knowledge? / Ed. by J. Law. London: Routledge and Kegan Pol, 1986.

лице», подобное гигантскому аквариуму, существующему независимо от своего содержания, и не кантовское «пространство как априорная форма восприятия». Латур пишет: «Мы связываем свои рассуждения с третьей, лейбницеанской традицией, рассматривающей пространство и время как выражения некоторых отношений между самими объектами. Но вместо единого Пространства-Времени произведем столько пространств и времен, сколько существует отношений»⁴⁸. Отсюда тезис о множественности пространств и о самостоятельности «пространства сетей», отличного от «пространства мест».

Впрочем, для Латура этот топологический вывод не является центральным. Гораздо больше его занимают те последствия для аксиоматики социологии, которые влечет за собой «возвращение материальности». Он довольно поспешно (возможно, слишком поспешно) переходит от концептуализации материальной вещи как «актанта» к многочисленным теоретическим импликациям этого шага. Обращаясь к фундаментальным трудам Тарда и Лейбница, он оставляет «прикладную» работу по прояснению природы и статуса объекта другим теоретикам акторно-сетевого подхода.

У истоков акторно-сетевой теории изначально стояли три автора — Брюно Латур, Джон Ло и Мишель Каллон. С середины 90-х годов принципы разработанного ими направления активно используются в социологических исследованиях информационных систем⁴⁹ и генной инженерии⁵⁰. В социальной географии находит применение предложенная Латуром метафорика «множественных пространств» и «гетерогенных сетей»⁵¹, а также ряд положений «социальной топологии» Дж. Ло⁵². В экономике и экономической социологии особенно продуктивной оказалась критика Мишелем Каллоном разноликих «сетевых подходов», игнорирующих включенность материальных объектов в сети обмена и взаимодействия⁵³.

В конце 90-х гг. выделились две ветви акторно-сетевого подхода.

⁴⁸ Latour B. Trains of thought: Piaget, formalism and the fifth dimension // *Common knowledge*. 1997. № 6/3.

⁴⁹ Tatnall A., Gilding A. Actor-Network Theory and information systems research // 10th Australasian Conference on Information Systems. Wellington, 1999.

⁵⁰ Бертильсон М. Второе рождение природы: последствия для категории «социальное» // *Социс*. 2002. № 9.

⁵¹ Amin A., Thrift N. *Cities. Reimagining the Urban*. London: Blackwell, 2002. P. 82–88.

⁵² Thrift N. *Spatial formations*. London: Sage, 1996.

⁵³ Callon M. Introduction // *The Laws of the Markets* / Ed. by M. Callon. Oxford:

Парижская ветвь, представленная Латуром и Каллоном развивает общетеоретические и методологические интенции АНТ. Предложенная Латуром «реляционная онтология» (или «онтология гибридного мира») на сегодняшний день составляет значимую альтернативу социальному конструктивизму П. Бурдьё. Вторая, ланкастерская ветвь акторно-сетевой теории представлена в первую очередь работами Джона Ло, а также исследованиями Эннмари Мол, Мадлен Акрич, Нильса Альбертсена, Виктории Синглтон. Хотя далеко не все эти социологи работают и преподают в Ланкастере, их тексты составляют общий корпус исследований науки и техники, объединенных предложенной Джоном Ло теоретической рамкой. Ланкастерскую версию акторно-сетевого подхода от парижской отличает обилие проводимых эмпирических исследований, а также некоторые теоретические отступления от магистральной (латуровской) линии акторно-сетевого анализа. Эти отступления иллюстрируют собственно теоретический потенциал исследований Дж. Ло и его коллег.

Первое и наиболее любопытное отличие работ Ло состоит в том, что у Латура и Каллона «сеть» — это социологическое понятие, характеристика глобализованного, распределенного в пространстве и времени взаимодействия, поделенного на дискретные агентности и опосредованного объектами. Ло ограничивается семиотической интерпретацией «сети», делая шаг навстречу постструктурализму, распространяя на материальные объекты ту же релятивистскую логику рассуждений, какую постструктуралистская семиотика применила к элементам знаковых систем.⁵⁴ Как замечает Ло, «семиотика (в европейском десоссюровском варианте синхронической лингвистики) показывает, что значение всякого слова относительно, то есть конституировано отношениями различия между данным словом и другими связанными с ним словами. Например, слова „собака“ и „кошка“. Каждое из этих слов приобретает значение благодаря отличию от другого и каждое из них соотносимо с иными именами: „собака“, „кошка“, „волк“, „щенок“ и т. д. Значение слова произвольно (arbitrary), хотя и сильно детерминировано сетью отношений различия. По сути, оно представляет собой результат этих отношений»⁵⁵. Также и материальные объекты — суть «относительные случайности», детерминированные отношениями

Blackwell, 1998. См. также: Старк Д. Интервью. Экономическая социология. 2001. Том 2. № 5.

⁵⁴ Law J. After ANT: Topology, Naming and Complexity // Actor-Network and After / Ed. by J. Law, J. Hassard. Oxford: Blackwell and the Sociological Review, 1999. P. 4.

⁵⁵ Ло Дж. Объекты и пространства. Наст. изд. С. 224.

различия. «Объекты, — пишет Ло, — являются „производными“ *некоторых устойчивых множеств или сетей отношений*. Наше фундаментальное допущение таково: объекты сохраняют свою целостность до тех пор, пока отношения между ними стабильны и неизменны».

Рассуждения Ло о неизменности и изменяемости объекта сродни рассуждениям де Соссюра об изменчивости и неизменности знака⁵⁶. Ло, как и де Соссюр, подчеркивает связь свойства изменчивости / неизменности объекта (знака) с дискретностью / непрерывностью его существования. Объект существует дискретно и обособленно лишь благодаря непрерывности своих связей с другими объектами. «Например, корабль, — пишет Ло, — может быть представлен в виде сети — сети остовов, рангоутов, парусов, канатов, пушек, складов продовольствия, кают и самой команды. С другой стороны, при более обобщенном рассмотрении, навигационная система, со всеми ее эфемеридами, астролябиями и квадрантами, таблицами расчетов, картами, штурманами и звездами, также может быть рассмотрена как сеть. Далее, при еще более отстраненном анализе, вся португальская имперская система в целом, с ее портами и пакгаузами, кораблями, военными диспозициями, рынками и купцами может быть описана в тех же категориях».⁵⁷

В данном описании все предметы исследования рассматриваются как «объекты» — корабль, навигационная система, португальская империя. Объектами их делают устойчивые связи и отношения друг с другом. Особый акцент на устойчивости: «Штурманы, противники-арабы, ветра и течения, команда, складские помещения, орудия: если эта сеть сохраняет устойчивость, корабль остается кораблем, он не тонет, не превращается в щепки, напоравшись на тропический риф, не оказывается захваченным пиратами и уведенным в Аравийское море. Он не пропадает, не теряется, до тех пор, пока команда не сломлена болезнями или голодом. Корабль определяется своими отношениями с другими объектами и акторно-сетевой анализ направлен на исследование стратегий, которые производят (и, в свою очередь, произведены) этой *объектностью*, синтаксисом или дискурсом, определяющими место корабля в сети отношений»⁵⁸. Разрыв сети отношений кладет конец дискретной объектности.

Все вышесказанное — пример успешного импорта «семиотической метафоры» в социологическое описание. Объекты здесь уподоб-

⁵⁶ де Соссюр Ф. Курс общей лингвистики / Под ред. Р. И. Шор. М.: КомКнига, 2006. С. 81–85.

⁵⁷ Ло Дж. Объекты и пространства. Наст. изд. С. 227.

⁵⁸ Там же.

ляются знакам; связующие их отношения — отношениям означания. Приняв точку зрения Ло, мы уже не можем повторить вслед за Марксом, что «*объект есть ансамбль социальных отношений*». Объект действительно определяется сетью отношений различия, но отношения эти не могут быть однозначно идентифицированы как «социальные» (например, «социальные отношения производства и потребления»). Скорее, «социальность» — равно как и «объектность» — является продуктом данных отношений. «Общество» не присутствует имманентно в сети отношений, узловыми точками которой являются «объекты», оно не детерминирует их и не скрывает истинного источника причинности. Отношения предшествуют всякой сущности — как «социальной», так и «материальной».⁵⁹

Обращение к семиотической метафоре в социологической теории — явление столь распространенное, что сам по себе этот теоретический ход Ло вряд ли можно назвать оригинальным. Его эвристическая ценность обусловлена отказом от радикального социологизма, который всегда в той или иной степени имплицитно используется семиотическими аналогиями. Впрочем, эта обновленная версия семиотической метафоры (примененной к материальным объектам в социальном мире) вряд ли составила бы заметную альтернативу внушительным теоретическим построениям «парижской ветви» акторно-сетевого подхода, если бы не дополнялась продуктивной и оригинальной *топологической метафорой*. Сеть отношений трактуется Ло как топологическая система, определенная «форма пространственности». Пространство — есть порядок объектов, объекты — суть пересечения отношений. Изменение отношений, приводит не только к изменениям самих объектов, но и к изменениям «форм пространственности». Изучение формы и соотношений объектов входит в задачи дисциплины, которую Лейбниц называл «*analysis situs*» — топологии. Ло формулирует исследовательскую программу, которую можно назвать «социальной топологией». Ее основные положения таковы: «Во-первых, — пишет Ло, — я настаиваю на том, что производство объектов... имеет пространственные следствия; и, далее, что пространство не самоочевидно и не единично, но имеются *множественные формы пространственности*. Во-вторых, я предполагаю, что использование объектов само создает *пространственные условия возможности и невозможности*. Пространственности порождаются и приводятся в действие расположенными в них объектами — именно этим определяются границы возможного. (Следуя первому утверждению,

⁵⁹ Ло неслучайно усматривает в тезисе «отношения предшествуют сущности» сходство с сартровским принципом «существование предшествует сущности».

стоит упомянуть, что пространственные возможности по своему характеру также множественны.) Существуют различные формы пространственностей; те, о которых говорим мы, включают в себя регионы, сети и потоки. В-третьих, я предполагаю, что эти *пространственности и объекты, которые заполняют и создают их, плохо совместимы, т. е. находятся в напряженных отношениях*.⁶⁰

Вернемся к примеру с португальским галеоном. Как объект, корабль пространственно или топологически множественен. («Он занимает — а также преобразует — два типа пространства: географическое и сетевое».) Он неизменен в каждой из форм пространства и сохраняется в обоих: физически — в географическом пространстве, функционально или синтаксически — в сетевом пространстве. Двигается он только в географическом пространстве. Напротив, в пространстве сетей он неподвижен, никакого изменения отношений между компонентами не происходит. (А если происходит, значит, что-то не так, значит это уже другой объект.) Именно неподвижность в сетевом пространстве делает возможным его перемещение в пространстве географическом, позволяя переплывать из Калькутты в Лиссабон с грузом специй. Перемещение из точки *A* в точку *B* некоторого объекта происходит благодаря устойчивости отношений между различными элементами сети, в которой этот объект находится. Если произойдет смещение в пространстве сетей (то есть, если изменятся конституирующие объект отношения), корабль просто перестанет быть «кораблем *X* с грузом *Y*, следующим курсом *Z*», а станет чем-то иным: обломками корабля, «летучим голландцем» или просто деревом для костра.

Такое «смещение» в топологии называется «катастрофой». Можно указать на две характеристики «катастрофы»: разрыв непрерывности формы (дисконтинуальность) и необратимость. Тополог Рене Том проиллюстрировал это следующим примером: «Если форма *A* — лист бумаги и если я его сминаю, то есть придаю ему вид *B*, *A* может быть непрерывно деформирован в *B* и наоборот *B* в *A*, если листок разгладить. *A* и *B* — два вида одного объекта. Но если я разрываю листок, т. е. придаю ему вид *C*, я получаю новый объект, поскольку переход *A* в *C* необратим».⁶¹ Разрыв формы (на языке топологии — «утрата гомеоморфизма») дает начало новой форме, происходит «морфогенез». В терминах Ло: смещение положения корабля в сетевом пространстве означает разрыв его сетевой «формы», переход становится необратимым и корабль перестает быть кораблем, становясь чем-то иным.

⁶⁰ Ло Дж. Объекты и пространства. Наст. изд. С. 225.

⁶¹ Том Р. Структурная устойчивость и морфогенез. М.: Логос, 2002. С. 15.

Обратимся к примеру, весьма далекому от построений Дж. Ло, зато близкому социологической классике. Королевский дворец — как объект — неподвижен и в пространстве географическом, и в пространстве сетей. Дворец «возможен» потому что есть архитектор, способный его себе вообразить, есть зодчие, обладающие необходимой квалификацией, есть материалы, пригодные для строительства, есть монарх, изъявивший желание иметь летнюю резиденцию, есть двор, готовый переехать в нее, наконец, есть место, отведенное под этот дворец, и средства, выделенные на его строительство. Допустимы изменения в данной «сетевой формуле» объекта, которые не приведут к утрате им своей формы: один монарх сменится другим, изменится общественный вкус и некоторые залы будут перестроены, английский парк будет заменен французским, но объект останется королевским дворцом, потому что при всех трансформациях он сохраняет некое «ядро устойчивых отношений». Другие же изменения в «сетевой формуле» объекта станут «катастрофой» — например, революция и крах монархии. Тогда произойдет смещение в сетевом пространстве: дворец станет музеем, складом, парламентом или руинами.

Преобразование дворца в руины — явление морфогенеза, образования новой формы. Значит ли это что больше никакие отношения не конституируют заброшенные развалины некогда пышного дворца? Отнюдь нет. Просто теперь данные отношения не «производят» публичную социальность — хотя руины вполне могут быть вовлечены в производство иных форм социальности, следы которой остаются в виде надписей на их стенах и разнообразного мусора на остатках пола — но этот объект так же занимает «место» в сетевом пространстве, имеет свою сетевую форму.⁶² Допустим теперь, что руины эти никогда не были дворцом, что они изначально построены как руины, дабы радовать глаз гостей в парке местного аристократа. Такие «искусственные» руины занимают принципиально иное место в сетевом пространстве и потому не тождественны руинам дворца, даже если идентичны им «в материале». Точно так же руины крепости не тождественны декорациям руин крепости, построенным специально для съемок исторического фильма.

Объект остается тождественным себе пока (при всех трансформациях) сохраняет некое «ядро устойчивых отношений». Что происходит, если объект, потеряв «ядро устойчивых отношений», трансформируется до неузнаваемости? Разрыв формы. Однако то, что является

⁶² Ее специфика была блестяще интерпретирована Г. Зиммелем. См.: Зиммель Г. Руина // Избранное. Т. 2. М.: Юрист, 1996.

разрывом формы в пространстве сетей, не является им в иной топологической системе, описанной Ло, в *пространстве потоков*. В этом пространстве изменение отношений — необходимое условие конституирования объекта. Однако данный феномен составляет отдельный предмет исследований социальной топологии.

На примере исследований Дж. Ло можно убедиться в том, как последовательная концептуализация материального объекта делает доступной для социологии ряд принципиально новых теоретических ресурсов. В этом — ценность «поворота к материальному» для современной социальной теории. Однако при ближайшем рассмотрении становится очевидным, что в области исследований материальности реальные успехи теоретиков «поворота» гораздо скромнее, нежели их первоначальные декларации. Объявленный разрыв с классической социологической традицией — тоже, скорее, риторическая формула: чтобы в этом убедиться достаточно провести сравнительный анализ «классических» и «постклассических» подходов, представленных в первой и второй части сборника.

Так, топологическая социология легко вписывается в ряд социологических теорий, объединенных общим интересом к проблематике социальной «формы», ее устойчивости и изменчивости. От формальной социологии Г. Зиммеля до фрейм-анализа И. Гофмана не прекращались попытки создания фундаментальной социальной морфологии, науки о формах социальной координации. Топология, с ее стремлением дать строгое (но не количественное) описание изменяющихся форм, становится притягательным теоретическим ресурсом для осмысления современного опыта мира — подвижного, изменчивого (или «текущего» в терминах Дж. Ло). Сходным образом Б. Латур отталкивается от классической социологической постановки проблемы действия и взаимодействия, используя при этом философские ресурсы («реляционная онтология» Г. В. Лейбница, «философия процесса» А. Н. Уайтхеда), которые были освоены в социологии задолго до «поворота к материальному». Например, обращение к Лейбницу для обоснования релятивистского способа теоретизирования роднит работы Латура с постоянным объектом его критики — социальным конструктивизмом П. Бурдьё.

Впрочем, вопрос о том, чего больше между «классическими» и «постклассическими» концептуализациями — сходств или различий, — мы оставляем открытым. Одно несомненно: «поворот к материальному» оказывает заметное влияние на словарь и оптику дисциплины, открывая, по меткому выражению К. Кнорр-Цетины, новые горизонты социологического воображения. Его эвристическая ценность обуслов-

лена способностью «схватить» в согласованных понятиях пока еще смутные дотеоретические интуиции повседневного опыта, сделав социальную науку более чувствительной к изменениям своего предмета.

Здесь можно провести аналогию с популяризацией теорий глобального мира. Как замечает А. Ф. Филиппов, «явления этого рода [всемирной взаимосвязи] фиксируются социальными учеными с давних пор. Однако в наши дни в этом понятии акцентируется также и момент небывалого прежде социального единства мира, а не просто мирового хозяйства. И в таком виде понятие глобализации стало популярным, в основном, благодаря усилиям сравнительно узкого круга влиятельных теоретиков, впечатленных, возможно, не только политическими или экономическими тенденциями современной жизни, но и новым пространственным видением мира в его слабо расчлененном единстве, которое стало формироваться к концу 60-х — началу 70-х гг., между прочим, благодаря все более частым и успешным космическим полетам (участники их, к которым было привлечено широкое внимание публики, часто говорили о том, что из космоса не видно никаких границ между странами и народами, Земля и человечество представляются едиными)».⁶³

Новая возможность *увидеть* лишь воображаемое прежде социальное единство мира обеспечила социологическим теориям глобализации — существовавшим задолго до космических полетов — сильную интуитивную достоверность. Так же и новые концептуализации вещи, принесенные «поворотом к материальному», при всей их теоретической спорности, обладают несомненным преимуществом интуитивной достоверности. Материальные объекты, одновременно связывающие и разделяющие человека с другими людьми, вещи, которые выполняют функцию «медиаторов» и «стабилизаторов» социальной жизни, изменчивые и неизменные предметы повседневного обихода — все эти образы материального сегодня неотделимы от нашего интуитивного понимания социальности. Как бы банально не прозвучал такой вывод: «Мы живем в мире объектов...». И сама банальность этой фразы — свидетельство согласованности аксиом объект-центричной социологии с современным опытом мира.

⁶³ Филиппов А. Ф. Теоретическая социология // Теория общества. Сборник / Пер. с нем., англ., вступ. статья, сост. и общая ред. А. Ф. Филиппова. М.: Канон-Пресс-Ц, 1999. С. 16–17.

ЧАСТЬ I

ВЕЩЬ В СОЦИОЛОГИИ

ГЕОРГ ЗИММЕЛЬ

РУЧКА

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Современные теории искусства решительно подчеркивают, что подлинной задачей живописи и пластики является пространственное изображение вещей. В этой связи легко упустить из виду, что пространство внутри картины представляет собой совершенно иной образ, чем то, реальное, в котором мы живем. Ибо если к предмету внутри этого пространства можно прикоснуться, то на картине его можно только созерцать; если каждая действительная часть пространства ощущается нами как часть бесконечности, то пространство картины — это замкнутый в себе мир; если реальный предмет состоит во взаимодействии со всем, что движется или покоится рядом с ним, то содержание произведения искусства обрывает эти связи и объединяет в самодостаточное единство лишь собственные элементы — его бытие протекает по ту сторону реальности. Из опыта действительности, откуда произведение искусства, разумеется, берет свое содержание, оно создает свое суверенное царство. В то время как холст и краски на нем представляют собой части действительности, существование возникающего с их помощью художественного произведения протекает в идеальном пространстве, которое так же мало соприкасается с реальным, как могут соприкасаться друг с другом звуки и запахи.

С каждым предметом утвари, с каждой вазой, в той мере, в какой они рассматриваются как эстетическая ценность, дело обстоит точно так же. В качестве осязаемого, имеющего вес, включенного в действия и связи окружающего мира куска металла, ваза представляет собой часть действительности, тогда как ее художественная форма ведет совершенно отдельное, покоящееся в себе существование, для которого ее материальная действительность является всего лишь носителем. И только в силу того, что сосуд, в отличие от картины или статуи, задуман не как подобная острову неприкосновенность, а предназначен для исполнения определенной, пусть и символической цели, — его

берут в руки, включают в практические жизненные движения, — он одновременно находится в двух мирах. Если в чистом произведении искусства момент действительности полностью нейтрализован, можно сказать, сведен на нет, то к вазе он предъявляет свои притязания, ибо с ней производятся определенные манипуляции: ее наполняют и опустошают, передают друг другу и переставляют с места на место.

Такое двойственное положение вазы нагляднее всего выражает ее ручка. Это та часть вазы, за которую ее берут, поднимают, наполняют; она зримо вторгается в мир действительности, в мир отношений ко всему внешнему, который для произведения искусства как такового не существует. Однако не только корпус вазы должен подчиняться требованиям искусства, а ее ручки — не простые рукоятки, безразличные, подобно блокам картинной рамы, к своей эстетической форме. Ручки, которые связывают вазу с бытием по ту сторону искусства, одновременно включены в художественную форму, и, независимо от своего практического назначения, должны быть оправданы как чисто художественная конструкция, составляющая с вазой *один* эстетический образ. Это двойное значение и характерное явное выступание делают ручку одной из интереснейших эстетических проблем.

То, как облик ручки гармонизирует в себе два мира — внешний, предъявляющий через нее свои притязания к сосуду, и художественную форму, которая, игнорируя внешний мир, требует ее к себе, — похоже, и является неосознанным критерием ее эстетического воздействия. Причем ручка не просто должна быть пригодной для выполнения своих практических функций, она должна убеждать в этом своим внешним видом. Это отчетливо проявляется в тех случаях, когда ручка выглядит прикрепленной, в противоположность тем, когда она кажется слитой с корпусом вазы. Первая конструкция подчеркивает, что ручка привнесена внешними силами, из внешнего порядка вещей, акцентируя ее превосходящее чисто художественную форму значение. Такая дистанция между вазой и ручкой еще более заметна в часто встречающейся форме, когда ручка имеет вид змеи, ящерицы или дракона. В данном случае на особое значение ручки указывает то, что кажется, будто животное заползло на вазу извне, и, так сказать, лишь впоследствии было включено в общую форму.

Здесь на фоне наглядно-эстетического единства вазы и ручки на передний план выступает принадлежность ручки к совершенно иному порядку, из которого она возникла и который через нее претендует на вазу. И напротив, акцент переносится на включенность в эстетическое единство, если ручка кажется непосредственным продолжением корпуса вазы, подобно рукам человека, которые выросли в том же

едином процессе организации, как и его тело, и так же являются посредниками в отношениях всего существа к внешнему миру.

Эта тенденция к единству находит свое крайнее выражение в некоторых вазах цилиндрической формы, от которых отсечено так много, что остались лишь горловина и ручка. Особенно ярко это выражено у некоторых китайских чаш, ручки которых вырезаны из холодного металла.

Однако впечатление сразу же оборачивается недовольством, как только одним из смысловых значений ручки полностью пренебрегается в пользу другого.

Например, когда ручки полностью прилегают к корпусу вазы, создавая лишь разновидность рельефного орнамента. Из-за того, что такая форма исключает назначение ручки — обеспечивать возможность держать вазу и манипулировать ею, — возникает неприятное чувство абсурдности и несвободы, как если бы человеку руки привязали к телу. И никакая внешняя декоративная красота не может компенсировать того, что внутренняя тенденция вазы к единству поглотила ее отнесенность к внешнему миру. И наоборот, крайняя чуждость ручки сосуду как целому, крайнее выражение ее предназначенности практической цели налицо в том случае, когда ручка накладная и вообще не имеет жесткой связи с корпусом сосуда. На языке материала это часто подчеркивается тем, что ручка и сосуд сделаны из разного материала. В результате получаются многообразные комбинации внешнего вида. У некоторых греческих ваз и чаш жестко закрепленная на корпусе и сделанная из того же материала ручка имеет вид широкой ленты.

Если она при этом сохраняет полное единство формы с сосудом, то такая комбинация может быть весьма удачной. В данном случае символизируется материал ленты по тяжести, консистенции и гибкости совершенно несравнимый с материалом корпуса вазы, и посредством этих явных отличий ясно указывается на принадлежность ручки к совершенно иной области бытия, причем благодаря неоспоримому единству материала эстетическая связанность целого сохраняется. Однако хрупкое и неустойчивое равновесие обоих требований к ручке невыгодным образом нарушается, когда жестко закрепленная ручка, хотя и выполненная из того же материала, что и корпус вазы, натуральным образом копирует другой материал, чтобы посредством иного облика подчеркнуть свой особый смысл. Именно у японцев, которые являются большими мастерами по части ручек и которым в некоторых бронзовых вазах удастся создать недостижимое в других случаях единство крайне целевого характера ручки и власти эстетической целостности формы, — именно у них обнаруживается

такое уродство, как жестко закрепленные фарфоровые ручки, в точности имитирующие накладные, оплетенные соломой ручки чайников. То, в какой степени ручка навязывает вазе чуждый ее самостоятельному смыслу мир, проявляется в высшей степени наглядно, когда специальное назначение ручки вынуждает материал вазы обретать совершенно для него несвойственную и похожую на маску поверхность. Если слитая с корпусом вазы ручка односторонне преувеличивает свою принадлежность к ней в ущерб своему целевому назначению, то последний пример являет противоположную крайность: ручка не может выразить дистанцированность всего прочего по отношению к вазе более решительно, чем копируя материал этого прочего и именно ему навязывая облик совершенно чужеродного, будто навешенного на вазу извне, обруча.

Возможно, специфическая проблема ручки и не стоила бы столь пространного толкования, если бы само толкование не оправдывало себя широтой символических отношений, которое именно оно придает этому незначительному феномену.

Так как внутри искусства нет более четкого обозначения для этого великого синтеза и противопоставления, когда некая сущность полностью принадлежит единству одной широкой области и одновременно на нее претендует совершенно иной порядок вещей, который требует от нее сообразности цели, определяющей ее форму, причем форма эта тем не менее остается включенной в первую связь, как если бы вторая и вовсе не существовала. Например, индивидуум, принадлежа к одному кругу семьи, общины, одновременно является точкой проникновения в эти круги притязаний внешнего рода: требований государства, профессии. Государство окружает семью подобно тому как практическая среда окружает сосуд, и каждый из ее членов уподобляется ручке, при помощи которой государство манипулирует ею для своих целей. И так же как ручка своей готовностью к выполнению практических задач не должна нарушать единство формы вазы, так и искусство жизни требует от индивидуума, чтобы он, сохраняя свою роль в органической замкнутости одного круга, одновременно служил целям другой, более широкой общности и посредством этого служения помогал включению более узкого круга в круг его превосходящий. Возможно, это и составляет богатство жизни людей и вещей, покоящееся на многообразии их взаимопринадлежности, на одновременности внешнего и внутреннего, на связи и слиянии с одной стороной, которые в то же время являются и расторгением, так как им противостоят связь и слияние — с другой. В этом состоит самое чудесное в миропонимании, мировосприятии человека, когда один элемент, будучи частью самодостаточ-

ности одной органической связи и как будто полностью растворяясь в ней, — одновременно может быть мостом, по которому в нее вливается совершенно иная жизнь, средством, при помощи которого одна целостность заключает в себя другую, без того чтобы одна из них была при этом разорвана. И то, что эта категория, которая в ручке вазы находит, возможно, крайнее, но именно поэтому и наиболее соответствующее ее охвату символическое выражение, то, что она наделяет нашу жизнь таким множеством жизней и сопереживаний (Mitleben), является, пожалуй, отражением участи нашей души, имеющей родину в двух мирах. Ибо и она обретает завершенность лишь в той мере, в какой в качестве необходимого члена полностью принадлежит гармонии одного мира, не вопреки, а именно благодаря той форме, какую налагает на нее эта принадлежность, входит во взаимосвязи другого, подобно руке — реальной или идеальной, — которую один мир протягивает, чтобы захватить и присоединить к себе другой, и, в свою очередь, быть захваченным и присоединенным этим другим.

Перевод с немецкого Людмилы Кортуновой

ГЕОРГ ЗИММЕЛЬ

РАМА КАРТИНЫ

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Характер вещи зависит в конечном счете от того, является она целым или частью. Есть ли отдельное бытие нечто самодостаточное, замкнутое в себе, определяемое исключительно законом своей собственной сущности, или оно лишь часть во взаимосвязи целого, которое единственно дает ему силу и смысл, — вот что отличает душу от всего материального, свободного человека от простой части социума, нравственного человека от того, кого чувственная страсть ставит в зависимость от всякой данности. То же отделяет произведение искусства от всякой части природы. Ибо в качестве природного бытия любая вещь есть лишь промежуточный пункт непрерывно текущих энергий и материй, понятный только из предшествующего, значимый только как элемент всего природного процесса. Сущность художественного произведения, напротив, заключается в том, чтобы быть целым для себя, не нуждающимся ни в каких отношениях к чему-либо внешнему, замыкающим на себя все свои связи. Будучи тем, чем может быть еще только мир как целое или душа — *единством* частных, произведение искусства, как мир для себя, закрывается от всего внешнего. И границы его имеют совершенно иное значение, чем то, что мы называем границами природных объектов. Границы в природе — это лишь место непрерывных экзосмосов и эндосмосов со всем, находящимся по ту сторону, а для произведения искусства — это та абсолютная замкнутость, которая в одном акте соединяет направленные вовне безразличие и оборону и направленное вовнутрь унифицирующее объединение. Рама картины в свою очередь символизирует и усиливает эту двойственную функцию его границ. Она отделяет его от всего окружающего и, следовательно, от зрителя, помогая тем самым установить дистанцию, благодаря которой только и возможно эстетическое наслаждение. Дистанцирование какой-либо сущности от нас в душевном смысле означает единство этой сущности в себе. Ибо лишь в той мере, в какой данная сущность замкну-

та в себе, она обладает сферой, в которую никто не может проникнуть, бытием-для-себя, с помощью которого она сохраняет себя от других.

Дистанцированность и единство, противопоставленность нам и синтез в себе есть чередующиеся понятия. Два главных свойства произведения искусства — его внутреннее единство и то, что оно как бы окружено сферой, отделенной от всякой непосредственной жизни, — представляют собой одно и то же, увиденное с разных сторон. И лишь обладая этой самодостаточностью, и благодаря ей, произведение искусства может дать нам так много. Его бытие-для-себя есть тактическое отступление (*Anlaufueckschritt*), посредством которого оно тем глубже и полнее в нас проникает. Чувство незаслуженного подарка, которым оно нас осчастливляет, возникает оттого, что эта гордая самодостаточная замкнутость все-таки становится нашей.

Свойства рамы картины раскрываются в поддержке и выделении этого внутреннего единства картины. Начнем с такого, казалось бы, случайного момента, как стыки между ее сторонами. Взгляд скользит по ним внутрь, продлевая их до идеальной точки пересечения, подчеркивая, таким образом, отнесенность картины со всех ее сторон к центру. Это сводящее действие еще усиливается, если внешние края рамы несколько приподняты по отношению к внутренним, так что четыре ее стороны образуют сходящиеся плоскости. По тем же соображениям популярная сегодня форма с приподнятыми внутренними краями, образующими скос наружу, кажется мне совершенно неприемлемой. Ибо взгляд, как и тело, с большей легкостью движется сверху вниз, чем наоборот, и, таким образом, неизбежно уводится от картины вовне, подвергая ее целостность опасности центробежного рассеивания.

Скорее изолирующую, чем синтезирующую функцию выполняет окантовка рамы двумя планками. В этом случае весь орнамент или профиль рамы уподобляется течению потока между двумя берегами. И именно это оттеняет то островное положение, которое необходимо произведению искусства по отношению к внешнему миру. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы орнамент рамы способствовал этому непрерывному течению взгляда, как будто постоянно устремляющегося обратно в себя.

По той же причине конфигурация рамы нигде не должна допускать разрывов или мостков, через которые, так сказать, мог бы войти мир или через которые само произведение могло бы выйти в мир, как это происходит, например, когда содержание картины продолжается на раме — к счастью, редкая ошибка, которая полностью отрицает для-себя-бытие произведения искусства, а тем самым и смысл самой рамы. Замкнутое в себе течение рамы не означает, однако, что ее

орнамент должен идти параллельно своей оправе. Напротив, именно для того, чтобы четче выделить течение рамы, превращающее картину в остров, линии орнамента должны резко, до перпендикулярности, отклоняться от этих параллелей. Все поперечные к краю рамы линии задерживают в ней этот поток, сила и подвижность которого при преодолении таких препятствий возрастают, обретая яркость в нашем эстетическом восприятии. Структура орнамента рамы полностью определяется впечатлением течения и замкнутости в себе, подчеркивающим отграниченность картины от всего окружающего, так что каждая разделяющая линия оправдана в той мере, в какой она позволяет максимально усилить это впечатление. По тем же соображениям становится понятной давно оправдавшая себя практика вставлять маленькую картину в широкую, во всяком случае, более энергично воздействующую раму. Ибо опасность затеряться в непосредственном окружении и недостаточно самостоятельно выступить против него, должна быть встречена более сильными средствами изоляции, чем это требуется для очень большой картины, которая сама по себе уже заполняет значительную часть зрительного поля. И поскольку последней нет нужды опасаться конкуренции со стороны окружения для самостоятельной значимости производимого ею впечатления, ее отграниченность рамой может быть минимальной.

Конечное назначение рамы доказывает неприемлемость появляющихся там и тут текстильных рам: кусок ткани воспринимается как часть продолжающейся много дальше материи, в нем не содержится внутренней причины того, почему рисунок был обрезан именно в этом месте, он указывает на неограниченное продолжение. Поэтому текстильная рама лишена оправданной формой отграниченности и, следовательно, не может отграничивать что-либо другое.

В случае с тканями без рисунка, где этот недостаток замкнутости и способности к отграничению выражен меньше, достаточно мягкости края и общего впечатления от материи, чтобы он снова проявился. Материи недостает той собственной органической структуры, которая придает дереву такую действенную и в то же время скромную замкнутость в себе самом и которой так остро не хватает рамам-имитациям, тогда как на вырезанных из дерева золоченых рамах она чувствуется, даже несмотря на позолоту, не скрывающую легких неравномерностей ручной работы, благодаря которым ее органическая живость превосходит всякую точность машины.

Правильно понятый, этот принцип объясняет, почему сегодня в интерьерах, обставленных более-менее со вкусом, не встречается фотографий природы в рамах. Рама подходит только для изображе-

ний с завершенным единством, которых в природе не бывает. Каждый непосредственно взятый из нее фрагмент тысячами пространственных, исторических, понятийных, духовных отношений связан со всем тем, что находится от него в большей или меньшей, психической или душевной близости. Лишь художественная форма обрезает эти связи, соединяя их внутри себя. Для части природы, которую мы инстинктивно воспринимаем лишь во взаимосвязи великого целого, рама противоречива и насильственна, тогда как для жизненного принципа произведения искусства она естественна и необходима.

Другое принципиальное недоразумение, от которого страдает рама, связано с современными взглядами на мебель. Тезис о том, что мебель является произведением искусства, положил конец многим проявлениям безвкусицы и пустой банальности; однако его правота не столь неограниченна, как это принято считать. Произведение искусства представляет собой нечто для себя, мебель — нечто для нас. Произведение искусства как подобие душевного единства может сохранить свою индивидуальность в том смысле, что, находясь в нашей комнате, оно нам не мешает, так как имеет раму, то есть является островом в мире, ожидающим, когда к нему подойдут, но который можно обойти стороной и не обратить внимания.

Предмета мебели мы, напротив, постоянно касаемся, он вмешивается в нашу жизнь и поэтому не имеет права на для-себя-бытие. Некоторая современная мебель, будучи непосредственным выражением индивидуальной артистичности, кажется униженной, когда на нее садятся; она прямо-таки требует рамы, и стоя в комнате без нее, она подавляет человека, который в своей индивидуальности должен быть главным, а она — лишь фоном. Повсеместное проповедование индивидуальности мебели есть гипертрофия современного чувства индивидуальности. Это такое же непонимание ранга, как если бы раме хотели приписать самостоятельную эстетическую ценность, благодаря фигурному орнаменту, собственной привлекательности цвета, форме и символике, делающим ее выражением самодостаточной художественной идеи. Все это смещает служебное положение рамы по отношению к картине. Так же как рама может быть только телом для души, но никогда душой — так и произведение искусства, которое есть нечто для себя, не может, подобно раме, подчеркивать и поддерживать бытие-для-себя чего-либо другого: отречение, которое ему для этого необходимо, исключает для него бытие в искусстве.

Подобно мебели, рама должна иметь не индивидуальность, а стиль. Стиль — это снятие личности, растворение индивидуальности в широкой общности. Поэтому, если произведение художественного ремесла

на передний план сознания сразу же выдвигает вопрос о своем стиле, то произведение искусства, напротив, спрашивают об этом намного реже. Ведь стиль великих художественных произведений нам, собственно, совершенно безразличен. Индивидуальное здесь абсолютно превосходит то общее, что мы называем стилем и что отдельный предмет разделяет с бесчисленным количеством других. В этом надиндивидуальном характере и кроется то смягчающее и успокаивающее, что исходит от всех строго стилизованных предметов. В человеческом произведении стиль есть нечто промежуточное между неповторимостью индивидуальной души и абсолютной всеобщностью природы. Поэтому в своей культурной среде, отделяющей его от непосредственного природного мира, человек окружает себя стилизованными объектами, и для рамы произведения искусства, повторяющего в своем отношении к окружающему отношение души к миру, подлинным жизненным принципом является стиль, а не индивидуализация.

Но если эстетическая позиция рамы наряду с известной индифферентностью определяется энергиями ее форм, чье равномерное течение характеризует ее лишь как стража границ картины, то создается впечатление, что как раз старинные рамы этому противоречат. Их стороны часто изображают пилястры или колонны, несущие карнизы или фронтоны, что делает каждую часть и всю раму в целом намного более дифференцированной и значимой по сравнению с современными рамами, чьи стороны легко могут заменить друг друга. Благодаря этой тяжелой архитектонике, этой основанной на разделении труда взаимозависимости ее элементов, внутренняя завершенность рамы в высшей степени повышается. Таким образом, она обретает собственную органическую жизнь и важность, которые вступают в конкуренцию с ее функцией простого обрамления. Это могло быть оправдано, пока внутреннее художественное единство картины, которое она в себе замыкает и ограничивает от мира, ощущалось еще не достаточно сильно. Если картина служила целям богослужений, если она участвовала в религиозном переживании, если посредством надписей или других интерпретаций она прямо обращалась к разуму посетителей—то ею таким образом завладевали внехудожественные сферы, грозя нарушить ее формальное художественное единство. Этому противостоит динамика архитектурной рамы, указывающие друг на друга части которой составляют непреодолимо крепкую связь и, следовательно, ограниченность. Чем сильнее произведение искусства отклоняет такие чуждые ему отношения, тем легче оно обходится без поддержки рамы, органическая живость которой тем не менее снова дезавуируют ее служебную функцию.

То, что современная рама с более механическим, схематичным характером своих четырех одинаковых сторон в сравнении с архитектурной являет собой прогресс, включает раму в широкомасштабный принцип культурного развития.

Однако это развитие далеко не всегда ведет отдельный элемент от механически внешней к органически одушевленной, имеющей собственный смысл, форме. Напротив, когда дух организует материю бытия все более широко и во все более высокие формы, бесчисленные образования, которые до этого были замкнуты в себе и вели представляющую их собственные идеи жизнь, деградируют в лишь механически действующие, партикулярные элементы более широких связей, которые теперь становятся единственными носителями идеи, а эти первые — лишь средствами, чье существование бессмысленно. Так средневековый рыцарь превращается в солдата современной армии, самостоятельный ремесленник — в рабочего фабрики, закрытая община — в город современного государства, домашнее производство для собственного потребления — в работу внутри мирового денежного и экономического рынка. Из отдельных, самостоятельных, самодостаточных сущностей вырастает более широкое образование, которому они словно бы отдают свою душу, свое для-себя-бытие, чтобы вновь обрести существование лишь в качестве его механически функционирующих членов. Так, механически-равномерное, само по себе лишенное значения оформление рамы, в отличие от архитектурного или «органического», показывает, что отношение между картиной и окружающим только теперь воспринято и адекватно выражено как целое. Кажущаяся более высокой духовность имеющей собственное значение рамы доказывает лишь ограниченную духовность в восприятии целого, которому она принадлежит. Производство искусства оказывается в противоречивом положении: оно должно образовывать единое целое со своим окружением, в то время как само уже является целым. Таким образом, оно повторяет общее жизненное затруднение, которое заключается в том, что элементы общностей тем не менее претендуют на то, чтобы быть автономным целым для себя самих. Из этого видно, какое бесконечно тонкое равновесие выступлений и отступлений должна удерживать рама, чтобы с наглядностью разрешать задачу разделяющего и объединяющего посредничества между производением искусства и его окружением — задача, аналогией которой является историческое взаимодействие индивидуума и общества.

Перевод с немецкого Людмилы Кортуновой

ИРВИНГ ГОФМАН

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ФОРМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ¹

ВВЕДЕНИЕ

Любой фрагмент деятельности осознается по правилам, заданным первичными системами фреймов (социальных или природных); такого рода восприятие деятельности определяет два основных вида преобразований опыта — переключение и намеренную фабрикацию. Неверно утверждать, что первичные системы фреймов представляют собой измышление, в известном смысле они соответствуют способу организации данной деятельности — особенно деятельности, полагающей в себе социальных агентов. Речь идет об организационных предпосылках чего-то такого, что человеческое познание осваивает, к чему приходит и чего оно не может создать лишь собственными творческими усилиями. Если действующие индивиды понимают, что именно здесь работает, они подстраивают свои действия под это понимание и обычно обнаруживают, что пребывающий в движении мир помогает подобному приспособливанию. Данные организационные предпосылки (имеющие опору и в сознании, и в особенностях деятельности) я называю фреймом деятельности (*frame of the activity*).

Нами также высказано предположение, что деятельность, смысл которой раскрывается в применении конкретных правил и в приспособительных действиях со стороны толкователя смысла, короче говоря, деятельность, образующая предмет толкования, протекает в физическом и социальном мире. Рассказывая о фантастических

¹ Данный текст является фрагментом книги И. Гофмана «Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта» (1974). На русском языке этот фундаментальный труд по социологии повседневности был впервые опубликован в 2003 году при финансовой поддержке Института Фонда «Общественное мнение»: Гофман И. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта / Под ред. Г. С. Батыгина и Л. А. Козловой; вступ. статья Г. С. Батыгина. М.: Институт социологии РАН, 2003. Мы искренне признательны Л. А. Козловой и А. А. Ослону за разрешение на публикацию — *Прим. ред.*

местах, можно использовать самые причудливые слова, но они говорят только в реальном мире, даже если речь идет о сновидениях. Когда Сэмьюэл Колридж видел сон о Кубла-хане, он грезил отнюдь не в мире грез: начало и конец его сновидения должны были подчиняться законам «естественного течения» времени; чтобы погрузиться в сон, он должен был лечь в постель, провести в состоянии засыпания значительную часть ночи и, скорее всего, ему действительно потребовался наркотик; наконец, по мере необходимости ему приходилось как-то реагировать на окружающую среду, он должен был как-то заботиться о температуре и тишине в комнате, чтобы сон не прерывался. (Стоит представить, сколько организационных хлопот доставляет подготовка сна космонавта, находящегося в полете.) В этой главе я хочу рассмотреть именно такое взаимосцепление элементов фрейма в неинсценированном мире повседневности.

Связь фрейма с окружающим миром сложна. Приведем пример. Два человека сидят за оборудованным для игры столиком и решают, во что им играть — в шахматы или шашки. С точки зрения порождаемого игрой мирка, в который они вот-вот погрузятся, разница между шахматами и шашками большая: будут развиваться две совершенно различные игровые драмы, требующие столь же непохожих игровых характеров. Но если бы к двум игрокам захотели обратиться незнакомец, работодатель, вахтер, полицейский или кто-то еще, то всем им было бы вполне достаточно знать, что интересующие их мужчины заняты какой-то настольной игрой. Именно этой относительно абстрактной категоризацией характера игры преимущественно определяется ее будничное включение в непосредственный окружающий мир повседневности, ибо в этом процессе участвуют такие факторы, как электрическое освещение, размеры помещения, необходимое для игры время, право других людей открыто наблюдать и при определенных обстоятельствах прерывать партнеров, просить их отложить игру или физически передвинуться на другое место, право игроков говорить по телефону со своими женами, чтобы сообщить о задержке из-за необходимости довести игру до конца. Эти и множество других деталей, благодаря которым то, что происходит между игроками, должно занять свое место в остальном непрестанно движущемся мире, относительно независимы от того, *какая именно* идет игра. Вообще говоря, в окружающем мире прежде всего находит выражение привычный способ переработки, преобразования формы восприятия или деятельности, а не само таким образом преобразованное. И все же вышеупомянутая независимость неполна. Существуют такие следствия принципиального различия между шахматами и шашками, кото-

рые влияют на мир, внешний по отношению к внутренним процессам, происходящим в этих играх. Например, в Америке тех, кто играет в шахматы, склонны считать культурно развитыми, — социальная идентификация, не гарантированная игрокам в шашки. Далее, если желающим играть доступен только один комплект оборудования для каждой из игр, то выбравшие одну из них, могут вынудить следующую пару играть в другую. И, разумеется, какую бы игру ни выбрали претенденты, они должны иметь предварительное знание о ней. (Они должны также иметь желание играть вообще и специальную готовность играть друг с другом, но эти психологические предпосылки не очень разнятся для шахмат и шашек.) Повторим еще раз: подобная аргументация может быть развита в отношении любой деятельности, требующей самососредоточения и богатого воображения². Каким бы изменчивым ни было содержание кувшина, его ручка остается вполне осязаемой и неизменной.

Заметим, что любое обсуждение процесса игры и того, как вписывается игра в окружающий мир, то есть любое обсуждение очертаний этого фрейма, ведет к очевидному парадоксу. Знание игроков и неигроков о том, где кончаются требования находящегося в движе-

² У Г. Зиммеля встречается образец такой аргументации применительно к произведениям искусства: «Современные теории искусства усиленно подчеркивают, что основной задачей живописи и скульптуры является изображение пространственной организации вещей. Бездумно соглашаясь с этим утверждением, кто-то потом может так же легковесно не признавать, что пространство в картине — это структура, совершенно отличная от реального пространства, которое мы знаем по опыту. В действительном пространстве объект можно потрогать, а в живописном на него можно только смотреть; каждый уголок реального пространства переживается нами как часть потенциально бесконечного, тогда как пространство картины воспринимается как замкнутый в себе мир; реальный объект взаимодействует со всем, что посылает импульсы из прошлого или окружает в настоящем, но произведение искусства обрывает эти нити, сплавляя в некое самодостаточное единство только элементы своего собственного содержания. Следовательно, произведение искусства живет вне реальности. Разумеется, оно черпает из нее свое содержание, но из зрительных образов реальности оно строит некое суверенное царство. Хотя холст и краска на нем суть элементы реальности, произведение искусства, созданное из них, существует в идеальном пространстве, которое способно войти в контакт с реальным пространством не больше, чем цветовые тона могут соприкоснуться с запахами». (См. эссе Г. Зиммеля «Рама картины» и «Ручка».)

нии мира и где начинаются требования самой игры, есть часть всего того, что играющие вносят в игру извне, и все же это знание оказывается необходимой составной частью игры. Самые пункты, в которых внутренняя деятельность затухает и эстафету перехватывает внешняя деятельность, — то есть очертания фрейма как такового — обобщаются индивидом и включаются в его первичную схему интерпретации опыта, тем самым рекурсивно становясь дополнительной частью этого фрейма. В общем, выходит, что те предположения, которые обособляют деятельность от внешнего окружения, намечают также пути, неизбежно связывающие ее с окружающим миром.

Можно предположить, что этот парадоксальный вывод оказывается непоколебимым жизненным фактом и для тех, кто занимается другими делами. Когда два человека сходятся для игры в орлянку, напрашивается допущение, что игрокам хватит освещения разглядеть: «орел» или «решка». Но ничто не заставляет нас думать, будто окружающие обязаны обеспечить игроков закуской и ванной. Если игра затянется, названные услуги, возможно, придется предоставить, ибо где бы и кто бы ни продолжал ее, по истечении определенного времени возникает не связанная с игровой ролью нужда в подкреплении едой, в отдыхе и т. п. И материальное оборудование может потребовать обновления. (Например, в казино должны быть предусмотрены средства на замену изношенных карт и мытье загрязнившихся фишек.) Но обратите внимание на то, что очень часто обслуживание, необходимое людям и оборудованию (какая бы область деятельности ни поддерживалась сохранением их в рабочем состоянии), является общедоступной институциональной частью определенного, устоявшегося социального механизма. Фактически игроки и оборудование, занятые в очень разных, но взаимопереплетающихся видах деятельности, могут пользоваться одними и теми же местными источниками обслуживания. Вся эта рутина обслуживания позволяет людям считать ход событий само собой разумеющимся и забывать о необходимых условиях своей деятельности, когда они удовлетворительны и не причиняют беспокойств. Но существует множество специальных проявлений человеческой активности, словно предназначенных напоминать о необходимом закреплении наших действий, а именно таких ее проявлений, из-за которых мы на длительное время лишаемся социально институционализированного обслуживания. Примерами служат семейные туристические походы, альпинистские экспедиции и военная переподготовка в полевых лагерях. В таких случаях «институциональный механизм» должен быть «принесен с собой»; необходимость материально-технического обеспечения становится осознанной про-

блемой и в такой же мере частью планов, связанных с основной сюжетной линией данного вида деятельности³.

Вопрос о том, как фреймированная деятельность встраивается в движущуюся реальность, по-видимому, тесно связан с двумя другими, а именно: как человеческая деятельность переключается в иной регистр и, особенно, как ее можно подстраивать, фабриковать. Сам Уильям Джемс указывает направление исследований этой проблемы.

Когда Джемс ставит вопрос: «При каких условиях мы признаем вещи реальными?» — он так или иначе допускает, что реальности самой по себе недостаточно, а тому, что реально принимается в расчет, сопутствуют некие принципы убедительности. (Его ответ, без сомнения, неадекватный, вызывает новый вопрос: каким образом мир представляется нам связным?) Далее можно было бы поразмышлять о практической осуществимости этих принципов в случаях, когда то, что вне всякого сомнения казалось прочным, имеющим продолжение, фактически его не имело. Такая мысль сразу же порождает фундаментальную дилемму. Что бы в этом мире ни создавало для нас убедительность и чувство уверенности — это в точности то же самое, что используется желающими ввести нас в заблуждение. Бывают свидетельства, подделать которые гораздо труднее остальных, и поэтому именно они используются для проверки подлинности происходящих событий. Люди обычно полагаются на подобные свидетельства, основываясь на точно таких же соображениях, а обманщики руководствуются ими в своих подделках. Во всяком случае, в жизни выходит так, что беспристрастный анализ способов разоблачения обмана, в общем, равнозначен анализу надежных способов осуществления фабрикации. Парадоксально, что пути, которыми эпизоды нашей деятельности вклю-

³ Военные игры (учения) придают всему этому особый поворот. Так как материально-техническое обеспечение является весьма значительной частью всякого военного мероприятия, его *практическая организация* должна требовать внимания к стратегическим запасам, медицинскому обслуживанию, каналам связи и ко всем прочим условиям жизни означенного сообщества. Но поскольку участники военных сборов в известной мере оторваны от устоявшихся институциональных служб, постольку реальное снабжение продовольствием, обеспечение медикаментами, каналами связи и т. д. организовывается отдельно и, более того, таким образом, чтобы избежать смешения с существующими вариантами организации такой деятельности. Заметим, что чем большее значение придается вопросам материально-технического снабжения и необходимости их практического решения в полевых условиях, тем большими, вероятно, будут реальные запросы этой сферы деятельности.

чаются в окружающий мир, и пути возможной фабрикации обманов во многом одинаковы. Вследствие этого можно установить, как формируется наше ощущение обыденной реальности, изучая процессы, которые легче поддаются целенаправленному анализу, а именно процессы имитирования и /или подделывания реальности.

II. УСЛОВНОСТИ, СЛУЖАЩИЕ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ЭПИЗОДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Деятельность, находящаяся в определенном фрейме, — особенно коллективно организованная социальная деятельность — часто выделяется из непрерывного потока окружающих событий специальным набором пограничных знаков, или некими условными скобками⁴.

⁴ К такому словоупотреблению требуется пояснение. В этой книге скобки выступают не как мой собственный эвристический прием, но претендуют быть частью организационных свойств текущего опыта, хотя, конечно, некоторые его фрагменты, по-видимому, проявляют эти свойства намного отчетливее других, и похоже, что именно «общество» наделено ими в большей мере, чем «природа». Думаю, пишущие в феноменологической традиции применяют термин «скобки» в слегка отличном смысле, не для обозначения естественных границ эпизодов деятельности, но скорее для обозначения внутренних границ, которые ученый может использовать, чтобы остановить поток опыта с целью его анализа в сознании и посредством этого дать отпор любым предвзятым идеям об элементах или силах внутри этого опыта. (Мой термин «эпизод» обозначает то, что может быть отсечено таким образом.) В подобных вопросах авторитетом является Э. Гуссерль. Пр процитируем его: «Итак, я, следовательно, *выключаю все относящиеся к этому естественному миру науки*, — сколь бы прочны ни были они в моих глазах, сколь бы ни восхищался я ими, сколь бы мало ни думал я о том, чтобы как-либо возражать против них; я абсолютно не пользуюсь чем-либо принятым в них. Я не воспользуюсь ни одним-единственным из принадлежащих к таким наукам положений, отличающихся даже полнейшей очевидностью, не приму ни одного из них, ни одно из них не предоставит мне оснований, — хорошенько заметим себе: до тех пор, пока они разумеются такими, какими они даются в этих науках, — как истины о действительном в этом мире. Я могу принять какое-либо положение, лишь после того как заключу его в скобки. Это значит: лишь в модифицирующем сознании, выключающем суждение, стало быть совсем не в том виде, в каком положение есть положение внутри науки: положение, претендующее на свою значимость, какую я признаю и какую я использую» (Husserl E. Ideas: General Introduction to pure Phenomenology / Transl. by W. R. Boyce Gibson. London: George Allen & Unwin, 1952. P. III; Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии

Во времени они могут проявляться до начала и после окончания деятельности, а в пространстве — устанавливать ее пределы, короче говоря, это пространственно-временные скобки. Такие знаки, подобно деревянной картинной раме, предположительно не являются ни частью содержания соответствующей деятельности, ни частью мира вне ее, но, скорее, пребывают одновременно и внутри, и снаружи — парадокс, который уже упоминался ранее и который нельзя обойти, потому что представить его ясно нелегко. На первый случай можно поговорить об открытии и закрытии временных скобок и о постановке пространственных скобок. Знакомый пример — набор приемов, давно разработанных в западной драматургии: в начале спектакля гаснут огни, слышится звонок и поднимается занавес; в конце — падает занавес и зажигаются огни. (Все это — театральные знаки, характерные для [культуры] Запада, но как класс подобные явления распространены шире. Так, в китайском классическом театре используется деревянная трещотка, называемая «ки»⁵.) И в этом временном промежутке мир театральной игровой деятельности сужен до арены, заключенной в скобки физическими границами сцены⁶.

и феноменологической философии. Т. 1. Общее введение в чистую феноменологию / Пер. с нем. А. В. Михайлова. М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. С. 73. Курсив оригинала).

К этому можно добавить, что хотя авторитетное суждение Гуссерля, по-видимому, вполне приемлемо в исследованиях устоявшихся, успешно работающих наук, его применение к общественным наукам порождает определенные и очень понятные трудности, так как практические работники последних сами претендуют на участие в формулировании социологических понятий, анализируя их социальные предпосылки и т. д. Заключать в скобки сделанное *этими практиками* фактически означает притязание сделать то же самое лучше.

⁵ Miyake S. Kabuki Drama. Tokyo: Japan Travel Bureau, 1964. P. 71.

⁶ У Мери Дуглас читаем: «Для любого из нас повседневное использование символов имеет несколько значений. Оно дает механизм фокусирования, метод мнемоники, и позволяет контролировать опыт. Для начала рассмотрим фокусирование, для которого ритуалы задают рамки. Обозначенное время или место порождают специфические ожидания точно так же, как всем известное «жили-были» настраивает нас на восприятие волшебной сказки. Мы можем вспомнить множество подобных мелочей из своего опыта, так как самое незначительное действие способно быть значительным. Определение рамок и вписывание в них ограничивает опыт, включает в него желательные темы или перекрывает путь вторжению нежелательных» (Douglas M. Purity and Danger. London: Routledge & Kegan Paul, 1966. P. 62–63; Дуглас М. Чистота и опасность.

Существуют и другие очевидные примеры. Молоток председателя, призывающий собрание к порядку и объявляющий перерыв в заседании, — это вполне понятный пример постановки временных скобок. Кинематографическое преобразование в процессе съемки настоящей, реальной деятельности, несомненно, имеет отчетливые пространственные ограничения, обусловленные фокусным расстоянием объектива:

Обычный человеческий взгляд, широко охватывающий лежащее перед ним пространство, не существует для режиссера. Он видит и строит только в том условном куске пространства, которое может охватить объектив съемочного аппарата, и более того, это пространство еще как бы обведено твердо выраженным контуром, и уже сама ясная выраженность этого контура рамки неизбежно обуславливает строгость композиции пространственных построений. Нечего и говорить о том, что актер, снимаемый крупным планом, в некоторых своих перемещениях может запросто выйти из панорамы объектива. Если, предположим, он сидит с наклоненной головой и эту голову нужно поднять, то, при известном приближении аппарата, уже ошибка актера на ю сантиметров может оставить для зрителя на экране только один подбородок, все же остальное будет за пределами экрана, или, в технических терминах, «срезано». Этот элементарный пример грубо подчеркивает еще раз неизбежность точного пространственного рисунка любого движения, которое режиссер снимает. Конечно, это требование относится не только к крупному плану. Снять вместо человека две трети его — грубая ошибка, распределить же снимаемый материал и его движения по прямоугольнику кадра так, чтобы все отчетливо и ясно воспринималось, построить все так, чтобы прямоугольный контур экрана не мешал композиции,

Анализ представлений об осквернении и табу / Пер. с англ. Р. Громовой. Под ред. С. Баньковской. М.: Канон-пресс-Ц; Кучково поле, 2000. С. 100).

Затем Дуглас цитирует высказывание Марион Милнер, которое я продолжил по оригиналу: «Я давно интересовалась ролью рамы, пытаясь понять некоторые психологические факторы, помогающие либо мешающие рисованию картин. Рама выделяет совсем иной род деятельности, заключенной внутри нее, из реальности вне ее. Но подобно этому некая пространственно-временная рамка тоже выделяет из мира повседневности особого рода реальность психоаналитического сеанса. И в психоанализе именно существование этой рамки делает возможным полное развитие той творческой иллюзии, которую психоаналитики называют переносом [чувств пациента на психотерапевта]». См.: Milner M. The Role of Illusion in Symbol Formation // New Directions in Psychoanalysis / Ed. by M. Klein et al. London: Tavistock Publications, 1955. P. 86.

а включал в себя найденное построение — это и есть цель, к которой стремятся кинооператоры⁷.

Условности, выделяющие эпизоды, обозначают также начало и окончание театрального «марафона», или серии представлений, выражаясь в характерном поведении их участников во время «первых представлений» и «заключительных представлений»: рассылке поздравительных телеграмм, море цветов и т. п. Эта «постановка скобок» несколько более высокого порядка, по-видимому, слабо систематизирована⁸.

Без сомнения, сигналы переключения внимания — это тоже явные примеры из практики выделения эпизодов деятельности. Пример — обсуждение Бейтсоном сигнала «представление начинается». (Более тонким делом оказывается постановка скобок вокруг умышленных фабрикаций, поскольку в их природе заложено, что обманщик начинает действовать еще до появления на сцене простофили и заканчивает сразу же, как только тот покинул ее. Этим достигается тот эффект, что простак не подозревает о поддельной реальности, заранее ожидавшей его появления, и не знает о фабрикатах, которые специально для него позаботились неправильно расставить скобки.) Во многих видах спорта и игры правила такой расстановки скобок церемонизированы частично с целью обеспечения спортивной «честности», то есть равных шансов для всех соревнующихся, и эти упорядочивающие акценты в игре способствуют обобщенному пониманию условностей, применяемых при «расстановке скобок» в человеческой деятельности. Таковы церемонии вбрасывания шайбы в хоккее, введения мяча в игру с центра поля в футболе, быстрое рукопожатие в борьбе и короткое соприкосновение перчатками в боксе.

2. Хотя примеры «скобок», которые я упомянул, наверное, наиболее очевидны и имеют отношение преимущественно к развлекательной стороне жизни, все же нельзя позволить им увести наше внимание от тех областей, где расстановка скобок имеет практическое зна-

⁷ Pudovkin V. Film technique and film acting / Transl. by I. Montagu. New York: Bonanza Books, 1959. P. 80–81. [Русский оригинал: Пудовкин В. И. Кино-режиссер и кино-материал. М.: Кинопечать, 1926. С. 32–33. Здесь и далее цитаты из книги В. И. Пудовкина приводятся с сохранением авторской орфографии и пунктуации.]

⁸ «Заклучительные представления» исполнителей джаза описаны в газетной колонке Ральфа Глисона, озаглавленной по этому случаю «Они выходят оттянуться в свинге» (San Francisco Chronicle. February 27, 1963).

чение. Математики, к примеру, используют элегантный и сильный прием заключения формулы в простые типографские скобки $()$, устанавливающие границы ее фрагмента, который может иметь любую длину и в котором все составляющие должны быть преобразованы одним и тем же способом в одно и то же время, а место слева от скобок — это место знака действия, так что поставленное туда математическое выражение определяет характер преобразования. Число строк в интервале, ограниченном скобками, означает число строк математических символов, каждый из которых должен быть назван при чтении формулы в скобках. Это выглядит так, словно все человеческие способности думать и действовать в определенном фрейме представлены в предельно сжатой и очищенной от всего лишнего форме — наподобие штриховой гравюры по карандашному наброску. Несколько менее изящны, но еще более важны практические приемы расстановки «скобок» в синтаксической организации предложений, где место в последовательности слов, знаки пунктуации и категория части речи определяют, какие именно слова (одно или несколько) должны быть взяты в фигуральные и буквальные скобки и какую синтаксическую роль должна играть сформированная таким образом единица предложения. Заметим, что и в математике, и в обычном языке (где скобки могут принимать свою «буквальную» форму, что я в данный момент и демонстрирую) знак-оператор и материал в скобках, который он преобразует, сами как целое могут заключаться в скобки и подвергаться новому преобразованию. Это обычная практика в системе обозначений и операций символической логики.

Заключение в скобки становится очевидной и банальной процедурой в случаях, когда предстоящая деятельность сама по себе деликатна или уязвима по отношению к определению ситуации и с большой вероятностью может порождать напряжения при субъективном включении в нее. Так, ранее уже говорилось о возможных приемах, которые используются в лечебных учреждениях и в натуральных классах живописи для ясного определения, какой должна быть перспектива поведения окружающих в присутствии обнаженной женщины. В обоих случаях одевание и раздевание — дело интимное и не подлежащее обозрению, а потому вполне естественно, что обнаженное тело с одинаковой самопроизвольностью и внезапностью может появляться в поле зрения и исчезать под одеждами, снятие и надевание которых ясно указывают на границы эпизодов функционального обнажения и, наверное, облегчают вхождение окружающих в трудную для них ситуацию. Этому делению потока деятельности на эпизоды,

конечно же, может помочь архитектура, предусматривающая открытые авансцены и скрытые от посторонних закулисные помещения:

В закулисной зоне «Стрип-отеля» разгуливают, может быть, самые роскошные и красивые девушки в мире — некоторые полуодетые, некоторые совсем раздетые. При виде постороннего мужчины за кулисами они стремглав разбегаются в поисках укрытия. Девушки, которые маршируют по всей сцене почти нагими, краснеют и прикрывают интимные места во время перехода со сцены в артистическую уборную. «Дайте пройти, в конце концов, ведь я же вас не знаю!» Странно слышать это от тех самых созданий, которые ежедневно выставляют себя голыми перед жадными глазами сотен незнакомых мужчин. «Но это же совсем другое дело, когда ты не на сцене! Это так лично...»⁹.

Рассмотрим теперь возможность, когда скобка, отмечающая начало конкретного вида деятельности, имеет большее значение, чем скобка в его конце. Ибо (как уже отмечалось применительно к системе обозначений в математике) вполне разумно предположить, что скобка начала будет открывать не только эпизод, но и некое «окно» для сигналов, которые станут передавать информацию и определять вид преобразований в пределах эпизода. Очевидно, что в подобных случаях принято пользоваться терминами «вступление», «предисловие», «предварительные замечания» и т. п. Так, возможно, в самом знаменитом прологе из всех существующих (к «Генриху V» У. Шекспира) содержится явное откровение и обнажение театрального фрейма. В самом ли деле эти тридцать четыре строки так уж драматически хороши и успешно выполняют предписывавшуюся им задачу, — все это проблематично. Тем не менее они дают удивительно ясное изложение специфической задачи театрального фрейма и в то же время изящно иллюстрируют парадокс: пролог одновременно есть часть следующего за ним драматического мира и внешний комментарий к нему¹⁰.

Заключительные скобки, по-видимому, несут меньшую нагрузку, в чем, возможно, находит отражение тот факт, что обычно гораздо

⁹ Hertz M. Las Vegas Sun. September 14, 1961.

¹⁰ Одной из иллюстраций исторических изменений, произошедших в приемах создания фрейма театральной деятельности в новые времена, является упадок пролога. Хотя еще бывают драмы, которые используют вступления наподобие пролога, но для этого может потребоваться намеренный архаизм (как в пьесе Т. Уайлдера «Наш городок») или пародийный трюк (как в пьесе Дж. Геллера «Связь»). Все выглядит так, словно мы утратили доверие к прологу, этому старому театральному приему.

легче положить конец использованию той или иной формы, чем найти и установить ее. Но все же эпилоги пытаются подытожить произошедшее, придавая этому подходящую собственную форму. Более важен случай, когда любителям по-коммерчески подаваемых чужих переживаний нужна уверенность в том, что прекращение передачи ставит точку в момент, когда стало возможным правильно оценить полное значение разыгранной драмы, а не просто тогда, когда авторов одолели технические трудности.

Можно сделать два замечания о «калибровочных» функциях условностей, используемых при выделении эпизодов, включенных в ту или иную деятельность. Во-первых, как подсказывает введение к данной главе, использующий эти приемы, видимо, часто полагается на их свойство создавать фрейм для всего того, что идет после них (или до них, в случае эпилогов), и, кажется, отчасти не обманывается в этом ожидании. Так, проводя беседу или читая лекцию, оратор нередко начинает с замечания, как он рад встрече с присутствующими и как недостоин полученного приглашения; он слегка подтрунивает над собой с целью показать, что роль, которую он собирается взять на себя, не ввела его в искушение завышенной самооценки; а затем он коротко обрисовывает распределение запланированного лекционного материала в более широком контексте и обосновывает избранный стиль изложения. В случае успеха этот ряд рутинных действий устанавливает ясность в понимании возможных форм всего того, что должно последовать дальше, обычно прибавляя к целому еще один нюанс, а именно понимание аудиторией, что предлагаемое ее вниманию — это лишь *одно специальное* измерение оратора, а не полное выражение всего, на что он способен. (Действительно, некоторые разговоры, видимо, главным образом служат говорящему средством для демонстрации того, что у него есть собственное мнение обо всем, и тем самым предлагается некая модель этой разновидности человеческого тщеславия.) Когда разговор сам по себе бесплоден (что случается часто), слушатели обычно обнаруживают, что говорящего не так-то легко отделить от его речей, а его усилия при создании фрейма общей беседы не делают его общим, подрывая ту организующую роль, которую он должен был бы выполнить. Аналогично, сама возможность того, что заключительные слова, добавив какой-то решающий штрих, могут по-новому осветить все ранее сказанное, в состоянии подтолкнуть оратора к попыткам в этом роде, порой с последствиями, еще более разрушающими рамки разговора.

Во-вторых, поскольку «вступительные замечания» могут задавать сценическую постановку и фрейм последующего речевого взаимо-

действия, постольку можно считать стратегически важным фактором «получение первого слова». Приведем пример.

Наше единственное опасное столкновение с законом произошло, когда однажды мы смывались после кражи: мы втроем сидели в авто спереди, а заднее его сиденье было завалено краденым барахлом. Вдруг мы увидели вынырнувшую из-за угла полицейскую машину, она приближалась и явно шла за нами. Они просто патрулировали. Но в зеркале заднего вида мы наблюдали их разворот на 180 градусов и поняли, что они скоро подадут нам сигнал остановиться для проверки. Они засекли нас мимоходом, потому что мы негры, зная, что неграм нечего делать в этот час в этом районе.

Положение было пиковое. Вокруг много грабили, мы знали, что наша банда далеко не единственная, куда там. Но я знал также, что редко кто из белых сможет даже подумать, что негр способен перехитрить его. Еще до того как они включили мигалку, я велел Руди остановиться. Я повторил то, что уже проделал однажды: вышел из машины и зашагал в их направлении, призывно махая рукой на ходу. Когда они остановились, я был возле их машины, а не они у нашей. Я спросил их, путаясь в словах, как и подобает смущенному негру, не могли бы они подсказать, как попасть в Роксбери. Они ответили, и мы мирно разъехались по своим делам¹¹.

3. Теперь рассмотрим случай, когда условности разделяют человеческую деятельность на эпизоды предписанными общедоступными средствами, благодаря которым индивид, намеревающийся активизироваться в конкретной роли или партии и включиться в какую-то деятельность, в состоянии показать другим, что он так и поступает. Ранее было показано, как говорящие берут на себя ораторскую роль. В случае гипнотического транса (или, по меньшей мере, того, что некоторые считают гипнотическим трансом) приемы для обозначения начала и окончания эпизода оказываются также приемами, символизирующими переход субъекта в гипнотическое состояние, в иной характер, и его возвращение «в себя». Превращение человека в одержимого духом во время вудуистских обрядов — яркий пример принятия иного облика:

Объяснение мистического транса, даваемое приверженцами культа вуду, просто: «лоа» (дух) вселяется в голову человека, сперва выгоняя из нее «большого доброго ангела» (*gros bon ange*) — одну из двух душ, которые носит в себе каждый. Это изгнание доброй души — причина корчей и судорог, характерных для начальных стадий транса...

¹¹ The Autobiography of Malcolm X. New York: Grove Press, 1966. P. 144–145.

Симптомы вступительной фазы транса — явно психопатологические. В главных чертах они точно соответствуют стандартным клиническим описаниям истерии. Одержимые люди вначале производят впечатление, потерявших контроль над своей двигательной системой. Сотрясаемые спазматическими конвульсиями, они скачут, как на пружинах, неистово кружатся, вдруг застывают и неподвижно стоят в наклонном положении, раскачиваются во все стороны, шатаются и спотыкаются на ходу, выпрямляются, снова теряют равновесие, — пока окончательно не впадут в полубессознательное состояние. Иногда такие приступы начинаются внезапно, иногда их предвещают некоторые предупредительные знаки: отсутствующее или мученическое выражение глаз, легкая дрожь разных частей тела, прерывистое дыхание или капли пота на лбу — черты лица становятся напряженными или страдальческими.

В некоторых случаях трансу предшествует сонливость. Одержимый не в состоянии держать глаза открытыми и кажется с трудом преодолевающим непонятную вялость во всем теле. Долго такое состояние не сохраняется и внезапно сменяется резким пробуждением, сопровождаемым судорожными движениями¹².

Интересно отметить, что поскольку европейский театр предполагает, будто зрители, как по волшебству, сразу посвящены в события на сцене, постольку первоначальное вхождение в свой мир — это именно то, чего не будут демонстрировать изображаемые на сцене персонажи, так как они уже предполагаются равными самим себе. (Как говорилось ранее, пауза, которую может держать артист в ответ на аплодисменты при первом своем появлении, представляет собой небольшую отсрочку начала роли, в которой он будет выступать, а не введение в нее.)

4. Подобно всем другим элементам фрейма различия в характере условий, связанных с выделением эпизодов деятельности, обнаруживаются не только при межкультурных сравнениях, но и внутри определенного общества в разные периоды его существования. Для изучения различий второго рода подходящим общим случаем являются

¹² А. Мэтро подытоживает описание следующим образом: «Эта предварительная фаза может быстро заканчиваться. Одержимые резво пробегают весь диапазон нервных симптомов. Они трясутся, шатаются, производят еще какие-то механические подергивания и потом неожиданно, сразу — впадают в полный транс. Но это может случиться даже и без такой прамбулы, когда церемония в полном разгаре и требует быстрого вхождения в нее божеств и духов» (Métreaux A. Voodoo in Haiti / Transl. by H. Charteris. New York: Oxford University Press, 1959. P. 121).

изменения театральных фреймов в обществах западного типа, а конкретным примером — изменения в свойственных этому фрейму условиях, обнаруживаемых при выделении эпизодов. Так, введение в 1817 году газового освещения в лондонских театрах и позже в 60-х годах XIX века электроискровых запалов для газа сделало технически возможным быстрое тушение и зажигание светильников в зале и тем самым создало удобный сигнал для извещения аудитории о начале и окончании действия в рамках организации театрального зрелища¹³. Описаны также изменения в использовании занавеса для обозначения начала и завершения театральных сцен:

Разработка специальных устройств для быстрой смены исполняемых сцен подводит нас к одному любопытному моменту, которым, как ни странно, до сих пор пренебрегали. Вплоть до последней четверти XIX века перемена сцен театрального действия происходила на глазах публики. Это было частью развлечения. Люди получали удовольствие, наблюдая, как одна сцена, словно по волшебству, превращается в другую. Всего лишь несколько десятилетий назад эта традиция жила в буффонадных и пантомимических сценах театрального перевоплощения. Тогда почему же имели занавес древнеримский театр и театры эпох Ренессанса и Реставрации? Они использовали его просто для сокрытия от глаз зрителей самой первой мизансцены и как сигнал о конце представления. Почти до 1800 года в Англии не было никаких «актовых занавесов», то есть опускания занавеса по окончании очередного акта пьесы: публика узнавала о его завершении, когда все актеры уходили со сцены. И в той же Англии до 1881 года не было занавесов, скрывающих перемены сцен в течение акта. В тот год Генри Ирвинг ввел так называемый сценовой занавес, чтобы зрители не видели 135 рабочих сцены, реквизиторов и осветителей-газовиков, которые привлекались для обслуживания пьесы «Корсиканские братья»¹⁴.

5. Рассматривавшиеся до сих пор открывающие и закрывающие временные скобки иногда полезно называть «внешними», так как во многих видах деятельности встречаются внутренние скобки — такие, которые отмечают короткие паузы, перерывы в процессе деятельности, переживаемые как время, не входящее в состав фрейма. Классиче-

¹³ Macgowan K., Melnitz W. *Golden Ages of the Theater*. Englewood Cliffs (N. J.): Prentice-Hall, 1959. P. 113.

¹⁴ Ibid. P. 31. Об истории использования занавеса в древнеримской драме см.: Beare W. *The Roman Stage*. London: Methuen & Co., 1964. Appendix E «The Roman Stage Curtain». P. 267–274.

ский пример являют антракты между сценами или актами (действиями) в пьесе. В качестве других примеров можно взять перерывы между школьными четвертями, половинами игры, раундами в боксе, периодами нахождения у власти, сбора урожая и т. п.

Внутренние скобки как таковые существенным образом отличаются друг от друга своим местоположением и назначением. Встречаются скобки, которые заранее встроены в процесс деятельности и предусмотрены для обозначения временной паузы — перерыва на отдых или на пересменку — для всех, кроме немногих специальных участников, как в случаях седьмой подачи на заключительном этапе игры в бейсбол и второго антракта в спектаклях. Существуют и незапланированные скобки, которыми позволено пользоваться конкретным индивидам и которые означают право на мгновение задерживать общую работу, чтобы уладить нечто, определяемое как внезапная и острая личная нужда. Следует ожидать, что между заранее предусмотренными, коллективно применяемыми внутренними и незапланированными, индивидуально используемыми скобками можно найти и некие промежуточные формы, и более того, историю перехода от одной их разновидностей к другой. Показательный пример такого перехода — фактическая институционализация в современных учреждениях «перерыва на кофе» (а в Англии, наиболее продвинутой в этом отношении стране, — на «легкий ланч в 11 часов»).

Виды деятельности варьируют соответственно разновидностями допускаемых ими внутренних скобок. В игровом взаимодействии в теннисе больше времени тратится на перерывы, чем на эпизоды непрерывной игры, хотя во многих видах спорта, раз уж мяч попал в игру, в ней не так легко устроить перерыв. Сексуальное взаимодействие практически сплошь состоит из возобновлений игры после взятых тайм-аутов, причем исключительное право устанавливать время передышки между половыми актами предоставляется природе.

Помимо различий между видами деятельности в одной культуре, несомненно, существуют и общие межкультурные различия. Грегори Бейтсон дает нам подходящую иллюстрацию:

Формальные технические приемы социального воздействия на людей (ораторское искусство и т. п.) почти полностью отсутствуют в культуре острова Бали. Требовать продолжительного внимания от отдельного человека или оказывать эмоциональное давление на группу считается чем-то безвкусным, да и невозможно практически, так как в подобных обстоятельствах внимание атакованной жертвы быстро притупляется и рассеивается. На Бали отсутствуют даже такие относительно длинные речи, которые понадоби-

лись бы в большинстве других культур для рассказывания жизненных историй. Как правило, тамошний рассказчик останавливается после одной-двух фраз и дожидается, пока кто-то из слушателей задаст ему прямой вопрос, касающийся подробностей излагаемого сюжета. Только тогда он ответит на него и таким образом продолжит прерванное повествование. Очевидно, что эта процедура не дает накапливаться межличностному напряжению, вызываемому неадекватным взаимодействием¹⁵.

Достойно рассмотрения отношение между условностями, связанными с расстановкой скобок, и ролевыми циклами деятельности. Если в качестве точки отсчета взять любой случай организованной социальной деятельности, то характер ее внешних скобок будет зависеть (частично) от наличия в ней внутренних. Но из более масштабной перспективы внешние скобки могут быть увидены и как внутренние. Так, ритуал прощания, которым заканчивается день в учреждении, можно рассматривать в качестве внешней скобки в масштабе всего трудового дня, но тот же ритуал одновременно видится и как внутренние скобки в перспективе долговременных трудовых обязательств, например, постоянного исполнения определенной рабочей роли, которое прерывается в конце каждого буднего дня, на выходные в конце недели, на праздничные и отпускные дни. Подобным же образом на каждое исполнение пьесы с чьих-то позиций можно смотреть как на часть целого, некоего растянутого во времени процесса — «марафона», и тогда ритуалы поднятия и опускания занавеса в каждом спектакле становятся чисто внутренними скобками, за исключением, конечно, этих же ритуалов в первом представлении и заключительном представлении.

6. Рекомендуемое здесь различие между внешними и внутренними скобками — это лишь начало рассуждения. Фактически потребуются рассмотреть целый ряд структурных вопросов. Во-первых, во многих видах коллективной деятельности типа вечерних театральных представлений процесс «расстановки скобок» связан с подготовкой и ориентированием участников и с достижением определенных более или менее стандартизированных результатов до и после реального выполнения деятельности. Тут нам понадобится различие (которое ввел Кеннет Пайк) между собственно «игрой» и публичным «спектаклем»,

¹⁵ Bateson G. Bali: The Value System of a Steady State // Social Structure: Studies Presented to A. R. Radcliffe-Brown / Ed. by M. Fortes. Oxford: Oxford University Press, 1949. P. 41.

то есть между драматическим действием как таковым, спортивным состязанием, свадебной церемонией или судебным разбирательством и той социальной данностью, или тем общим делом, в которое встраиваются вышеназванные процедуры¹⁶. (Несколько утрированным примером этого различия может служить инструктаж и подготовительная разминка, которые устроитель ток-шоу предоставляет студийной аудитории перед окончательной записью.) Отсюда следует, что временный выход из продолжающегося формализованного мероприятия (проявляющийся в определенных «внутренних» процессах и событиях) не обязательно становится выходом из конкретного социально значимого «дела», в контексте которого развиваются эти события и процессы. Так, если взять театральный пример, то как раз в моменты, когда аудитория еще не начала смотреть и слушать, или временно перестала активно следить за игрой на сцене, или только что полностью закончила просмотр — именно тогда способности членов аудитории как театралов имеют определяющее влияние на организацию деятельности. Отметим, что переход от «спектакля» к «игре» — от процесса оформления событий к оформленным событиям — как правило, связан с изменением организационной основы, фрейма, причем оформленные, или внутренние, события обычно порождают более ограниченный и строже организованный мир, чем мир, даруемый нам повседневной жизнью. Во всяком случае, при ближайшем рассмотрении формальных социальных процедур можно ожидать, что формализованные открывающие и закрывающие скобки сами будут заключены в неформальные скобки, свойственные той социальной данности, к которой применялись упомянутые процедуры¹⁷.

¹⁶ Pike K. L. *Language in Relation to a Unified Theory of the Structure of Human Behavior*. Glendale (Calif.): Summer Institute of Linguistics, 1954. Part 1. P. 44–45.

¹⁷ В структурном отношении интересен случай, когда сама внутренняя, «официальная», деятельность не формализована. Некоторые любители вечеринок, вероятно, будут настаивать, что с появлением первого гостя «веселье» не начинается, а во многих случаях оно может вообще никогда не начаться, — участники никогда, как говорится, «не смогут оторваться» и не получают ожидаемого удовольствия. В самом деле, признание того, что поздние прибытия одних гостей могут совпадать с ранними уходами других, подразумевает, что в естественное течение событий так до конца и не будет внесено формальных процедурных уточнений и что, возможно, никаких определенных внутренних процедур и не требуется. Легко выделить начальные события вечеринки в их последовательности, например: (1) готовность хозяев к приему гостей; (2) прибытие первого гостя (в одиночку или в паре), позволяющее частично освоиться с ролью

Тогда различие между спектаклем и игрой (если воспользоваться терминологией Пайка) осложняет проблему расстановки скобок, создавая возможность резко расходящихся восприятий в зависимости от того, интересуется ли нас преимущественно внешняя либо внутренняя сфера деятельности. Одна иллюстрация очевидна: это восприятия роли ведущего в концерте камерной музыки.

гостеприимного хозяина; (3) последующие прибытия, предоставляющие первым гостям возможность поговорить не только с хозяевами и порой навязывающие в собеседники лиц, с которыми в иных обстоятельствах они не захотели бы проводить время; (4) прибытие достаточного количества гостей и формирование из них «кружков по интересам». Заключительные фазы тоже можно различить. Но, так сказать, середину игры определить трудно. Тем не менее Фрэнсис Скотт Фицджеральд, тонкий знаток формы, занимает в этом вопросе позицию Кеннета Пайка:

«Бар работает всюду, а по саду там и сям проплывают подносы с коктейлями, наполняя ароматами воздух, уже звонкий от смеха и болтовни, сплетен, прерванных на полуслове, завязывающихся знакомств, которые через минуту будут забыты, и пылких взаимных приветствий дам, никогда и по имени друг другу не знавших.

Огни тем ярче, чем больше земля отворачивается от солнца; вот уже оркестр заиграл золотистую музыку под коктейли, и оперный хор голосов зазвучал тоном выше. Смех с каждой минутой льется все свободней, все расточительней, готов хлынуть потоком от одного шутливого слова. Кружки гостей то и дело меняются, обрастают новыми пополнениями, не успеет один распасться, как уже собрался другой. Появились уже непоседы из самоуверенных молодых красок: такая мелькнет то тут, то там среди дам посolidней, на короткий, радостный миг станет центром внимания кружка — и уже спешит дальше, возбужденная успехом, сквозь прилив и отлив лиц, и красок, и голосов, в беспрестанно меняющемся свете.

Но вдруг одна такая цыганская душа, вся в волнах чего-то опалового, для храбрости залпом выпив выхваченный прямо из воздуха коктейль, выбежит на брезентовую площадку и закружится в танце без партнера. Мгновенная тишина; затем дирижер галантно подлаживается под заданный ему темп, и по толпе бежит уже пущенный кем-то ложный слух, будто это дублерша Гильды Грей из варьете „Фолли“. Вечер начался» (Фицджеральд Ф. С. Великий Гэтсби // Фицджеральд Ф. С. Великий Гэтсби. Ночь нежна. Романы / Пер. с англ. Е. Калашниковой. М.: Издательство «Правда», 1989. С. 50).

Если вслед за Фицджеральдом утверждать, что светский вечер «начался», когда произошло эмоциональное заражение участников, которое заменяет их замкнутое состояние общим приятным настроением, то при желании можно дока-

Как «спектакль», как общественное событие концерт камерной музыки начинается, видимо, задолго до выхода музыкантов на сцену. Если концерт собираются передавать по радио, кое-что из того же образца организации концертов сохранится. Диктору-ведущему надо будет что-то говорить в отрезке времени между двумя точками, когда начинается радиотрансляция и когда в игру вступают музыканты (а также и во время перерывов). Он может выдавать в эфир «подходящий» комментарий или разговорную версию того, что происходит в зале. Но чем-то заполнить паузы он должен, так как радиодикторы придерживаются в общем разумного убеждения, что «мертвый эфир» недопустим. (Довод здесь прост: словесное «обрамление» концерта, или задание его фрейма, необходимо, чтобы слушатели могли в любое время включиться в ситуацию радиотрансляции. Если бы не поддерживалась непрерывность звучания, то слушающие концерт во время паузы сначала могли бы подумать, что что-то случилось с их радиоприемником или с радиостанцией, а только что подключившиеся слушатели — что на этой радиоволне ничего не передают.) Но радиокomentатор, ведущий прямую передачу из концертного зала, не в состоянии с достаточной точностью определить момент, который изберут музыканты для выхода на сцену, а после этого — момент, когда они начнут исполнение. Поэтому ему приходится готовить многовариантный сценарий, который по мере надобности он мог бы сокращать или растягивать. Если по какой-либо причине музыканты откладывают начало исполнения на слишком долгое время, ведущий концерта может попасть в трудное положение, будучи вынуж-

зать, что и неформальные вечеринки и встречи людей для игры в бридж равно способны обеспечить «спектакль»; но только сходки для игры в бридж могут гарантировать, что в этих «скобках» будет осуществляться некая внутренняя деятельность. Фактически то, что отличает неформальные собрания от организованных общественных мероприятий с неким формализованным ядром — это негарантированность осуществления нужной внутренней деятельности. Учитель в классе, чиновник в суде, председательствующий на собрании клуба более или менее в состоянии призвать собравшихся перейти от предделовых «разговорчиков» к делу, но хозяин не может заставить своих гостей веселиться в приказном порядке. (Учтем, однако, что хотя эти лидеры в разных областях деятельности часто могут принимать решения о прекращении официальной части занятий, они, вероятно, имеют заметно меньше власти ограничивать и направлять послеофициальные занятия и совсем прекращать спектакль.) Об одном из исследований перехода от предделовой суеты к организованным деловым процедурам см.: Turne R. Some Formal Properties of Therapy Talk // *Studies in Social Interaction* / Ed. by D. Sudnow. New York: The Free Press, 1972. P. 367–396).

денным много раз повторять то, о чем уже говорил, но понимая, что такое поведение все же предпочтительнее глубокого молчания. Далее наступает момент (и это время наиболее напряженного ожидания), когда музыканты начинают настраивать свои инструменты, что сопровождается характерным нестройным шумом, и тогда ведущий, если захочет, может подключить аудиторию к микрофону на сцене. Ибо хотя в эту минуту исполнители все еще не приступили к своему главному делу — музыке, они слышно для всех делают то, чего требует данное общественное мероприятие, а именно подают знаки, что это коллективное собрание движется в правильном направлении, и определенные «внутренние события» начнутся в должное время. Звуки настройки, которые для производящих их людей имеют инструментально-техническое значение, радиослушателями могут восприниматься как ненужные, но ведущий может ценить эти радиошумы просто за то, чем они являются в действительности: материальной частью данного общественного мероприятия. К этому можно добавить, что настройка музыкальных инструментов — это сигнальный знак того, что исполнение музыки («внутреннее» событие) очень скоро начнется. Мертвая тишина, которая наступает сразу после настройки, момент, когда музыканты затихают перед пюпитрами и концентрируют внимание на своих партитурах, готовые мгновенно влиться в уже совсем близкое, требующее строгой координации коллективное действие, — это второй и последний знак перед самым его началом. Вместе взятые, эти два знаковых события явно играют служебную роль некой «скобки начала», но, конечно, начала музыкального исполнения, а не начала публичного мероприятия.

По ходу изложения читатели могли заметить, что одно из явлений, которое мы пытаемся описать с помощью обыденного, ненаучного термина «формальность», — это какое-либо общественное собрание, которому свойственны большой временной разрыв и большие различия, наблюдаемые между характером внешнего, неформального начального этапа и внутреннего, формального начала, и, судя по всему, сильная тенденция защищать самую важную, самую сокровенную часть коллективного действия. Предельно выражены такие тенденции на ежегодных соревнованиях по борьбе сумо в Японии: дневной турнир может начаться в 14 часов 30 минут, закончиться в 17 часов 30 минут и вместить в себя двадцать схваток, каждая из которых продолжается всего около десяти секунд; остальное время занимают сложные ритуалы, сопровождающие реальную борьбу¹⁸. Еще один пример дает нам церемония, предшествующая бою быков в Испании.

¹⁸ См. репортаж William Chapin (San Francisco Chronicle. February 1, 1963).

Следует ожидать, что с течением времени будут происходить значительные изменения в сопроводительных церемониях до и после основной деятельности, и такие изменения кое-что скажут нам о меняющемся общественном статусе этой деятельности. Приведем пример с повешениями:

Все большее время, затрачиваемое процессиями с висельником на переход в три мили от Ньюгейта до Тайберна, и неуправляемое поведение окрестных толп подталкивали шерифов к решению покончить с этими процессиями, но столь сильно было давление традиции, что они долго сомневались в своем праве поступить таким образом. Наконец, в 1783 году последовало распоряжение производить казни перед самой Ньюгейтской тюрьмой, так что осужденному надо было пройти до виселицы лишь небольшое расстояние. Первая казнь в Ньюгейте состоялась 3 декабря 1783 года, когда повесили десять человек. Исчезла одна старая традиция, шествие до Тайберна, но родилась другая. Установился обычай для губернатора после казни устраивать завтрак определенным официальным ее участникам и видным людям, которых он лично приглашал на экзекуции. Очень скоро приглашения стали предельно лаконичными: «Повешение в восемь, завтрак в девять»¹⁹.

Ныне все подобные зрелища сходят на нет и устраиваются очень нечасто. Если где-либо и когда-либо они все же случаются, то в роли зрителей приходится выступать чиновникам, а все предварительные и помертвные процедуры урезаны насколько можно. И, конечно, ни один из участников изначально не надеется хорошо провести время.

7. Соотношение между «спектаклем» и «игрой», между общественным действием и внутренними действиями требует дальнейшего изучения. Очевидно, что эта двуединая связка работает как некий амортизатор, обеспечивающий гибкость социального поведения в отношении капризов времени: раз уж определенный спектакль начался, участники, видимо, обретают способность с большим душевным спокойствием дожидаться «настоящих», «реальных» событий, то есть сферы реальности, которая обещает вот-вот родиться, — сферы, которая, между прочим, может обернуться чем угодно, только не ожидаемой «реальностью». (Нечто из того плана развития событий помогает официантке умиротворять клиентов, принимая у них заказы или, менее того, просто ставя воду на их столики, поскольку обед как спектакль может начинаться значительно раньше процесса еды как такового.) Такое ожида-

¹⁹ Atholl J. *Shadow of the Gallows*. London: John Long, 1954. P. 51.

ние может быть приспособлено к возможностям исполнения ожидаемого: возможно заметное укорачивание или удлинение его времени, ибо в некотором смысле — это время вне времени, состоящее на службе «внутренних событий». Но, разумеется, только в известных пределах. Если «дело» начинается чересчур быстро — жалобы возможны, а если ожидание слишком затягивается — они будут наверняка. И поэтому мы скоро обнаруживаем, что самой этой гибкости амортизатора могут быть поставлены формальные пределы. Например, время перерыва в разных видах спорта может ограничиваться различными правилами и постановлениями, так что хотя само по себе время передышки принадлежит «спектаклю», а не «игре», установленные пределы времени на перерыв суть часть ее внутренних процедур.

Все сказанное обязывает нас ввести понятийные различия, способные причинить немало хлопот. Внешние скобки, которые открывают и закрывают события, сами должны рассматриваться как существующие в двух видах: скобки, относящиеся к спектаклю, и скобки, относящиеся к внутренним, официальным событиям. А внутренние скобки, как мы вскоре увидим, могут иметь даже более высокую степень сложности.

К вопросу о внутренних скобках можно подойти, рассмотрев способ обращения со временем²⁰ в драматических произведениях.

Начать здесь можно традиционно. Накоплен значительный материал о влиянии Аристотеля на становление правила единства времени (24 часа) для трагедии, и почтительность его соблюдения в XVII веке во Франции сравнима с вольностью обращения с ним после Революции²¹. Поэтому нам лучше прямо приступить к обсуждению того факта, что хотя каждый театральный акт исполняется в соответ-

²⁰ См. трактовку этой проблемы у Ричарда Шехнера: Schechner R. Public Domain. Indianapolis: Bobbs-Merrill Co., 1969. P. 74–81; а также: Burns E. Theatricality: A Study of Convention in the Theatre and in Social Life. London: Longman Group, 1972 (New York: Harper & Row, 1973). Chap. 6 «Rhetorical Conventions: Space, Setting and Time». P. 66–97.

²¹ См., например: Wiley W. L. The Formal French. Cambridge: Harvard University Press, 1967. P. 112–119. Уайли добавляет следующие соображения: «Трагедия во Франции была жестко скована не только правилами единства времени и места, но и другими ограничениями, которые французы почитали необходимыми в этом жанре. Среди таковых предполагались: избегание актов насилия на сцене, исключение любых эпизодов «низкой» комедии (комическая развязка допускалась лишь в детективных пьесах) и языка, не приподнятого и не облагороженного должным образом» (Ibid. P. 119).

ствии с ходом «реального» времени и «естественной» последовательностью событий²², длительность периодов, которые должны восприниматься как время, прошедшее между актами, может до известной степени колебаться. Эти периоды фактически имеют и заранее объявленные одновременные («симультанные») начала при соблюдении единственного условия, что не используется обратное направление времени²³. Разумеется, драматург имеет право выбирать свою собст-

²² Кино опять же имеет здесь свои отличающиеся от описанных условности фрейм-модальной организации. Кино позволяет показывать в пределах одной сцены фильма развитие поведения и ход действий в разные периоды времени (обычно короче, чем это было бы в действительности, но иногда и дольше) просто потому, что отснятые куски фильма при монтаже могут быть либо вырезаны, либо вставлены в поток того материала, который в итоге увидят зрители, и еще потому, что за секунду может быть отснято разное число кадров. Разумеется, подобные манипуляции со временем срабатывают постольку, поскольку зритель способен сделать все необходимые выводы из коротких эпизодов, смонтированных из отдельных киноснимков. Пудовкин раньше многих высказался об этом различии театра и кино, прибавив и полезные комментарии об *истории* появления указанного различия — в частности, о специальной технике киносъемок и монтажа, которая отошла от предшествующей ей практики прямолинейной фотосъемки театральных спектаклей (Пудовкин В. И. Кино-режиссер и киноматериал. М.: Кинопечать, 1926. С. 3–13. англ. изд. 52–57).

Бела Балаш предлагает свой комментарий: «Фильм мог бы показать забег на тысячу ярдов, сжав его в короткий эпизод продолжительностью в пять секунд, и потом дать в двадцати быстро сменяющихся крупных планах борьбу на последних ста ярдах между соперниками, которые, задыхаясь, бегут голова к голове, то вырываясь вперед, то отставая на несколько дюймов, пока, наконец, оба не придут к финишу. Эти двадцать съемочных кадров могут продолжаться на экране, скажем, сорок секунд, то есть в *реальном времени* дольше, чем эпизод, в котором показаны первые девятьсот ярдов забега. Тем не менее мы воспримем демонстрацию финишного отрезка как более короткую, наше чувство времени будет говорить нам, что мы видели всего лишь краткое мгновение, увеличенное словно под микроскопом» (Balázs B. *Theory of the Film* / Transl. by E. Bone. New York: Roy Publishers, 1953. P. 130).

²³ Здесь напрашивается интересное сравнение с условностями, на которых держится показ диапозитивов, связанных одним сюжетом. Как отмечает Борис Успенский в разделе «„Точки зрения“ в плане пространственно-временной характеристики» своей книги «Поэтика композиции. Структура художественного текста и типология композиционной формы» (М.: «Искусство», 1970), каждый диапозитив изображает какой-то сжатый и остановленный во времени момент

венную отправную точку, будь это прошлое, настоящее или будущее. Но при всех обстоятельствах сохраняется значительная ясность относительно правил течения времени в театральном фрейме.

Современная западная драма предоставляет самому драматургу безусловное право выбирать временное расстояние между актами. При смене сцен в кино допускаются такие же вольности, но это явно должно быть сделано «убедительно»:

На театральной сцене между актами, когда опущен занавес, может пронестись столько времени, сколько пожелает автор. Существуют пьесы, где между двумя актами пролетел целый век. Но сцены и эпизоды фильма не отделены друг от друга занавесами или антрактами. Тем не менее ход времени должен быть передан зрителю, временная перспектива задана. Как это делается?

Если в кинокартине хотят заставить нас почувствовать, что между двумя сценами минуло некое время, между ними вставляют еще одну сцену, сыгранную в другом месте. Когда действие возвращается на прежнее место — время прошло²⁴.

Постепенное исчезновение изображения или затемнение кадра также стали ассоциироваться с ходом времени:

Затемнение картинки в кадре тоже может передавать течение времени. Если мы видим корабль, медленно исчезающий из виду за линией горизонта, то сам ритм этой картины выражает определенное движение времени. Но если эта картина еще и затемняется, тогда к ощущению хода времени, вызванному исчезновением корабля в морской дали, прибавляется чувство

повествования, а последовательный переход от одного кадра-диапозитива к следующему пропускает в восприятии зрителя самые разные промежутки конденсированного времени повествования (Успенский Б. А. Указ. Соч. С. 96–97; Uspensky B. A. Study of Point of View: Spatial and Temporal Form // The Poetics of Composition: Structure of the Artistic Text and the Typology of Compositional Form / Transl. by V. Zavarin, S. Wittig. Berkley: University of California Press, 1974. P. 16). Движение времени от кадра к кадру при демонстрации диапозитивов отчасти подобно движению от сцены к сцене в пьесе, за исключением того, что во втором случае обычно наблюдаются более масштабные скачки времени.

²⁴ Balázs B. Theory of Film. P. 121. [В русском издании книги Балаша: «В кинофильме можно „пропустить“ время лишь при условии, если сцена будет прервана промежуточной картиной. Но сколько именно времени протекло за такой промежуток — этого продолжительность промежуточной картины показать не может» (Балаш Б. Искусство кино. М.: Госкиноиздат, 1945. С. 65)]

дополнительной и вряд ли поправимой утраты связанного со временем куска жизни. Ибо теперь съемочный кадр показывает сразу два движения: движение корабля и движение диафрагмы кинокамеры — и два времени: реальное время исчезновения корабля из поля зрения и киноремя, создаваемое «съемкой с затемнением»²⁵.

И даже пространство может служить той же цели наглядного выражения хода времени:

Кинофильм создает исключительно интересную связь в зрительском восприятии между воздействием времени и воздействием пространства — настолько интересную в действительности, что это заслуживает более детального анализа. Вот факт, подтверждаемый опытом каждого: как уже говорилось, промежуток времени между двумя сценами изображается в кино вставкой между ними еще одной сцены, исполняемой в другом месте. Опыт показывает, что чем дальше местоположение вставленной сцены от места действия в тех сценах, между которыми произведена вставка, тем больше времени пролетит по ощущению зрителей. Если, например, что-то происходит сперва в комнате, затем в прихожей, передней и потом второй раз в той же комнате, — зритель поймет, что прошло только несколько минут, и задуманная сцена в комнате может продолжаться без промедления и без изменения обстановки. Мы не чувствуем никакого перепада в течении времени. Но если вставная сцена между двумя другими, происходящими в одной и той же комнате, уводит нас в Африку или Австралию, тогда ту же самую сцену нельзя просто продолжить в неизменной обстановке одной и той же комнаты, так как благодаря эпизоду с географическим перемещением зритель должен почувствовать, что уткло много времени, даже если реальная продолжительность вставной сцены в дальнем краю нисколько не больше длительности вышеупомянутой, тоже вставной, сцены в прихожей²⁶.

Теперь, если переместиться снова на живую театральную сцену, можно яснее понять смысл всего сказанного. Начальное поднятие и финальное опускание занавеса — это, можно сказать, «игровые внешние скобки», ибо все эти театральные занавесы, похоже, отгораживают не спектакль от окружающего мира, а скорее игру от спектакля. Точно так же, но по-своему, действует и занавес, оповещающий аудиторию (публику) об антракте. Он не возвращает театралов в мир за пределами данного общественного мероприятия, но всего лишь перено-

²⁵ Ibid. P. 145.

²⁶ Ibid. P. 122.

сит зрительскую аудиторию из мира внутренних событий в мир спектакля. (Фактически именно поэтому антракт может служить поводом для знакомства, ухаживания и т. п.) В таком случае, антрактный занавес можно считать некой «игровой внутренней скобкой». Но перемены между сценами внутри акта (действия) пьесы в театре или затемнения в кино рассчитаны не на *этот тип* переключения зрителей с одних событий на другие, а на переключение (или переход) на ином уровне, которое происходит *внутри* искусственно поддерживаемого фиктивного мира, в сфере внутренних событий. При этом отмечаются начало и конец драматических эпизодов, а не начало и конец драматического действия как такового. Если хотите, здесь можно говорить только о внутренних скобках.

И, наконец, перейдем к последнему затруднению, связанному с театральным занавесом, а именно, что единственная отметка-указатель, вроде падения занавеса, явно может функционировать в качестве «скобки», относящейся к разным порядкам деятельности в одно и то же время. Так, когда опускается антрактный занавес, то временно приостанавливается драматическая деятельность *и одновременно* завершается какой-то драматический эпизод.

8. И последний пункт. Можно не просто говорить, что некие официальные церемонии, по всей видимости, будут проходить в оправах той или иной разновидности социально организованных событий (публичных мероприятий), но и утверждать, что эти оправы могут быть относительно однородными по сравнению со степенью изменчивости того, что делается внутри них. «Вводные замечания», которые перекидывают мост между данным общественным мероприятием и ближайшей деловой задачей, обычно произносит некий хорошо известный всем персонаж после призвания аудитории к порядку, и оправа приблизительно одинакова в любом случае, — когда должен быть представлен политический оратор или судья в зале суда, обрисован в общих чертах водеvilный акт или городской митинг. И, аналогично, одинаковые заключительные аплодисменты могут увенчивать самые разнообразные обращения к людям.

III. ФОРМУЛА ВНЕШНЕГО ВЫРАЖЕНИЯ РОЛИ

1. Всякий раз, когда человек участвует в каком-либо эпизоде деятельности, появляется необходимость в различении между тем, кого называют «лицом», «индивидом», или «игроком», короче говоря, участвующим в деятельности, и конкретной ролью, способностью или функцией, реализуемой им во время деятельности. Вместе с этим раз-

личением выясняется связь между двумя его элементами. Это значит, что возникает некая *ролевая формула личности*. Характер конкретного фрейма деятельности, несомненно, связан с характером той ролевой формулы личности, по которой он организован. В природе связи между индивидом и ролью никогда не следует ожидать ни полной свободы, ни полного закрепощения. Но независимо от того, в какой точке такого континуума окажется чья-то формула, она, взятая сама по себе, будет выражать смысл, придаваемый деятельности, организованной в определенном фрейме, когда она включается в окружающий мир.

При попытке сформулировать характер расхождения между лицом и ролью ни в коем случае нельзя заранее связывать себя предвзятыми понятиями о «сущностной» природе человека. По-прежнему жива тенденция исходить из предположения, что хотя роль — явление «чисто» социальное, проектирующая ее машина — лицо, или индивид — представляет собой нечто более чем социальное, то есть приближено к реальности, обладает биологическими свойствами, отличается глубиной и подлинностью. Это достойное сожаления заблуждение не должно влиять на ход нашей мысли. Участника жизненной игры и социальное качество, в котором он выступает, изначально следует рассматривать как феномены равно проблематичные и равно открытые для потенциальной социальной бухгалтерии.

Не должны сбивать с толку и разные биологические уподобления и представления о «животном субстрате» человеческого поведения. Например, социальная роль материнства, казалось бы, надежно связана с биологическими основаниями, но на поверку ровно настолько же, насколько и интенции жертв моды, которые в течение одного года верят, что первоосновы их природы повелевают им стать матерями, а в следующем (и я думаю, с большим для себя основанием), — что политические учения о таком предназначении женщин служат для удержания их в подчиненном положении. Вдобавок, то, что в одном контексте представляется индивидом или самостоятельным лицом, в другом есть социальная роль или качество. Точно так же, как и о женщинах, которые являются или не являются матерями, можно рассуждать о президентах, которые являются или не являются женщинами.

Рассмотрим теперь некоторые элементы в составе ролевой формулы личности.

а) Распределение ролей. Если некая роль должна быть исполнена, возникает вопрос, какие ограничения установлены в отношении того, кто может взять на себя ее исполнение? Ответ почти совпадает с предметным диапазоном социологии, и чтобы дать его — не нужно боль-

ших усилий. Очевидно, существует нечто, называемое социальными факторами. Это те дающие преимущество либо влекущие подчиненность социальные квалификации лица, принимающего на себя определенную роль, которые организованы в конкретную систему показателей возраста, пола, классовой и этнической стратификации. Например, в 60-х годах Ватикан издал постановления, одно из которых запрещало сестре Марии Бернадетт из Детройтского университета работать (в любом качестве) в колледже²⁷, а другое позволяло сестре Мишель Терез стать пилотом, чтобы продолжить свою работу в Католической миссии в Кении²⁸. В обоих случаях сестры сделались героинями новостей, и новостей, явно имевших отношение к личностной ролевой формуле. Отметим, что вообще для анализа соотношения роли и ее исполнителя требуется применение двойной перспективы. Точно так же, как роль может предъявлять спрос на исполнителя, который имеет определенные «подходящие к случаю» социальные квалификации, так и исполнитель может чувствовать себя обязанным ограничить свободу выбора роли, основываясь на ожиданиях широкой публики, предъявляемых поведению человека с определенным набором социальных качеств²⁹.

Подобно социальным предписаниям, на распределение ролей влияют и технические факторы. Последние, между прочим, часто

²⁷ San Francisco Chronicle. March 16, 1966.

²⁸ Ibid. March 17, 1966.

²⁹ В серии телепередач «Чем я занимаюсь?» участвовало множество «экспертов», задававших неопределенно-общие вопросы гостям, которые отвечали «да» либо «нет». Целью игры было выявить того, кто смог бы быстрее всех догадаться о профессии отвечающих. Телезрителям показывали ответ другой камерой. Этим создавалась некая телепатическая напряженность, интрига, ибо каждый гость отбирался по принципу непохожести на обычно ожидаемый тип человека его профессии, то есть фактически в противоречии с общепринятыми представлениями о персональных ролевых формулах. Разумеется, формат игры был рассчитан и на дополнительные источники развлекательности, например, на эффект восприятия вопросов, задаваемых в полном неведении, но которые в свете знания телезрителей о действительном занятии отвечающего звучали бы для них двусмысленно и рискованно. Это телешоу показало, что и внешность людей может толковаться совершенно ошибочно, а самый невинный смысл высказываний — исказиться потенциально рискованными толкованиями. Но еще более существенно, как я думаю, то, что оно показало, сколь дорогостоящая и громоздкая операция требуется в случаях, когда такие неправильные прочтения надо актуализировать в нужный момент, по плану.

служат рациональным оправданием чисто социальных соображений. Любая роль взрослого человека требует умений и качеств, которые невозможно приобрести только на месте работы и которые, так сказать, должны быть «принесены с собой» тем, кто захотел бы участвовать в действии. Здесь снова подразумевается некая избирательность и, значит, связь между человеком и ролью.

б) Наряду с вопросами распределения ролей должна быть рассмотрена проблема широко применяемых ограничительных социальных стандартов. Они относятся к нормированию физических условий труда, поскольку те влияют на здоровье, удобства и безопасность человека на рабочем месте, а также к нормированию степеней свободы для других ролевых обязательств исполнителя данной роли³⁰. Подобные стандарты тоже применяются дифференцированно, как в случае детского труда и отпуска по беременности: к примеру, ребенок может принять роль театрального актера, но если спектакль вывозится на гастроли или по каким-то другим причинам требует от участников много времени, закон предписывает заключать специальный трудовой договор, чтобы обеспечить непрерывность школьного обучения. Я не собираюсь выражать сомнение в желательности разнообразных стандартов. Я лишь хочу указать, что они функционируют как ограничители возможных требований и претензий роли по отношению к исполнителю и также косвенно ограничивают выбор человека, связанный с исполнением функции.

в) Следующей по порядку рассмотрим проблему «ответственности». Если человек совершает некий поступок во время активного исполнения определенной роли (в силу обязанностей или благодаря открывшимся возможностям), какую ответственность за него он продолжает нести там и тогда, где и когда уже не выступает в указанной роли? Когда, например, человек исполняет жесткую акцию по приказу законно назначенного начальника, на какую меру освобождения от ответственности он может претендовать, ссылаясь на то, что «действовал по приказу»?

Без сомнения, основной ориентировочный фрейм при определении меры ответственности надо искать в нашем понимании прав индивида быть освобожденным от нее, если доказуемо известное ослабление его воли и рационального мышления — вопрос, который уже затрагивался в связи с обсуждением метаморфоз, переживаемых действующим лицом. Человека, который совершает преступление, будучи

³⁰ См.: Goffman E. Encounters: Two Studies in the Sociology of Interaction. Indianapolis: The Bobbs-Merrill Company, 1961. P. 141–142.

«не в себе», под воздействием наркотика, интоксикации или под влиянием страсти, обычно считают *в такой же мере* ответственным за свои поступки, как и делающего то же самое с ясной головой. Но все же такой человек отвечает не просто за потребление наркотиков, алкоголя или необузданность страстей. Наказание почти наверняка последует, обычно в смягченной форме, но иногда оно бывает тяжелее, чем отмеренное преступникам, действовавшим в «нормальном» состоянии.

Проблема ответственности и недостаточной правоспособности личности, конечно, поднимает вопрос о влиянии умственных расстройств на меру ответственности. Как отмечалось, западная социальная космология не нашла здесь счастливой формулы. Когда душевнобольной, чья болезнь признана официально, совершает преступление, он обычно не несет юридической ответственности: после задержания его не привлекают к суду и не сажают в тюрьму. Но его возвращают в больницу, делая ответственным за безумие, независимо от тяжести деяний, совершенных в этом состоянии. И фактически, когда он вновь поступит в лечебное учреждение, его почти наверняка заставят почувствовать последствия того, что он натворил.

Вопрос об агрессивных к «внешнему миру» бредовых маниях психопатов, находящихся на свободе, ставит перед обществом много болезненных и тонких проблем. Так называемые правила Макнотона (ответы, данные в 1843 году высшими судебными инстанциями Великобритании на вопросы, поставленные перед ними палатой лордов в связи с оправданием в суде некоего Даниэля Макнотона, совершившего убийство и признанного невменяемым) вносят некоторую ясность, особенно четвертое правило:

- (4) Если человек под влиянием болезненно-бредового восприятия фактов действительности совершает преступление с тяжелыми последствиями, то освобождает ли его это от юридической ответственности?³¹

Ответ на этот вопрос, безусловно, должен зависеть от характера психопатологического обмана чувств в отношении фактов действительности: при том же допущении, какое мы сделали раньше, а именно, что спорное лицо страдает лишь частичным, выборочным искажением восприятия, а в других отношениях здорово, мы полагаем, что о его ответственности следует судить, разбирая его поступки в такой ситуации, как если бы факты, в отношении которых наблюдается болезненное заблуждение, существовали реально. Например, если под влиянием своего заблуждения это лицо

³¹ Donnelly R. C., Goldstein J., Schwartz R. D. Criminal Law. New York: The Free Press, 1962. P. 735.

полагает, будто на его жизнь покушается другой человек, и убивает такого человека, как оно убеждено, в целях самозащиты, — убийца может быть освобожден от наказания. Если же его заблуждение состояло в том, что покойный якобы причинял серьезный вред его репутации и благосостоянию, и он убил этого человека в отместку за такой предполагаемый вред, убийца подлежит наказанию³².

В этом четвертом правиле содержатся тонкие суждения относительно закреплённости наших деяний в многообразном мире. Английские судьи фактически утверждали, что патологически обманувшийся индивид, по сути, пребывал в другом, воображаемом, мире, но принимали как должное, что он все же был обязан действовать в реальном мире по его законам, как если бы они имели силу и в сфере воображаемого. И каким бы экстравагантным ни казалось это суждение, есть ученые, которые настаивают, что с тех пор никто не сумел улучшить его по существу³³.

г) Последнее наше соображение об элементах ролевой формулы личности касается поведения, выходящего за пределы общепринятого фрейма. Во время исполнения всякой роли индивид, очевидно, будет иметь известное право отстаивать или находить убежище в каком-то своем *Я*, которое отличимо от *Я*, проецируемого вовне соответственно требованиям роли. Роль представляет канал для выражения личностного, индивидуального содержания. Например, как уже упоминалось, сколь бы формальным ни было социальное действо, исполнитель, вероятно, будет в определенных пределах иметь законные основания ерзать, почесываться, шмыгать носом, кашлять, искать для себя удобного положения и устранять маленькие погрешности в одежде. Эти отклонения от роли, проявляемые во время ее исполнения, могут быть растянуты под каким-нибудь выдуманным предлогом для оправдания кратковременных отлучек, как в случаях, когда индивид извиняется за необходимость поговорить по телефону или зайти в ванную. Права на такого рода поведение, выходящее за пределы фрейма, предусмотренного ролью, могут быть истолкованы как одно из упоминавшихся выше ограничений, наложенных на свойство роли поглощать человека. Повторюсь, что здесь я не пользуюсь никакими допущениями о неизбежной биологической подоснове человеческого действия, по крайней мере, в анализе обсуждаемой сейчас разновид-

³² Ibid. P. 737.

³³ См., напр.: Gendin S. III. Insanity and Criminal Responsibility // American Philosophical Quarterly. 1973. Vol. 10. P. 99–110.

ности поведения. Недавно сложившаяся мода предоставила почти каждому значительные права одеваться «как ему удобно», и в этом выразилось общее мнение, что на человека не надо слишком давить в сфере формальностей исполняемой роли. Мы научились спокойно принимать премьеров, стучащих башмаками по трибуне, и президентов, выставяющих напоказ свои странности. Но, конечно, за этим попустительством стоят веяния моды и местные контексты культурного взаимопонимания. Если оглянуться назад всего на несколько поколений в нашем собственном американском обществе, то можно найти людей, не желавших привлекать к себе внимание и как нечто само собой разумеющееся терпевших строгую форму одежды вместе с неудобствами, которые этому сопутствовали.

Право человека на минимум удобств, сопровождающее исполнение социальной роли, — не единственное основание для внефреймового, неформального поведения. Можно упомянуть еще два. Первое, когда человек чувствует себя обязанным немедленно включиться в деятельность, которая ему совсем не свойственна, деятельность, которую нелегко истолковать как созвучную тому содержанию, которое он вносит в свои роли либо извлекает из них. К примеру, индивид начинает игриво вышучивать свои действия, превращая их в нечто несерьезное, в повод для веселья, так что вся проходная сцена исполняется вне роли. Здесь перед нами случай применения средства, которое помогает вновь несколько ослабить связь между человеком и ролью, между индивидуальным и ролевым, но это такое ослабление, которое обусловливается обычной негибкостью отношений между индивидом и ролью.

Второе основание для внефреймового поведения связано с ситуациями, когда индивид вынужден трактовать себя (и принимать такую же трактовку со стороны других) в качестве чисто физического объекта. Это случается при посещениях врача, парикмахера или косметолога и соответствует неизбежным требованиям, которые налагаются «натуралистическими» манипуляциями с телом посетителя. В таких обстоятельствах человеку, вероятно, позволительно легкое подшучивание над собой, которое разряжает напряжение, вызванное стеснительным фреймом его вынужденных действий и, что более важно, его *полное* приспособительное примирение с положением физического объекта может стать чем-то предосудительным для работающих над ним людей. Короче говоря, от людей, к которым предъявляются ожидания функциональной доступности в качестве объектов, вовсе не ждут легкой и безудержной готовности к такому поведению. Подходящий пример можно взять из отчета о гинекологическом обследовании:

Некоторые пациентки не знают, когда следует, подавив стыд, показывать интимные части тела и когда прикрывать их, как подобает любой женщине. Пациентка может затеять «неуместную демонстрацию» стыдливости и этим сорвать осмотр, на который имеет право медицинский персонал и больше никто. Но если пациентки ведут себя так, словно они буквально восприняли медицинское определение ситуации, это тоже грозит осложнениями. Когда пациентка действует вызывающе, как если бы обнажение груди, ягодиц и тазовой области не отличалось для нее от обыкновенного показа рук или ног, она, конечно, «нескромна». Предполагается, что медицинское определение ситуации имеет силу только в границах необходимости, облегчающей выполнение специальных медицинских задач³⁴.

И точно так же позволенность врачам видеть пациенток без одежды вовсе не означает, что те позволяют видеть себя абсолютно неприкрашенными. Например, пациентки часто отказываются, или пытаются отказаться, вынимать вставные зубы при лицевых хирургических операциях или родах — словно бы эти зубы были частью базовой формулы личности при всех представлениях себя другим людям.

2. Я описал ограничения изменчивых отношений между лицом и ролью, и тем самым области, в которых роль не независима от явно не относящихся к данному случаю характеристик тех, кто ее воплощает: существующих практик распределения ролей, культурных норм и стандартов, понимания «личной» ответственности и прав на выход из роли. Во всех случаях эти толкования относятся к нашей профессиональной и домашней жизни в ее каждодневном, обыденном течении. Результирующая формула должна сопоставляться — как целое — с формулой, которую мы прилагаем к переключениям и фабрикациям деятельности, и тогда то, что становится предметом нашего рассмотрения — это не роли или социальные качества, а преобразованные варианты формы целого, а именно: партии (parts) или персонажи (characters). И вместо ролевой формулы личности мы имеем дело

³⁴ Как поясняет Джоан Эмерсон: «При гинекологическом осмотре поддерживаемая общими усилиями реальность состоит не из одного медицинского определения ситуации, но из разногласия многих тем и контртем» (Emerson J. P. Behavior in Private Places: Sustaining Definitions of Reality in Gynecological Examinations // Recent Sociology. No 2 / Ed. by H. Dreitzel. New York: Macmillan, 1970. P. 91.). См. также раздел под заголовком «Одновременная множественность Я» в: Goffman E. Role Distance // Goffman E. Encounters: Two Studies in the Sociology of Interaction. Indianapolis: The Bobbs-Merrill Company, 1961. P. 132–143.

с чем-то вроде *ролевой формулы персонажа* (a role-character formula), изображаемого в данный момент взаимодействия. К анализу этой второй формулы следует подойти с особой тщательностью.

Легче всего начать с театральной сцены в разных ее формах, включая кинематографическую. Если рассматривать игру в театре как профессиональную роль или профессию, то возможны обстоятельства, когда кому-то будет запрещено ее исполнять. Пример с монахиней уже приводился. Еще более типичный случай — это запрет на актерскую профессию для женщин:

С 1580 до 1690 года театры и спектакли Испании во многих отношениях походили на таковые в Англии, но во многих других отношениях — нет. В Лондоне женские роли всегда исполняли мальчики, еще в 1660 году, уже после Реставрации. Как видно из описания Рохасом испанских трупп, и мальчики, и женщины появлялись на примитивных провинциальных сценах. В Мадриде актрисам не разрешали выступать в театрах для широкой публики вплоть до 1587 года³⁵.

³⁵ Macgowan K., Melnitz W. Golden Ages of the Theater. P. 52. Отметим, что эти ограничения касаются только театрального фрейма. Более широкий анализ заставляет нас признать, что уже при легком изменении настроечного ключа театральной деятельности может сложиться другой набор ограничений. Любительский спектакль, который позволяет человеку изображать сценический персонаж не будучи профессиональным актером, без сомнения, допускает в распределении ролей свободу, которой нет у профессионального театра, так что домашние, школьные и университетские спектакли имели возможность заполучать исполнителей знатного происхождения во времена, когда коммерческие постановки такой возможности не имели. Вот почему в спектакле по пьесе Джо Ортона «Эрпинхемский лагерь», поставленном в Кембриджском университете, принц Чарлз мог одеться католическим священником и получить в лицо кремовым тортом на глазах у публики (Life, December 13, 1968). Аналогично, как можно догадаться исходя из фрейма соответствующей деятельности, пьесы, поставленные с благотворительной целью, могли привлекать исполнителей, которые в иных обстоятельствах всячески избегали бы подмостков; а сценические постановки, которые отличаются от обыкновенных пьес, могли успешно использовать ролевую формулу личности, совершенно отличную от той, которая регулирует общепризнанную сценическую деятельность.

Один пример необычных постановок: «Последней формой театрального развлечения, зародившейся в елизаветинские времена и усовершенствованной при первых двух королях из династии Стюартов, были „маски“. Корни ее надо искать в придворных зрелищах итальянского Ренессанса. В канун Кре-

Речь здесь идет не о том, какие роли или каких персонажей не разрешалось играть женщинам, а о том, что им вообще не позволялось играть, то есть участвовать (кроме права быть зрителем среди публики) в театральной деятельности, быть лицами, обладающими социальной ролью в театре. Но даже если некой социальной категории в целом предоставлено право выступать на сцене, то остается вопрос, какие конкретные театральные роли позволено исполнять лицам, входящим в эту категорию. В общем, сохраняется вопрос и о правах на исполнение роли как отвлеченной от индивидуального единицы социальной структуры (*role rights*), и о правах на исполнение индивидуализированного персонажа (*character rights*), то есть о праве человека на участие в применении социально определенного фрейма деятельности, и о его праве делать это конкретным образом. Ибо, если театральная роль будет восприниматься как нечто возвышающее или принижающее актера (а потому в какой-то степени и конкретного человека, для которого исполнение сценической роли является профессией), и это будет отражаться и на нем самом, и на других ролях, которые он мог бы сыграть, — то в таком случае станет невозможной гибкость в отношениях между людьми и их потенциальными ролями. Исторический пример этого дает испанская религиозная пьеса (*auto sacramental*), нередко исполнявшаяся в церквях. К тому же это и пример постепенных сдвигов в правилах, определяющих рамки поведения (*framing rules*):

В 1473 году один церковный совет обнародовал постановление против публичного представления чудищ, масок, непристойных фигур и «распутных

щения [„двенадцатая ночь“ после Рождества] 1512 года молодой Генрих VIII „с одиннадцатью придворными нарядились на манер итальянцев в пресловутые маски — событие прежде в Англии невиданное“. До этого тоже бывали „ряженные“ и великолепные балльные зрелища, но тогда в первый раз королевская особа приняла участие в таком развлечении. Дочь Генриха VIII Елизавета также пользовалась маской (персонажа, заимствованного из Франции), и ее представления, подобно представлениям отца, были в основном пантомимами... Некоторые представления с масками устраивались в помещениях главных юридических корпораций, но большинство из них в королевских дворцах... В них участвовали придворные, а также обученные певцы и танцоры. Принц Генрих безмолвно „прохаживался“ в заглавной роли в „Маске Оберона“, и сам Карл I вместе с королевой играли в некоторых из этих спектаклей. Жена Якова I королева Анна любила маски даже больше театра и чернила свое лицо, чтобы играть одну из негритянок в „Маске тьмы“ (Macgowan K., Melnitz W. *Golden Ages of the Theater*. P. 88).

стихов, которые мешают церковной службе». Вероятно, было много подобных постановлений, но непристойности упорно продолжали жить — если не в церквях, то в уличных представлениях. В XVII и XVIII веках такие атаки усиливались. Миряне так же, как и священнослужители яростно выступали против профессиональных исполнителей в *autos*. Анонимный автор возражал против них на том основании, что одна и та же актриса, недавно игравшая Божью Мать, «... окончив эту роль, тут же появляется в интермедии и представляет жену трактирщика... просто надев шляпку или подоткнув юбку», при этом танцует и поет скабресную песенку. «Актер, который только что исполнял роль Спасителя, снимает бородку, выходит вновь и, пританцовывая, напевает: „Сюда, моя девочка!“». Священники подхватывали такие нападки на актеров. Это отвратительно, когда «женщина, которая воплощает похоть Венеры как в игрищах [на подмостках], так и в своей частной жизни, должна представлять целомудрие Пречистой Девы». Такие нападки продолжались до тех пор пока, наконец, в 1765 году Карл III королевским указом не запретил исполнение всех *autos sacramentales*³⁶.

В 1973 году современный пример подобного рода предоставила нам Мерилин Чемберс, преспокойно изображавшая образцовую мать на белоснежных упаковочных коробках, пока ее не разоблачили как кинозвезду жесткого порно.

Отсюда видно, как надо быть осторожным, рассматривая театральную деятельность с целью уточнить, что именно нас интересует: занятие само по себе или биографический маскарад, которого это занятие требует от индивида в определенном случае. И надо понимать, что ограничения в отношении упомянутого маскарада не являются в полном смысле необходимыми ограничениями в отношении занятия.

Почти идеально свободная, слабая связь между актером и сценической ролью — это, конечно, характеристика театра новых времен, театра эпохи модерна. После того как индивид принял профессию и бытие актера, он не несет почти никакой ответственности за театральную роль, которую получает, несмотря на то, что она отражается на его положении в профессии и либо усиливает, либо ослабляет степень защищенности в определенном амплуа. Но, разумеется, от него требуется известное соответствие характеристикам роли по полу³⁷, возрасту, расе³⁸

³⁶ Ibid. P. 45–46.

³⁷ Одно из исключений: в ранних радиопьесах предпочитали использовать женские голоса в ролях детей.

³⁸ Интересно, что использование черных манекенов, с недавних пор устанавливаемых в магазинах США и Британии, все еще встречается, по газетным сообще-

и (в меньшей степени) по классовому положению. Кроме того, существует нежелание актеров изображать гомосексуалистов, о чем уже упоминалось. Совсем недавние изменения в этой сфере не следует с необходимостью рассматривать как возрастающее приятие обществом социальной роли гомосексуалиста (хотя, предполагаю, и без этого не обошлось), ибо непосредственный предмет нашего рассмотрения — это изменение в обычаях и условностях, определяющих фреймы деятельности, а в данном случае — усиление предрасположенности разработчиков и постановщиков драматических сценариев отделять характер исполнителей от характера их ролей.

Существуют также очевидные границы для принятия ролей в сексуальном взаимодействии. И здесь надо быть внимательным к осложнениям, связанным с изменением условностей в принятом фрейме поведения. «Вызывающий» акт пробивается на театральную сцену или экран под давлением двух ограничений: в зависимости от того, что режиссеры могут поставить безнаказанно и что из их замыслов могут воплотить актеры, не замавав себя. Недавняя легализация «жестких», откровенно порнографических фильмов, по-видимому, отразила более значительные изменения в степени свободы режиссеров-постановщиков, чем актеров. Когда в фильме Жерара Дамиано «Дьявол и мисс Джоунз» героиня в ванне вскрывает вены на руках и совершает самоубийство, вопроса о личности самой актрисы, Джорджины Спэлвин, не возникает. Сыграв эту роль, она была бы узнаваема просто как женщина, которая разыграла это требующее глубокого перевоплощения деяние. Самоубийство здесь относится только к роли, и любой актер в соответствии с ней готов его инсценировать. Но поступки, которые мисс Джоунз (персонаж) совершает, ожидая своего места в аду, хотя и бесспорно предписаны сценарием, однако не таковы, чтобы мисс Спэлвин (актриса) сумела легко от них отмежеваться, по крайней мере, при нынешнем состоянии общественного мнения. И все-таки открытое принятие (и даже поиски) скандальной известности само по себе может стать шагом в легитимации заслуживающего ее поведения, и теперешняя готовность актеров морально подмочить свою репутацию — это, без сомнения, и причина, и выражение сдвига в условностях, очерчивающих фрейм соответствующего вида деятельности. К тому же прочная профессиональная репутация не является единственным средством прорыва старых запретов и усиления свойства быть отвлеченным от личности актера, которое характеризует фрейм

ниям, заметное сопротивление в Южной Африке. См.: Clothes Dummies Stir South Africa // The New York Times. January 4, 1970.

театральной деятельности. В 1973 году начинающая четырнадцатилетняя актриса, по социальному происхождению из среднего класса, девятиклассница пригородной школы сыграла одержимого бесом ребенка в киноленте «Изгоняющий дьявола» («The Exorcist»). В журнале «Newsweek» сообщалось: «Ее лицо и тело — какие-то отвратительные останки из крови, гноя и кровавых рубцов. Она выкрикивает самые непристойные слова, когда-либо слышанные с экрана, лягает доктора в пах, как зверь бросается на мать, мастурбирует распятием и извергает потоки рвоты на священников, которые приступают к изгнанию беса». Затем в статье проводилась мысль, что юная актриса и ее семья могли спокойно отнестись к участию в фильме, чувствуя себя защищенными броней респектабельности и рассудительности, свойственных среднему классу³⁹. (Но в данном случае, возможно, тот факт, что киноперсонаж несамостоятельно совершает эти мерзкие поступки, являясь попросту сосудом и орудием дьявола, обеспечивает достаточную отстраняющую дистанцию актрисе, которая предстает лишь средством передачи непотребств персонажа.) Заметим, однако, что готовность взломать принятые рамки театральной или кинематографической деятельности все же не должна рассматриваться только как часть выдуманного мира: такой акт столь же реален и серьезен, как и любое другое морально рискованное предприятие⁴⁰.

³⁹ Newsweek. January 21, 1974.

⁴⁰ Смысл сказанного отчасти раскрывается в нижеследующем газетном интервью.

В 1968 году актриса Сьюзан Йорк, типаж которой выглядел вполне невинно, сыграла пятиминутную сцену лесбийской любви в фильме «Убийство сестры Джордж», которая по тем временам тоже выходила за пределы обычного фрейма кинематографической игры. Прочитируем отрывок из интервью Норы Эфрон с мисс Йорк:

— Чувствуете ли Вы, что Вас использовали?

— Нет. Все придумывал Боб [Олдрич, режиссер]. Он так же боялся, как и любой другой из нас. Невозможно — по крайней мере для меня — участвовать в подобной сцене без доверия, если только вы не пьяны. А я не была пьяна. Но на протяжении двух или трех дней съемок уровень вашего доверия скачет. Я нервничала ужасно. Это был трудный период. Трудный для меня и трудный для Корал [Браун, партнерши]. Я думаю, мало кто на свете так беззащитен и уязвим, как актер. Положим, вы писатель, но перед публикой всего лишь ваша книга. Если вы художник, то выставляете только вашу картину. Но если вы актер, то перед публикой вы, вы сами, ваше лицо, ваша кожа, ваше тело. Ну, и чужие могут иметь все это. Они могут взять ваше тело и ваше лицо. Но никто не смеет вторгаться в ваши мысли. И главное, что ужасало меня, что терзало меня, был

Интересны различия между театральной и кинематографической аренами в отношении ролевой формулы персонажа:

Работа отыскания нужных актеров, подбор людей с ярко выраженной внешностью, соответствующей тем заданиям, которые поставлены в сценарии, является одним из труднейших этапов в подготовительной работе режиссера. Нужно помнить, что, как я уже говорил, в кинематографе нельзя «играть роль», нужно обладать суммой реальных данных, отчетливо внешне выраженных, для того чтобы нужным образом впечатлить зрителя. Немудрено поэтому, что часто в кинематографической постановке снимают человека случайного, с улицы, никогда не мыслившего об актерстве, только потому, что внешне он является ярко выраженным типом и как раз таким, какой нужен режиссеру. Для того чтобы сделать конкретно ощутимой эту неизбежную необходимость брать в качестве актерского материала людей, в действительности обладающих реальными данными для нужного образа, я приведу хотя бы такой пример. Предположим, что для постановки нужен старик. В театре этот вопрос разрешился бы просто. Сравнительно молодой актер мог бы нарисовать на лице морщины, внешне впечатлить зрителя со сцены, как старик. В кинематографе это немыслимо. Почему? Да потому, что настоящая живая морщина представляет собой углубление в коже, — складку, и если старик с настоящей морщиной поворачивает голову, то свет на этой морщине играет. Реальная морщина не есть темная полоса, она есть только тень от складки, и различное положение лица относительно света даст всегда различный рисунок света и тени. Живая морщина под светом в движении живет; если же мы вздумаем на гладкой коже нарисовать черную черту, то на экране движущееся лицо показывает не живую складку, на которой играет свет, а только проведенную черной краской полосу. Особенно нелепа будет она при большом приближении объектива, то есть на крупном плане. В театре подобный грим возможен потому, что свет на сцене условно ровен, он не бросает теней. По этому приблизительному примеру можно судить о том, насколько подыскиваемый актер должен быть близок к тому образу, который намечен в сценарии. В конце концов, актер кинематографа в огромном большинстве случаев играет самого себя, и работа

страх, что я пережила момент, когда не принадлежала самой себе. Это было похоже на чувства араба, который боится фотографироваться, так как думает, что в этот момент кто-то забирает его душу. Я тоже думала, что, может быть, отдаю слишком многое. Я думала, что эта сцена, возможно, способна опустошить мою душу. Просто сам факт выступления раздетой, выставления себя всем напоказ... Что бы ни говорил вам ваш холодный разум, вы не можете не чувствовать себя оскверненной (The New York Times. December 29, 1968.).

режиссера с ним будет заключаться не в том, чтобы заставить его создать то, чего в нем нет, а в том, чтобы наиболее ярко и выразительно показать то, что у него имеется, использовать его реальные данные⁴¹.

Обычная кино-картина длится полтора часа. За эти полтора часа перед зрителем проходят иной раз десятки запоминаемых им лиц, окружающих героев картины, и эти лица должны быть исключительно тщательно выбраны и поданы. Иной раз вся выразительность и ценность сцены, хотя бы и с героем в центре ее, зависит почти исключительно от тех «второстепенных» персонажей, которые его окружают. Эти персонажи показываются зрителю всего на 6–7 секунд каждый. Они должны впечатлить его ярко и отчетливо.... Найти такого человека, поглядев на которого 6 секунд, зритель сказал бы: «это негодяй, или добряк, или глупец» — вот задача, стоящая перед режиссером при выборе людей для будущей постановки⁴².

Независимо от различий ролевых формул персонажа, предлагаемых типами сценических площадок, и пределов, поставленных в данный момент самовыражению, целый набор приспособлений образует нечто вроде модели разъединенности между персонажем и его творцом. Другие переключения и фабрикация в процессе человеческой деятельности дают похожие, но ослабленные вариации на ту же тему.

Вернемся к вопросу о репутации, но на этот раз в виде проблемы ограничений, налагаемых ею на возможности человеческого притворства вне сцены, в частной жизни. К примеру, тот, кто разыгрывает в ней ближних подходящей к случаю шуткой, может не заботиться об устойчивых последствиях подобным образом организованного взаимодействия, но, конечно, все зависит от того, что считать «подходящим». Тому, кто стряпает сверхусложненные, дорогостоящие, вредоносные или бестактные розыгрыши и шутки, то есть как раз «не подходящие», надо приобрести известную репутацию, чтобы так поступать. Аналогично человек, симулирующий безумие или гомосексуальные наклонности лишь бы избежать призыва на военную службу, может иногда преуспеть в этом, но порой только потому, что прове-

⁴¹ Пудовкин В. И. Кино-режиссер и кино-материал. М.: Кинопечать, 1926. С. 60–61.

Здесь, я думаю, Пудовкин немного увлекается. Дело не в том, чтобы найти того, кто подходит для роли по человеческим качествам, но того, чей облик в частной жизни быстро создает на экране впечатление искомым характеристик персонажа. Сами эти характеристики, будь то на внеэкранном или на экранном уровне, могут полностью зависеть от глаза наблюдателя и его ценностных суждений.

⁴² Там же. С. 66.

ряющие его психиатры придерживаются взгляда, согласно которому любой желающий инсценировать подобный спектакль должен быть несчастным, подверженным риску умственного заболевания. Такой интерпретацией психиатрия подкрепляет наши житейские мнения о пределах симуляции. Но это, конечно, отдельная тема.

Близкий описанному ограничитель самовыражения связан с представлениями людей о величии должности, которые заставляют ответственных лиц чувствовать, что определенные легкомысленные выходки, пусть безобидные, им «не к лицу». В 1967 году губернатор штата Калифорния во время принятия в почетные члены Лос-Анджелесского клуба мог позволить себе следующее:

Часть церемонии пятидесятилетнего губернатор сидел с завязанными глазами на деревянной лошадке перед аудиторией в шестьсот человек, держа правую руку в сковородке с яичницей, в то время как клубный распорядитель зачитывал длинный список воображаемых комических происшествий из прежней актерской жизни губернатора, каждое из которых он должен был сопровождать репликой: «Я признаю это»⁴³.

Но если бы он тогда избирался в президенты США, такую церемонию приема, вероятно, посчитали бы, мягко говоря, неуместной, даже при том, что вообще церемониалы посвящения и принятия куда-либо по меньшей мере в Америке дают закрепленное обычаем право на дурашливое, не совсем пристойное поведение. Подобная осторожность напоминает, что в качестве элемента безумного поведения мы подразумеваем участие в деятельности, унижающей достоинство человека определенного типа⁴⁴. Однако мэр Нью-Йорка счел уместным действовать в таком духе:

Хваленое самообладание Линдсея тоже пострадало, и он довольно долго восстанавливал хорошее настроение, чтобы приготовить неожиданный постскрипtum к этому ежегодному вечеру музыкальных пародий, устраи-

⁴³ The New York Times. July 27, 1967.

⁴⁴ В журнале «Life» (за 23 октября 1970 года) помещена фотография одного бизнесмена из г. Милуоки. Он сидит в алюминиевом кресле-качалке босой, в футболке, с подвернутыми брючинами, с кукурузным початком вместо трубки в зубах, с черпаком, погруженным в какую-то дыру, среди улыбающихся местных полицейских, поскольку, как тогда было известно, он проходил обряд посвящения в Американский легион. Поскольку в американском обществе институционально разрешено проводить подобные обряды вне фрейма бытового поведения,

ваемому политическими репортерами. Всегдашний радетель шоу-бизнеса, Линдсей надел соломенную шляпу, белые перчатки и взял в руку тросточку, чтобы спеть и протанцевать чечетку в ботинках без металлических набоек в номере с профессиональным партнером. «Быть может, я еще спасу это шоу», — изрек он в оправдание⁴⁵.

И опять же, если бы Линдсей баллотировался в президенты, подобное добропорядочное спортивное молодечество вряд ли было бы позволительно. Хотя американские президенты могут изображать доброжелательную аудиторию во время исполнения сатирических скетчей против своих администраций, особенно, когда они сочинены столичным Пресс-клубом, возможности их выхода на сцену ограничены, и пределы этих возможностей были очень мило политически засвидетельствованы, когда президент Линдон Джонсон с женой присоединились к Перлу Бейли и Кэбу Каллоуэю, чтобы почти рука об руку спеть «Хелло, Линдон!» во время выступления в Вашингтоне черных актеров с мюзиклом «Хелло, Долли!». Тогда, наверное, американский президент появился в театральной постановке впервые в истории страны⁴⁶. Это не значит, конечно, что правила жизни для высокопоставленных лиц не могут изменяться и уже не изменились с тех пор, но об этом речь пойдет позже.

Рассмотрим теперь проблему биографических маскировок и обманов. Когда человек действует в каком-то определенном ключе или по конкретной схеме и благодаря этому начинает в непосредственном взаимодействии с другими исполнять частную партию или перевоплощаться в персонаж — некую узнаваемую фиктивную личностную целостность, а не просто роль, — какую ответственность несет он за свои поступки, то есть какие претензии могут быть предъявлены ему как конкретному лицу за его поведение в качестве персонажа?

Когда индивид действует, как предполагают, «под гипнозом» или во сне, его не считают ответственным за действия персонажа, которого он воспроизводит в сомнамбулическом состоянии. Утверждают, что в гаитянской религии Вуду в случаях, когда человек «оседлан»,

их социальные ограничения заметно отличаются от социальных ограничений, принятых в обычной жизни.

⁴⁵ Time. March 18, 1966.

⁴⁶ См.: Life. December 8, 1967. В избирательной кампании 1968 года Ричард Никсон появился в комическом шоу Роуэна и Мартина, где произнес двусмысленную фразу. Говорят, что Никсон исполнил этот скетч только после заключения письменного соглашения, запрещавшего его использование после выборов.

то есть одержим духом (loa), придерживаются сходного мнения о распределении ответственности по модели отношений между всадником и лошадью под седлом:

Человек в состоянии транса никак не отвечает за свои дела и слова. Он перестал существовать как личность. Одержимый может безнаказанно выражать мысли, которые в нормальных обстоятельствах он не решился бы высказывать вслух⁴⁷.

Интересно, что во всем этом можно обнаружить притязание на то, будто человек, выходящий из транса, абсолютно ничего не помнит из случившегося с ним за время одержимости. По-видимому, вудуистские медиумы тоже утверждают отсутствие связи между своим человеческим лицом и тем мифологическим персонажем, которого они берутся воплощать.

Однако такая слабая связь между человеком и его маской, между лицом и личиной, видимо, не типична. Существуют внутренние ограничения, обусловленные общекультурным и индивидуальным чувством стыда и приличия. Агенты тайной полиции, наверное, чувствуют себя вправе принять почти любую маску, ибо их «реальный» статус защищает их от потенциального постоянного отождествления с той маской, какую они временно надевают на себя для пользы дела. Тем не менее существуют виды маскировки, которыми полиция брезгует, и особенно, когда они требуют совершения действий, имеющих гомосексуальную окраску.

Более того, внутренние ограничения могут быть санкционированы официальными инстанциями, так что независимо от личной чувствительности исполнителя ему будет запрещено пользоваться определенными масками, даже если разрешены другие. Пример этого дает следующее сообщение в газете об ограничениях на допустимые средства важных государственных расследований:

Нью-Йорк (Ассошиэйтед Пресс). Министр юстиции США Рамсей Кларк издал приказ, запрещающий агентам ФБР представляться в будущих расследованиях в качестве корреспондентов газет, журналистов радио и телевидения и т. п.

Кларк обнародовал этот приказ в письме от 8 июля 1968 года, адресованном Биллу Смолу, главе бюро новостей радиовещательной компании Си-Би-Эс в Вашингтоне. Содержание письма было распространено вчера.

⁴⁷ Métraux A. Voodoo in Haiti. P. 132.

Смол жаловался от имени трех телеканалов, что 17 июня агенты ФБР работали под видом тележурналистов во время пресловутого инцидента в Вашингтоне со сжиганием призывных повесток, организованного женщинами — членами Комитета ненасильственных действий Новой Англии.

Корреспондент корпорации Эй-Би-Си Ирвинг Чэпмен сообщил, что агенты ФБР предварительно выступали как тележурналисты, чтобы собрать на киноплёнке нужные свидетельства для последующих судебных преследований. В одном из выпусков последних известий Чэпмен обвинил агентов ФБР в том, что «тем самым они компрометируют нашу [журналистов] профессию»⁴⁸.

Еще одним примером официальных ограничений могут послужить законы против попыток выдавать себя за лицо противоположного пола. Он особенно интересен в связи со спецификацией сферы действия этих законов, заставляющей внимательно обдумывать возможные рамки карательных действий, как учит нас одно из примечаний в книге по проблеме арестов:

В 1958 году была принята поправка к постановлению муниципалитета [Детройта] о нарушениях общественного порядка, которая сделала незаконным «появление в женской одежде лиц мужского пола на любых улицах, аллеях, автострадах, тротуарах, мостах, виадуках, пешеходных и парковых дорожках, в туннелях и других публичных местах или путях сообщения, муниципальных или по любым частным обоснованиям открытых и посещаемых публикой, — при условии, однако, что эти положения не будут применяться ни к одному лицу в то время, когда оно на законном основании дает, проводит, ставит, представляет, предлагает или участвует в любых развлекательных программах, выставках или представлениях» (Detroit City Ordinances. Chap. 223. S 8-D, с поправками от 29 июля 1958 года)⁴⁹.

Из этого постановления можно извлечь урок относительно важности житейских концепций, определяющих рамки человеческого поведения, ибо иногда обнаруживается, что некоторые формальные юридические ограничения напрямую касаются чьих-то действий.

3. Вернемся к театру и повторно рассмотрим понятия «лицо», «роль» и «персонаж». Как уже упоминалось, когда говорят, что конкретный актер на сцене слишком стар для роли или когда автоматически под-

⁴⁸ San Francisco Chronicle. July 11, 1968.

⁴⁹ LaFave W. R. Arrest. Boston: Little, Brown and Company, 1965. P. 469.

бирают исполнителя на какую-то роль из кандидатов того же пола, что и герой пьесы, тогда подразумевают, что некоторые свойства актера, пригодные для данной роли, «естественны» для него, то есть являются частью его поведения вне сцены, в жизни, и что эта неподдельная природная пригодность точно так же необходима, как и текст пьесы. И вот почему Ж.-П. Сартр в предисловии к пьесе «Служанки» Ж. Жене приводит такой трогательный аргумент:

В «Богоматери цветов» Жене говорит: «Если бы мне пришлось ставить пьесу с женскими ролями, я потребовал бы, чтобы эти роли исполнялись мальчиками-подростками, и я специально привлек бы к этому внимание зрителей афишей, которая была бы прикреплена к декорациям справа и слева в течение всего спектакля». У кого-то может возникнуть искушение объяснить такое требование интересом Жене к мальчикам на пороге юности. И все же это не главная причина. Суть дела в том, что Жене с самого начала хочет *подрубить корни очевидности*. Без сомнения, актриса была бы способна сыграть Соланж, но это не привело бы к полному, радикальному достижению результата, который можно назвать «дереализацией», так как актрисе не нужно играть женское естество. Мягкость плоти, ленивая грация движений и серебристый тон голоса — все это ее природные способности. Они составляют тот материал, который она будет формировать по своему усмотрению, чтобы придать ему облик Соланж. Жене хочет, чтобы это женское естество само стало видимостью, результатом актерского притворства. И не Соланж оказывается театральной иллюзией, а скорее *женщина Соланж*⁵⁰.

Очевидно, позиция Сартра сводится к тому, что женщина, выступающая в этой роли (как и было в действительности на первом представлении пьесы), могла «натурально» играть женщину, будучи женщиной на самом деле, чьи природные качества продолжали бы существовать и вне театральных рамок, которые не в состоянии их подавить. Но, конечно, женоподобное поведение на сцене или в частной жизни имеет какой-то социально определенный рисунок, не более «натуральный» и неизбежный, чем профессиональная роль служанки. И Сартр по существу говорит не о природе, чем бы она ни была, а о невыявленных предрассудках относительно пределов театрального фрейма.

Пойдем далее. С учетом сказанного о ролевых формулах персонажа, становится понятной «типажная специализация», то есть положение, когда театрального актера, который «хорошо подходит»

⁵⁰ Sartre J.-P. Introduction // Genet J. The Maids and Deathwatch / Transl. by B. Frechtman. New York: Grove Press, 1954. P. 8–9.

для данной роли (или типа роли) и часто ее исполняет, могут постепенно отождествить с нею и не только на сцене загнать в ограничительные рамки персонажа, но и вне сцены видеть в нем характер, навеянный обычно исполняемой ролью. (Фактически, если рассматривать эти материи в сравнительной перспективе, можно увидеть, что западные представления о тенденциях развития типажной специализации открывают только одну возможность. А, к примеру, в Японии существуют роды, наследственно связанные со сценой в течение ряда веков и успевшие получить национальное признание как обладатели своеобразного мандата на исполнение определенных видов ролей, — и здесь внесценическая идентификация со сценической ролью может быть очень велика, особенно в случае мужчин, которые специализируются на женских ролях.)

Вероятно, читателю нелегко разглядеть то, что в этом исследовании с самого начала было характерным для процессов определения фреймов, а именно возможность тех же процессов становиться предметом переопределения. Так, в профессиональной борьбе как бизнесе исполнителям предоставляют на выбор амплу «злодея» либо «честного борца», и после того как борец в одной из этих ролей хоть раз уловит живую реакцию публики, он будет стараться, чтобы каждая схватка подтверждала его типажную специализацию. Результат такой практики не только в том, что каждая схватка оказывается подделанной, но и в том, что опыт, переносимый из одной схватки в другую, тщательно обрабатывается и усваивается, тем самым повышая ценность исполняемых трюков в глазах публики. Короче говоря, качества, которые перерастают рамки конкретных исполнений, сами могут усиливаться подходящим исполнением. Лучший пример — это «Стэндуэллс», действующая труппа из пяти кукол, которая выступала в Манхэттене одиннадцать сезонов подряд с очень большим репертуаром⁵¹. Хотя всего двое мужчин оживляют эти пять кукол, каждая из них воспринимается как личность со своим характером, и это предопределяет выбор ролей и стиля исполнения, поскольку отличительный характер каждой из них просвечивает сквозь все роли, которые играют кукольный «он» или кукольная «она». Почта от поклонников, телефонные отклики и т. п. адресуются не персонажам, исполняемым в пьесах, а кукольным «исполнителям», стоящим за этими разнообразными персонажами, при счастливом забвении известного каждому зрителю факта, что за всеми куклами-«исполнителями» скрывается

⁵¹ См. раздел «Театральное обозрение» в журнале «Тайм»: Time. Mini Music Hall. January 4, 1971.

одна и та же пара мужчин. Перед нами здесь случай «переключения» ограничений при определении рамок действия.

Последнее замечание. В американском обществе (как, вероятно, во всех других) существует понимание того, что данный индивид может исполнять разные роли в разных обстановках, и людей не очень смущает факт, что при этом действует один-единственный индивид. (Потому-то мне и было так легко употребить выше словосочетание «одна и та же пара мужчин».) В самом деле, это ведь основополагающее допущение, что исполнитель любой роли имеет за пределами данного исполнения долгую продолжающуюся биографию, неповторимую непрерывную личную идентичность, хотя и совместимую и согласующуюся с рассматриваемой ролью. К примеру, продавец обуви обслуживает родственника, и хотя это нарушает обычное «разделение аудиторий» (перед которыми продавец выступает в разных ролях) и способно вызвать легкое смущение у обоих, его, как правило, можно снять шуткой или снижением цены. И, в конце концов, вряд ли обслуживаемый родственник должен удивляться тому, кого нашел в магазине, поскольку, вероятнее всего, из-за него и выбрал именно этот магазин⁵². Отсюда следует, что в точном смысле в процессе принятия социальной роли индивид обретает не личную, биографическую идентичность (будь то партия в непосредственном взаимодействии или характер в жизненной ситуации), а некое местечко в существующей социальной категоризации, то есть социальную идентичность, и только через нее частицу личной идентичности. Но если индивид выступает в поддельной социальной роли, самозванно изображая доктора, газетчика или лицо другого пола, то ее принятие влечет за собой и приобретение облика фальшивого персонажа, или индивидуальности, причем ровно настолько, насколько сильна закреплённость рассматриваемой роли в биографии исполнителя.

IV. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ РЕСУРСОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Все, что происходит внутри интерпретированного и организованного потока деятельности, обеспечивается ресурсами, которые поступают из внешнего мира и в некой прослеживаемой преемственности должны в него возвращаться. Шахматные фигуры приходится вынимать из футляра в начале игры и убирать обратно после ее окончания. Даже если игроки и фигуры рассеялись бы в дым во время

⁵² Развитую аргументацию см.: Goffman E. Encounters: Two Studies in the Sociology of Interaction. Indianapolis: The Bobbs-Merrill Company, 1961, особенно, p. 141.

игры, то и дым можно представить как распознаваемый результат физического преобразования того, что происходило. (Если бы Айрин Уорт, играющую Силию в пьесе «Вечеринка с коктейлями», реально кусали муравьи, она не смогла бы каждый вечер раскланиваться перед занавесом; но даже если мисс Уорт *была бы съедена* муравьями — финал, на который благочестиво надеялись некоторые зрители, — ее букли, по-видимому, остались бы нетронутыми и могли бы опознаваться как именно *ее* букли.) Каждый артефакт, а также человек, вовлеченный в организованную деятельность, или фрейм деятельности, имеет длящуюся биографию, то есть какую-то прослеживаемую жизнь (или следы, которые она оставила) до и после определенного события, и потому всякая биография представляет собой преемственную цепь неповторимых событий, или самотождественность⁵³. Так, после уборки любительской труппой реквизита, который помог оформить современное помещение под сценку из Викторианской эпохи, и ухода

⁵³ Количество имеющихся доказательств этой непрерывности не так важно, коль скоро у нас есть немногие свидетельства, ибо эти немногие, если они обоснованны, дают все, что нам нужно. Так, в некоторых родах искусства удостоверение подлинности произведения может включать вещи, не очень связанные с тем, о чем обычно думают как о заслуживающем награды в сфере искусства. Нельсон Гудмен предоставляет на этот случай полезный комментарий:

«Для признания оригиналом отпечаток гравюры должен быть получен с определенного клише, но не обязательно исполнен самим художником. Более того, в случае гравюры на дереве художник иногда только набрасывает рисунок на деревянной форме, доверяя исполнение резьбы кому-нибудь еще. По рисованным доскам Ханса Гольбейна, например, ксилографические клише обычно резал Лутцельбергер. Установление подлинности авторства в искусстве всегда зависит от наличия необходимых сведений об истории, порой весьма запутанной, создания данного произведения, но эта история не всегда завершается подтверждением авторства того художника, который считался подлинным в ее начале» (Goodman N. *Languages of Art*. Indianapolis: Bobbs-Merrill Co. P. 119).

В искусстве скульптуры нарушение непрерывности авторства, связанное с изготовлением копий, достаточно очевидно, например, в случае *surmoulage* — неавторизованной отливки с оригинального экземпляра. Но если дюжина отливок с первоначальной формы признана авторской самим ваятелем, все они считаются подлинными. Тринадцатая копия, сделанная без авторского удостоверения художника, хотя бы и в мастерской, где хранится форма-оригинал, будет подделкой, но доказательство этого факта должно опираться на историю принятия решений, а не на анализ достоинств произведения искусства.

аудитории, все еще остается скучная обязанность возратить взятые займы предметы добрым соседям, одолжившим их.

Факту непрерывности ресурсов взаимодействия может быть придан научный лоск ссылкой на основные законы физики о сохранении вещества: эти принципы применимы к разным сферам и разным процессам. Соответствующий вывод относительно социальной сферы таков, что все мы живем в мире, который предположительно непрерывно оставляет некие последствия. Раз событие происходит, мы предполагаем, что от него останется постоянный след и что при достаточном изучении и пытливости можно обнаружить какие-то данные об этом событии. Остаток — это не свидетельство того, что чего-то не хватает, а прежде всего основание для поиска. Когда есть основание, как при проверке претендующего на историчность документа, тогда поиск восстанавливающих прошлое данных может стать весьма впечатляющим⁵⁴. И возникает основательная дезориентация в окружающем мире, когда индивид убеждается, что событие имело место, но обнаруживает, что не может доказать это другим. Повествования в жанре детектива «Леди исчезает» особенно активно эксплуатируют эту тему.

Предположение о преемственности ресурсов взаимодействия лежит в основе наших понятий подделки и самозванства, где первое относится к материальным объектам, а второе — к людям. Разумеется, об усилиях и средствах их разоблачения в обоих родах деятельности имеется обширная литература⁵⁵.

Одно из интересных проявлений преемственности ресурсов взаимодействия — это то, что называют «стилем», а именно устойчивая узнаваемость выразительных средств в поведении человека. Так, когда индивид вовлекается в какой-либо эпизод деятельности, тот факт, что действует именно он и никто другой, проявляется через «выразительные» (экспрессивные) составляющие его поведения. Выполне-

⁵⁴ Полезным обобщающим источником об исторических разысканиях в данной области является монография Р. Уинкса: Winks R. W. *The Historian as Detective*. New York: Harper & Row, 1970.

⁵⁵ Аналитически обстоятельное толкование феномена подделок в искусстве можно найти у Н. Гудмена, который, между прочим, также вооружает нас комментариями по вопросу о преемственности ресурсов:

«Обобщающий ответ на наш несколько щекотливый второй вопрос о подлинности можно суммировать в немногих словах. Поддельное произведение искусства есть объект, ложно претендующий на то, чтобы иметь историю создания, принадлежащую оригинальному произведению» (Goodman N. *Languages of Art*. Indianapolis: Bobbs-Merrill Co., 1967. P. 122).

ние индивидом стандартной социальной рутины обязательно включает и такое самовыражение. Стиль здесь относится к преобразованию, систематическому видоизменению эпизода деятельности благодаря особенностям исполнителей. Обобщенное понятие стиля, по-видимому, сложно определить. Существует стиль конкретного актера, конкретной театральной труппы, конкретного театрального периода. Существует лингвистический стиль конкретного языкового сообщества, который означает, в частности, что при переводе с одного языка на другой далеко не все лексические и грамматические ограничения преодолеваются легко и приятно⁵⁶. Существуют культурно различные стили изображения в живописи:

Для египтянина эпохи Пятой династии правдивый способ изображения — не такой, как для японца XVIII века, и оба способа не устроят англичанина начала XIX века. Каждый из этих людей сперва должен был бы в какой-то мере научиться читать картину, выполненную в другом стиле. Эта относительность становится менее наглядной из-за нашей склонности опускать определение фрейма восприятия (*frame of reference*), когда он принадлежит нам самим⁵⁷.

То же относится и к движущимся картинам — к кино. Если в качестве эксперимента предложить сделать любительский фильм индейцу племени навахо, он, наверное, снимет не такие кадры, как современные американцы, и смонтирует отрывки из отснятого материала в иной последовательности — короче, проявятся различия в «повествовательном стиле»⁵⁸. Можно говорить также о стиле игрока в шахматы и стиле, допустим, советских игроков в отличие от американских. Существуют национальные стили дипломатии или, по меньшей мере, определяющие их тенденции⁵⁹. Банда воров тоже может иметь стиль,

⁵⁶ Обсуждение проблемы языка как стиля см.: Hymes D. *Toward Linguistic Competence*. Unpublished paper, 1973.

⁵⁷ Goodman N. *Op. cit.* P. 37.

⁵⁸ Worth S., Adair J. *Through Navaho Eyes*. Bloomington: Indiana University Press, 1972. Chap. 9–10.

⁵⁹ См., например рассуждение Ф. Айкла: «Отличия между западными дипломатами определяются спецификой пройденного курса обучения и культурными традициями. Эти отличия, возможно, как-то отражаются в их методах переговоров, но обычно они не достаточно глубоки, чтобы создать отчетливо узнаваемый стиль. Более важны различия в структуре управления, определяющей внутриполитические ограничения, с которыми должен считаться каждый участ-

свой характерный *modus operandi*. Говорят о мужском и женском стилях игры в покер⁶⁰. И в самом деле, каждую из наших так называемых диффузных социальных ролей можно частично рассматривать как стиль, а именно как определенную *манеру* действовать и вести себя, которая «подходит» данному возрасту, полу, классу и т. д.

Можно размышлять о стиле как переключении деятельности, открытом изменении чего-либо как результате подражания чему-то другому (или его изменениям). Но при этом неизбежны оговорки. По-видимому, стиль часто предполагает весьма незначительное переключение на иной регистр или, по меньшей мере, такое изменение, которое позволяет нам чувствовать, что деятельность, стилизованная определенным способом, мало отличается в своих последствиях от той же деятельности, стилизованной другим способом (это верно не для всех переключений). Далее, переключение по определению есть открыто признанное, свободное изменение деятельности. Стиль корбит нас как фальшивый, если он не свободный, наносной, связан с корыстью, и это может всплыть наружу, как в случае *modus operandi* преступника, несмотря на усилия обладателя преступного почерка замаскировать свое авторство.

Стиль, конечно, часто используется в качестве средства идентификации как людей, так и их произведений. Следовательно, когда требуется установить автора или подлинность произведения, стиль может стать решающим фактором. Отметим также, что стиль может систематически подделываться. Еще более распространено «передразнивание» стиля в игровых целях: стандартные примеры этого — сатирические миниатюры, пародии и карикатурные подражания. При

ник переговоров. Эти ограничения, однако, меняются в зависимости от темы переговоров. Примером чего-то похожего на постоянную характеристику национальной дипломатии является высокая чувствительность американских дипломатов к общественному мнению, которая может быть вызвана и культурными факторами, и конкретными чертами американской политической жизни. Французские дипломаты склонны развивать историко-философские темы в качестве основания для выработки стратегии переговоров, возможно, потому, что методики их образования делают сильный акцент на сочинении синтезирующих эссе. Немецкие и американские договаривающиеся стороны порой гораздо большее внимание уделяют правовым аспектам спорного вопроса, чем дипломаты большинства западных стран, вероятно, из-за важной роли, которую юристы играют во внешней политике и в Бонне, и в Вашингтоне» (Ikke F. Ch. *How Nations Negotiate*. New York: Harper & Row, 1964. P. 225–226).

⁶⁰ Uesugi T., Vinache W. *Strategy in a Feminine Game* // *Sociometry*. 1963. Vol. 26. P. 75–78.

формировании образа другого человека нас по возможности привлекают такие аспекты его стиля, какие мы в состоянии сформулировать и использовать (наряду со стилевыми особенностями, которые мы ему приписываем и которых нет в действительности) в качестве ядра для создания идентификационного портрета. Итак, стиль — это нечто привносимое действующим лицом в свои поступки, и что, как нам хочется думать, мы понимаем.

Стиль далее можно рассматривать как свойство всякой деятельности, свойство, которое действующий индивид привносит во все ее продукты и которое в той или иной форме постоянно ему присуще. Но, конечно, и другие свойства проявляют подобную непрерывность. Человек, которому предстоит играть Гамлета, должен выучить роль, но обычно его не надо учить театральному английскому языку, если только он не настоящий принц. В частности, по-видимому, профессиональные навыки актера гарантируют ему умение говорить в театральной манере, а вместе с ним (увы!) и возможность привносить это качество в любой персонаж-характер, который он обязан изображать. Во время профессионального становления и изучения театрального английского ему, вероятно, не нужно учиться обычному английскому (по крайней мере, в полном объеме), поскольку, как предполагается, *это качество* необходимо человеку для исполнения любой роли, которую он принимает на себя, — будь то роль профессионального актера, юриста или отъявленного жулика. Кроме того, однажды исполнив роль Гамлета в спектакле, начинающий актер, наверное, сможет в последующем войти в роль быстрее, не тратя так же много времени на заучивание текста: его память, хотя бы в малой степени, поможет ему. И, возможно, тот, кто распределяет роли в пьесе, возьмет в расчет как важный фактор наличие этой актерской памяти. Так что память — это, конечно же, элемент ресурсов, которые индивид вкладывает в роль. Именно поэтому персонал, имеющий доступ к стратегической информации, порождает специальные проблемы для правительства и деловых кругов. Составляющие его наемные работники могут уйти по собственному желанию, быть уволены администрацией или выйти на пенсию. Но после прекращения трудовых отношений их память нельзя отключить, и потому они продолжают интересоваться менеджмент⁶¹. Сравнительно свежий пример этого — яв-

⁶¹ Права на этот интерес иногда пытаются защитить законодательно. Так, в книге Аллена Даллеса читаем:

«Практические тяготы, навлекаемые карьерой разведчика на человека и его семью, частично обусловлены секретностью, под покровом которой должна

ная озабоченность канцелярии президента тем, что бывшие горничные, повара, шоферы, помощники и министры президентского кабинета все охотнее готовы продавать свои воспоминания, порой марая и подрывая ими репутацию самого главного чиновника страны⁶².

В таких случаях становится очевидным, что никакая активность не переделывает людей полностью. Это наблюдается даже в тех видах деятельности, самой природой которых предначертано освобождать людей от лишнего социального багажа, позволяя тем самым максимально погружаться в работу здесь и сейчас. Таковы, например, сложные игры вроде шахмат и бриджа. Поэтому, если противники не подобраны по уровню мастерства, у них мало шансов, что игра достигнет высокого накала. Далее, хотя игра, подобная бриджу, навязывает случайную раздачу карт и крайне неполную коммуникацию между партнерами, все же она пример взаимодействия, где индивиды, долгое время игравшие как партнеры, получают большие преимущества. Все это еще раз указывает на то, что пока деятельность требует разного рода ресурсов, включая индивидов, целый спектр связей соединяет ее с пребывающим в движении миром — миром, из которого приходят и в который возвращаются ресурсы деятельности.

V. НЕСВЯЗАННОСТЬ

Рассмотрим теперь связь деятельности с контекстом, который на первый взгляд может показаться не имеющим к ней никакого отношения, если предположить, что любая деятельность происходит в среде, насыщенной другими событиями, которые должны приниматься как не связанные и не соотносящиеся с изучаемым событием в этом мире случайности, безразличия и т. п. Даже если действующий индивид использует свойства непосредственного окружения, откровенно пред-

производиться вся тайная работа разведки. Каждый ее работник подписывает служебную присягу, которая обязывает не разглашать ничего из узанного и сделанного им во время службы любому не уполномоченному лицу, и это обязательство действует даже после оставления государственной службы» (Dulles A. *The Craft if Intelligence*. New York: New American Library, Signet Books, 1965. P.168).

В Британии похожую функцию исполняет Закон о режиме секретности (*Official Secrets Act*), представляющий собой замечательный механизм для постановки интересов государства выше любого возможного толкования расхождений между интересами частного лица и его официальной ролью.

⁶² См., например, статью: Sidey H. *Memoirs Come to Market // Life*. February 13, 1970.

полагая, что они ему пригодятся, он вполне способен согласиться с тем, что во многих отношениях используемые ресурсы находятся под рукой по причинам, безразличным к его собственным соображениям⁶³. Отсюда итог: одно из отношений, которое мы имеем к нашему непосредственному окружению, заключается в том, что некоторые его элементы не имеют к нам никакого отношения.

Как упоминалось в первой главе, ряд используемых нами терминов служит для разъяснения той точки зрения, что ближайшие друг к другу проявления деятельности могут почти *не иметь связи* друг с другом. Для обозначения таких непредвиденных явлений, к добру или ко злу возникающих рядом с нами, могут понадобиться термины «удача» и «несчастный случай». Термин «небрежность» относится к незапланированным столкновениям с болезненными последствиями — столкновениям, которых заранее следовало остерегаться и избегать, и за которые мы в какой-то мере ответственны. Термин «совпадение» иногда относится к контакту двух сторон, которые раньше имели отношение друг к другу, но в этот раз не ждали и не предвидели встречи. И, наконец, термин «счастливый случай» (*happenstance*) можно отнести к незапланированным встречам, после которых между сторонами установились стабильные отношения как результат случайно завязанного контакта.

Несвязанность пространственно близких событий может наблюдаться и одномоментно, и на протяжении какого-то периода времени, — так сказать, «в глубину». Второе измерение соединяет рассмотрение несвязанности с понятием непрерывности ресурсов взаимодействия, так как любое ретроспективное прослеживание развития элемента ситуации, по всей вероятности, приведет к источникам вне круга тех, которые прямо участвуют в текущей деятельности. Теоретически, к примеру, происхождение стула можно отследить вплоть до лесного дерева, из которого была получена поделочная древесина, но это дерево не выращивалось для того, чтобы сделать из него именно этот стул. И уж, наверное, его не покупали в определенном магазине, чтобы обеспечить конкретного участника деловой встречи. Но если в стуле есть «жучок» для подслушивания, то при исследовании происхождения стула, скорее всего, обнаружатся свидетельства нарушения несвязанности событий, то есть станет ясно, почему данное сидение оснащено «жучком».

⁶³ Более подробно см.: Goffman E. *Normal Appearances* // Goffman E. *Relations in Public: Microstudies of the Public Order*. New York: Basic Books, 1971; Harper & Row, Publishers, Harper Colophon Books, 1972. P. 310–328.

К этому добавим еще один пункт. В предыдущей главе рассматривался процесс отвлечения внимания и способность участников деятельности работать при этих условиях со множеством событий. Теперь должно стать очевидным, что участники имеют возможность справляться с подобным напором событий вследствие предполагаемой их несвязанности с ближайшей задачей, с насущным делом. При отсутствии запланированной связи между отвлекающим вниманием событием и выполняемой деятельностью ее участникам нужно лишь предвидеть возможные последствия этого события, чтобы вовремя отстраниться от него. Если это сделано, на такое событие практически можно не обращать внимания.

VI. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СУЩЕСТВО

Вряд ли возможно говорить о закреплении деятельности в многообразном мире без представления о том, что поступки человека частично являются выражением и результатом его скрытого *Я*, его личности, и что это *Я* присутствует во всех ролях, которые он исполняет в любой момент времени. В конце концов, вступая в разнообразные контакты с данным индивидом, мы приобретаем живое ощущение его личности, характера, человеческой сути. Мы ожидаем, что все его поступки явят один и тот же стиль, обнаружат особый отпечаток. Если любой фрагмент человеческой деятельности имеет разветвленные связи с окружающим миром, так что эта деятельность несет на себе приметы источников своего происхождения, то вполне разумно полагать, что корни любого высказывания или физического действия, приносимых индивидом в текущую ситуацию, надо искать в его биографической, личной идентичности. Под личиной сиюминутной роли будет просматриваться сам человек. Фактически это общепринятый способ определить фрейм, с помощью которого мы воспринимаем другого человека. Поэтому, да здравствует человеческое *Я*! Теперь же попытаемся прояснить нашу болтовню.

Начнем с простого. В популярной серии комедийных радиопередач занят небольшой постоянный состав исполнителей, каждый из которых, по мере продолжения серии и отыскания формулы успеха, приобретает ярко выраженную личность, собственную узнаваемую слушателями идентичность в списке действующих лиц. Каждый радиоперсонаж становится для аудитории таким же близким и человеческим, какими бывают люди рядом с нами. И вот именно таким радиоперсонажам доверяют играть характерные роли в скетчах, из которых состоит еженедельный спектакль. Манера речи и произ-

ношения, которую выработал каждый из действующих в этой серии персонажей и с которой он сросся и самоотождествился, каждую неделю частично растворяется в том характере, который предстоит играть на этот раз. Своеобразный комизм добавляется в радиопередачу возможностью послушать, как личность персонажа, которую хорошо знают по сериалу, вынуждена приспосабливаться к особенностям новой роли и все-таки по природе своей оказывается неспособной отойти от себя достаточно далеко. В таких радиошоу часто предварительно объявляют список ролей, а не состав актеров, подобранных на эти роли, так что первые произнесенные слова сообщают слушателям, «кто» именно [из персонажей сериала] собирается исполнять такую-то роль и какие веселые испытания ожидать легковерной публике. Сильный комический эффект возникает, когда такая рожденная в сериале личность вдруг обнаруживает, что ей навязали слишком неподходящую роль, и находит комическую причину, чтобы хоть на миг снять личину этой роли и бесшабашно дерзко вернуться к своему «истинному» Я, после чего восстанавливает самоконтроль и снова исчезает в назначенной роли.

Далее, следящие за этим радиошоу опытные слушатели начинают понимать, что личность, изображаемая каждым исполнителем на протяжении нескольких ролей, сама может быть целиком притворной или, по меньшей мере, приспособленной к тому, чтобы усилить впечатление от себя как типичного воплощения одного из возможных образов жизни. И в самом деле, более пристальное изучение таких радиовоплощений показывает, что и в этом случае имеет место нечто подобное ранее упомянутому кукольному шоу, поскольку оказывается, что весь радиоспектакль разыгрывается тремя или четырьмя реальными исполнителями, каждый из которых изображает двух или более персонажей из списка действующих лиц. И те особенности личности, которые исполнители доносят до слушателей через отображение характеров своих персонажей, сами оказываются притворными, инсценированными. Это еще раз напоминает нам, что живое ощущение человеческой сущности исполнителя каким-то образом порождается заметной рассогласованностью между его ролью и характером-персонажем, который он представляет другим людям, причем такая рассогласованность сама может быть сфабрикована ради производимого ею эффекта. Если это верно для восприятия контрастов между ролью и характером-персонажем, то что сказать о контрастах между конкретным лицом (человеком) и исполняемой им ролью?

Обратимся теперь к беллетристике: роману, повести и рассказу. Как предполагается, писатель волен выбирать степень своего открытого

присутствия в тексте: он может ясно высказываться устами конкретного персонажа-характера и, если захочет, вводить некий безличный неперсонифицированный голос, произносящий сквозной сопроводительный комментарий, который может быть только его собственной «авторской речью». Подобно тому как манера и содержание речей персонажей передают образы их личностей, так и манера авторской речи и вообще решения писательских задач, по всей видимости, передают образ личности и мыслей автора. Поэтому важной частью всего, что читатель выносит из чтения того или иного произведения, оказывается опыт контактирования с его автором-писателем. Ибо автор этот предстает (да и должен быть таковым в действительности, иначе его бы не очень-то читали) человеком тонкого ума, обширных знаний и острого психологического чутья, который к тому же надеется, что читатель способен оценить такие качества, иначе он не стал бы писать. В этом отношении театральная форма произведения отличается от беллетристической, ибо в пьесах писатель вынужден говорить исключительно устами своих персонажей, так что явленные ими добродетели обычно и приписываются им, а не автору⁶⁴. Это верно (хотя, возможно, в меньшей степени) и для других писаний, не имеющих отношения к художественной прозе⁶⁵.

⁶⁴ Как заметил Патрик Кратуэлл в одной своей весьма ценной статье: «персонажи-характеры драмы должны сами объяснять свои действия и свои высказывания, тогда как в романе или эпической поэме у писателя всегда есть возможность прокомментировать, объяснить и подсказать читателю, как следует воспринимать такой-то характер или эпизод, — и именно в таких местах в повествование обычно вносится нечто личное» (Cruttwell P. *Makers and Persons* // *Hudson Review*. Vol. 12. Spring 1959 — Winter 1960. P. 495).

⁶⁵ Кратуэлл распространяет этот вывод и на личные дневники, даже не рассчитанные (бесспорно и очевидно для постороннего читателя) на публикацию (*ibid.*, p. 487–489). В весьма поучительной статье Уолтера Гибсона данный тезис рассмотрен применительно к книжным обзорам, поскольку предполагается, что в этой литературной форме в качестве мишени обильно используются работы других авторов с целью создать у читателя мнение, что он нашел блестящего, многостороннего критика, который ценит своего читателя как достойного адресата критической эрудиции, способного ее воспринять и, в свою очередь, оценить. Такие обзоры насаждают образ гипотетического (Гибсон называет его «суррогатным») писателя, который на деле, вероятно, очень отличается от реально существующего писателя, и образ гипотетического читателя, который по тем же основаниям, наверное, сильно отличается от действительного читателя. Позерство писателя, доказывает Гибсон, вызывает позерство читателя. Перед нами про-

Однако вышеописанное ощущение автора как личности может быть всего лишь поверхностным, иллюзорным впечатлением читателя. Исходя из текста в качестве единственного источника для выводов, в лучшем случае можно получить какой-то частичный портрет, ибо очень многое о писателе никогда не попадает в печать. Но еще важнее факт, что все попадающее в печать не относится к проявлениям стихийного безыскусного самовыражения. В конце концов, писатель и его редакторы имеют достаточно времени, чтобы поработать над текстом. Промахи вкуса, памяти и интеллекта можно исправить. Орфографические и грамматические ошибки, повторения, неудачные каламбуры, слишком назойливое употребление некоторых излюбленных слов и другие компрометирующие особенности текста можно вовремя заметить и устранить. Отдельные фразы можно иначе повернуть, интонировать и смягчить. Если в одном варианте автор покажется гонящимся за эффектом, то в следующем он может постараться устранить такое впечатление. Фальшивые ноты надо уловить еще, так сказать, «на репетиции» и правильно сыграть все заново. Ведь очевидно, что если пренебречь такой обработкой текста, критики быстро заметят и не одобряют сей факт. Поэтому качества ума и душевной чуткости автора прозы, которые читатель выводит из его писаний, оказываются не менее трудоемким продуктом творчества, чем качества личности персонажа, которого рождает из небытия слова драматурга. И хотя мы как читатели достаточно подготовлены, чтобы понимать фиктивность представляемых автором персонажей вместе с их личными качествами, сама живая память о собственных качествах, видимо, заставляет нас допускать, будто личность писателя, какой мы ее ощущаем, читая произведение, реальна. Мы отзываемся на стихийность, непосредственность, спонтанность наших ощущений, и поэтому то, что мы ощущаем, кажется органически присущим писателю как личности. Все это означает, что работа писателя заканчивается, когда он добивается нужного впечатления, и что материал вымышленных сюжетов, интересных для общества тем и труда других писателей превращается им в прикрытие некоторой разновидности эксгибиционизма. Тому, кто подпишется под этим последним предложением, придется принять кое-какие редакторские предосторожности, чтобы в нем не отрицалось того, что утверждается⁶⁶.

стой случай взаимного притворства и показухи. (См.: Gibson W. Authors, Speakers, Readers and Mock Readers // College English. Vol. 11. P. 265–269.)

⁶⁶ Этот выверт — всего лишь подражание Гибсону. Приводя один за другим фрагменты двух книжных обзоров, он создает (думаю, успешно) парадоксальный эффект, применяя во втором фрагменте, где анализируется первый фрагмент,

После сказанного можно утверждать, что в беллетристике и даже в прозаических писаниях небеллетристического характера тип личности автора выявляется из его произведения, но этот тип есть искусственный продукт, артефакт процесса писания (определенно, хотя бы отчасти), а не результат некоего органичного самовыражения индивидуальности в своих действиях. Достаточно очевидно также, что канал, через который осуществляется такая искусственная проекция, — это не основной канал, по которому движется нить повествования: фактически писатель больше полагается на вспомогательные каналы, а именно на те аспекты дискурса, которые не должны прямо привлекать внимание. Таким образом, на самом деле впечатления об авторе, которые передаются косвенным способом, непрямо (и, конечно, не являются тем, на что он мог бы непосредственно претендовать), — это в той же мере свойства канала коммуникации, в какой и свойства самого человека.

Теперь рассмотрим реальное взаимодействие лицом к лицу между индивидами. И в этом случае мы обнаруживаем, что необходимо различение между индивидом как самотождественной, длящейся во времени сущностью, и ролью, которую ему случается играть в определенный момент. Вдобавок, именно это различие, будучи замеченным другими, несет известную нагрузку по передаче информации о личности⁶⁷. И такого рода информация о существовании «ролевой дистанции» большей частью тоже будет проходить по второстепенным каналам (tracks).

тот же самый анализ, который рекомендуется в первом фрагменте. Вот ключевое место: «Удивительно, но никто не догадывается, что первый пассаж взят из журнала „Partisan Review“, а второй — из „New Yorker“. Возможно, следует признать, что суррогатный читатель (mock reader), к которому адресуются авторы обзрений, — это идеальный представитель аудиторий двух упомянутых периодических изданий. Во всяком случае, кажется очевидным, что работа редактора большей частью состоит в определении суррогатного читателя его журнала и что редакционная «политика» сводится к решению или предсказанию относительно той роли или ролей, в которых воображают себя потенциальные покупатели. Так же и человек, перебирающий журналы в киоске, занят вопросом: кем бы я хотел притвориться сегодня? (Суррогатный читатель этой статьи числит среди многих своих впечатляющих достоинств тот факт, что в разное время и в разных обстоятельствах он является суррогатным читателем „New Yorker“ и „Partisan Review“.)» См.: Gibson W. Authors, Speakers, Readers and Mock Readers // College English. Vol. 11. P. 267.

⁶⁷ Обоснование см.: Goffman E. Role Distance // Goffman E. Encounters: Two Studies in the Sociology of Interaction. Indianapolis: The Bobbs-Merrill Company, 1961. P. 152.

Но хотя подобный стилистический переход от личностной идентичности к текущей роли можно толковать как еще один смысловой аспект, согласно которому поведение индивида закреплено в чем-то внешнем, я не думаю, что именно в этом надо искать объяснение.

Возможно, мы отыщем путеводную нить, если снова присмотримся к писательской продукции. Последуем за аргументацией Гибсона:

Большинство преподавателей литературы согласны в том, что жизненные установки, выраженные «влюбленным» в любовном сонете, нельзя бездумно смешивать с какими бы то ни было установками самого сочинителя, явленными или не явленными в реальной жизни. Техника исторического анализа пригодна для жизнеописания этого автора, но в конечном счете учителя литературы должен интересовать лирический герой, тот голос или условная маска, через которую некто (кого мы вполне можем назвать «поэтом») общается с нами. Именно лирический герой «реален» в смысле, наиболее полезном для изучения литературы, ибо он «сделан» исключительно из материи языка, и его *Я* целиком представлено перед нами на раскрытых страницах⁶⁸.

Что верно для авторов сонетов, то верно и для писателей-прозаиков. Очевидно, что автора прозы нельзя отождествлять с каким-нибудь конкретным персонажем-характером его повествования, хотя бы потому, что он сумел создать много персонажей, каждый из которых предположительно сам претендует на частичное отражение личности автора. Так же, как мы создаем впечатление о каждом персонаже произведения, так мы создаем впечатление и о его авторе (это, скорее, впечатление, собранное из разрозненных мелочей). Подобно тому как при формировании впечатления о характере персонажа, мы опираемся на сказанное и сделанное им самим или в связи с ним, мы склонны полагаться на содержание беллетристического произведения, чтобы получить впечатление о его авторе. Разумеется, репутация писателя вполне может предвещать нашу реакцию на данное произведение, но последствия этой предварительной подготовки не обязательно однозначны. Ибо заключение, к которому мы приходим, может быть получено и самостоятельно из того, что предлагает нам мир печатного слова. Мы узнаем о *писателе* из литературных сплетен, опубликованных и неопубликованных. Мы узнаем об *авторе* из его книг⁶⁹.

⁶⁸ Gibson W. Authors, Speakers, Readers and Mock Readers // College English. Vol. 11. P. 265.

⁶⁹ Возможное исключение из этого представляют собой книжные посвящения, так как в них писатель в некотором смысле использует авторский канал для пере-

То же происходит во время взаимодействий между реальными физическими лицами. Там мы снова увидим реакцию на роль, которую каждый участник представляет как свою внешнюю «облицовку» (mantle) на данный момент.

И опять из-под официальных облачений будут проглядывать блеск, коготь или что-то другое. И снова возникшее ощущение «инаковости», отличия человека от роли, восприятие личности помимо роли оказывается или, безусловно, может быть результатом какого-то локального и мгновенного ее [личности] самопроявления. Конечно же, эта поверхностная информация будет пущена в ход. Опять-таки это не обязательно для появления *именно того вида* реакции, которая осуществилась на деле. Ощущение личности индивида *может возникать локально* и существовать недолго. Это осязаемое расхождение между человеком и ролью, эта щель, сквозь которую проглядывает человеческое Я, этот чисто человеческий локальный эффект не должен зависеть от мира за пределами текущей ситуации больше, чем зависит сама роль. Каков участник взаимодействия «на самом деле» — это в действительности не решающий вопрос. Вероятно, его соучастникам и не понадобится раскрывать тайну личности, даже если она фактически раскрываема. Что важно — так это смысл, который индивид предлагает другим участникам взаимодействия своими действиями в отношении их, показывая тем самым, что он за человек помимо роли, в которой выступает. В терминологии Гибсона, эти другие участники взаимодействия интересуются лирическим героем, «поэтом», а не реальным «сочинителем сонета». Их интересует образ автора, а не реальная личность писателя. Они имеют дело с тем, что порождается в противоречивых проявлениях непосредственного поведения индивида, который их интересует. И то, что они соберут из обрывков своих впечатлений, очевидно, покажет, на что похож этот соучастник коллективного взаимодействия за пределами текущей ситуации. Но каждая ситуация, в которой он действует, будет создавать у других участников некий подобный его образ. Именно в этом состоит предна-

дачи — более того, для широкого распространения — некоего личного послания в тоне, отличном от того, который он вскоре возьмет в основном тексте. В этом обнаруживается дюркгеймовский поворот: будто бы самопоглощающий труд по созданию книги дал писателю право и обязанность публично демонстрировать, что у него есть отдельная, частная жизнь и есть обязательства перед нею, и в то же время люди, наполняющие эту жизнь, имеют право на признательность, выраженную в посвящении. Когда мужья поясняют успех или поражение на выборах, они сразу же вспоминают о находящихся при них женах.

значение ситуаций. В этом же заключена причина, почему мы находим их (как и романы) увлекательными. Однако нет оснований думать, что все эти ситуативно подобранные детали впечатлений о себе, которые индивид делает доступными другим, все эти указания и намеки, исходящие из текущих событий и влияющие на его поведение в иных случаях, имеют много общего. Ситуационные впечатления (gleamings) об индивиде, будучи вынесенными за пределы конкретной ситуации, указывают на то, что, возможно, обнаружит себя и в других его проявлениях, однако нельзя утверждать, будто такие впечатления указывают примерно на одно и то же, хотя по самой их природе они воспринимаются как рядоположенные.

Функция выразительного, ироничного, остроумного или поучительного замечания состоит не в том, чтобы раскрыть либо утаить невидимую неизменную природу человека (ибо одно замечание или даже роман вряд ли способны на такое), а в том, чтобы дать понять, что участник взаимодействия привносит [в изображаемую ситуацию] наряду с собой иного персонажа, поэтического героя или героя-автора, которому могут быть присущи эти чувства. Они действительно могут характеризовать и поэтов, и авторов, и героев.

Легко заметить, что создаваемые драматургом характеры помещены в определенное пространство (local settings), где они энергично расхаживают, лениво восседают или кипят страстями. Вещная обстановка ориентирует зрителя и помогает сценическим характерам говорить и действовать в определенном стиле. Каковы будут результаты — это тайна драматического искусства. Но так или иначе персонажи — герои, живущие только на сцене, — способны по окончании своей сценической жизни создать исключительно правдоподобное впечатление, будто они обладают вполне реальными человеческими качествами, по-настоящему выразительными. Кто сказал, что сценических ресурсов недостаточно для создания таких эффектов? Материалы сцены — те же материалы, которые мы используем для создания наших собственных эффектов.

Поэтому мы опять сталкиваемся с рекурсивным характером определения фрейма. Ресурсам, используемым в любом эпизоде человеческой деятельности, свойственна определенная длительность существования: они создаются до начала эпизода и продолжают существовать после его завершения. Так же как это обстоятельство составляет часть реальности, так и его концептуализации образуют часть реальности и, следовательно, оказывают дополнительное влияние на ход человеческих действий. Нет никаких «объективных» препятствий трактовать, например, флаг или любой другой предмет ритуального

оснащения как священный только до тех пор, пока он используется в торжественной церемонии, и относиться к нему, как к обыкновенному бытовому предмету, в период изготовления и затем хранения на складе в ожидании следующего церемониального действия. В общем, все так и происходит в жизни. Но при более внимательном рассмотрении откроется, что хотя с флагами и тому подобными предметами обращаются относительно «материалистически», когда они не используются в ритуалах, все-таки некоторые маленькие предосторожности в обращении с ними продолжают соблюдаться⁷⁰. И *эта непрерывность* характера обращения [с предметами] навязана нам не объективной непрерывностью существования материальных вещей, но нашими *представлениями* о непрерывности духовно-значимых предметов. Священные реликвии, сувениры, подарки и локоны волос на память подерживают некую физическую непрерывность связи с тем, о чем напоминают. Но именно наши культурные верования и представления о преемственности ресурсов деятельности придают таким реликвиям известное эмоциональное значение, личностное звучание — так же, как эти верования «придают» нам нашу личность.

Перевод с английского Александра Ковалева

⁷⁰ Не нужны глубокие исследования, чтобы заметить это в обращении с национальными флагами. Национальные государства действительно являются для нас некими священными сущностями, и большинство членов этих объединений соблюдают «этикет обращения с национальным флагом» в частной жизни. Устанавливаются законы об «осквернении флага», предусматривающие наказания за нарушения правил обращения с ним. По этому вопросу см.: Weitman S. R. National Flags: A Sociological Overview // *Semiotica*. 1973. Vol. 8. P. 337. Детальное исследование закулисного обращения со священными предметами провел С. Хейлмен. См.: Heilman S. *Kehillat Kidesh: Deciphering a Modern Orthodox Jewish Synagogue* / Ph. D. dissertation. Department of Sociology. University of Pennsylvania. 1973. P. 101–115.

РОМ ХАРРЕ

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ МИРАХ¹

ВВЕДЕНИЕ.

СУЩНОСТИ: ЧАСТИЦЫ ВЕЩЕСТВА
И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Словом «сущность» философы обозначают объекты двух видов. Объекты (субстанции), в устойчивое определение которых входит их принадлежность к классу других подобных им сущностей, представляют собой индивидуальные сущности или, попросту говоря, индивидуумы. Индивидуумы — это полуперманентные носители хотя бы какой-то из групп постоянных свойств. Но и философы, и люди неученые обозначают данным словом также вещества — твердые, жидкие и газообразные. Например, «контролируемое вещество» — это нечто такое, чего люди не должны производить, приобретать в собственность и «использовать».

Данная статья посвящена рассмотрению категории «общего материального объекта». Общий материальный объект — это существующий в пространстве и времени неодушевленный индивидуум, способный взаимодействовать с человеческими существами. Некоторые из материальных предметов являются пассивными относительно людей, другие — активными. Пассивность или активность в значительной степени представляет собой качество ситуативно зависимое. В этой статье материальность фигурирует лишь постольку, поскольку она обретает форму частиц, фрагментов, кусочков, вкраплений, обрывков и т. п.

¹: Впервые эта работа была представлена автором на конференции «Sociality / Materiality: The Status of the Object in Social Science» (19 сентября 1999 г., Brunel University). Позднее несколько измененная версия текста была опубликована в журнале «Theory, Culture and Society» (N5/6, 2002). Публикуется с разрешения автора. Мы искренне признательны Р. Харре за разъяснение отдельных понятий и категорий предложенного им концептуального аппарата — *Прим ред.*

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Предлагаемый ниже анализ концепта «социальное» имеет в своей основе два допущения.

1. Социальный мир представляет собой некий эфемерный атрибут потока символических интеракций между активными людьми, сведущими в условиях определенной культурной среды. Основным модусом символических интеракций современных людей является дискурсивный модус, предполагающий совершение осмысленных действий, таких как жестикуляция, перемещение материальных вещей, придание им определенной формы, использование языка и т. д. В совокупности описанный поток действий индивида кристаллизуется в социальные действия, такие как, например, обещание, просьба, развлечение, покупка, продажа и т. д. Социальный мир есть относительно связная и устойчивая конфигурация кластеров действий, подпадающих под ту или иную приблизительную и весьма нестабильную типологию.
2. Данная статья основывается на идеях Выготского (1986), полагавшего, что в индивидуальном познании не найти ни одной высшей психической функции, не существовавшей прежде в публичной деятельности той социальной группы, к которой принадлежит познающий индивид. Индивидуальные воспоминания как акты памяти возможны только потому, что индивид является членом, например, семьи и участвует в разговорах о прошлом. Именно таким образом формируются столь важные различия, как различия между памятью и фантазиями. Те же истоки у нашей способности к категоризации — категоризация осуществляется другими людьми вместе с нами и за нас.

Взятые вместе, два данных допущения близки принципу дуальности структуры Э. Гидденса — социально-психологическому паттерну, возникающему благодаря цикличности процессов структуриации. Сведущие люди создают социальные миры, из которых новые члены общества черпают умение более или менее точно воссоздавать эти миры. Причем поток социальных действий может обладать неизвестными отдельным социальным акторам последствиями: возникновение этих последствий не входит в их намерения.

Возможны и другие понятия «социального», способные сыграть свою роль в понимании того, как живут люди в группах; но для предлагаемого анализа социальных объектов будет достаточно приведенного описания.

ЧТО МОЖЕТ ОБОЗНАЧАТЬСЯ ПОНЯТИЕМ «СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ»?

Под «социальной сущностью» я имею в виду материальное вещество из категории тех, которые обозначают свойства некоего социального мира, понимаемого вышеописанным образом. Так, категория «алкоголь» не подпадает под приведенное определение, а категория «вино для причащения», безусловно, является социальной сущностью.

Последняя представляет собой также элемент системы категорий, служащих для определения некоторых социальных действий; в своей совокупности эти действия образуют такой сложный и постоянно меняющийся социальный феномен, как «христианская церковь».

Грамматические модели

Откуда получаем мы представление о тех или иных «социальных сущностях»? Характерным грамматическим признаком сущности является использование в каждом конкретном дискурсе существительного. Правда, Витгенштейн предупреждал нас об опасности принятия поверхностных грамматических форм за подлинные модели сущего. Грамматические существительные в изобилии присутствуют в любом социальном речевом общении, не говоря уж о социальной теории; однако, как я попытаюсь показать, действительными, а не кажущимися сущностями являются только те из них, которыми обозначаются дискурсивные акты. Существительные «флаг», «доллар» или «магазин» отличаются от таких существительных, как «вода», «песок», «рука» и им подобных. Последние — для того чтобы реализовать свой полный смысл — не нуждаются в каком бы то ни было социальном контексте, тогда как первым такой контекст необходим. Они *индексичны*². Со-

² Р. Харре исследует «индексичность объектов» по аналогии с тем, как лингвисты, логики и представители аналитической философии языка исследуют «индексичность высказываний». Свойство индексичности в данном случае указывает на неразрывную связь выражения с контекстом его произнесения. Ярким примером индексичного выражения является фраза «Я посвященный», которой можно приписать истинность или ложность лишь зная контекст: кто, когда и в каком статусе произносит эту фразу. В социологии проблема индексичности (как неизбежной контекстуальности всякого социального феномена) поставлена теоретиками-этнометодологами. См.: Garfinkel, H. and H. Sacks (1970). On formal structures of practical actions // J. C. McKinney and E. Tiryakian. *Theoretical sociology: Perspectives and developments*. NY.: Appleton-Century-Crofts — Прим. ред.

циальные сущности определяются по наличию выражений, полный смысл которых может быть уяснен только внутри конкретного потока социальных действий, конкретного социального мира.

Принцип конструктивного порождения

В социальном мире ничто не возникает до тех пор, пока не будет введено в этот мир социальным конструирующим действием человека. Под последним я понимаю действие отнесения данной сущности к определенной категории, например, причисления некоего жеста к разряду приветственных, некой произнесенной словесной формы — к акту вынесения смертного приговора и т. д. Задача данной статьи — попытаться показать, что то же самое верно и относительно куска окрашенной материи, способной служить национальным флагом, и относительно маленьких металлических дисков — монет и т. д. Как подчеркивал Маркс, социальный мир формируется не технологиями, а социальными установлениями, необходимыми для его функционирования, установлениями, обеспечивающими жизнедеятельность этого мира. Правда, в отличие от меня, Маркс полагал, что имеется неисчислимое множество таких социальных установлений, посредством которых определяемая в физических терминах технология может реализовываться людьми в виде промышленной или сельскохозяйственной деятельности, обладающей собственной историей и собственными традициями.

ПЕРВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТРУКТИВНОГО ПРОЦЕССА

Предлагаемое ниже рассмотрение подчинено следующему принципу:

Из простого куска вещества, не обладающего собственной предысторией, материальный предмет способен превращаться в социальный объект благодаря включению его в нарратив.

Подобными объектами наполнены сказки. Нет ничего недопустимого в обращении к народным и другим волшебным сказкам за подходящими примерами и моделями такого рода превращений. Сказки являют собой некую предельно чистую репрезентацию нарративных конвенций, сохраняющихся и в переводе на другой язык, и после литературных переработок, — отчасти, конечно, потому, что эти присущие нашим культурам конвенции всем нам известны. Только ребенок, воспитанный в полной изоляции от мира, никогда не слышал о Белоснежке или Мальчике-с-пальчике. Индийцам были известны истории

о приключениях Кришны, маори знали истории об обманщике-ловкаче — хотя в наше время они, пожалуй, лучше знакомы со Златовлаской — и т. п. В сказке о Белоснежке в центре внимания находится волшебное зеркало, а в историях о ловкаче — волшебный рыболовный крючок. У меня самого в бумажнике лежит волшебный кусочек пластика. Размышления обо всем этом приводят к обнаружению следующего принципа:

Материальные предметы способны обладать магической силой только в контексте соответствующих нарративов.

Говоря о «магической силе» я имею в виду силу, несвязанную напрямую с физическими свойствами предмета, такими как его форма, текстура, химический состав и т. д. «Магическая сила» состоит в том, чтобы посредством слов развязать войну. Этой же силой обладают определенные кусочки пластика или клочки исписанной (т. е. подписанной мною) бумаги, способные вызвать появление в моем гараже «Мазерати Кватропорте».

Далее я приведу несколько заимствованных из сказок примеров того, как сформулированные выше принципы могут применяться к анализу способов укоренения материальных объектов в нарративе.

Нарративно обусловленные категории:

1. Материальные предметы могут служить носителями смысла в момент повествования и в контексте повествования; таковым носителем является, например, каша в сказке о девочке и трех медведях.
2. В контексте конкретного повествования материальные предметы могут обретать особые свойства, как, например, швейная игла в сказке о спящей царевне.
3. Материальные предметы могут на практике выполнять роли, изначально им не свойственные; например, волосы Рапунцель.
4. Материальные предметы, находясь внутри повествования, могут переходить из одной категории в другую; например, солома в сказке «Румпельштильцхен» из органической становится металлической.
5. Материальные предметы могут служить препятствиями к совершению надлежащих (с точки зрения повествования) действий; пример башня в сказке о Рапунцель.

Заметим, что один и тот же класс материальных предметов может выступать в огромном количестве ролей; например, игла может ас-

социироваться с шитьем, стогом сена, поиском направления, удалением занозы, уколотым пальцем и т. д. Каждой из этих функций может быть придана магическая сила. Еда в таких повествованиях обычно оказывается чем-то весьма опасным (что мы хорошо знаем благодаря Льюису Кэрроллу).

Связки нарратива

Каким образом связаны между собой предметы в повествовании? Вот три очевидных, но не единственно возможных способа связывания.

1. Во многих случаях связь осуществляется в *режиме задача–инструмент*. Повествованием задается некая задача, и этим предопределяется категориальная принадлежность того, что должно служить орудием ее осуществления. Руки для отведения сглаза (Рука Фатимы в исламских странах), гениталии для развлечения (как в «Любовнике леди Чаттерлей»), органы чувств для обнаружения предметов (как в «Копях царя Соломона»), ум для произведения вычислений (как у м-ра Микобера из «Посмертных записок Пиквикского клуба») и т. д.
2. Часто связь определяется *социально установленными конвенциями*. Например, куски окрашенной материи становятся *флагами*, одежда — *униформой* и т. д. Фрагменты раскрашенной материи, идущие на создание флага *Union Jack*, могли бы быть по иному «расценены» теми, кому надо составить триколор, но для того чтобы роль этих кусков в нарративе была надлежащей, создаваемый предмет должен быть не чем иным, как британским флагом. Например, если группа протестующих собирается сжечь некоторые куски раскрашенной материи, они предпочтут, чтобы сжигаемое было составлено в определенный социально установленный символ, а не являлось бы простыми кусками материи.
3. Во многих случаях задействованными оказываются *неформальные обычаи*. Например, роль шоколада в историях о гендерных отношениях (вспомним рекламу «Черной магии») отражает «народную мудрость» британских мужчин, касающуюся вкусов и пристрастий женщин.

Контекстуальность выбора того или иного типа связи объектов определяется не только самим нарративом. Это также и культурно обусловленная контекстуальность. (Контекстуальность не определяется нарративом, скорее «если выбор того или иного типа связи опреде-

ляется характером нарратива, то от культурного контекста, как правило, зависит сама возможность конкретного типа связи». Есть культуры, вовсе не пользующиеся флагами, в других культурах не существует представления о «дурном глазе» как общепризнанной опасности и т.д. А есть и такие культуры, в которых шоколад фигурирует только как соус (mole) к индейке (pavo).

Что такое «объект»?

Все это заставляет нас подвергнуть пересмотру само представление об «объекте», равно как и допущение здравого смысла, согласно которому единство повествования определяется общим характером эпизода. Для того чтобы развить эту мысль нам требуется новое понятие — понятие *допустимости* (affordance). Оно позволит материальному предмету, определяемому его материальными атрибутами, существовать в качестве не одного, а нескольких социальных объектов, каждый из которых характеризуется особой ролью в повествовании.

КОЕ-ЧТО ИЗ ГРАММАТИКИ

Логика позволяет нам выбирать из нескольких видов понятий, описывающих свойства материальных предметов с точки зрения их способности вступать в повествование в качестве социальных объектов. Наиболее полезным из них представляется понятие, обозначающее особый тип отношений диспозиции и предложенное психологом Дж. Дж. Гибсоном (1979). Таково понятие допустимости.

Допустимости

Допустимость, как ее понимает сам Гибсон, есть материальное отношение, последствия которого описываются в терминах человеческого мира. Один и тот же материальный предмет может использоваться огромным количеством способов. Каждый из этих способов представляет собой пример допустимости. Допустимости характеризуются пространственно-временным расположением, зависящим от утвердившихся идентичностей материальных предметов и социальных ситуаций. Так, пол допускает ходьбу, танцы, размещение мебели; окно допускает вид на озеро, бегство от опасности, подглядывание; нож допускает резание, угрозу, открывание оконного шпингалета и многое другое.

Возвращаясь к социальным объектам, важно отметить, что они, как правило, обладают множественными допустимостями, что и обу-

словливает многообразие выполняемых ими ролей в повествовании. Например, игла допускает шитье, и потому ее может взять в руки принцесса, но она также допускает и укол пальца, из-за чего принцесса может оказаться погружена в сказочный сон. Практические допустимости обеспечивают завязку сюжета, подготавливая место для вступления в игру магических или вполне вероятных допустимостей. Пирожные допускают поедание их, но в «Алисе в стране чудес» они также допускают уменьшение и увеличение в размерах.

*Множественные контекстуально обусловленные
допустимости*

Поскольку обычно в любой известной нам истории, содержащей несколько сюжетных линий, параллельно разворачивается не одно, а несколько повествований, материальные предметы, как потенциально социальные объекты, ведут себя в соответствии с моделью Бора, то есть обладают множественными контекстуально обусловленными допустимостями. Я называю их «частицами Бора», потому что подобно допустимостям субатомного уровня они способны обладать противоречивыми качествами или проявлениями, например, на каком-то из уровней могут наблюдаться частицы или волны, но не то и другое в одно и то же время и в одном и том же месте. В каждом случае имеется некое общее описание, полностью математическое для субатомного уровня и полностью физическое для материальных объектов.

ТИПЫ ДВОЙНОГО НАРРАТИВА

Тип 1. Оба повествования пользуются одной и той же грамматикой, то есть одними и теми же конвенциями, конструирующими сюжетные линии. В нашем примере материальным объектом, вовлеченным в двойное повествование, является металлическое кольцо с кусочками минеральных вкраплений. Предметы этого рода, некогда бывшие широко распространенными, нередко встречаются и в наше время. Их народным названием, используемым в историях, повествующих о данных объектах, является «обручальное кольцо».

- а. Его нарратив: Это будет держать на расстоянии других парней. Деньги у меня есть; по крайней мере, стоит оно меньше, чем лежит сейчас на карточке «Виза». Этим я подтверждаю то, что она сказала обо мне вчера вечером. И так далее.

- б. Ее нарратив: Это покажет другим девушкам у меня на работе и кое-кому из родственников, что я могу выйти замуж. Оно дорогое, значит, он воспринимает наши отношения всерьез. И так далее.

Я прекрасно сознаю, что используемые мною в этих нарративах сюжетные линии покажутся многим читателям данной статьи старомодными, нежизненными и даже сексистскими. Я сознаю также, что для огромного количества людей эта «грамматика» все еще актуальна. Данная грамматика обеспечивает единый репертуар для обоих участвующих в этом сплетении персонажей. Каждый прекрасно представляет себе мысли другого по этому поводу, независимо от того, высказывает ли их партнер или нет.

Данное отношение можно представить в виде следующей диаграммы:

Множественные значения металлических колец

Его нарратив: H_m ← грамматика → Её нарратив: $H_{ж}$

Общее описание объекта

Данный уровень не является уровнем Бора, поскольку и его и ее нарративы, несмотря на то, что они основаны на разных социальных допустимостях указанного металлического предмета, не являются взаимно противоречивыми.

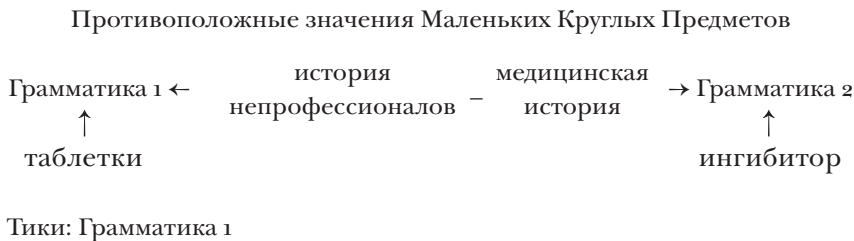
Тип 2. Каждый нарратив основан на собственной «грамматике», а образование пары является следствием общности материального предмета, относительно которого существует возможность единого описания, понятного обоим авторам. Общность описания предмета является общностью того типа, которая существует при описании какого-то вещества как «лекарства». Но за этим описанием может скрываться целый мир различий, так как представления о «лекарствах» или «пилюлях» являются элементами как профессионального, так и непрофессионального дискурсов. Здесь мы приближаемся к имеющейся у Бора модели взаимодополнительности допущений.

- а. Медицинский нарратив: Этот полифазный ингибитор будет сдерживать производство серотонина и снижать общий уровень тревожности.
- б. Непрофессиональный нарратив: Может быть, эти таблетки помогут мне перестать все время беспокоиться, тревожиться, плакать и т. п.

То, какие именно отношения наличествуют между двумя названными нарративами в каждый данный момент, вовсе не является очевидным. Будучи объединены в единую историю, они могут оказаться несовместимыми. Так, значения слов «тревожный» и «тревога» в двух этих нарративах могут не совпадать и противоречить друг другу: например, в медицинском нарративе может не оказаться сопряженного с данными словами телесного ощущения.

В исследованиях отношений между пациентами, специалистами и группами поддержки, проведенных на материале синдрома Туретта, Гамильтон показал (информация почерпнута из личного общения), как грамматика медицинского нарратива проникает в грамматику нарратива непрофессионалов. Это двухэтапный процесс. Начинается он с того, что две группы непрофессионалов знакомятся с нейрофизиологическим описанием причин таких проявлений болезни, как тик и сквернословие, и оно вытесняет из их сознания непрофессиональные описания. Позже представление о наследуемой предрасположенности к этому заболеванию еще дальше увело группы непрофессионалов от тех изначальных непрофессиональных описаний, на основе которых Жиль де Туретт разработал собственные критерии диагностики данной болезни. Пропасть между профессиональными и непрофессиональными описаниями расширилась настолько, что некоторые теперь могут ставить себе диагноз «синдром Туретта», исходя исключительно из наследственности, даже если он или она никогда не имели стандартных симптомов. Таким образом, третий элемент данной структуры, так сказать, *materia medica*, оказался связан с двойным нарративом сложным и неоднозначным образом, потому что изменилась сама грамматика. Допустим, что в данном случае все дело в серотонине, но по мере того как он включается в социальный мир в качестве социального вещества, его грамматика начинает влиять на строение общего контекста нарратива, делая его средством объяснения тиков как симптомов синдрома Туретта.

Данная структура представлена в виде диаграммы:



Исследования Гамильтона показали, что по мере того как «тики» утрачивали свою некогда центральную роль в семантике синдрома Туретта, грамматика медицинской истории начинала все больше использоваться вовлеченными в повествование сторонами — пациентами, группами поддержки и профессиональными медиками³.

ПРИОРИТЕТЫ НАРРАТИВА

В случае с синдромом Туретта мы имеем дело с примером, иллюстрирующим способность технической грамматики вытеснять грамматику непрофессиональную. К тому же это иллюстрация того, как неустойчивы повседневные описания экстраординарных материальных феноменов. В случаях же, когда сущности являются не материальными, а дискурсивными, такими как болезнь Альцгеймера, порядок приоритетности непрофессиональной и профессиональной грамматики недавно был перевернут некоторыми исследователями (Sabat, 1994). Но в большинстве контекстов, втягивающих предметы в нарративы, сохраняется тенденция приоритетности технических грамматик. Эту тенденцию можно проследить в телепрограммах по садоводству и кулинарии.

КРИТЕРИИ ИДЕНТИЧНОСТИ НАРРАТИВОВ

Всякий раз, когда мы размышляем над значениями «одного и того же», перед нами возникают два взаимосвязанных вопроса, касающихся идентичности. По каким критериям определяем мы сохранение во времени идентичности каких-либо сущностей? Каковы критерии определения того, что перед нами: одинаковое или различное? Различные смыслы «одинакового», передаваемые в английском одним словом, в испанском обозначаются двумя словами «igual» и «mismo». Идентичное в обоих языках передается одинаково: «identical» — «identico».

Когда мы распознаем продолжение или следующий эпизод той же истории? Когда история начинается и когда оканчивается? Является ли последующее другой или все той же историей? Является ли «Возвращение Джедая» той же историей, что и «Звездные войны»? Крите-

³ Народная мудрость гласит, что большие дозы приема анальгетиков могут привести к смертельному исходу. Я слышал, что при помощи тайленола невозможно совершить самоубийство, потому что в каждой капсуле находится ничтожно малое количество рвотного вещества, если же проглотить смертельную дозу, то оно вызовет рвоту.

рием распознавания здесь могут служить функции, предложенные Проппом (Propp, 1986 [1925]). Конец истории наступает по прохождении порядка 30 функций; в этом случае, даже при сохранении того же набора персонажей, с возвращением к первой функции Проппа начинается новая история (отсутствие одного из членов семьи).

В каком случае две истории, различающиеся по какому-то критерию, тем не менее составляют единую историю? Является ли «Анна Каренина» более или менее той же самой историей, что и «Мадам Бовари»? Леви-Стросс пользовался бинарными оппозициями и формальными преобразованиями моделей оппозиции для того чтобы показать, что разные на первый взгляд повествования, в сущности, представляли собой одну и ту же историю. В этом смысле истории Анны и Эммы одинаковы. Обе отличаются от истории «Гордости и предубеждения», а все три они отличаются от «Ромео и Джульетты».

Зачем нам понадобилось это отступление? Если материальные предметы становятся социальными объектами в той степени, в какой они включены в нарративы, тогда ответ на вопрос о том, является ли данный объект тем же самым или другим, зависит от того, та же ли это история или другая и в каком смысле она та же или другая. Если кто-то захочет спросить: «каково значение моста как социального объекта?» потребуется выяснить, перекинут ли мост через Сену или через реку Квай.

Теперь нам следует вернуться и соотнести высказанные выше соображения с важным понятием допустимости. Предположим, что материальный предмет как социальный объект являет собой совокупность тех его допустимостей, которые предоставляет вмещающий его нарратив своим персонажам. Это положение может служить общей методологической формулой «вписывания» материальных объектов и структур в микросоциологию.

Другой пример: как тюремные стены, удерживающие заключенных внутри, могут быть поняты *социологически*? Из предыдущих рассуждений можно сделать вывод о том, что общего ответа на этот вопрос не существует. Ответ зависит от сюжетной линии. Для того, кто считает себя несправедливо заключенным, тюремные стены — это препятствия возвращению во внешний мир. Для того, кто чувствует себя в тюрьме беженцем, «те же самые» материальные стены служат защитой от опасного внешнего мира. Данное наблюдение весьма банально, но его удивительно часто не принимают во внимание. Даже Фуко (1986) не обнаруживает полного понимания этого аспекта. Окна Паноптикона всегда допускают наблюдение за узниками и никогда — возможность заключенного посмотреть на других представителей рода человеческого.

ПРЕДЕЛЫ ТРАНСФОРМАЦИИ

До сих пор в нашем обсуждении обходился стороной вопрос о пределах (пределы не могут *сдерживать* трансформацию) трансформации материального предмета в символической системе. Способно ли что угодно становиться чем угодно? В представлениях о мире, присущих тибетцам и грекам времен Гомера, горы Эверест и Олимп являлись обителями богов. Подошли бы на эту роль рынок в Лазе или пляж в Пирее? Ни первому, ни второму не присуща та недоступность и представительность, которые делают горы пригодными для выполнения именно этой символической роли. Данные сущности обладают некими материальными атрибутами, которые одновременно предполагают использование их в качестве социальных объектов и ограничивают характер этого использования. В знаменитом исследовании Бурдые (1973), посвященном кабильскому дому⁴, упоминание о выражении, наделяющем сексуальным значением покоящуюся на раздвоенном окончании центральной колонны несущую балку, выглядит совершенно уместным. Материальные качества предмета ограничивают возможности его использования в местных социальных нарративах.

В этом вопросе требуется особая осторожность. Сам выбор чего-то в качестве индивидуальных сущностей, в качестве свойств, важных для естественно-научного исследования, есть продукт определенной системы верований. По замечанию Гудмэна (1978), даже наше представление о Вселенной как составленной из отдельных звезд покоится на конвенции, заставляющей нас видеть небесные тела связанными между собой именно этим, а не каким-то иным образом. Верно, однако, и то, что данная конвенция явится средством столь однозначной дифференциации классов сущностей только в том случае, если это позволяет наличная материальная демаркация сущего. Так, океан допускает (afford) различение внутри себя течений, но отнюдь не звезд. Коль скоро, представляя себе небеса, человек ищет на них созвездия, а значит, и звезды, это предопределяет возможности дальнейшего развития нарратива. Наблюдавшие за звездами древние арабы находили на небе не те же самые созвездия, что и древние греки, вовлеченные в иной нарратив, но, при всех различиях, у тех и других имелась общая образная основа, на которую, правда, налагались не совпадающие нарративные значения. И в наше время то, что для ряда жителей Северного полушария является Орионом,

⁴ См.: Бурдые П. (2001). Дом, или Перевернутый мир // П. Бурдые. *Практический смысл*. СПб.: Алетейя — Прим. перев.

к югу от экватора представляется некоторым народам в образе Железного Горшка.

Существует и иная линия рассуждений, примеры которой заставляют усомниться в главном тезисе данной статьи. Я выступил с утверждением о том, что в генезисе социальных объектов символическое упорядочивание вещей имеет приоритет над материальным. Мною было заявлено, что физические, химические и биологические свойства материальной среды выступают в роли ограничителей по отношению к тем социальным порядкам, которые призваны эффективно приспособлять эту среду к человеческим потребностям. Лейтмотивом моего рассуждения выступала мысль о том, что выбор особо значимых из имеющихся бесчисленных свойств материальной среды предопределяется преобладающими в данном пространственно-временном контексте нарративами. Между тем, вопреки сказанному, можно утверждать, например, что роль священников как предсказателей ежегодных разливов Нила влияла на характер социальной структуры в сельскохозяйственном производстве Древнего Египта. Географические особенности Нильской долины косвенным образом повлияли на формирование социального порядка, закрепившего власть фараонов.

СОЦИАЛЬНЫЕ МОТИВЫ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Ранее в своем исследовании социального господства (Harré, 1993) я уже пытался показать, что все на самом деле не так просто. Как мне представляется, люди всегда существовали в условиях некоего двойственного социального устройства. Одна сторона его состояла в поддержании социальных условий жизнеобеспечения в той или иной среде. Речь в данном случае идет о практическом строе; в его контексте у всех людей имелись собственные, соответствующие местным условиям роли. Другая сторона их жизни всегда заключалась в социальных установлениях, ответственных за формирование иерархий почестей и позиций. Это экспрессивный строй. Так вот, полное значение, коим обладают для людей материальные предметы, можно постичь только выявив содержание обеих этих ролей. «Мазерати Битурбо Кватропорте» представляет собой подходящее средство еженедельной доставки из супермаркета всякой всячины. Помимо этого, подобный автомобиль является наглядной демонстрацией богатства, стиля и т. д. Почти любой материальный предмет, ставший необходимым элементом практического порядка той или иной культуры, скорее всего, занимает определенное место и в ее экспрессивном строе. Само собой разумеется, нарративы, поддерживающие эти два порядка, ради-

кально различаются между собой. Следует заметить, что некоторые из дорогих и затратных объектов практического порядка могут оказаться фактически лишенными ценности в рамках дополняющего его экспрессивного порядка, если будут восприняты как нечто грубое или вульгарное.

Введение этого различия явилось великим достижением Торстена Веблена (1899). О нем свидетельствуют нарративные конвенции таких изданий, как «Hello!». Верно, однако, и то, что не все вещи, которым находится место в экспрессивном порядке, существуют и в ассоциированном с ним практическом порядке. Как отмечал Веблен, породы собак, некогда выведенные для охоты, могут утрачивать свою изначальную функцию, превращаясь просто в атрибуты стиля. Что же до социальных мотивов, окружающих материальные предметы, думаю, они чаще всего говорят о приоритете экспрессивного строя над практическим (Harré, 1993: 192–203). В данной работе я не стану останавливаться на этом вопросе.

Вся социальная жизнь есть не что иное, как символические обмены, а также совместное конструирование смыслов и управление ими; это относится и к смыслам вещей. Лишь будучи определенным образом проинтерпретированными, и став частью человеческого нарратива, материальные сущности приобретают социальную релевантность. Интерпретации же нуждаются в грамматиках, обладающих исторической и культурной спецификой. Выготский (1986) показал, как определенные грамматики переходят из поколения в поколение, что обеспечивает сохранение на протяжении нескольких веков одних и тех же интерпретаций. Это порождает иллюзию, будто сохраняемое есть некая *вещь*, столь же реальная, сколь реальна, например, ограничивающая какую-нибудь территорию горная гряда. Возьмем, например, деньги. Выпуск банкноты, использование ее, есть всего лишь перформативный акт, обещание. В этом деньги не отличаются от вина для причащения, дорожного знака и пр. Все эти вещи являются социальными объектами только внутри динамически меняющихся рамок (frames) сюжетных линий. Они — самый эфемерный и «невидимый» продукт из всех действительно реальных продуктов человеческой деятельности, они — нарративы, имеющие хождение лишь при определенной социальной организации. Согласно винодельческому нарративу, шампанское — это ферментированный виноградный сок. Подаваемый с икрой, он являет собой воплощение величия, в соседстве же с пастушьей запеканкой он свидетельствует лишь о претенциозности.

Перевод с английского Ирины Мюрберге

ЛИТЕРАТУРА

- Bourdieu, P. (1973) 'The Berber House', ch. 18 in M. Douglas (ed.) *Rules and Meanings*. Harmondsworth: Penguin Books.
- Foucault, M. (1986) *Discipline and Punish*. Harmondsworth: Penguin Books.
- Gibson, J. J. (1979) *An Ecological Approach to Visual Perception*. Boston, MA: Houghton Mifflin.
- Goodman, N. (1978) *Ways of World Making*. Indianapolis, IN: Hackett.
- Harre, R. (1993) *Social Being*, 2nd edn. Oxford: Blackwell.
- Propp, V. (1968 [1925]) *The Morphology of the Folk Tale*. Austin, TX: University of Texas Press.
- Sabat, R. (1994) 'Excess Disability and Malignant Social Psychology: A Case Study of Alzheimer's Disease', *Journal of Community and Applied Social Psychology* 4: 157–66.
- Veblen, T. (1899) *A Theory of the Leisure Class*. New York: Macmillan.
- Vygotsky, L. S. (1986) *Thought and Language*. Cambridge, MA: MIT Press.

ИГОРЬ КОПЫТОФФ

КУЛЬТУРНАЯ БИОГРАФИЯ ВЕЩЕЙ:

ТОВАРИЗАЦИЯ КАК ПРОЦЕСС¹

Я хотел бы выразить благодарность Арджуну Аппадюраю и Барбаре Клармон Копытофф за дискуссии, из которых родилась эта статья. Ее окончательная версия во многом сложилась благодаря замечаниям и предложениям, с которыми выступили Джин Адельман, Сандра Барнс, Мюриэл Белл, Джаян Пракаш, Колин Ренфрю и Барбара Херрнстайн Смит.

Для экономиста товары просто «есть». Определенные предметы и права на них создаются, существуют и могут наблюдаться в процессе циркуляции по экономической системе, в ходе которой они обмениваются на другие предметы, обычно на деньги. Такое представление задает рамки для определения товара с позиций здравого смысла: товар — это вещь, обладающая потребительской и меновой стоимостью. Данного определения нам хватит для освещения ряда предварительных вопросов, поэтому ненадолго примем его, а в дальнейшем разове-
м, насколько позволит предмет разговора.

С точки зрения культуры, производство товаров является культурным и когнитивным процессом: товары следует не только произвести физически как вещи, но и маркировать в координатах культуры как вещи определенного рода. Из всего диапазона предметов, наличествующих в обществе, лишь некоторые получают право называться товарами. Более того, один и тот же предмет может считаться товаром в один период времени и не считаться им в другой. И, наконец, один и тот же предмет может одновременно являться в глазах одного чело-

¹ Первая публикация: Kopytoff, I. (1986) «The cultural biography of things: commodization as process» in A. Appaduray (ed.) *The social life of things. Commodities in cultural perspective*. Cambridge: Cambridge University Press. — Прим. ред.

века товаром, а в глазах другого — нет. Подобные изменения и разногласия при оценке того, является ли вещь товаром, свидетельствуют о существовании моральной экономики, которая скрывается за объективной экономикой, выражающейся в зримых сделках купли-продажи.

О ЛЮДЯХ И ВЕЩАХ

Современная западная мысль (в большей или меньшей степени) считает само собой разумеющимся, что вещи — физические объекты и права на них — совокупно образуют естественную вселенную товаров. На противоположный полюс мы помещаем людей, представляющих естественную вселенную индивидуальности и уникальности. Такое концептуальное противопоставление индивидуализированных людей и товаризованных вещей — идея современная и, в культурном плане, доселе неслыханная. Люди могут становиться товаром и становились им снова и снова, в бесчисленных обществах в течение всей истории, посредством широко распространенных институтов, известных под общим названием «рабство». Поэтому логично рассмотреть идею товара в контексте рабства.

В прошлом рабство нередко определялось через обращение с людьми как с собственностью или, согласно некоторым аналогичным определениям, как с объектами. В последнее время замечен отход от подобных биполярных представлений в сторону процессуальной точки зрения, согласно которой за основу социальной идентичности раба принимаются маргинальность и двусмысленность его положения (см.: Meillassoux 1975; Vaughan 1977; Kopytoff and Miers 1977; Kopytoff 1982; Patterson 1982). В этой перспективе рабство рассматривается не как фиксированный и однозначный статус, а как процесс социальной трансформации, состоящий из ряда последовательных фаз и изменений статуса, который иногда объединен с другими статусами (например, со статусом усыновленного), такими, какие у нас на Западе считаются совершенно не связанными с рабством.

Рабство начинается с захвата или продажи, когда индивидуум лишается своей предыдущей социальной идентичности и становится неличностью — предметом, фактическим или потенциальным товаром. Но процесс на этом не заканчивается. Раб покупается каким-то лицом или группой лиц и включается в состав принимающей группы, в рамках которой вновь социализируется и обретает личность, получая новую социальную идентичность. Раб-товар по сути приобретает новую индивидуальность, получая новый статус (причем порой достаточно высокий) и уникальное сочетание личных взаимоотноше-

ний. Короче говоря, в ходе этого процесса раб удаляется от простого статуса рыночного товара, приближаясь к статусу уникального индивидуума, занимающего конкретную социальную и личную нишу. Однако раб обычно остается потенциальным товаром: он по-прежнему имеет потенциальную меновую стоимость, которая может быть реализована при перепродаже. Во многих обществах то же самое было верно и в отношении «свободных», которые могли быть проданы при определенных обстоятельствах. В той степени, в которой все члены подобных обществ имели меновую стоимость и могли становиться товарами, товаризация в этих обществах, очевидно, в культурном плане не ограничивалась одним лишь миром вещей.

Таким образом, биография раба представляет собой процесс выхода из заданного социального окружения, за которым следует товаризация, а далее происходит прогрессирующая уникализация (то есть растоваривание) в новом окружении, с возможностью дальнейшей ретоваризации. Как свойственно большинству процессов, последовательные фазы перекрывают друг друга. Фактически раб однозначно является товаром лишь в течение относительно короткого промежутка времени между захватом или первой продажей и обретением новой социальной идентичности; в процессе постепенной инкорпорации в состав принимающего общества раб лишается свойств товара и приобретает свойства уникального индивидуума. Такое биографическое рассмотрение порабощения как процесса предполагает, что товаризацию других вещей также было бы полезно рассматривать с аналогичной точки зрения, то есть в контексте культурного формирования (cultural shaping) их биографии.

БИОГРАФИЧЕСКИЙ ПОДХОД

В антропологии известны различные подходы к биографии (см. обзорную работу: Langness 1965). Можно работать с фактической биографией, а можно сконструировать типичную биографическую модель из случайным образом отобранных биографических данных, как принято в общей этнографии в отношении стандартного Жизненного Цикла. Несколько большие требования предъявляются к теоретически нагруженной биографической модели. Она основывается на достаточном числе реальных историй жизни, определяя рамки тех биографических возможностей, которые доступны в соответствующем обществе, и исследует то, каким образом эти возможности реализуются в жизни людей из различных социальных слоев. Кроме того, рассматриваются идеальные биографии, которые считаются жела-

тельными моделями в данном обществе, и определяется разница между этими моделями и реальными биографиями. Как заметила Маргарет Мид, один из способов понять культуру — выяснить, какая биография в ней считается примером успешной социальной карьеры. Очевидно, представления о хорошо прожитой жизни в африканском обществе отличаются от того, что понимают под хорошо прожитой жизнью на берегах Ганга, в Бретани или среди эскимосов.

Мне кажется, можно достичь неплохих результатов, задаваясь аналогичными вопросами по отношению к биографиям вещей. В начале XX века в статье под названием «Генеалогический метод антропологических исследований» У.Риверс (Rivers 1910) предложил подход, который впоследствии стал стандартным орудием полевой этнографии. Задача этой статьи — за что ее сейчас в основном и помнят — заключалась в том, чтобы показать, каким образом термины и отношения родства можно наложить на генеалогическую диаграмму с целью проследить отражающиеся в этой диаграмме изменения социальной структуры-во-времени. Однако Риверс предлагал и кое-что иное: например, что когда антрополог выясняет правила наследования, он может сравнить идеальное выполнение этих правил с реальным перемещением конкретного объекта — такого, как земельный надел, — по генеалогической диаграмме, отмечая, каким именно образом он переходит из рук в руки. По сути, Риверс предлагал своего рода биографию вещей в координатах их принадлежности. Однако биографии могут фокусироваться на бесчисленном количестве иных аспектов и событий.

При выяснении биографии вещей можно задавать вопросы, аналогичные тем, что задают о людях: каковы в социологическом плане биографические возможности, допускаемые «статусом» вещи, данной эпохой и культурой, и как эти возможности реализуются? Откуда эта вещь взялась, и кто ее сделал? Какова была ее карьера, и что люди считают идеальной карьерой для подобных предметов? Каковы общепризнанные «эпохи» или периоды в «жизни» этой вещи, и как они культурно маркированы? Меняется ли использование вещи с течением времени, и что с ней случится, когда она исчерпает свою полезность?

Например, в заирском племени *суку*, где я работал, продолжительность жизни хижины составляет около десяти лет. Типичная биография хижины начинается с того, что она служит домом для пары или, в случае полигамной семьи, для жены с детьми. Со временем хижина последовательно становится гостевым домом или жилищем для вдовы, местом встреч подростков, кухней и, наконец, курятником или хлевом для коз — пока не разваливается, подточенная термитами. Физическое состояние хижины на каждом этапе соответствует конкрет-

ному применению; хижина, используемая не так, как диктует ее состояние, вводит людей суку в смущение и говорит о многом. Так, если гостя селят в хижине, которой положено быть кухней, это кое-что говорит о статусе гостя, а если на участке нет хижины для гостей, это кое-что говорит о характере хозяина участка — он ленив, негостеприимен или беден. Аналогичные биографические ожидания связываем с вещами и мы. Для нас биография картины Ренуара, попавшей в мусоросжигатель, по-своему так же трагична, как биография человека, который погибает от рук убийцы. Это очевидно. Но в биографии вещей происходят и другие события, чей смысл не столь очевиден. Что, если Ренуар попадает в закрытую частную коллекцию? Или валяется позабытый в музейном подвале? Как мы отнесемся к тому, что еще один Ренуар уезжает из Франции в США? Или в Нигерию? Культурная реакция на подобные детали биографии выявляет настоящий клубок эстетических, исторических и даже политических суждений, убеждений и ценностей, которые формируют наше отношение к объектам, именуемым «произведениями искусства».

Биографии вещей порой помогают выявить эти «затененные» аспекты. Например, в ситуациях культурных контактов они могут продемонстрировать правоту антропологов, утверждающих: при заимствовании чужих предметов — равно, как и чужих идей — существенен не сам факт заимствования, а то, каким образом они культурно перепределяются для использования в новой роли. Из биографии автомобиля в Африке можно выудить массу культурных данных: как он был приобретен, каким образом и от кого получены деньги на его покупку, отношения продавца и покупателя, для чего автомобилем обычно пользуются, кто чаще всего на нем ездит и кто берет его взаймы, как часто его берут взаймы, гаражи, в которых его держат, отношения его хозяина с механиками, переход автомобиля из рук в руки с течением лет, и, наконец, как избавляются от остатков машины, когда она разваливается. Из подробностей такого рода могут сложиться самые разные биографии, в зависимости от того, принадлежит ли машина американцу — представителю среднего класса, индейцу навахо или французскому крестьянину.

Составляя биографию, мы априори определяем то, что окажется в центре внимания. Мы признаем, что у каждого человека есть много биографий — психологическая, профессиональная, политическая, семейная, экономическая и т.д. — в каждой из них учитываются определенные аспекты его жизни, а прочие отбрасываются. Биографии вещей не могут не быть столь же однобокими. Очевидно, чисто физическая биография машины сильно отличается от ее технической

биографии, известной как ремонтная ведомость. Кроме того, можно составить экономическую биографию автомобиля, учитывающую его первоначальную стоимость, цену при продаже и перепродаже, скорость падения его стоимости и зависимость этой стоимости от кризисов, а также типичные расходы на содержание в течение нескольких лет. Можно написать несколько социальных биографий машины: в одной биографии рассмотреть ее место в экономике семьи, которой она принадлежит, в другой — сопоставить историю ее перехода из рук в руки с классовой структурой общества, а в третьей сфокусироваться на роли автомобиля в социологии родственных связей семьи — например, изучать ее влияние на ослабление социальных связей в Америке или на их укрепление в Африке.

Все подобные биографии — экономические, технические, социальные — могут отличаться самой разной культурной информативностью. Все зависит не от содержания биографии, а от того, как и с какой точки зрения оно рассматривается. В культурно информативной экономической биографии объекта последний исследуется в качестве культурно сконструированной единицы, наделенной культурно специфическим смыслом, подвергающейся классификации и реклассификации в рамках культурно наполненных категорий. Именно с этой точки зрения мне хотелось бы предложить рамки изучения товаров — или точнее, коль скоро речь идет о процессах, рамки изучения товаризации. Но сперва зададимся вопросом: что такое товар?

УНИКАЛЬНОЕ И ОБЩЕЕ

Я исхожу из того, что товар — это универсальный феномен культуры. Существование товаров логически вытекает из существования сделок, которые включают обмен вещами (товарами и услугами); обмен является универсальной чертой социальной жизни людей и, согласно некоторым теориям, составляет ее фундамент (см., например: Nomans 1961; Ekeh 1974; Karfeger 1976). Общества отличаются друг от друга тем, каким образом товаризация, выступающая в качестве особого выражения обмена, структурируется и соотносится с социальной системой, факторами, способствующими товаризации или затрудняющими ее, долговременными тенденциями, связанными с распространением или стабилизацией этого процесса, и со сказывающимися на нем культурными и идеологическими условиями.

Итак, что же делает предмет товаром? Товар — это предмет, обладающий потребительской стоимостью, который в ходе отдельной сделки может быть обменян на иной предмет; последний, как сви-

детельствует сам факт обмена, обладает эквивалентной стоимостью в конкретном контексте, и согласно тому же самому определению, является товаром в момент обмена. Обмен может быть как прямым, так и осуществляться косвенным образом посредством денег, одна из функций которых — средство обмена. Соответственно, все, что можно купить за деньги, является в этот момент товаром, какова бы судьба ни ждала этот предмет после того как он перейдет из рук в руки (впоследствии он может подвергнуться растовариванию). Поэтому мы на Западе вследствие культурной близорукости обычно принимаем возможность продажи за безошибочный показатель товарного статуса, в то время как непродажность наделяет предмет особой аурой отстраненности от обыденного и повседневного. На самом же деле, конечно, возможность продать предмет за деньги — необязательный признак товарного статуса, если вспомнить о наличии товарного обмена в немонетарных экономиках.

Сделки, связанные с товарами, я называю «конечными» чтобы подчеркнуть, что основной и непосредственной целью сделки является получение той вещи, которую дают в обмен на эту вещь (для экономиста в этом заключается также экономическая функция сделки). Например, цель сделки не состоит в том, чтобы обеспечить возможность для сделок какого-либо иного рода, как происходит в случае подарков, вручаемых для того, чтобы начать переговоры о свадьбе или получить покровительство; каждый из этих случаев является частичной сделкой, которую следует рассматривать в контексте всей сделки. В то время как обмен вещами обычно связан с товарами, заметным исключением являются такие обмены, которыми отмечены отношения взаимных услуг, как их принято классифицировать в антропологии. В данном случае вручение подарка влечет за собой обязательство вручить ответный подарок, что влечет за собой аналогичное обязательство — в результате мы имеем бесконечную цепь подарков и обязательств. Сами подарки могут быть вещами, которые обычно используются как товары (продовольствие, пиры, предметы роскоши, услуги), но каждая сделка не является конечной и в принципе не завершена.

Чтобы предмет можно было продать за деньги или обменять на широкий спектр других предметов, он должен иметь нечто общее со всевозможными обмениваемыми вещами, которые, вместе взятые, составляют единую вселенную сопоставимых стоимостей. Воспользовавшись пусть архаичным, но вполне уместным термином, можно сказать, что предмет, пригодный для продажи или обмена на широкий круг других предметов, должен иметь нечто «общее» — в противоположность частному, несопоставимому, уникальному, единичному

и поэтому не обмениваемому ни на что другое. Идеальным товаром будет тот, который можно обменять на что угодно, а идеально товаризованный мир — такой, в котором все подлежит обмену или продаже. Согласно тому же признаку, идеально детоваризованный мир — такой, в котором все единично, уникально и обмену не подлежит.

Две эти ситуации представляют собой противоположные друг другу идеалы, не соответствующие никакому реальному экономическому строю. Не существует такой системы, в которой все настолько исключительно, что не допускает даже намека на обмен. И не существует такой системы, за исключением разве что какой-нибудь экстравагантной марксистской схемы полностью товаризованного капитализма, в которой бы все являлось товаром и подлежало обмену на любые другие вещи в рамках единой сферы обмена. Такое устройство мира — в первом случае тотально гетерогенное в смысле стоимости, а во втором случае тотально однородное — было бы невозможно с точки зрения культуры, и создать его было бы не под силу человечеству. Но любая реальная экономика находится где-то между двумя этими крайностями.

Вслед за большинством философов, лингвистов и психологов мы можем согласиться с тем, что человеческому разуму присуща тенденция привносить порядок в окружающий хаос, классифицируя его содержание, и что без подобной классификации познание мира и приспособление к нему были бы невозможны. Культура обслуживает разум, привнося коллективно воспринимаемый когнитивный порядок в мир, который объективно является абсолютно гетерогенным и представляет собой бесконечное множество уникальных предметов. Культура создает порядок, посредством выделения и классификации обрисовывая однородные области в рамках всеобщей неоднородности. Однако если процесс насаждения однородности зайдет слишком далеко и воспринимаемый мир чересчур приблизится к другому полюсу — в случае вещей, к абсолютной товаризации — то функция культуры, связанная с проведением когнитивных различий, окажется подорванной. Как индивидуумы, так и коллективы, принадлежащие к данной культуре, должны ходить где-то между этими крайностями, классифицируя предметы по категориям, которые не слишком обширны и которых не слишком много. Короче говоря, то, что мы обычно называем «структурой», лежит между разнородностью излишне подробного деления и однородностью избыточных обобщений.

Применительно к сфере меновой стоимости это означает, что естественный мир уникальных предметов должен быть разделен на несколько контролируемых стоимостных классов — то есть, различные

предметы должны отбираться в соответствии с категориями и приобретать в их рамках когнитивную однородность, а при нахождении в различных категориях обладать когнитивной разнородностью. В этом состоит основа хорошо известного экономического феномена, заключающегося в существовании нескольких сфер меновых стоимостей, которые проявляют большую или меньшую независимость друг от друга. Этот феномен обнаруживается в любом обществе, хотя люди Запада наиболее склонны находить его в некоммерциализованных и немонетизированных экономиках. Сущность и структура этих сфер обмена различны в разных обществах, поскольку, согласно Дюркгейму и Моссу (Durkheim and Mauss 1963; первое издание 1903), в культурных системах классификации отражаются структура и культурные ресурсы данного общества. А помимо этого, как утверждает Дюмон (Dumont 1972), существует тенденция выстраивать категории в иерархическую систему.

СФЕРЫ ОБМЕНА

Для нашего разговора было бы небесполезно привести конкретный пример экономики с четко различающимися сферами обмена. Боханнан (Bohannan 1959) в своем классическом анализе «мультицентричной экономики» описывает три такие сферы обмена, существующие с колониальных времен у народа тив в центральной Нигерии: а) сфера предметов первой необходимости — ямс, зерновые, приправы, куры, козы, кухонная утварь, инструменты и т. п.; б) сфера престижных предметов — главным образом скот, рабы, ритуальные услуги, особая одежда, медикаменты и медные прутки; и, наконец, в) сфера прав в отношении других людей — сюда входят право на жен, на подопечных и на потомство.

Три эти сферы представляют собой три отдельные вселенные меновых стоимостей, то есть три товарные сферы. Предметы в рамках каждой сферы взаимообмениваемы, и в каждой сфере правит своя собственная этика. Более того, эти сферы выстраиваются в моральную иерархию; сфера предметов первой необходимости, с ее бесспорной рыночной моралью, считается самой низменной, а сфера прав на людей, связанная с родственными и родственно-групповыми связями, стоит выше двух других. Отметим, что в системе тив (в противоположность многим аналогичным системам) допускается переход, хотя бы и обставленный разными условностями, из одной сферы в другую. Связь между ними обеспечивают медные прутки. В исключительных обстоятельствах люди вынуждены обменивать их на предметы

первой необходимости; с другой стороны, с помощью прутков можно инициировать ту или иную сделку в сфере прав на владение людьми. Тив считают вполне желательным и морально безупречным перемещаться «вверх», от предметов первой необходимости к предметам престижа и от предметов престижа к правам на людей, в то время как переход «вниз» позорен и к нему прибегают лишь в самом крайнем случае.

Проблема стоимости и ее эквивалента всегда представляла собой философский камень преткновения в экономике. Она включает в себя таинственный процесс, посредством которого решительно несхожие вещи каким-то образом наделяются схожестью в отношении стоимости; например, ямс непонятно как становится сопоставимым с известью или горшком и может быть обменян на них. В используемых нами терминах, этот процесс заключается в том, что бесспорно уникальный предмет помещается в категорию стоимости, общую для прочих бесспорно уникальных предметов. Несмотря на все противоречия, присущие трудовой теории стоимости, она по крайней мере предполагает, что ямс можно сопоставить с горшками на основе того количества труда, которое требуется, чтобы их произвести (даже абстрагируясь от различных затрат на приобретение трудовых навыков в том и в другом случае); однако никакого аналогичного стандарта не усматривается при сопоставлении ямса с ритуальными должностями или горшков — с женами и потомством. Отсюда сразу же и возникает трудность, если не сказать невозможность, поместить все эти разнородные вещи в единую товарную сферу. Это затруднение представляет собой естественную основу для культурного построения отдельных сфер обмена. Культура берет на себя не столь всеохватную задачу по поиску эквивалентов стоимости, создавая несколько отдельных товарных сфер — в случае тив осязаемые предметы первой необходимости, созданные физическим трудом, противопоставляются престижным вещам, связанным с перемещениями в рамках социума, а также более интимной сфере родственных прав и обязанностей.

ТЕНДЕНЦИЯ К ТОВАРИЗАЦИИ

С этой точки зрения мультицентричная экономика, подобная той, что существует у тив, не представляет собой какого-то экзотического усложнения простой системы обмена. Скорее наоборот — это настоящий подвиг упрощения в отношении естественной массы неуправляемых уникальных предметов. Но почему только три сферы, а не, скажем, дюжина? Похоже, что товаризация стремится к пределам, допускаемым обменной технологией тив, в которой отсутствует более удоб-

ный общий знаменатель стоимости, нежели медные прутки. Можно усмотреть в этом явлении тенденцию к оптимуму товаризации, присущую любой обменной системе — тенденцию к расширению принципиально соблазнительной идеи обменивать столько вещей, сколько позволяет существующая технология обмена без создания излишних неудобств. Отсюда и неизменное признание денег всякий раз, как они попадают в немонетизированные общества, и неизбежное подчинение ими внутренней экономики этих обществ, вне зависимости от первоначальной отрицательной реакции и личного недовольства, которое хорошо заметно у современных тив. Отсюда и единообразные результаты появления денег в самых разнообразных обществах, порой радикально отличающихся друг от друга: более широкая товаризация и слияние отдельных сфер обмена, словно бы сама внутренняя логика обмена заранее готовит любую экономику к тому, чтобы ухватиться за новые возможности, которые с такой очевидностью несет с собой широкая товаризация.

В этом свете можно интерпретировать недавнюю работу Броделя (Braudel 1983), в которой показывается, как появление в Европе новых институтов на рубеже Средних веков и Нового времени привело к формированию, так сказать, новой технологии обмена, и как та, в свою очередь, повлекла взрывную товаризацию, представляющую собой фундамент капитализма. Таким образом, массовая товаризация, которая у нас ассоциируется с капитализмом, является свойством не капитализма как такового, а той обменной технологии, которая исторически связана с ним и задает поразительно широкие пределы для максимально возможной товаризации. Даже современные государственные некапиталистические экономики явно не выказывают признаков систематической борьбы с этой тенденцией, хотя порой пытаются контролировать ее политическими методами. Собственно, принимая во внимание присущий этим экономикам хронический дефицит и повсеместные черные рынки, товаризация там проникает в новые сферы, когда потребитель, желающий приобрести товары и услуги, сперва должен купить доступ к операциям купли-продажи.

Таким образом, товаризацию лучше всего рассматривать как процесс становления, а не какой-либо раз и навсегда сложившийся порядок вещей. Расширение товаризации происходит двумя путями: а) по отношению к каждой вещи — создавая возможность ее обмена на все большее число других вещей; б) по отношению к системе в целом — включая в сферу широкого обмена все больше и больше разнообразных предметов.

УНИКАЛИЗАЦИЯ: КУЛЬТУРА И ИНДИВИДУУМ

Противовесом этому потенциальному наступлению товаризации выступает культура. Товаризация усиливает однородность стоимостей, в то время как сущностью культуры является выделение уникального, и в этом смысле избыточная товаризация антикультурна — так, действительно, считают и чувствуют многие. Как отмечал Дюркгейм (Durkheim 1915; первое издание 1912), любому обществу нужно выделить некоторую часть своего окружения, пометив ее как «священную»; и уникализация — один из способов осуществить это. Культура гарантирует сохранение однозначно уникального характера некоторых вещей, сопротивляется товаризации других вещей и порой даже заново уникализует то, что было товаризовано.

В любом обществе существуют вещи, товаризация которых публично запрещена. Некоторые из этих запретов носят культурный характер и соблюдаются коллективно. В обществах-государствах многие из этих запретов установлены на государственном уровне, причем обычно не проводится грани между тем, что нужно обществу в целом, тем, что нужно государству и тем, что нужно отдельным правящим группировкам. Это относится к большей части так называемого символического инвентаря общества: к общественным землям, памятникам, государственным музейным коллекциям, регалиям государственной власти, правительственным резиденциям, наградам, ритуальным предметам и т. д. Нередко власть символически утверждается именно закреплением за собой права на уникализацию объектов, а также их наборов и классов. Африканские вожди и цари сохраняют за собой право на определенных животных и на их части — такие, как шкуры и зубы пятнистых диких кошек. Короли Сиама обладали монополией на белых слонов. А британские монархи имеют право на выброшенных на берег мертвых китов. Эти царственные претензии иногда имеют под собой практические основания, которые, несомненно, будут прилежно выявлены экологическими и культурными материалистами. Однако очевидным проявлением подобных монополий является зримое действие священной власти, распространяющейся на добавочно сакрализованные объекты.

Подобная уникализация порой затрагивает и такие вещи, которые обычно являются товарами — по сути, товары уникализуются, вытаскиваясь из своей привычной товарной сферы. Так, среди ритуальных регалий британской монархии мы находим алмаз «Звезда Индии», которому, вопреки тому, что произошло бы при обычных обстоятельствах, не дали стать товаром и в конечном счете подвергли уникали-

зации, превратив его в «сокровище короны». Точно так же в состав ритуальных регалий царей суку в Заире входят стандартные предметы торговли прошлых эпох — такие, как европейские керамические кружки XVIII в., привезенные португальцами; суку взяли их с собой на нынешнее место обитания, сакрализовав в ходе этого процесса.

Другой способ уникализации объектов — посредством ограничений на товаризацию, при которых некоторые предметы не могут выйти за пределы очень узкой сферы обмена. Этот принцип нашел свое выражение в системе тив. Немногие предметы из сферы престижа (рабы, скот, ритуальные должности, особая одежда и медные прутки) будучи товарами, так как подлежат обмену друг на друга, все же менее товаризованы, чем гораздо более многочисленные предметы первой необходимости, начиная с ямса и кончая горшками. Еще большую степень уникализации демонстрирует сфера, состоящая только из двух видов предметов; здесь классическим примером выступает кула — система обмена на островах Тробриан, в которую входят исключительно наручные кольца и браслеты. Существующая у тив сфера обмена прав на людей достигает сингулярной целостности благодаря иному, хотя и схожему принципу, заключающемуся в однородности ее компонентов. Можно отметить, что две верхние сферы обмена у тив более уникализированы, более специализированы, и поэтому более священны, чем низшая сфера, включающая большинство объектов повседневного существования. Таким образом, моральная иерархия сфер обмена у тив соответствует градиенту уникализации.

Но если сакрализация достижима через уникализацию, то сама уникализация вовсе не гарантирует сакрализации. Нетоварный статус сам по себе не обеспечивает почитания, и многие уникальные предметы (то есть необмениваемые) могут обладать ничтожной стоимостью. У племени агем из западного Камеруна существуют сферы обмена, сходные со сферами тив, но среди них выделяется еще одна, более низкая сфера, ниже рыночных предметов первой необходимости. Как-то раз, пытаясь выяснить доколониальную меновую стоимость различных предметов, я спросил о бартерной стоимости маниока. Мой собеседник лишь негодуяще фыркнул, возмущенный самой идеей о том, что такую жалкую вещь, как маниок, можно на что-нибудь обменять: «Его едят, только и всего. Можешь его отдать, если хочешь. Женщины помогают друг другу, делясь маниоком и другой едой. Но им не *торгуют*». Чтобы предотвратить недопонимание и сентиментальное отношение к этой вспышке раздражения, следует подчеркнуть, что источником негодования служила не мысль о коммерческом осквернении символически сверхзаряженного продукта, типа

хлеба у восточно-европейских крестьян. В целом агем были и остаются вполне коммерчески мыслящим народом, не испытывающим презрения к торговле. С подобным возмущением представитель агем мог бы столкнуться сам, если бы стал выяснять у западного человека меновую стоимость спички, которой жертвуют, давая прикурить незнакомцу. Маниок входил в класс уникальных предметов, настолько малоценных, что за ними публично не признавалось никакой меновой стоимости. Чтобы не быть товаром, предмет должен быть «бесценным» в максимально возможном смысле этого слова, являясь либо уникально дорогостоящим, либо уникально ничего не стоящим.

Помимо предметов, классифицируемых как более или менее уникальные, существует также явление, которое можно назвать терминальной товаризацией: здесь дальнейший обмен запрещается законом. Во многих обществах таковыми являются лекарства: врач изготавливает и продает абсолютно уникальное лекарство, предназначенное исключительно для данного пациента. Терминальной товаризацией также была отмечена торговля индульгенциями, которую полтысячи лет назад вела католическая церковь: грешник мог купить индульгенцию, но не имел права ее перепродавать. В современной западной медицине подобная терминальная товаризация осуществляется юридическими методами; она основана на запрете перепродавать прописанное лекарство и торговать любыми лекарствами без должным образом оформленной лицензии. Имеются и другие примеры юридических попыток ограничить ретоваризацию: на изданных в Великобритании книгах в бумажной обложке часто встречается озадачивающая фраза о том, что покупателю запрещено перепродавать ее иначе, как в оригинальной обложке; а в Америке не менее таинственным ярлыком, запрещающим перепродажу, снабжаются матрасы и подушки.

Источником терминальной товаризации могут выступать и другие факторы, помимо юридических или культурных запретов. В конце концов, большинство потребительских товаров обречено на терминальность — по крайней мере, на это надеется производитель. И эти ожидания с достаточной легкостью выполняются в отношении таких вещей, как консервированный горошек, хотя даже здесь могут вмешаться внешние обстоятельства; во времена военных нехваток любые потребительские товары начинают играть роль эквивалента богатства и вместо того, чтобы быть потребленными, бесконечно обращаются на рынке. При этом обычным явлением бывает вторичный рынок нескоропортящихся товаров, причем сама эта идея порой поддерживается продавцами. В нашей экономике существует сфера, где стратегия продажи основывается на утверждении: товаризация пред-

метов, купленных с целью потребления, не обязательно терминальна; так, о восточных коврах, даже покупаемых ради использования, говорится, что это «хорошее вложение денег», а о некоторых дорогих автомобилях — что они «имеют высокую стоимость при перепродаже».

Существование терминальной товаризации поднимает вопрос, являющийся ключевым при анализе рабства, когда тот факт, что некто куплен, сам по себе ничего не говорит нам о том, для чего его купили (Kopytoff 1982: 223 ff). Некоторые купленные люди попадали в рудники, на плантации или на галеры; другие становились великими визирями или адмиралами Римской империи. Аналогичным образом тот факт, что объект куплен или выменян, ничего не говорит о его последующем статусе и о том, останется он товаром или нет. Но за исключением случаев формального растоваривания, товаризованные вещи в потенциале остаются товарами — они по-прежнему обладают меновой стоимостью, даже если фактически выведены из своей сферы обмена и, так сказать, деактивированы в качестве товара. Такая деактивация оставляет им возможность подвергаться не только уникализации в различных вышеописанных вариантах, но и индивидуальным, в отличие от коллективных, переопределениям.

В области Баменда в западном Камеруне люди высоко ценят большие украшенные калебасы², попадающие из Нигерии благодаря скотоводческому племени аку, в котором женщины широко пользуются этими калебасами и с готовностью продают их. Таким образом и я приобрел несколько штук. Тем не менее однажды мне так и не удалось убедить одну женщину аку продать мне простой калебас, на который сама она нанесла несколько дополнительных узоров. Ее друзья заявили мне, что она дура, имея в виду, что на эти деньги она могла бы купить куда более красивый и добротный калебас. Но она не отступалась, ведя себя так же, как те члены нашего общества, неизменно попадающие на первые полосы газет — полугерои, полуидиоты — которые отказываются продать свой дом за миллион долларов и вынуждают застройщиков возводить небоскреб вокруг него. Существует также противоположное явление: идеолог товаризации, выступающий, допустим, за продажу общественных земель ради того, чтобы ликвидировать бюджетный дефицит, или, как я наблюдал в Африке, призывающий продать какую-либо регалию вождя, чтобы покрыть школьное здание железной крышей.

Эти повседневные примеры демонстрируют, что в любом обществе индивидуум зачастую разрывается между культурной структурой

² Утварь, изготовленная из тыквы-горлянки, обычно используемая для переноса и хранения жидкостей. — *Прим. ред.*

товаризации и личными попытками привнести иерархию ценностей во вселенную вещей. Иные из таких стычек между культурой и индивидуумом неизбежны, по крайней мере, на когнитивном уровне. К миру вещей применимо бесчисленное множество классификаций, основывающихся как на естественных свойствах, так и на культурных и личных представлениях. Разум индивидуума в процессе рассмотрения окружающего мира может конструировать бесчисленные классы предметов, разнообразные вселенные вещей, имеющих общую стоимость, и выстраивать собственные сферы обмена. Напротив, культура не может быть столь изобильной, по крайней мере, в экономике, где любая классификация должна представлять собой недвусмысленное руководство к прагматичным и скоординированным действиям. Но если столкновение неизбежно, то его интенсивность зависит от характера социальных структур, в рамках которого оно происходит. В таких обществах, как тив или агем доколониального периода, культура и экономика сосуществовали в относительной гармонии; экономика следовала культурным классификациям, а те успешно обслуживали когнитивную потребность индивидуума к структурированию мира. Напротив, в коммерциализованном, монетизированном и сильно товаризованном обществе тенденция обменной системы к гомогенизации стоимости несет в себе колоссальный импульс, порождающий такие результаты, которые нередко вызывают реакцию отторжения и у культуры, и у индивидуального восприятия, однако выражения этой реакции бывают несовместимы друг с другом и даже противоречивы.

СЛОЖНЫЕ ОБЩЕСТВА

Выше отмечалось, что для нас отдельные сферы обмена более заметны в некоммерческих, немонетизированных обществах наподобие тив, нежели в коммерческих, монетизированных обществах вроде нашего собственного. Отчасти дело в том, что экзотическое легче заметить, а знакомое воспринимается как данность. Но имеется еще один момент.

Разумеется, в нашем обществе тоже существуют отдельные сферы обмена, воспринимаемые и одобряемые почти единогласно. Так, мы строго разделяем сферы материальных предметов и людей (о чем подробно поговорим ниже). Кроме того, мы обмениваемся обедами и не допускаем смешения этой сферы с другими. Мы спокойно признаем существование сферы обмена услугами в политической и академической областях, но были бы шокированы идеей о монетизации

этой сферы, как поначалу были шокированы тив идеей о монетизации своих брачных сделок. Подобно тив, которые очень аккуратно переходят из сферы банальных горшков в сферу престижных титулов посредством медных прутков, так и наши финансисты осторожно передвигаются между сферами обмена в таких вопросах, как пожертвования университетам. Непосредственные денежные вклады в сколько-нибудь значимые фонды общего характера выглядят подозрительно, поскольку это чересчур похоже на покупку влияния, и поэтому подобные вклады обычно бывают анонимными либо посмертными. Особую двусмысленность имеют пожертвования отдельными взносами, поскольку они подразумевают право дарителя придержать следующий чек. Однако пожертвование крупной суммы на строительство переводит деньги в практически детоваризованную сферу, с явственной необратимостью цементирует дар и защищает дарителя от подозрений в оказываемом на университет долговременном и чрезмерном влиянии. При этом начертание имени дарителя на здании оказывает честь не только дарителю, но и университету, который тем самым объявляет, что свободен от каких-либо невыполненных обязательств перед конкретным жертвователем. Ценности, лежащие в основе подобных сделок, в целом приемлемы для всего общества или, по крайней мере, культивируются группами, которые обладают культурной гегемонией в нашем обществе и определяют многое из того, что мы склонны называть его культурой. «Все» выступают против товаризации публично названного «уникальным» и тем самым превращенного в священное: общественных парков, национальных достопримечательностей, будь то мемориал Линкольна или вставные зубы Джорджа Вашингтона, хранящиеся в Маунт-Вернон.

Другие виды уникализации стоимости осуществляются в более узких кругах. У нас существуют четко ограниченные сферы обмена, признаваемые только отдельными сегментами общества — такими, как социально-профессиональные группы, — которые признают общий культурный кодекс и особую мораль некоей специальной направленности. Из подобных групп складываются сети механической солидарности, соединяющие отдельные части органической структуры общества в целом, последнее же в большинстве своих поступков управляется принципами товарности. Продемонстрируем вышесказанное на примере одной из таких групп: американских африканистов, коллекционирующих африканское искусство.

В незамысловатую эпоху тридцатилетней давности африканское искусство, собранное случайным образом в ходе полевых исследований, попадало исключительно в закрытую сферу, окруженную свя-

щенным ореолом. Коллекционировавшиеся предметы подвергались сильной уникализации; считалось, что они имеют для своего владельца личную сентиментальную, чисто эстетическую, либо научную ценность; последнее утверждение подкреплялось предполагаемым знакомством хозяина предмета с культурным контекстом последнего. Считалось не слишком уместным покупать предмет искусства у африканских рыночных торговцев, или, того хуже, у европейских торговцев в Африке, а то и вовсе у дилеров в Европе или Америке. Такой предмет, приобретенный из вторых рук, не имел особой научной ценности и к тому же испытал на себе оскверняющее воздействие монетизированной товарной сферы — и это осквернение не вполне устранялось тем, что впоследствии предмет попадал в ту же категорию, что и произведения, «законно» приобретенные при полевых исследованиях. Сфера обмена, к которой принадлежало африканское искусство, была чрезвычайно однородной по составу. Подобные предметы дозволялось обменивать на другие образцы африканского (или какого-либо иного «примитивного») искусства. Кроме того, их можно было дарить. Студенты, возвращавшиеся с полевых исследований, обычно привозили один-два подобных подарка своим руководителям, тем самым отдавая эти объекты в другую крайне ограниченную сферу, связанную с отношениями покровительства в научных кругах. Мораль, правящая в этой сфере, не позволяла продавать эти предметы — разве что музеям, по себестоимости. Тем не менее, как и в случае тив, которые считают позволительным, хотя и постыдным, выменивать медные прутки на продовольствие, так и здесь крайняя нужда оправдывала «ликвидацию» коллекций на рынке коммерческого искусства, но при этом требовалась должная осмотрительность, а подобный поступок, безусловно, рассматривался как признак «падения».

Как показывают Дуглас и Ишервуд (Douglas and Isherwood 1980), публичная культура в сложных обществах действительно проводит широкую отличительную маркировку товаров и услуг по их ценности. То есть публичная культура создает разделительную классификацию не в меньшей степени, чем в малых обществах. Но эта классификация вынуждена постоянно конкурировать с теми классификациями, которые создаются индивидуумами и небольшими группами, чьи члены одновременно принадлежат к другим группам, исповедующим другие системы ценностей. Разграничивающие критерии, которые индивидуумы или группы используют в целях классификации, могут быть какими угодно. Принадлежащий каждому индивидууму или группе вариант сфер обмена не только своеобразен и отличается от других вариантов, но и меняется контекстуально и биографически вместе

со сменой точек зрения, групповой принадлежности и интересов его авторов. В результате идут споры не только между людьми и группами, но и в душе каждого человека. Строго говоря, зерна таких споров существуют и в обществах, подобных тив доколониального периода, но там культура и экономика совместными усилиями создают общепризнанные образцы классификации. А в коммерциализованном, неоднородном и либеральном обществе публичная культура обычно предана идеям плюрализма и релятивизма и не в состоянии обеспечить надежного руководства, в то время как единственный урок, преподанный нам экономикой, состоит в той свободе и динамизме, которые явственно несет с собой все более широкая товаризация.

О результатах можно отчасти судить по тому, что произошло с коллекционированием африканского искусства за последнюю четверть века. Правила, прежде действовавшие в этой сфере, в какой-то мере утратили свою жесткость точно так же, как монетизация, по словам Боханнана, ослабила правила в экономике тив — что нашло конкретное выражение в слиянии прежде различавшихся сфер обмена. Например, сейчас не существует запрета на покупку произведений африканского искусства на аукционе в Америке, не говоря уже об африканском торговце в Африке. Монетизация сама по себе стала менее оскверняющей и в то же время более соблазнительной, так как никто уже не может оставаться в неведении по поводу того, что эти предметы в любых газетах и журналах называются «объектами коллекционирования». Но самая заметная перемена заключалась просто-напросто в том, что эти правила стали менее четкими и сильнее зависящими от индивидуальных интерпретаций и личных систем ценностей. В то время как прежде профессиональная культура объявляла, что ценность этих предметов носит если не научный, так сентиментальный характер, то в наше время вместо сентиментальной ценности говорят о вопросе личных предпочтений — определение, возможно, более искреннее, но зато и менее широкое. Одновременно появились и пуритане, мечущие громы и молнии по поводу аморальности какого-либо оборота этих предметов и призывающие к их полной уникализации и сакрализации в узких границах того общества, которое их произвело. Короче говоря, правила профессиональной культуры лишились прежней жесткости, а правила владения теперь каждый определяет для себя сам. Широко распространившееся с 1960-х гг. отрицание самой идеи культурных ограничений в данном случае, как и повсюду, расчистило путь для самых разных определений, даваемых индивидуумами и малыми группами.

Для меня здесь важно то, что решающее различие между сложными и малыми обществами заключается не просто в широкомас-

штабной товаризации, свойственной первым. Не следует забывать, что существовали и такие малые общества, в которых товаризация приобретала обширный характер (чему способствовала местная денежная система) — к таким обществам относятся племена юрок в северной Калифорнии (Kroeber 1925) или капауку из западной Новой Гвинеи (Pospisil 1963). Особенность сложных обществ состоит в том, что публично признаваемая товаризация происходит в них бок о бок с бесчисленными механизмами оценки и уникализации, которые изобретаются индивидуумами, социальными прослойками и группами, и эти механизмы вступают в неразрешимый конфликт как с публичной товаризацией, так и друг с другом.

ДИНАМИКА НЕФОРМАЛЬНОЙ УНИКАЛИЗАЦИИ В СЛОЖНЫХ ОБЩЕСТВАХ

Сложным обществам, очевидно, присуще стремление к уникализации. В основном оно удовлетворяется в индивидуальном порядке, посредством частной уникализации, нередко руководствуясь принципами столь же обыденными, как и те, что в равной мере определяют судьбу и фамильного достояния, и старых тапочек — давние отношения в некотором роде связывают их с человеком и делают расставание с ними немислимым.

Порой это стремление приобретает масштабы коллективного голода, явственно проявляющегося в массовой реакции на новые виды уникализации. Старые пивные банки, спичечные коробки и книжки комиксов неожиданно приобретают ценность или становятся объектами коллекционирования, переходя из сферы уникально-бесполезного в сферу уникально-дорогостоящего. Неизменная привлекательность присуща коллекционированию марок — причем можно отметить, что гашеные марки ценятся выше, так как гашение марок не оставляет сомнений в их бесполезности для той товарной сферы, для которой они изначально предназначались. Коллективная же уникализация, как и индивидуальная, главным образом достигается ссылкой на возраст предмета. Автомобили как товары, старея, теряют ценность, но примерно в тридцатилетнем возрасте они начинают переходить в категорию антиквариата и их цена с каждым годом возрастает. Со старой мебелью, разумеется, происходит то же самое, но в более умеренном темпе — период, по истечении которого возможна ее сакрализация, приблизительно равен промежутку времени, отделяющему ваше поколение от поколения дедов (в прошлом, вследствие меньшей мобильности и не столь частой смены стилей, времени на это требовалось

больше). Существует также современная, не носящая исторического характера адаптация процесса антикваризации, столь проникательно проанализированная Томпсоном (Thompson 1979) — моментальная уникализация объектов, извлекаемых из мусорной кучи для украшения стен жилой комнаты, как поступают мобильные молодые профессионалы, тоскующие среди однообразной скандинавской мебели, которой отдавало предпочтение предыдущее поколение их класса.

Однако, как и в случае африканского искусства, все эти процессы происходят в рамках малых групп и социальных сетей. То, что для меня — фамильная реликвия, для ювелира, разумеется, товар, и то, что я не совсем чужд культуре ювелира, доказывается моей готовностью оценить принадлежащее мне бесценное достояние (при неизбежной завышенной оценке его рыночной стоимости). В глазах ювелира я путаю две различные системы стоимостей: рыночную стоимость и стоимость в замкнутой сфере лично уникализированных предметов — и обе эти системы случайно пересеклись в предмете, оказавшемся в моих руках. Многие новые «объекты коллекционирования» типа пивных банок аналогичным образом отражают этот парадокс: объявляя их уникальными и достойными коллекционирования, мы наделяем их стоимостью; а если они имеют стоимость, то у них есть цена, они становятся товарами, и их уникальность соответственно оказывается под вопросом. На такое пересечение в одном и том же предмете принципов товаризации и принципов уникализации делают ставку те фирмы, которые специализируются на производстве так называемых будущих объектов коллекционирования — таких, как издания Эмерсона в кожаном переплете, барельефные репродукции картин Нормана Рокуэлла или серебряные медали в память о малозначительных событиях. В рекламе этих предметов используется сложная апелляция к алчности: покупайте этот барельеф сейчас, пока он еще является товаром, потому что потом он станет уникальным «объектом коллекционирования», сама уникальность которого превратит его в более дорогой товар. Я не могу найти никакой аналогии такой схеме в сферах обмена, существующих у тив.

Уникализация объектов группами людей в составе общества представляет собой особую проблему. Поскольку она осуществляется группами, то несет на себе печать коллективного одобрения, является проводником индивидуальной тяги к уникализации и принимает на себя вес культурной сакральности. Так, жители нескольких городских кварталов могут быть неожиданно мобилизованы общим возмущением, которое вызвано известием о предполагаемом сносе и продаже на металл местного ржавеющего викторианского фонтана. Подобные пуб-

личные конфликты нередко представляют собой нечто большее, чем просто вопрос стиля. За таким исключительно бурным утверждением эстетических ценностей могут стоять конфликты культурной, классовой и этнической идентичности, а также борьба за власть над тем, что можно назвать «общественными институтами уникализации»³. В либеральных обществах в роли этих институтов выступают влиятельные негосударственные или квазигосударственные учреждения — такие, как исторические комиссии, советы по строительству памятников, соседские организации, занимающиеся «украшением» своей округи, и т. д.; кто и как контролирует их многое говорит о том, кто управляет процессом презентации общества самому себе.

Несколько лет назад в Филадельфии разгорелись публичные дискуссии по поводу предложения установить памятник герою кинофильмов — боксеру Рокки — на Парквэй перед Художественным музеем, учреждением, которое одновременно является памятником истории в глазах местного истеблишмента и удовлетворяет художественные потребности профессиональной интеллигенции. Статуя была привезена непосредственно со съемочной площадки «Рокки» — фильма об успешной карьере итало-американского боксера-чемпиона родом из Южной Филадельфии. Для «этнического» рабочего класса из числа жителей Филадельфии эта статуя представляла собой уникальный объект этнической, классовой и региональной гордости — короче говоря, являлась достойным памятником. Для тех групп, чья социальная идентичность нашла воплощение в музее, это была просто железяка, заслуживающая немедленной ретоваризации в качестве металлического лома. В данном случае вопросы уникализации и товаризации были напрямую увязаны с несовместимостью двух этически заряженных систем. Однако противники статуи имели возможность подать свои аргументы как заботу о публичной эстетике, так как обладали культурной гегемонией в этой сфере. В результате статуя была поставлена не перед Художественным музеем, а в Южной Филадельфии, около стадиона.

Впрочем, в сложных обществах конфликт между товаризацией и уникализацией главным образом проистекает в душе индивидуумов, приводя к явственным аномалиям в когнитивном процессе, к несовместимости ценностей и к отсутствию уверенности в поступках. Все люди в таких обществах имеют то или иное личное представление об иерархии сфер обмена, но обоснование этой иерархии не является интегрально привязанным к самой структуре обмена, как это принято

³ Хочу поблагодарить Барбару Херрнстайн Смит за привлечение моего внимания к значению подобных институтов в описываемых мной процессах.

у тив; скорее, обоснование приходится привносить в систему обмена извне, из таких независимых и обычно узких систем, как эстетика, мораль, религия либо специальные профессиональные соображения. Если мы считаем, что продажа Рембрандта или семейной ценности — это «падение», то объясняем свое отношение тем, что вещи, называемые «искусством» или «историческими объектами», стоят выше мира коммерции. Именно поэтому высокая стоимость уникальных предметов в сложных обществах так легко становится источником снобизма. Высокая цена сама по себе не присутствует явным образом в системе обмена — в отличие от традиционной системы тив, в которой, допустим, большая престижность медных прутков по сравнению с горшками (а не просто их разная меновая стоимость) осязаемо подтверждалась возможностью обменять медные прутки на ритуальную одежду или рабов. В сложном обществе отсутствие такого явного подтверждения престижности, отсутствие признаков перехода предмета в «вышую» сферу, порождает необходимость приписывать высокую, но немонетарную стоимость эстетической, стилистической, этнической, классовой или генеалогической эзотерике.

Когда какой-либо предмет одновременно находится в когнитивно различающихся, но фактически пересекающихся сферах обмена, мы постоянно сталкиваемся с мнимыми парадоксами стоимости. Полотно Пикассо, обладая денежной стоимостью, тем не менее бесценно в другой, более высокой сфере. Поэтому мы испытываем недовольство и даже чувствуем себя оскорбленными, когда в газете объявляется цена на Пикассо в 690 тысяч долларов, так как нельзя оценивать бесценное. Но в плюралистическом обществе «объективная» бесценность Пикассо может быть недвусмысленно подтверждена в наших глазах лишь колоссальной рыночной ценой. И все же бесценность делает Пикассо в некотором смысле более ценным, чем куча долларов, которую можно за него получить — на что соответственно и укажут газеты, если этого Пикассо украдут. Короче говоря, уникальность объекта подтверждается не его структурным положением в системе обмена, а постоянными прорывами в товарную сферу, за которыми тут же следуют отступления в закрытую сферу уникального «искусства». Однако два этих мира невозможно разделить надолго — хотя бы потому, что музеи вынуждены страховать свои собрания. Поэтому музеи и арт-дилеры назовут цены, будут обвинены в превращении искусства в товар, и станут в ответ защищаться, обвиняя друг друга в создании и поддержании товарного рынка. Впрочем, мы упустили главное в своем анализе, если решим, что разговоры об уникальности предметов искусства — просто идеологический камуфляж, за которым скры-

ваются торговые интересы. В данном случае культурно значимым является именно то, что налицо внутреннее стремление к самозащите от взаимных обвинений в «коммерциализации» искусства.

Единственный момент, когда товарный статус вещи не вызывает вопросов — это мгновение фактического обмена. Большую часть времени, когда товар реально выведен из товарной сферы, его статус является неизбежно двусмысленным и подвержен влияниям со стороны всевозможных событий и стремлений, составляющих поток социальной жизни. В это время его прочность испытывается всевозможными попытками уникализации, принимающими бесчисленное количество обликов. Таким образом, разнообразные виды уникализации, многие из которых мимолетны, постоянно сопровождают процесс товаризации, особенно тогда, когда он становится избыточным. При этом возникает своего рода уникализирующий черный рынок, являющийся зеркальным отражением более знакомого нам товаризирующего черного рынка, сопутствующего зарегулированной уникализирующей экономике, и столь же неизбежный, как и последний. Так, даже предметы, недвусмысленно обладающие меновой стоимостью — и, следовательно, товары в формальном смысле слова — приобретают стоимость иного вида, немонетарную и выходящую за пределы меновой стоимости. Можно сказать, что этот неэкономический аспект был упущен Марксом в его рассуждениях о товарном фетишизме. Для Маркса стоимость товаров определяется социальными отношениями в ходе их производства; но существование обменной системы удаляет от нас производственный процесс и мешает правильно относиться к нему, а кроме того «маскирует» истинную цену товара (как, допустим, в случае алмазов). В результате товар порой социально наделяется фетишеподобной «властью», не относящейся к его реальной стоимости. Однако из нашего анализа следует, что часть этой власти приписывается товару уже после того как он произведен — посредством автономного когнитивного и культурного процесса уникализации.

ДВЕ ЗАПАДНЫЕ СФЕРЫ ОБМЕНА: ЛЮДИ ПРОТИВ ОБЪЕКТОВ

Выше всеохватная природа товаризации в западном обществе подчеркивалась как характерная для сильно коммерциализованного и монетизированного общества идеального типа. Но Запад помимо этого представляет собой систему с уникальной культурой, обладающую исторически обусловленным набором предрасположенностей, которые заставляют смотреть на мир с определенной точки зрения.

Одна из этих предрасположенностей уже упоминалась выше: речь идет о концептуальном различии между людьми и вещами, об отношении к людям как к естественным резервуарам индивидуализации (то есть уникализации), а к вещам — как к естественным резервуарам товаризации. Это разделение, интеллектуальные корни которого восходят к классической древности и к христианству, с наступлением европейского нового времени приобретает заметное место в культуре. Его самым вопиющим отрицанием служила, разумеется, практика рабства. Однако культурную значимость этого различия можно оценить именно по тому факту, что рабство воспринималось как интеллектуальная и моральная проблема именно на Западе (см.: Davis 1966, 1975) и практически только на Западе. Вследствие сложных причин, на которых мы не будем останавливаться, концептуальное различие между вселенной людей и вселенной вещей стало культурной аксиомой на Западе к середине XX века. Поэтому неудивительно, что культурные баталии по поводу аборт в XX веке приобрели более свирепый характер, чем когда либо в XIX веке, и что в этих баталиях обе стороны ссылаются прежде всего на свои представления о точном положении границы, которая отделяет людей от вещей, и о том моменте, в который возникает «персональность», так как и противники, и сторонники абортов согласны в одном: жертвой аборта может стать «вещь», но не «человек». Отсюда и периодические судебные процессы, когда сторонники абортов пытаются добиться судебного запрета на попытки противников аборта ритуализировать утилизацию извлеченного плода, поскольку ритуальная утилизация предполагает существование личности. В смысле основополагающих концепций обе стороны находятся по одну сторону границы по отношению к японцам, культура которых в этом плане представляет собой полную противоположность. Японцы делают аборт без колебаний, но признают существование личности у абортированных детей, надевая последних особым статусом «мисого» — погибших душ, — и поклоняясь им в специальных храмах (см.: Miura 1984).

Следовательно, в западной мысли, вне зависимости от идеологической позиции мыслителя, уже много веков наличествует беспокойность товаризацией таких людских атрибутов, как труд, интеллект или творчество, а с недавнего времени также и человеческих органов, способности женщин к деторождению и яйцеклеток. Моральная заряженность этих вопросов частично восходит к длительным дискуссиям о рабстве и к победе аболиционизма. Отсюда и тенденция ссылаться на рабство как на готовую метафору, когда товаризация угрожает вторжением в гуманитарную сферу, поскольку рабство представляло

собой крайний случай полной товаризации личности. Моральные обличения капитализма из уст как Маркса, так и папы Льва XIII черпали свою силу из представления о том, что человеческий труд не должен считаться просто товаром — отсюда и риторическая мощь таких понятий, как «наемное рабство». Концептуальное беспокойство по поводу отождествления личности и товара приводит к тому, что в большинстве современных западных либеральных обществ усыновление ребенка считается нелегальным, если оно включает материальную компенсацию биологическим родителям — хотя в большинстве других обществ такая компенсация рассматривается как выполнение очевидных требований справедливости. Однако на современном Западе усыновление с денежной компенсацией приравнивается к продаже ребенка и поэтому объявляется сродни рабству вследствие неявной товаризации ребенка, вне зависимости от того, насколько любящими окажутся приемные родители. Так, особый законодательный запрет на подобные компенсации существует в Великобритании, в большинстве провинций Канады и почти во всех штатах США.

Отличительным признаком товаризации является обмен. Однако обмен открывает дорогу подпольной торговле, а нелегальная торговля человеческими атрибутами воспринимается как особенно позорное явление. Например, мы не возражаем — в данный момент не можем возражать — против товаризации и продажи труда (который по своей природе является терминальным товаром). Но мы решительно возражаем против подпольной продажи труда, которую подразумевает полная товаризация труда. Мы запретили детский труд, а суды покончили с товаризацией контрактов спортсменов и артистов. Культурная аргументация против «продажи» клубом или киностудией футболиста или актера опирается на идиоматику рабства. Передача контракта заставляет работника трудиться на того, кого он сам не выбирал, и, следовательно, это будет недобровольный труд. Здесь мы усматриваем существенную культурную деталь в товаризации труда по западному типу — эта товаризация должна контролироваться самим трудящимся. Напротив, договорные обязательства по оплате труда, а также векселя, продажа в рассрочку и контракты найма по закону являются предметом торговли; их можно продавать и перепродавать, что и происходит регулярно. Согласно той же культурной логике, идея почти конфискационного налогообложения кажется нам намного менее шокирующей, чем подневольный труд даже в самых скромных дозах. Что касается подпольного рынка труда, то мы считаем прямую товаризацию сексуальных услуг (в качестве терминального товара) от непосредственного поставщика менее возмутительной, чем их подпольную продажу суте-

нером. Кроме того, неминуемая возможность терминальной продажи человеческих яйцеклеток в моральном плане нам представляется чуть более приемлемой, нежели идея об их коммерческом обороте.

Однако остается открытым вопрос: насколько надежны те барьеры в западной культуре, которые защищают гуманитарную сферу от товаризации, особенно в секуляризованном обществе, которому становится все труднее оправдывать культурные различия и классификации трансцендентальными основаниями? Я предполагаю, что экономике свойственна особая чуткость к давлению товаризации, и что она стремится распространить товаризацию настолько широко, насколько позволяет технология обмена. Как же тогда, можно спросить, все это сказывается на разделении между сферой людей и сферой товаров или на успехах технологии по перемещению специфических человеческих атрибутов? Здесь я имею в виду недавние достижения медицины в пересадке человеческих органов и яйцеклеток и появление суррогатного материнства. В сфере деторождения особенно трудно провести различие между людьми и вещами — она противится всем попыткам прочертить границу, разделяющую естественный континуум.

Идея непосредственного суррогатного материнства — согласно которой женщина просто вынашивает ребенка для будущей законной матери — требует, разумеется, скорее юридических, а не технических инноваций. Эта идея стала завоевывать популярность одновременно с тем, как технические достижения в борьбе с женским бесплодием начали было пробуждать надежду у бесплодных пар, но в реальности немногим сумели помочь. Кроме того, она явилась ответом на сокращение числа детей, нуждающихся в усыновлении, которое произошло в 1960-е гг. с распространением противозачаточных пилюль и в 1970-е гг. с широкой легализацией абортов. В последние годы картина осложнилась из-за разработки технических методов фактической пересадки яйцеклетки, что создает возможность для торговли физическими средствами деторождения. Популярные возражения против суррогатного материнства обычно находят выражение в идиоме о неправомерности товаризации. Один канадский региональный министр социального обеспечения выразил свое недовольство в такой формуле: «В Онтарио детьми не торгуют». Однако по крайней мере некоторые люди считают более приемлемым, когда суррогатная мать заявляет, что получила не «выплату», а «компенсацию» в десять тысяч долларов — «за неудобства, созданные моей семье, и риск, которому я повергалась». А агентство, организующее производство суррогатных детей, посчитало нужным заявить: «Мы не сдаем матки на прокат». Тем временем, пока специалисты по этике и теологи ведут

диспуты, цена на услуги суррогатной матери поднялась уже почти до двадцати пяти тысяч долларов (Scott 1984).

Разумеется, это создает прецедент для товаризации физических атрибутов человека: запасы крови в американских больницах зависят почти исключительно от откровенно товарного рынка крови — в противоположность, например, большинству европейских стран, которые сознательно отказались от рыночного подхода (Cooper and Culyer 1968). В настоящее время достижения в пересадке органов и их недостаточный запас ставят тот же вопрос социальной политики, который в прошлом поднимался в связи с запасом крови: как оптимальным образом обеспечить поставки в достаточном количестве? Пока же кое-где появляются объявления о покупке донорских почек.

Дискуссии о том, как поступать с яйцеклетками, только начинаются. В культурном плане эта ситуация выглядит более запутанной, чем в случае со спермой, которая была товаризована некоторое время назад без особых споров. Потому ли это, что яйцеклетка считается ядром будущего человеческого существа? Или вследствие представления о том, что женщина ощущает материнское чувство по отношению к яйцеклетке как к потенциальному ребенку и не захочет продавать ее, в то время как мужчины не питают никаких отцовских чувств к своей сперме?⁴ (Во многих обществах зарождение жизни описывается как союз двух элементов; однако на Западе предпочитают научную метафору, которая говорит об оплодотворении яйцеклетки спермой, вследствие чего яйцеклетка выступает в роли гомункулуса, активированного к жизни.) Неизбежное появление рутинных процедур пересадки яйцеклетки и ее хранения в замороженном виде станет примером расширения тех возможностей, которые создаются технологиями обмена человеческих атрибутов, включая возможность нелегальной торговли ими. Вопрос в том, повысят ли эти новшества проницаемость границы между миром вещей и миром людей, или же эта граница изменит свое положение в соответствии с новыми представлениями, оставаясь при этом такой же жесткой, как прежде?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: РАЗНОВИДНОСТИ БИОГРАФИЙ

Хотя уникальная вещь и товар являются противоположностями, ни один предмет еще не достиг предела абсолютной товаризации в разделяющем их континууме. Идеальных товаров не существует.

⁴ Выражаю благодарность Мюриэл Белл за это предположение.

С другой стороны, функция обмена в любой экономике, похоже, обладает внутренней силой, которая подталкивает систему обмена к максимальной степени товаризации, какую только допускает технология обмена. Противоположными силами выступают культура и индивидуум с их тягой к выделению, классификации, сравнению и сакрализации. В результате культура, как и индивидуум, ведет борьбу на два фронта — один против товаризации, повышающей однородность меновых стоимостей, второй против абсолютной уникализации вещей, каковая присуща им от природы.

В малых некоммерциализованных обществах тяга к товаризации обычно сдерживается неадекватными технологиями обмена, а именно отсутствием вполне развитой денежной системы. Эта ситуация позволяет производить культурную категоризацию меновой стоимости вещей, обычно принимающую форму замкнутых сфер обмена, и удовлетворяет индивидуальную когнитивную потребность в классификации. Таким образом, коллективная культурная классификация ограничивает ту чрезмерность, которая свойственна чисто личным классификациям.

В обширных, коммерциализованных и монетизированных обществах наличие изощренных технологий обмена раскрывает перед экономикой возможность беспредельной товаризации. Во всех современных индустриальных обществах, вне зависимости от их идеологии, товаризация и монетизация стремятся вторгнуться почти во все сферы существования — либо открыто, либо через черный рынок. Помимо того новые достижения технологии (например, в медицине) делают возможным обмен в ранее закрытых сферах, и в этих областях, как правило, происходит стремительная товаризация. Сопутствующее ей выравнивание стоимостей и неспособность коллективной культуры в современном обществе противостоять этому сглаживанию, с одной стороны, шокирует индивидуума, но с другой — оставляет достаточно места для всевозможнейших классификаций, производящихся как индивидуумами, так и малыми группами. Однако эти классификации сохраняют частный характер и, если только создавшие их группы не обладают культурной гегемонией, не получают массовой поддержки.

Таким образом, в экономике сложного и сильно монетизированного общества налицо двусторонняя система оценки: с одной стороны находится однородная область товаров, а с другой — крайне пестрая область личных оценок. Все еще сильнее запутывается вследствие того, что личные оценки постоянно ссылаются на единственную сколько-нибудь надежную публичную оценку — а та принадлежит именно к товарной сфере. Нам никуда не деться от того факта, что если пред-

мет имеет цену, то мерой его стоимости становится текущая рыночная цена. В итоге мы наблюдаем сложное переплетение сферы товарного обмена с бесчисленными личными классификациями, ведущее к аномалиям, противоречиям и конфликтам, происходящим как в сознании индивидуумов, так и при взаимодействии индивидуумов и групп. Напротив, структура экономик в небольших обществах прошлых эпох влекла за собой относительную согласованность экономических, культурных и личных оценок. Эти отличия ведут к весьма существенным различиям в биографических профилях вещей.

Здесь требуется сделать оговорку. В то время как в предшествующей дискуссии я упирал на разительный контраст между двумя идеальными, диаметрально противоположными типами экономики, наиболее интересные для изучения эмпирические случаи, которые в конечном счете дадут максимум теоретической отдачи, находятся посередине между крайностями. Именно благодаря подобным примерам мы выясняем, как взаимодействуют силы товаризации и уникализации — это процесс гораздо более запутанный, чем можно судить по нашей идеальной модели, — как можно нарушать правила, перемещаясь между сферами, которые считаются полностью изолированными друг от друга, как можно конвертировать формально неконвертируемое, как и с чьего попустительства маскируются эти действия, и, что не менее существенно, каким образом в ходе развития общества эти сферы перестраиваются, обмениваясь входящими в их состав предметами. Не меньший интерес представляют и случаи взаимодействия различных систем товаризации, принадлежащих разным обществам. Например, Куртен (Curtin 1984) показывает значение торговых диаспор для истории всемирной торговли: торговцы из числа этих диаспор, образуя четкую *квазикультурную* группу, создают каналы для перемещения товаров между невзаимодействующими обществами. Польза подобных торговых групп, выступающих в роли посредников между различными системами обмена, очевидна. Смягчая непосредственный контакт со всемирной торговлей, это посредничество позволяет соответствующим обществам избежать шока, которым стал бы непосредственный вызов их представлениям о товаризации, и оберегает их причудливые системы обмена в уюте культурной местечковости. Возможно, таким образом можно объяснить поразительную историческую жизнеспособность местных экономических систем, оказавшихся в самой гуще всемирных торговых сетей. Кроме того, мы получаем возможное объяснение давней загадки в экономической антропологии, а именно ограниченного распространения, вплоть до XX века, «универсальной» валюты, намного более ограниченного,

чем предполагалось согласно диффузионной теории или банальному утилитаризму. Но после всего вышесказанного вернемся все же к разительному контрасту между «сложными, коммерциализованными» и «малыми» обществами, на рассмотрении которого построена вся данная статья.

Можно провести аналогию между тем, как общества создают индивидуумов, и тем, как они создают вещи. В малых обществах социальная идентичность личности относительно стабильна, и ее изменения обычно обусловлены скорее правилами культуры, нежели особенностями биографии. Драма биографии простого человека связана с тем, что происходит с его заданным статусом. Она состоит из конфликтов между эгоистичным «я» и недвусмысленными требованиями данной социальной идентичности или конфликтов, порожденных взаимодействием между акторами, имеющими определенные роли в рамках четко структурированной социальной системы. Какое-либо разнообразие в биографиях носит плутовской характер. В то же время индивидуум, не вписывающийся в заданную нишу, либо уникализируется, получая особую идентичность — священную или опасную, а чаще ту и другую одновременно, — либо просто изгоняется. Вещи в таких малых обществах имеют аналогичную судьбу. Их статус в четко структурированной системе меновых стоимостей и сфер обмена недвусмысленен. Если биография вещи полна событий, то по большей части это события, происходившие в данной сфере. Любая вещь, не соответствующая четким категориям, считается аномалией и изымается из обычного обращения, подвергаясь либо сакрализации, либо изоляции, либо выкидывается. При взгляде на биографию как людей, так и вещей в этих обществах в первую очередь бросается в глаза значение социальной системы и тех коллективных представлений, на которых она основана.

Напротив, в сложных обществах социальные идентичности личности не только многочисленны, но и нередко конфликтуют друг с другом, поскольку не существует четкой иерархии лояльностей, возвышающей какую-либо одну идентичность над остальными. Здесь драма личной биографии все в большей степени становится драмой идентичностей — их столкновений и невозможности выбора между ними при отсутствии сигналов со стороны культуры и общества в целом, позволяющих сделать выбор. Короче говоря, в основе драмы лежит неопределенность идентичности — тема, все сильнее доминирующая в современной западной литературе, затмевающая собой прежние драмы социальной структуры (даже в случае неизбежных структурных конфликтов, описываемых в «женской» литературе и в произведениях «меньшинств»). Биография вещей в сложных обществах сле-

дует аналогичному образцу. В однородном мире товаров различные перипетии в биографии предмета представляют собой случаи его уникализации, классификации и реклассификации в мире смутных категорий, значение которых изменяется с каждым небольшим изменением контекста. Как и в случае личности, драма заключается в неопределенности оценки и идентичности.

Все это говорит о необходимости внесения поправок в фундаментальную идею Дюркгейма о том, что общество упорядочивает мир вещей по образцу той структуры, которая определяет социальный мир людей. К этому я бы добавил, что общество вносит ограничения в оба эти мира одновременно и одним и тем же образом, конструируя предметы одновременно с конструированием людей.

Перевод с английского Николая Эдельмана

ЛИТЕРАТУРА

- Bohannon, Paul. (1959). The Impact of Money on an African Subsistence Economy. *Journal of Economic History* 19:491–503.
- Braudel, Fernand. (1983). *The Roots of Modern Capitalism*. New York.
- Cooper, Michael H., and Anthony J. Culyer. (1968). *The Price of Blood: An Economic Study of the Charitable and Commercial Principles*. London.
- Curtin, Philip D. (1984). *Cross-Cultural Trade in World History*. Cambridge.
- Davis, David Brion. (1966). *The Problem of Slavery in Western Culture*. Ithaca, N. Y.
1975. *The Problem of Slavery in the Age of Revolution: 1770–1823*. Ithaca, N. Y.
- Douglas, Mary, and Baron Isherwood. (1980). *The World of Goods: Towards an Anthropology of Consumption*. London.
- Dumont, Louis. (1972). *Homo Hierarchicus*. London.
- Durkheim, Emile and Marcel Mauss. (1963). *Primitive Classification*. Trans. Rodney Needham. London. (Первое французское издание 1903).
- Durkheim, Emile. (1915). *The Elementary Forms of Religious Life*. London. (Первое французское издание 1912).
- Ekeh, Peter P. (1974). *Social Exchange Theory*. London.
- Homans, George. (1961). *Social Behavior: Its Elementary Forms*. New York.
- Kapferer, Bruce, Ed. (1976). *Transactions and Meaning*. Philadelphia.
- Kopytoff, Igor, and Suzanne Miers. (1977). African «slavery» as an institution of marginality. In S. Miers and I. Kopytoff, eds., *Slavery in Africa: Historical and Anthropological Perspectives*, 3–81. Madison, Wis.
- Kopytoff, Igor. (1982). Slavery. *Annual Review of Anthropology*, 11:207–30.
- Kroeber, A. L. (1925). The Yurok. *Handbook of the Indians of California*. (Bureau of American Ethnology Bulletin 78).

- Langness, L. L. (1965). *The Life History in Anthropological Science*. New York.
- Meillasoux, C. (1975). Introduction. In Meillasoux, ed., *Lesclavage an Afrique précoloniale*. Paris.
- Miura, Domyo. (1984). *The Forgotten Child*. Trans. Jim Cuthbert. Henley-on-Thames.
- Patterson, Orlando. (1982). *Slavery and Social Death: A Comparative Study*. Cambridge, Mass.
- Pospisil, Leopold. (1963). *Kapauku Papuan Economy*. (Yale Publications in Anthropology No. 61). New Haven, Conn.
- Rivers, W. H. R. (1910). The Genealogical Method Anthropological Inquiry. *Sociological Review* 3:1–12.
- Scott, Sarah. (1984). The Baby Business. *The Gazette*, B-1, 4. Monthreal, April 24.
- Thompson, Michael. (1979). *Rubbish Theory: The Creation and Destruction of Value*. New York.
- Vaughan, James H. (1977). Mafakur: A limbic institution of the Marghi (Nigeria). In S. Miers and I. Kopytoff, eds., *Slavery in Africa: Historical and Anthropological Perspectives*, 85–102. Madison, Wis.

ЧАСТЬ II

СОЦИОЛОГИЯ ВЕЩЕЙ

БРЮНО ЛАТУР

ОБ ИНТЕРОБЪЕКТИВНОСТИ¹

Эта статья появилась благодаря моему долговому сотрудничеству с Ширли Страм и Мишелем Каллоном. Ш. Страм я обязан социобиологическими сюжетами, М. Каллону – акторами и сетями, упомянутыми здесь чуть ли не на каждой странице. Я также признателен Джеффу Боукеру за его усилия, направленные на то, чтобы сделать мою социальную теорию более понятной.

Открытие социальной комплексности обществ приматов, отличных от *homo sapiens*, хотя и было сделано почти двадцать лет тому назад, по-видимому, еще не до конца принято во внимание социальной теорией (De Waal, 1982; Kummer, 1993; Strum, 1987). Главное место заняли страстные доводы за или против социобиологии, словно была необходимость в защите социального от опасности его чрезмерной редукции к биологическому. На самом деле развитие социобиологии, как и этологии, идет в совершенно ином направлении, предполагающем распространение на животных – даже на гены – классических вопросов политической философии. Это вопросы определения социального актора, возможности рационального расчета, существования или несуществования социальной структуры, превосходящей простые взаимодействия, самого определения взаимодействия, понимания социальной жизни, роли власти и отношений господства. Вовсе не будучи отстраненной от всех этих вопросов якобы торжествующей биоло-

¹ Впервые статья Брюно Латура «On interobjectivity» была опубликована в журнале «Mind, Culture, and Activity» в 1996 (Vol. 3. № 4). Более краткая версия этой статьи ранее вышла по-французски: Latour, B. (1994) «Une sociologie sans objet? Note théorique sur l'interobjectivité» in *Sociologie du travail*, Vol. 36. No. 4. P. 587–607. Публикуется с разрешения автора. Мы искренне признательны профессору Латуру за комментарии и помощь при переводе некоторых терминов – *Прим. ред.*

гией, социологическая теория должна сказать свое слово и по-новому подойти к проблеме определения общества, охватив в сравнительной перспективе отличную от человеческой социальную жизнь.²

Говорить, что приматы (отличные от людей) обладают богатой социальной жизнью, значит просто утверждать, что ни один примат не может достичь какой-либо цели, не пройдя через серию взаимодействий с другими партнерами. Вместо описаний досоциальных существ, движимых исключительно инстинктами, реакциями, аппетитами и поиском непосредственного удовлетворения своих потребностей — голода, воспроизводства, власти, — новая социология обезьян, приводит описания акторов, которые не могут достичь ничего из этого без обстоятельных переговоров с другими.³ Простейший пример — шимпанзе, который обнаруживает богатый источник пищи, но не осмеливается продолжить ее поглощение, как только оказывается в одиночестве, позади ушедшей вперед стаи. Или возьмем самца бабуина, который не может спариться с распаленной самкой, не будучи уверенным в том, что она «пойдет ему навстречу» — речь идет о договоренности, которая должна быть достигнута в самом начале их дружбы, когда у нее еще нет течки. Поскольку в каждое действие актора вмешиваются другие и поскольку достижение собственных целей опосредовано постоянными переговорами, можно говорить об этом с точки зрения комплексности, то есть с точки зрения необходимости одновременного принятия в расчет множества переменных. В описаниях приматологов состояние социального возбуждения, постоянное внимание к действиям других, старательное поддержание общения, макиавеллизм и стресс свидетельствуют о присутствии комплексной социальной в «естественном состоянии».⁴ Или, по крайней мере, такова упрощенная и отчасти мифическая версия, которая может быть использована в качестве основы для обновления социальной теории.

Социальные насекомые всегда служили средством для «калибровки» моделей в социологии людей. Эти модели описывали — по крайней мере, до появления социобиологии — типичные случаи «сверхорганизмов», исключая саму возможность постановки вопросов об индивидуе, взаимодействии, расчете и переговорах.⁵ Влияние социологии

² Первую попытку см.: (Latour and Strum, 1986).

³ См. множество описаний «фрагментированных» взаимодействий в: (Strum, 1987), (Cheney and Seyfarth, 1990).

⁴ Проявления макиавеллистской проницательности см.: (Byrne and Whiten, 1988).

⁵ Например, сравнение работы Уилсона (Wilson, 1971), в которой он использует понятие сверхорганизма, и его же работы (Wilson, 1975), где он отказывается

приматов полностью противоположно. Она отказывается считать социальную структуру сверхорганизмом и мыслит только в терминах цепочки взаимодействий. Мы находим в естественном состоянии степень социальной комплексности, которая более или менее соответствует формам социальной жизни, описанным интеракционизмом. Но у приматов нет языка и почти нет технических приспособлений⁶ — кажется, что у них нет даже представлений о самости и о моделях другого⁷, так что для понимания этой комплексности развитые когнитивные способности не требуются. Обнаружив в «естественном состоянии» такой высокий уровень социальности, человеческая социология чувствует себя свободной от обязательства искать социальное — вопреки давней традиции в политической философии и теориям общественного договора. Комплексное социальное взаимодействие существовало до появления человека, причем задолго.

В социологической литературе описание социального взаимодействия предполагает наличие нескольких основополагающих составляющих. Должны существовать по крайней мере два актора; эти два актора должны физически присутствовать в одном пространстве и времени; они должны быть связаны действиями, которые влекут за собой акт коммуникации; и, наконец, поведение каждого должно вытекать из изменений, внесенных поведением другого, в результате чего появляются неожиданные свойства, которые превосходят сумму исходных данных, имевшихся в распоряжении у этих акторов до взаимодействия.⁸ В этом смысле, социология обезьян становится предельным случаем интеракционизма, так как все акторы присутствуют в одном пространстве и времени и участвуют во взаимодействиях лицом-к-лицу — взаимодействиях, динамика которых неразрывно связана с реакциями взаимодействующих. Это рай для интеракционизма; это рай и в другом отношении, поскольку вопрос о социаль-

от употребления этого термина, хорошо иллюстрирует произошедший поворот в социобиологии; налицо обращение к понятию индивидуального действия для объяснения композиции групп муравьев или биологических телец. Уподобление тела рынку может шокировать, но оно полезно уже тем, что позволяет обойтись без метафор социального тела, которые широко использовались со времен римской басни о частях тела, взбунтовавшихся против живота.

⁶ По крайней мере у бабуинов; в случае с шимпанзе ситуация сложнее — см.: (McGrew, 1992).

⁷ См. об этом: (Cheney and Seyfarth, 1990); (Denett, 1987: 237).

⁸ Таковы описания взаимодействий по крайней мере со времен Ирвинга Гофмана (Гофман, 2000).

ном порядке, по-видимому, не может быть применен к обезьянам в ином виде, нежели в терминах композиции диадических взаимодействий без каких-либо эффектов тотализации или упорядочивания. Несмотря на существование комплексных взаимодействий, по-видимому, вряд ли можно говорить о том, что обезьяны живут в обществе или что их действия вписаны в социальную структуру.⁹ Вопрос о точной роли взаимодействий и их способности составлять в своей совокупности общество поставлен уже на уровне приматов — и, возможно, только на этом уровне.

Сомнения приматологов насчет существования или несуществования социальной структуры за пределами этих взаимодействий, видимо, разделили бы и сами обезьяны, будь они наделены минимальной рефлексивностью, необходимой для того, чтобы стать компетентным членом сообщества, а не «культурным идиотом», по выражению Гарфинкеля. Приматы должны провести серию проб, чтобы удостовериться в устойчивости эффектов коллективных действий, и это справедливо в отношении всех поведенческих паттернов, предполагающих определенную тотализацию. Решение о том, в каком направлении должна следовать стая, например, предполагает оценку действий всех всеми, независимо от исходного положения — порядок, который не дан ни одному члену сообщества и на который ни один член сообщества не может притязать как на свой собственный. То же касается и отношений господства, которые должны проверяться с течением времени, и отношений членства, которые подлежат «ремонту» после каждого, даже краткого, отделения. Поскольку результаты образования социального зависят от работы, проделываемой индивидуальными акторами, — работы, которая каждый раз повторяется заново, — можно сделать вывод о том, что социальная жизнь обезьян представляет собой рай для этнометодологии.¹⁰ Социальное конструирование в буквальном смысле зависит только от усилий самих акторов, направленных на соединение различных вещей, и во многом обусловлено их собственными категориями. Каждое действие опосредовано действием партнеров, но для такого опосредования необходимо, чтобы каждый актор участвовал в конструировании «связующей общности» — изменчивой тотальности, которая каждый раз должна заново проверяться на прочность и каждый раз при помощи новых испытаний¹¹.

⁹ Об этом спорном вопросе см.: (Strum and Latour, 1987).

¹⁰ Например, в тепер уже классическом изложении: (Heritage, 1984).

¹¹ Здесь автор активно пользуется языком этнометодологии: «пробы», осуществляемые «компетентными членами» сообщества, создающими и «ремонтирую-

До появления серьезной социологии обезьян социологическая наука занималась социальной жизнью людей или использовала социальных насекомых — и даже полипов — для демонстрации универсальности форм объединения и вездесущности сверхорганизмов.¹² Но теперь можно опереться на цепь комплексных индивидуальных взаимодействий, предшествующих социологии людей. В этих взаимодействиях акторы должны постоянно конструировать и обслуживать коллективные структуры, которые возникают из их взаимодействий. Общество не начинается, как у Гоббса, с уже готовых человеческих тел, с расчетливых, способных к калькуляциям, умов, с других индивидов, приходящих к соглашению благодаря мифологии общественного договора. Насколько можно понять при помощи такой «проверки на приматах» историй о нашем происхождении, очеловечивание наших тел и душ, напротив, определялось тонкой тканью комплексных социальных взаимодействий, матрица которых существовала за несколько миллионов лет до нас. Слово-гибрид «социобиология» меняет свое привычное значение на полностью противоположное, если принять во внимание, что человеческая жизнь была погружена в социальный мир на протяжении столь долгого времени. Мы становились все более человечными — физически и интеллектуально — по мере приспособления к нашей изначальной окружающей среде, образуемой комплексной социальностью.¹³

Позволяя находить комплексную социальность, взаимодействия, индивидов и социальные конструкции в самой природе, социология обезьян избавляет нас от необходимости заниматься рассмотрением этих вопросов исключительно в области социологии людей. Комплексная социальная жизнь становится общим свойством всех приматов. Точно так же, как бабуины и шимпанзе, мы участвуем в ней — сами того не осознавая — каждым своим действием. И все же мы не бабуины и не шимпанзе. И если комплексность нашей социальной жизни больше не может служить удовлетворительным объяс-

щими» социальный порядок *in situ*, посредством рутинных «рабочих операций» и собственных «категорий» — такова картина социальной жизни в теории Гарольда Гарфинкеля. См.: Garfinkel, H. (1967) *Studies in Ethnomethodology*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall — Прим. ред.

¹² Поразительные органицистские или, скорее, социобиологические метафоры см.: (Дюркгейм, 1991).

¹³ В этом и состоит значение «макиавеллистской проничательности», то есть проничательности, возникшей в результате вторичной адаптации к сложным условиям социальной жизни; см.: (Byrne and Whiten, 1988).

нением данного отличия, нам необходимо найти другое основание. Для этого нужно понять, что представление об индивидуальных человеческих акторах, участвующих во взаимодействиях (интеракционистское описание), или описание конструирования социального при помощи неких категорий, которые должны постоянно проверяться на прочность (этнометодологическая версия), не позволяют объяснить большинство человеческих ситуаций, хотя и составляют общее основание наших знаний.

Если у обезьян социальная жизнь конструируется пошаговым взаимодействием, то у людей оно всегда было остаточной категорией. Не потому что (как утверждают сторонники существования социальной структуры) взаимодействие «происходит» в обществе, намного превосходящем его, а просто потому, что для совершения взаимодействия сначала нужно произвести определенную редукцию, фрагментировать социальные отношения так, чтобы они не «тянули за собой» шаг за шагом всю социальную жизнь (в конечном итоге совпадая с ней). Только благодаря существованию «фреймов», агенты могут вступать во взаимодействие лицом-к-лицу, оставляя «снаружи» историю своих жизней, а заодно и всех остальных взаимодействующих.¹⁴ Само существование взаимодействия предполагает редукцию, декомпозицию (partitioning). Как теперь объяснить существование этих фреймов, перегородок, укрытий и ширм, свободных от инфекции социального? Интеракционисты ничего не говорят об этом, используя слово «фрейм» в метафорическом смысле. Сторонники социальной структуры — обычные противники интеракционистов — не в состоянии предложить лучшее объяснение, так как они повсюду видят тотальное и абсолютное присутствие социальной структуры. Нам же необходимо понять эту «приостановку непрерывности», эту декомпозицию, этот закуток, в котором может разворачиваться взаимодействие, не сталкиваясь ни с чем другим. Противники интеракционизма часто упрекают его в неспособности объяснить композицию социального целого, однако сила взаимодействия состоит именно в возможности локальной и моментальной приостановки «внешнего» вмешательства.

¹⁴ О понятии фрейма, используемом в качестве метафоры социального фокусирования, хотя оно берется здесь также и в своем буквальном значении (т. е., в значении «каркас», «рамка», «материальное сооружение» — *Прим. ред.*), см.: (Гофман, 2004).

НЕБОЛЬШОЕ *je ne sais quoi*¹⁵, КОТОРОЕ ДИСЛОЦИРУЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Что-то препятствует одновременно распространению человеческого взаимодействия «вовне» и вмешательству в него «извне». Является ли эта двусторонняя мембрана нематериальной, наподобие фрейма (понимаемого метафорически), или материальной, вроде перегородки, стены или строения (взятых здесь в своем буквальном смысле)? Для начала рассмотрим стаю из примерно ста бабуинов, живущих посреди саванны, постоянно следящих друг за другом, чтобы знать, куда идет стая, кто за кем ухаживает, кто на кого нападает и кто от кого защищается. Затем нужно перенестись в воображении к излюбленной сцене интеракционистов, где несколько человек — чаще всего двое — взаимодействуют в уединенных местах, скрытых от взглядов других. Если «ад — это другие», по выражению Сартра, то бабуинский ад отличается от человеческого: постоянное присутствие других оказывает воздействие, совершенно отличное от того, которое описывает «интеракционизм за закрытыми дверьми». Здесь необходимо провести различие между двумя принципиально различными значениями слова «взаимодействие». Первое, как уже было показано выше, относится ко всем приматам, включая людей, тогда как второе относится только к людям. Чтобы сохранить привычный термин, следует говорить о *фреймированных взаимодействиях*. Единственное различие между ними связано с существованием стены, перегородки, оператора редукции, *je ne sais quoi*, чье происхождение пока остается неясным.

Существует еще одно отличие между взаимодействием обезьян и тем, что наблюдается в человеческих интеракциях. В последних очень сложно достичь одновременности в пространстве и времени, характерных для первого. Мы говорим, не придавая этому большого значения, что вовлечены во взаимодействие «лицом-к-лицу». Действительно, вовлечены. Но одежда, которую мы носим, привезена из другого места и произведена довольно давно; произносимые нами слова не придуманы специально для этого случая, стены, в которых мы находимся, были спроектированы архитектором для клиента и сооружены рабочими — людьми, которые здесь сейчас отсутствуют, хотя их действия вполне ощутимы. Сам человек, к которому мы обращаемся — продукт истории, выходящей далеко за пределы «фреймов» наших с ним отношений. Если вы попытаетесь нарисовать пространственно-временную карту всего, что присутствует во взаимодействии, и набро-

¹⁵ «je ne sais quoi» (*фр.*) — не знаю, что еще...

сать список всех, кто так или иначе в нем участвует, вряд ли вы получите хорошо различимый фрейм; скорее — спиралевидную сеть с множеством самых различных дат, мест и людей.¹⁶ Апологеты социальных структур часто предлагают сходную критику интеракционистов, но извлекают из нее совершенно иной урок. Во взаимодействиях, утверждают они, не происходит ничего такого, что не было бы активацией или материализацией некоей структуры, присутствующей где-то в другом месте. Однако взаимодействие не ограничивается простой «настройкой», а предполагает конструирование — нам известно об этом от обезьян, равно как от Гофмана и этнометодологов. Взаимодействие выражается в противоречивых формах: оно представляет собой систему фреймов (которая ограничивает интеракцию) и сеть (которая распределяет одновременность, близость и «персональность» взаимодействий)¹⁷. Откуда берутся такие противоречивые свойства человеческого взаимодействия и почему они так отличаются от взаимодействия в понимании приматологов, которое относится к нагим и сопresentствующим обезьянам?

Невозможно ответить на этот вопрос до тех пор, пока взаимодействие противопоставляется чему-то еще — например, социальной структуре, понимаемой глобально, в противовес якобы локальному взаимодействию. К бабуинам такое противопоставление неприменимо, поскольку за пределами немногочисленных диадических интеракций обезьяны, как и приматологи, теряют следы взаимодействия и начинают описывать оставшееся при помощи размытых терминов вроде «стаи», «клана» или «группы». Можно вполне обоснованно утверждать, что для бабуинов социальная жизнь целиком состоит из индивидуальных взаимодействий, образующих непрерывную цепочку, наподобие последовательных сегментов механической солидарности.¹⁸ Довольно любопытно, что когда приматологи делают следующий шаг и обращаются к структуре, статусу, слою, семье и касте, они всегда делают это после проведения своих инструментализированных

¹⁶ О дислокации взаимодействия в попытке описать его точную сеть см.: (Law, 1992); (Law, 1993).

¹⁷ В данной части своего анализа Латур еще раз обращается к концептуальному аппарату теории фреймов Ирвинга Гофмана. У Гофмана «framework» — это «фрейм фреймов» или «система фреймов», т. е. некоторый *класс* форматов интеракции, определяющих ее протекание «здесь и сейчас». Латур дополняет гофмановское понятие «framework» концептом «network», указывающим на сетевую распределенность взаимодействия — *Прим. ред.*

¹⁸ В классическом определении, предложенном Дюркгеймом.

наблюдений. Что позволяет им избегать крайнего интеракционизма при помощи множества наблюдений и построения — на компьютерах — большого числа статистических корреляций.¹⁹ Делая это, они приближаются к человеческому состоянию, но, несомненно, отдаляются от изучаемого образа взаимодействия обезьян, которые ухитряются координировать свои действия, не пользуясь подобными инструментами, результатами наблюдений, маркерами и калькуляторами.

Случай научной работы самих приматологов весьма показателен. Чтобы перейти от взаимодействий к их сумме, необходим некий инструмент, механизм, позволяющий суммировать и подводить итоги. Те, кто верит в социальные структуры, всегда предполагают наличие этого существа *sui generis* — общества — которое «проявляется» через взаимодействия. Теперь единственным имеющимся доказательством его существования служит невозможность какого-либо взаимодействия лицом-к-лицу без немедленной актуализации отношений с другими акторами, из других мест и другого времени. Только слабость взаимодействия лицом-к-лицу вынуждает изобретать эту конструкцию — всегда-уже-присутствующую структуру. Из того факта, что взаимодействие представляет собой неконсистентный гибрид локальной системы фреймов и сети гетерогенных отношений, не вытекает требование оставить твердую почву взаимодействий и перейти к «более высокому уровню» общества. Даже если бы эти два уровня действительно существовали, между ними отсутствовало бы слишком много ступеней. Возьмем пример с отношениями господства среди самцов бабуинов, который довольно ясно обнаруживает здесь изъяны в аргументации. Имеется множество примеров проявления агрессии между самцами для установления того, кто из них самый сильный. Но при всем желании построить шкалу от самого сильного к самому слабому сделать это невозможно, если только не ограничить наблюдения несколькими днями!²⁰ Но что значит иметь иерархию, которая меняется каждый день? Как можно утверждать, что бабуин «вступил на» или

¹⁹ Немногие приматологи согласятся с таким описанием своей работы, поскольку большинство из них не применяют к самим себе ту же социологическую теорию, что и к своим излюбленным предметам. В их описании отсутствует работа научного конструирования. Она становится зримой только после принятия определенных выводов социологии науки. Для общего ознакомления см.: (Latour, 1987). О преимуществах рефлексивной социологии при рассмотрении отношений господства см.: (Strum, 1987).

²⁰ См.: (Strum, 1982). Невозможно просчитать устойчивые отношения господства среди бабуинов, за исключением самок, чьи отношения могут длиться десяти-

«поднялся по» шкале господства, если сама шкала требует пересмотра каждые три дня? Вероятно, это значит, что социология слишком быстро переходит от взаимодействия к структуре — как в случае с бабуинами, так и в случае с людьми. Каждая обезьяна сама ставит вопрос о том, кто сильнее или слабее ее, и проводит проверку, которая позволяет ответить на этот вопрос. Но, подобно прилежным этнометодологам, ни одна из них не использует для этого представления о статусе или иерархии. Конечно, приматологи справляются с этим, но лишь при помощи многочисленных вычислений, инструментов и графиков. Следует ли нам забывать о наличии такого оснащения у приматологов и его отсутствии у бабуинов?

Во всех социологических теориях существует разрыв между (фреймированным) взаимодействием индивидуальных нагих тел и структурными эффектами, которые оказывают на них влияние в духе никем не избранной трансцендентной судьбы. Вопрос, на который должен ответить каждый теоретик, заключается в том, какой социальный оператор лучше всего преодолевает этот разрыв. Идет ли речь о событиях, вызванных самим взаимодействием, но выходящих за рамки предвидения акторов?²¹ Может ли разрыв быть преодолен непреднамеренными изменениями, вызванными искаженными последствиями, которые проистекают из всегда ограниченной рациональности?²² Или необходим феномен самотрансценденции, ведущий к появлению коллективных феноменов точно так же, как порядок возникает из хаоса?²³ Или нам нужно заключить договор, сводящий множество рассеянных действий к одному тоталитарному действию суверена, который не воплощен ни в ком конкретном?²⁴ Или, напротив, если разрыв невозможно преодолеть, нам следует принять идею существа *sui generis*, которое всегда присутствует и которое объемлет взаимодействия, подобно множеству специализированных клеток в организме?²⁵ Следует ли нам настаивать на существовании между этими двумя край-

летиями. Общее обсуждение см.: (Fedigan, 1982). Об идеологической обстановке, в которой велись такие дебаты, см.: (Hagaway, 1989).

²¹ Такова претензия интеракционизма Гофмана (Гофман, 2000) и символического интеракционизма вообще.

²² Об этом говорит методологический индивидуализм, наиболее крайнее проявление которого см.: (Boudon, 1992).

²³ См.: (Dupuy, 1992). В этой работе, как в большинстве социобиологических работ, самоорганизация используется в качестве основной биологической метафоры.

²⁴ Как во влиятельной метафоре общественного у Гоббса: (Гоббс, 2001).

²⁵ См.: (Дюркгейм, 1991).

ностями ряда посредников, вроде социального «поля» или «габитуса» и включения в структуру посредством индивидуального действия того, что было изъято из нее?²⁶ Существует не так уж много ответов на эти вопросы — даже если они вносят что-то новое, перестраивая несколько имеющихся моделей в новые сочетания.²⁷ Во всяком случае, эти теории заранее предполагают существование проблемы, которую они пытаются решить: наличие зияющей пропасти, разделяющей агента и структуру, индивида и общество. Если же мы утверждаем, что такой пропасти не существует, социологическая теория оказывается в довольно странном положении, пытаясь найти все более и более утонченное решение несуществующей проблемы.

Предлагая нашему вниманию рай для интеракционистов и этнометодологов, социология обезьян демонстрирует нам социальную жизнь, в которой взаимодействие и структура со-положены. Здесь нет никакого фреймированного взаимодействия, поскольку отношения не защищены от весьма частого вмешательства со стороны всех остальных. Но здесь нет и никакой структуры, поскольку каждое взаимодействие должно — локально, лишь за счет себя самого — вновь и вновь служить проверкой на прочность совокупности отношений. При этом взаимодействия не могут быть суммированы, обобщены, генерализованы, им не может быть атрибутирована роль или функция, существующая независимо от физических тел. Обезьяны показывают нам, каким могло бы быть социальное общество — то есть, общество, отвечающее требованиям социальной теории относительно перехода от индивидуального «уровня» к социальному посредством ряда операторов; при том, что сами эти операторы полагаются социальными. Однако из такой коллективной жизни невозможно извлечь ни (фреймированного) взаимодействия, ни общества, ни действующего лица, ни структуры. Единственное, что можно из этого вынести, — образ чрезвычайно плотно переплетенной, но все же пластичной и мягкой ткани, всегда остающейся гладкой. Как следствие — разрыв, который, согласно социологам, отделяет индивида от общества, не является некой первичной данностью. Если взять социаль-

²⁶ Это, конечно, решение Бурдьё (Бурдьё, 2001); (Bourdieu and Wacquant, 1992), которое позволяет ему критиковать оба типа социальной теории, используя габитус в качестве среднего диалектического оператора.

²⁷ Широкое многообразие этих позиций опускается здесь с тем, чтобы выявить общий подход аргументации, который требует сначала постановки «проблемы» социального порядка и индивидов. Классификацию этих моделей см.: (Latour and Strum, 1986).

ную жизнь обезьян за (частично мифическую) основу, эта пропасть останется невидимой. Чтобы обнаружить ее, нужно кое-что еще. Социальная жизнь, по крайней мере, в ее человеческой форме, должна зависеть от чего-то иного, нежели социальный мир.

Приматологам, суммирующим структурные эффекты, приходится инструментализировать свои наблюдения при помощи оборудования, которое играет необычайно важную роль в решении этой задачи. Для того чтобы фреймировать взаимодействие, нам необходимы перегородки и укромные места. Но чтобы проследить взаимодействие, нужно сделать набросок крайне гетерогенной сети, соединяющей различные времена, места и акторов, заставляющей нас постоянно выходить за рамки фиксированной системы фреймов. Таким образом, всякий раз, когда мы переходим от комплексной социальной жизни обезьян к нашей собственной социальной жизни, нас поражает множество действующих одновременно сил, размещающих сопричастие в социальных отношениях. Переходя от одного к другому, мы движемся не от простой социальности к комплексной, а от комплексной социальности — к сложной. Эти два прилагательных, хотя и имеют одинаковую этимологию²⁸, позволяют провести различие между двумя сравнительно разными формами социального существования. «Комплексное» означает одновременное наличие во всех взаимодействиях большого числа переменных, которые не могут рассматриваться дискретно. «Сложное» будет означать последовательное присутствие дискретных переменных, которые могут быть исследованы одна за другой и *сложены* друг в друга на манер черного ящика. «Сложное» точно так же отличается от комплексного, как и простое.²⁹ Коннотации этих двух слов позволяют нам бороться с предрассудками эволюционистов, которые всегда рисуют медленное движение вперед от обезьяны к человеку по шкале возрастающей комплексности. Мы же, напротив, спускаемся от обезьяны к человеку, от высокой комплексности к высокой сложности. Во всех отношениях наша социальная жизнь кажется менее комплексной, чем у бабуина, но почти всегда более сложной.

Фреймированное взаимодействие само по себе не является локальным, как будто индивидуальный актер — этот необходимый ин-

²⁸ Во французском, как и в английском, языке два этих прилагательных действительно имеют общее происхождение: «complexe» и «complice» (фр.), «complex» и «complicated» (англ.) — *Прим. ред.*

²⁹ Я вкратце излагаю здесь основную идею следующей работы: (Strum and Latour, 1987).

градиент социальной жизни, без которого невозможно сконструировать тотальность, — существовал всегда. Мы не находим такого актора среди обезьян (живущих, кстати, в раю или, скорее, в аду интеракционизма). У людей, с другой стороны, взаимодействие четко ограничено множеством перегородок, фреймов, ширм, противопожарных разрывов, которые позволяют перейти от комплексной ситуации к ситуации сложной. Когда я покупаю на почте марки и обращаюсь к кассиру через окошко, рядом со мной нет моей семьи, коллег или начальников, дышащих мне в затылок. И, слава богу, официант в этот момент не рассказывает мне историй о теще или зубах своей благоверной! Такое счастье недоступно бабуину. Любой другой бабуин может вмешаться в любое взаимодействие.

И наоборот, структура сама по себе не является глобальной — как если бы она существовала всегда в виде сущности *sui generis*, из тела которой постепенно высвобождался бы индивидуальный актор. Мы никогда не найдем среди обезьян (не располагающих преимуществами фреймированной интеракции) никакой социальной структуры: того, что, согласно социальной теории, должно упорядочивать взаимодействия. С другой стороны, у людей последовательные взаимодействия решительно глобализованы благодаря использованию совокупности инструментов, орудий, расчетов и программ-компиляторов. Это позволяет нам переходить от одних сложных и в конечном итоге изолированных отношений к другим сложным отношениям, связанным с ними.³⁰ Вечером сотрудница почты может составить отчет и подвести итоги, рассмотрев вкратце представляющие интерес элементы всех фреймированных взаимодействий, имевших место в каждом случае общения через кассовое окошко. Бабуины не способны составить подобных обзоров: им не хватает именно этих сводок, обобщений, следов. У них есть только свои тела для образования социального, только своя бдительность и активная работа памяти для «поддержания» отношений.

Поскольку в случае с обезьянами нет разницы между взаимодействием и обществом, не существует и (фреймированного) взаимодействия и структуры. В случае с людьми, кажется, будто пропасть отделяет индивидуальное действие от влияния трансцендентного обще-

³⁰ По этой теме, которая предполагает рассмотрение структурных эффектов как перформативных следствий практик письма и использования инструментов, взятых в широком смысле, см., конечно же: (Goody, 1977); о науке см.: (Latour and De Noblet, 1985); об учете см.: (Power, 1995); о государственной статистике см.: (Desrosières, 1993); (Porter, 1995).

ства. Но это не изначальное разделение, которое некая социальная теория может преодолеть и которое может служить радикальному отделению нас от других приматов. Это артефакт, результат забвения всех практических действий по локализации и глобализации. Ни индивидуальное действие, ни структуру невозможно помыслить без создания локального — посредством разделения, сосредоточения, редукции, направления в определенное русло — и без создания глобального — посредством инструментализации, компиляции, приращения и прерывания. В социологической теории невозможно ни к чему прийти, если изначально исходить из существования индивидуального действия или структуры. Но, что еще интереснее, попытка рассуждать здраво и действовать одновременно с двух противоположных полюсов актора и системы (чтобы затем разработать промежуточную формулу, примиряющую их обоих) тоже ни к чему не приводит.³¹ Сочетание двух этих артефактов может создать только третий, еще более неприятный. Чтобы воспользоваться основанием для сравнений, которое дают нам общества обезьян, следует исходить не из взаимодействия или структуры, и не из некоего промежуточного положения. Исходить следует из работы по локализации и глобализации, до настоящего времени не включавшейся в область социальной теории, которая пренебрежительно относилась к обезьянам. Исследование этой работы заставляет нас обратиться за помощью к элементам, на первый взгляд, не принадлежащим к социальному репертуару.

ДОЛЖНА ЛИ СОЦИОЛОГИЯ ОСТАВАТЬСЯ БЕЗ ОБЪЕКТА?

В отличие от социального взаимодействия обезьян, взаимодействие людей всегда кажется более дислоцированным. Нет ни одновременности, ни непрерывности, ни гомогенности. Взаимодействие людей не ограничивается их телами, которые соприкасаются в одном времени и пространстве, связанные взаимным вниманием и общей деятельностью; для понимания человеческого взаимодействия приходится обращаться к другим элементам, другому времени, другим местам и другим акторам. Конечно, у бабуинов некоторые отношения могут длиться десятилетиями и, следовательно, нуждаются в отсылке

³¹ В этом заключается недостаток всех диалектических решений, вроде «габитуса» у Бурдьё или недавней работы: (Friedberg, 1993). Диалектика всегда бессильна, поскольку она скрывает проблему, которая нуждается в разрешении, претендуя на ее «снятие» — и это выглядит еще более нелепо, когда она пытается «снимать» искусственные противоречия.

к прошлым событиям.³² Но последние предполагают прошлое присутствие тел, которые переносятся в нынешнюю ситуацию живой памятью или генетическим воплощением тех же самых тел. У бабуинов социальное всегда связано с социальным: отсюда нехватка продолжительности и серьезная работа, которая, несмотря ни на что, должна быть проделана, чтобы социальное не «рассыпалось». Человеческая социальная жизнь, напротив, кажется неравномерной, смещенной. Чтобы описать это качество, эту дислокацию, это постоянное обращение к другим элементам, которые отсутствуют в данных обстоятельствах, мы зачастую обращаемся к символам и коварному понятию символизма. Действительно, символы используются нами для ссылки на что-то, что в настоящий момент отсутствует. Предполагается, что через символы проявляет себя отсутствующая структура. Посредством этого люди отличают себя от обезьян — или, по крайней мере, таков общий ход мысли. Нередко говорят о необходимости различать социальные связи приматов и символические связи людей. Но у этой гипотезы нет прочной опоры в буквальном смысле слова: на что опираются символы? Если социальное не является достаточно прочным, чтобы сделать взаимодействия длительными, как свидетельствует пример обезьяньих обществ, — как это могут сделать знаки? Как один только разум может стабилизировать то, чего не могут стабилизировать тела?³³

Чтобы перейти от комплексной социальной жизни к сложной, нам необходимо принять во внимание делегирование, смещение, передислокацию, перенос во времени текущего взаимодействия, позволив ему найти временную опору в чем-то еще. В чем именно? В самом социальном? Да, отчасти, именно так поступают обезьяны. Переплетение взаимодействий, безусловно, предлагает им ту относительно прочную опору, от которой они могут отталкиваться. Могут ли они опираться на символы? Вероятность этого не слишком высока, так как они, в свою очередь, должны покоиться на чем-то ином, кроме памяти, сознания или просто мозга приматов. Символы не фундаментальны. Когда у них есть прочное основание, когда когнитивные способности достаточно инструментализированы и сильны, тогда, возможно, есть смысл придавать им такое значе-

³² См.: (Latour and Lemonnier, 1994).

³³ Этот аргумент подкрепляется недавним пересмотром оснований когнитивной антропологии Эдом Хатчинсом: его теория диссеминации репрезентационных состояний при помощи различных средств не требует символического определения символизма.

ние, но не раньше.³⁴ Почему бы не обратиться к чему-то еще — к тем бесчисленным объектам, которые отсутствуют у обезьян и повсеместно присутствуют у людей, локализируя или глобализируя взаимодействие? Как можно воспринимать кассу без окошка, стекла, двери, стенок, стула? Разве они, в буквальном смысле, не образуют фрейм взаимодействия? Как можно подводить ежедневный баланс офиса без формул, квитанций, счетов, бухгалтерских книг — и как можно упускать из виду прочность бумаги, долговечность чернил, нанесенные на клавиши буквы, практичность степлеров и громкие удары штемпеля? Разве не эти вещи делают возможной тотализацию? Не заблуждаются ли социологи, пытаясь сделать социальное из социального, подлатав его символическим, не замечая присутствия объектов в тех ситуациях, в которых они ищут лишь смысл? Почему социология у них остается безобъектной?

Всегда сложно обращаться к вещам, для того чтобы объяснить, с одной стороны, длительность, протяженность, основательность и структурность, а с другой — локализацию, редукцию и фреймирование взаимодействий. По сути, для гуманитарных наук вещи стали неосозаемыми тогда же, когда они стали «объективными» для точных. После произошедшего в эпоху модерна раскола между объективным миром и миром политического, вещи больше не служат товарищами, коллегами, партнерами, соучастниками или союзниками в поддержании социальной жизни.³⁵ Объекты могут выступать теперь только в трех качествах: как невидимые и надежные инструменты, как детерминирующая инфраструктура и как проекционный экран. Как инструменты, они точно передают социальную интенцию, которая про- низывает их, ничего не прибавляя и не отнимая. В роли элементов

³⁴ Человеческие общества не позволяют изучать когнитивные способности в «числом» виде, как не позволяют они изучать и первичную комплексную социальную жизнь. Невозможно заниматься исследованием интеллекта, не прибегая при этом за помощью к «интеллектуальным технологиям». Этому посвящены работы Дона Норманна (Norman, 1993), Эда Хатчинса (Hutchins, 1995), Джейн Лэйв (Lave, 1988) и социологов этой науки (см. прекрасный недавний пример: (Goodwin, 1995)).

³⁵ Я использую здесь аргументацию симметричной антропологии, изложенную в работе: (Латур, 2006). Ситуация быстро меняется с окончанием современности благодаря решительному наступлению социологии техники, с одной стороны, — см., напр.: (Bijker and Law, 1992) — и реобъективации экономики — с другой (см.: Appadurai, 1986; Thomas, 1991). Стремительно развивается и сравнительная антропология техники; о состоянии искусства см.: (Lemonnier, 1993).

инфраструктуры они образуют материальный фундамент, на котором затем надстраивается социальный мир знаков и репрезентаций. Как проекционные экраны, они могут лишь отражать социальный статус и служить основой для тонких игр различия. Например, в качестве инструмента, окошко кассира призвано предотвращать нападения клиентов на сотрудников и не имеет никакого дополнительного назначения; оно не оказывает определяющего влияния на взаимодействие, а только облегчает или затрудняет его. Как инфраструктура, окошко кассира неразрывно связано со стенами, перегородками и компьютерами, образуя материальный мир, полностью формирующий остальные отношения точно так же, как вафельница формирует вафлю. Как проекционный экран, то же окошко кассира лишается стекла, древесины, отверстия и всего остального — оно становится знаком, отличным от этих прозрачных панелей, барьеров, остекленного выступа, перегородок, тем самым сигнализируя о различиях в статусе или свидетельствуя о модернизации общественной службы. Раб, господин или субстрат знака — в каждом случае сами объекты остаются невидимыми, в каждом случае они асоциальны, маргинальны и неспособны участвовать в созидании общества.³⁶

Нужно ли нам создавать социальный мир из индивидуальных акторов или, напротив, следует начать с общества, которое всегда им предшествует? Нужно ли нам рассматривать объекты как детерминанты социального мира или, напротив, следует исходить из одних взаимодействий? Эти два вопроса сводятся к одному, который образует своеобразный крест: Структура — Взаимодействие (сверху вниз) и Объективное — Социальное (слева направо). Откуда тогда берется проблема актора и системы? Из необходимости выбора отправной точки либо в структуре, либо в индивидуальном действии, либо одновременно в обоих этих полюсах сразу. Но эти отправные точки вовсе не просты — мы знаем об этом от обезьян, — так как взаимодействие должно быть помещено во фрейм, а структура должна быть упорядочена, глобализирована. Отправная точка, если она вообще существует, должна лежать «посередине», в действии, которое локализирует и глобализирует, дислоцирует и рассеивает, — действию, без которого обезьяньи общества, по-видимому, могут обходиться. Однако чтобы определить этот локус, нам необходимо разделить социальное с вещами, что кажется совершенно невыполнимым — не из-за пропасти, отделяющей

³⁶ Споры в археологии о форме и назначении обычно отражают данное положение вещей. Краткое изложение аргументов и их недавнее развитие см.: (Latour and Lemonnier, 1994).

актора от системы, а из-за не менее глубокой пропасти, которая отделяет объективный мир от политического мира, точные науки от гуманитарных, природу от культуры. В результате этого разрыва объекты не могут вернуться в социальный мир, не изменив его «естественных» свойств.³⁷ И, наоборот, общество не может вторгнуться в естественные науки, не «коррумпировав» их.³⁸ Не трудно понять дилеммы социологии, если принять во внимание ту «двойную западню», в которой она оказалась. Именно из-за этой горизонтальной черты между объективным и политическим в социологии не остается места для вещей. И поэтому она оказывается вертикально разорванной между актором и системой. Забвение артефактов (в смысле вещей) означало создание другого артефакта (в смысле иллюзии): общество, которое должно поддерживаться только социальным. Тем не менее оператор, обменник, агитатор и аниматор, способный одновременно к локализации и глобализации, находится прямо в центре этого креста. Он может связывать свойства объектов со свойствами социального. Однако что это?

Слишком часто социология остается «без объекта». Подобно многим гуманитарным наукам, она конструировалась через противодействие привязанности к объектам, которые называет фетишами. Она всерьез отнеслась к давнему предостережению пророков насчет идолов, товаров и *objets d'art*: «есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят; есть у них уши, но не слышат». В соответствии с ним, неодушевленные тела мертвых статуй оживляет наша вера, социальная жизнь, которую мы проецируем на них. Эти фетиши сами по себе ничего не значат. Они служат просто проекционными экранами. Но на самом деле они привносят в общество нечто важное — объективацию. Подобно многим проекционным аппаратам, эти идолы полностью меняли смысл действия, оставляя у бедняков, которые отдавали им все, впечатление, что их сила проистекает из них одних и что именно эта сила делает людей бессильными, вызывая отчуждение. Гуманитарные науки на протяжении долгого времени пытались изменить такое положение. Посредством ретропроектора, симметричного первому, они показывают труд людей и их многократные

³⁷ Чтобы получить представление об ужасе, который такая позиция вызывает даже у проницательных социологов, см.: (Collins and Yearley, 1992).

³⁸ Такова классическая эпистемологическая позиция, которая была опровергнута исследованиями науки, но она заставляет людей верить, что исследования науки «антинаучны», так как они на самом деле избавляют науки от обязательства обосновывать моральный порядок.

усилия по вдыханию жизни в безжизненное тело фетиша.³⁹ Этика социологов требует от них антифетишизации. И понятно, почему возвращение объектов, рассуждения о значении вещей, рассмотрение неодушевленных предметов в качестве реальных социальных сил кажется им ошибкой: ошибкой возврата к объективизму, натурализму или вере. Однако мы не можем вновь ввести объекты, не изменив этики социальных наук и не приняв определенной дозы фетишизма.⁴⁰ Объекты выполняют определенную работу, а не просто являются экранами или ретропроекторами нашей социальной жизни. Их задача состоит не только в «стирании» социального происхождения сил, которые на них проецируются.

Если мы хотим вернуть объектам их роль в этом производстве социальной связи, нам необходимо также отказаться от антифетишистских рассуждений, а также от другой функции, которой гуманитарные науки наделяли объекты, — объективности естественных сил. Все, по-видимому, ведет к положению, когда социология начинает колебаться между двумя определениями объекта: «плохим объектом», или фетишем, и «хорошим объектом», или силой. С первым необходимо бороться, показывая, что он — всего лишь субстрат, инвертор, экран для проекции верований. Последний необходимо открывать, применяя соответствующие методы, не связанные с верованиями, мнениями, страстями и поступками людей. Навязывая объектам две эти роли, гуманитарные науки критикуют повседневные верования и стремятся подражать естественным наукам, какими они их себе представляют.⁴¹ Социология долгое время колебалась между этими двумя ролями для объекта, ни одна из которых не позволяла

³⁹ В этом узнаются механизмы исследования, применявшиеся Марксом к экономике и Дюркгеймом к религии, позднее популяризированные Бурдьё применительно ко всем объектам, с которыми обыденное сознание могло ошибочно посчитать себя связанным. Об этике «профессии социолога», в частности, см.: (Bourdieu and Wacquant, 1992). Ответ на нее см.: (Hennion and Latour, 1993).

⁴⁰ Задача фетишей как раз и состоит в том, чтобы сделать два значения слова «факт» совместимыми: то, что является сфабрикованным, и то, что является истинным. Без понятия фетиша нам приходится ставить вопросы в виде противопоставления: это сфабриковано или истинно?

⁴¹ Развитие социологии науки полностью изменило потребность в подражании точным наукам, поскольку последние перестали походить на мифы, развитые эпистемологией. Напротив, создавая новые объекты для коллективного конструирования, точные науки вновь становятся образцом для подражания — но они оказываются слишком сильно смешанными с социальными науками, чтобы

ему стать полноценным социальным актором. Либо объекты не создают ничего, кроме обмана, либо они создают слишком многое. Либо ими полностью манипулируют люди, либо они сами манипулируют ни о чем не подозревающими людьми. Либо они обусловлены, либо сами служат условием. «Обычные» акторы всегда оказываются носителями либо веры в фетиши, либо представлений о своей свободе. В обоих случаях наука социологии развеивает заблуждения акторов, заманивая их в ловушку между «плохими объектами», в которые они ошибочно верят, и «хорошими объектами», которые принуждают их к действию, не взирая на их собственные желания. Критическая социология веками кормилась scientизмом с одной стороны, и осуждением фетишизма — с другой.⁴²

Создавать инструменты, конструировать социальное, действовать, взаимодействовать, локализовать, глобализировать, детерминировать, ограничивать — все эти глаголы, предполагают не только определенную модель индивидуального или коллективного, человеческого или нечеловеческого актора, но также и определение действия. Возвращение объектам их места в обществе кажется проблематичным, если объекты полагаются просто «объективными», но еще более трудной оказывается эта задача, если представить их в качестве фабрики всесильного актора. Чтобы они могли использоваться социологической теорией, необходимо, с одной стороны, изменить взгляд на объективную природу объектов, а с другой — концепцию действия. Сейчас в обычном антропологическом употреблении под действием подразумевается «осуществление» (*making-be*), для которого требуются субъект, обладающий соответствующими способностями, и объект, который благодаря актору теперь переходит от потенциальности к действительности. Кажется, ничто в этой схеме не может быть вновь использовано социальной теорией, заинтересованной в разделении социальности с вещами. Действие не может служить отправной точкой, если только не прекратить ряд циркуляций, трансформаций, постоянно отражающихся на социальном теле. Тогда способности актора можно вывести из самого процесса атрибуции, остановки, ограничения и фокусировки. Не следует путать эту мысль с идеей о том, что актор своими действиями актуализирует некую потенциальную возможность. Но ни понятие трансформации, ни по-

можно было построить соответствующую иерархию. Им начинают подражать в темах, а не в форме и, конечно, не в их эпистемологии.

⁴² О недавнем изменении отношений между критической социологией и социологией критики см.: (Boltanski and Thévenot, 1991).

нятие циркуляции не способны, оставаясь неизменными, заменить идею действия в качестве отправной точки. Чтобы исправить положение, нам следует взять за отправную точку опосредование, то есть событие, которое невозможно определить в терминах входа и выхода или причины и следствия. Идея опосредования или события позволяет сохранить только две черты действия, которые являются полезными (появление нового и невозможность создания *ex nihilo*), без сохранения всей западной антропологической схемы, которая всегда требует признания субъекта и объекта, способности и действия, потенциальности и действительности.

Обычная теория актора пригодна для дальнейшего использования не больше, чем теория действия. Как только утверждается, что актер — индивидуальный или коллективный — не может быть отправной точкой действия, складывается впечатление, что акторы должны быть немедленно растворены в силовых полях. Однако действовать — значит быть постоянно охваченным тем, что делаешь. «*Faire c'est faire faire*». Делать — значит делать свершившимся. Когда один действует, другие переходят к действию. Отсюда невозможность редуцирования актора к силовым полям или к структуре.⁴³ Можно только участвовать в действии, разделять его с другими актантами.⁴⁴ Это относится как к «производству» действия, так и к «манипуляции» им. О социологах давно шутливо говорят, что их акторы подобны марионеткам в руках «социальных сил». Это очень хороший пример, но он показывает ровно противоположное тому, что стремится показать. В беседе с кукловодом выяснится, что марионетки не перестают его удивлять. Он заставляет марионетку делать вещи, которые невозможно свести к его собственным действиям и которые сам он делать не умеет — даже потенциально. Фе-

⁴³ Слабость структурализма заключается именно в необходимости поиска правил за видимостью, в представлении о том, что некая сущность может просто «занимать положение», тогда как она постоянно воссоздает окружающее и служит посредником воссоздания. Отсюда оппозиция, которая оказалась фатальной для этой системы мысли, — оппозиция между субъектом и «смертью субъекта», растворяющегося в силовых полях: (Dosse, 1991, 1995). Но не существует никаких субъектов, которые могли бы распасться, и никаких силовых полей, в которых они могли бы растворяться, поскольку не существует никакого носителя силы. Существуют только трансляции, операции перевода.

⁴⁴ Термин «актант», который происходит из семиологии, позволяет распространить область социального исследования на всех взаимодействующих, вступающих в ассоциации и обменивающихся своими свойствами существ. Он также имеет и свои недостатки. Критику см.: (Latour, 1994a).

тишизм ли это? Нет, это просто признание того, что наши творения превосходят нас. Действовать — значит опосредовать действия другого. Но то, что относится к совершению, относится также к манипуляции. Предположим, что кто-то или что-то еще — метафорически — дергает за нити самого нашего кукловода — социальный актер, «художественное поле», «дух времени», «эпоха», «общество»... Этот новый актант, стоящий за ним, может справляться с кукловодом не лучше, чем он, в свою очередь, с марионеткой. Можно только ассоциировать посредников, ни один из которых не является причиной или порождением тех, с кем он ассоциируется. Поэтому нет ни акторов, с одной стороны, ни силовых полей — с другой. Есть только акторы — актанты, — каждый из них может только «включаться в действие» посредством ассоциации с другими, удивляющими или превосходящими его / ее / это.

Как трудна социальная теория! Социальную комплексность, некогда связывавшуюся только с человеком, теперь необходимо разделить с другими приматами — а, значит, проследить ее эволюцию за миллионы лет. Взаимодействие не может служить отправной точкой, поскольку для людей оно всегда помещено в некоторую систему фреймов, которая размывается системой сетей, идущих через нее во всех направлениях. Что касается противоположного полюса, пресловутого общества *sui generis* — оно объединяется исключительно гетерогенезисом и кажется, скорее, условным «пунктом прибытия» в работе по компиляции и суммированию, требующей большого количества оборудования и сложных инструментов. Новые когнитивные способности обязаны своим расширением не столько власти символов, сколько власти инструментов. Исходить из коллективного или индивидуального актора невозможно, поскольку некая способность может быть приписана актанту лишь в результате осуществления им чего-то... узнать же это можно лишь тогда, когда другие актанты вступают в действие. Даже повседневное употребление слова «действие» оказывается здесь бесполезным, так как оно предполагает отправную точку и носителя силы. Ни действие, ни актер, ни взаимодействие, ни индивид, ни символ, ни система, ни общество, ни их многочисленные сочетания не могут быть вновь использованы. В этом нет ничего удивительного, так как социологической теории — подобно физике или геологии — больше не следует рассчитывать на обнаружение необходимых терминов в повседневном узусе, если она, переставая быть модернистской, полностью отказывается от наследия Великого Раскола (Great Devide) и берет на себя ответственность за «социальную жизнь вещей». «Следуйте за актерами» — гласит лозунг нашей социологии, но в нем не говорится, как именно нужно за ними следовать.

ОТ ИЗУЧЕНИЯ ДУШИ ОБЩЕСТВА К ИЗУЧЕНИЮ ЕГО ТЕЛА

Обезьяны почти никогда не используют объекты в своих взаимодействиях. Для людей почти невозможно найти взаимодействие, которое не требовало бы обращения к технике.⁴⁵ Взаимодействия распространяются среди обезьян, охватывая постепенно всю стаю. Человеческое взаимодействие чаще всего локализуется, заключается во фрейм, сдерживается. Чем? Самим фреймом, который состоит из нечеловеческих акторов. Нужно ли нам обращаться к детерминации материальными силами или к власти структуры, чтобы перейти от взаимодействия к оформляющей его системе фреймов? Нет, мы просто переносимся в места и отрезки времени, предусмотренные и предустановленные фреймом. Пример с кассой на почте еще раз послужит для разъяснения этой идеи. Если перенести внимание с взаимодействия, которое временно объединяет нас — сотрудницу почты и меня — на стены, кассовое окошко, правила и формулы, то нам придется выйти за рамки ситуации «здесь и сейчас». Мы не остановимся на «обществе» или «администрации». Мы постепенно перейдем в кабинет архитектора почтовой службы, где был подготовлен проект кассы и смоделирован поток пользователей. Мое взаимодействие с сотрудницей было предвидено в нем статистически несколькими годами ранее — и способ, которым я наклонялся к окошку, брызгал слюной, заполнял формы, был предвиден специалистами по эргономике и вписан в деятельность почтовой службы. Конечно, они не видели меня стоящим там во плоти, как не видели они и сотрудницу. Но было бы серьезной ошибкой утверждать, что меня там не было. Я был вписан туда в виде категории пользователя, и сегодня я просто исполнил эту роль и актуализировал данную переменную своим собственным телом. И я действительно связан с почтовым отделением и архитектором тонкой, но прочной нитью, которая заставляет меня перейти от своего собственного тела, взаимодействующего с сотрудницей почты, к типу пользователя, представленному в проекте. И наоборот, здание, спланированное многими годами ранее, остается — благодаря подключению португальских рабочих, бетона, плотников и стекловолокна — зданием, которое сдерживает, ограничивает, канализирует и делает возможным мое общение с сотрудницей почты. По мере добавления объектов, нам придется привыкнуть к перемеще-

⁴⁵ Я использую это слово здесь для того, чтобы указать на *modus operandi*, где «артефакт» или «объект» означают результат действия.

нию во времени и пространстве между различными уровнями материализации; в этих перемещениях мы не найдем ни знакомых картин взаимодействия лицом-к-лицу, ни некой социальной структуры, которая, как утверждается, заставляет нас действовать.⁴⁶ И, конечно, мы не столкнемся с еще более знакомой и печальной картиной бесплодных компромиссов между двумя этими моделями действия.

Интеракционисты правы, говоря, что мы никогда не должны забывать о взаимодействии, но если следовать за человеческими взаимодействиями, невозможно оставаться в одном и том же месте, невозможно присутствие одних и тех же акторов, причем в одной и той же временной последовательности. И в этом вся загадка, которая заставляла их противников утверждать, что они не учитывали «структурные» или «макро-» эффекты. Дислоцируя взаимодействие посредством ассоциации с не-человеками, мы выходим за пределы настоящего, за пределы нашего тела, мы можем осуществлять взаимодействие на расстоянии, что весьма затруднительно для бабуинов или шимпанзе. Подобно пастуху, все, что я должен сделать, — это делегировать деревянному забору задачу сдерживания моего стада — только тогда я могу пойти поспать рядом со своей собакой. Кто действует, пока я сплю? Я, плотники и забор. Выражен ли я в этом заборе так, словно я актуализировал вне себя способность, которой я обладал в потенциальном виде? Ничуть. Забор совсем не похож на меня. Забор — это не продолжение моих рук или моей собаки. Он существует вне меня. Это самостоятельный актант. Не появился ли он внезапно из объективной материи, готовый втиснуть мое бедное хрупкое сонное тело в его материальные ограничения? Нет, я загоняю скот в него именно потому, что он не обладает той же длительностью, протяженностью, пластичностью, темпоральностью — короче, той же онтологией, — что и я. Но, загоняя в него скот, я могу перейти от комплексных отношений, требовавших моего постоянного внимания, к сложным отношениям, которые не требуют от меня ничего, кроме запираания ворот. Взаимодействуют ли со мной овцы, тыкаясь мордами в грубые сосновые доски? Да, но они взаимодействуют со мной благодаря забору, обособленному, делегированному, транслированному и мультиплицированному. И существует действительно полноценный актер, который отныне прибавляется к социальному миру овцы, хотя он об-

⁴⁶ Это положение было принято многими символическими интеракционистами — см.: (Star, 1989, 1995), — в особенности ее замечание о пограничных объектах. Все, что остается сделать в этом теоретическом наброске — отбросить понятия взаимодействия и символизма!

ладает чертами, полностью отличными от их тел. Взаимодействие всегда обладает временной и пространственной протяженностью, и потому оно разделяется с не-человеками.⁴⁷

Если мы хотим проанализировать не только обезьяны, но и человеческие общества, нам необходимо иначе взглянуть на само слово «взаимо»действие. Это выражение означает, что во всех точках общества действие остается локальным и что оно всегда поражает тех, кто участвует в нем. Но оно также означает, что действие должно разделяться с другими видами актантов, рассеянными в других пространственно-временных структурах и обнаруживающими иные онтологии. Во время t я контактирую с лицами, которые действовали в $t-1$, и я соединяю ситуации вместе так, чтобы я сам действовал иначе в $t+1$. В ситуации s я оказываюсь связанным с ситуациями $s-1$, и я действую так, что последующая ситуация $s+1$ оказывается связанной с моей. На вершине всего этого распределения, всей этой дислокации во времени и пространстве, находится взаимодействие, предполагающее актантные смещения.⁴⁸ Всякое «я», избранное в качестве точки отсчета, оказывается заранее конституированной совокупностью других «я», доступных ему в разнообразных формах долговечных вещей. Ни одна из этих дистанций не доказывает существования другого «уровня» или социальной структуры. Мы всегда движемся от одной точки к другой. Мы не избавляемся от взаимодействия. Но это последнее побуждает нас следовать множеству смещений. Как может актер сохраниться посреди этого многообразия? Посредством работы нарративного творения, которое позволяет «я» сохраняться во времени.⁴⁹ Как поддерживается сама нарративная конструкция? Телом — этой давней основой социальности приматов, помогающей и нашим телам поддерживать взаимодействия.

Поскольку взаимодействия фреймированы другими актантами, рассеянными во времени и пространстве, особое значение приобретают агрегирующие действия. К примеру, жизнь парижан может состоять из одних последовательных взаимодействий, но не следует упускать из виду множество служб наблюдения, которые пытаются ка-

⁴⁷ Этот пример и соответствующую теорию социального см.: (Latour, 1994b).

⁴⁸ Семиотика выделяет три вида смещения: во времени, в пространстве и в новом актанте — например, в начале сказки: «Как-то раз, в сказочной земле, гном спокойно прогуливался...». Понятие смещения помогает нам избавиться от идеи, согласно которой, техника — это «эффективное воздействие на материю».

⁴⁹ Работа, необходимая для создания непрерывности «я», особенно хорошо заметна в теориях нарратива: (Ricoeur, 1990).

ждый день подводить итог парижской жизни. Диспетчерские, управляющие светофорами; распределительные щиты во всех точках системы водоснабжения; огромное синоптическое табло, позволяющее французским энергетикам сделать необходимые расчеты до завершения второго фильма, транслируемого по первому каналу; компьютеры, просчитывающие маршруты и грузы, перевозимые мусороуборочными машинами; датчики, определяющие количество посетителей музея Орсэ и т. д. В один день и от одного человека накапливается множество маленьких «я» — статистических «я», потому что он использовал свой автомобиль, спустил воду в унитазе, выключил телевизор, вынес свое мусорное ведро или посетил музей Орсэ. И все-таки образуют ли те, кто собирают, компилируют и подсчитывают, некую социальную структуру, стоящую над людьми? Ни в коей мере. Они действуют в диспетчерских, которые точно также локализованы, точно так же слепы, точно так же помещены во фрейм, как и этот человек в каждое мгновение своего дня. Как же тогда они могут подводить итоги? Точно так же, как и этот человек в любой момент может подготовить себя для взаимодействия. Благодаря добавлению сенсоров, счетчиков, радиосигналов, компьютеров, перечней, формул, шкал, прерывателей, следящих механизмов — именно они делают возможной связь между разными, весьма удаленными друг от друга местами (ценой установки дорогостоящего оборудования). Невозможно создать социальную структуру без такой компиляционной работы. Но можно объяснить эффекты упорядочивания в ней. Тысячи людей в Париже стремятся локально структурировать парижан, используя свое оборудование и свои категории. В этом состоит глубинная истина этнометодологии. Остается только вернуть забытое: средства конструирования социального мира.

Обратившись к этим практикам, объектам и инструментам, вы не станете спотыкаться о крутой порог, который, согласно прежней теории, разделяет уровень взаимодействия «лицом-к-лицу» и уровень социальной структуры, «микро» и «макро». Работа локализации, как и глобализации, всегда выполняется телами в отрезках времени и участках пространства, далеко отстоящих друг от друга. Иногда это дорогостоящий вопрос создания непрерывности во времени для индивидуального актора; иногда дорогостоящее суммирование взаимодействий большего или меньшего числа многих акторов. Нет необходимости выбирать свой уровень анализа в каждый данный момент: достаточно определить направление усилий и сумму, которую вы готовы потратить. Можно либо интенсивно знать многое о немногом, либо экстенсивно немногое о многом. Социальные миры остаются

плоскими, без всяких складок, которые сделали бы возможным переход от «микро» к «макро».⁵⁰ Например, диспетчерская, организующая движение парижских автобусов, действительно возвышается над множеством автобусов, но ей неизвестно, как создать структуру «над» взаимодействиями водителей автобусов. Она прибавляется к этим взаимодействиям. Старое различие уровней обусловлено простым невниманием к материальным связям, позволяющим связывать одно место с другими, и верой в чистые взаимодействия лицом-к-лицу.

В фундаментальной социологии сторонники социальной структуры с порога отвергали практические средства понимания локализации и глобализации, смещения индивидуального актора и переплетения взаимодействий. Или, скорее, они считали принятие во внимание материальных средств — вещей — необходимых для проведения различия между нами и обезьянами. Но они полагали эти средства простыми посредниками, чистыми носителями силы, проистекающей из другого источника — из общества *sui generis* или из совокупности индивидуальных рациональных человеческих существ. Такое сравнительное пренебрежение средствами осуществлялось трижды: сначала в машинах, затем в технологиях контроля и, наконец, в интеллектуальных технологиях. Структуралисты считали, что мы по сути своей были обезьянами, к которым прибавлялись простые протезы, здания, компьютеры, формулы или паровые машины. Но объекты — это не средства, а скорее посредники — так же, как и все остальные актанты. Они не передают покорно нашу силу — во всяком случае, не больше, чем мы покорно выполняем их указания. Изображая социальное общество, которое случайно обретало свое материальное тело, сторонники идеи социальной структуры в очередной раз воссоздали (вопреки своему желанию быть материалистами) новую форму спиритуализма. Говоря о социальном теле, они на деле говорили только о его душе. Они считали людей обезьянами, окруженными вещами. Чтобы иметь дело с социальным телом как телом, нам необходимо: а) относиться к вещам как к социальным фактам; б) заменить две симметричные иллюзии взаимодействия и общества обменом свойствами между человеческими и нечеловеческими актантами; в) эмпирически проследить работу локализации и глобализации.

Перевод с английского Артема Смирнова

⁵⁰ О необходимости отказа от выбора шкалы перехода от «микро» к «макро» для понимания относительных различий в величине см.: (Callon and Latour, 1981).

ЛИТЕРАТУРА

- Бурдые, П. (2001). *Практический смысл*. СПб.: Алетейя.
- Гоббс, Т. (2001). *Левиафан*. М.: Мысль.
- Гофман, И. (2000). *Представление себя другим в повседневной жизни*. М.: Канон-Пресс-Ц.
- Гофман, И. (2004). *Анализ фреймов. Эссе об организации повседневного опыта*. М.: Институт социологии РАН, Институт Фонда «Общественное мнение».
- Дюркгейм, Э. (1991). *Общественное разделение труда. Метод социологии*. М.: Наука.
- Латур, Б. (2006). *Нового времени не было. Эссе по симметричной антропологии*. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге.
- Appadurai, A. (Ed.). (1986). *The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bijker, W., and Law, J. (Eds.). (1992). *Shaping Technology/Building Society. Studies in Sociotechnical Change*. Cambridge, Mass: MIT Press.
- Boltanski, L., and Thévenot, L. (1991). *De la justification. Les économies de la grandeur*. Paris: Gallimard.
- Boudon, R. (Ed.). (1992). *Traité de sociologie*. Paris: PUF.
- Bourdieu, P., and Wacquant, L. (1992). *Réponses. Pour une anthropologie réflexive*. Paris: Le Seuil.
- Byrne, R., and Whiten, A. (Eds.). (1988). *Machiavellian Intelligence. Social Expertise and the Evolution of Intellects in Monkeys, Apes and Humans*. Oxford: Clarendon Press.
- Callon, M., and Latour, B. (1981). Unscrewing the Big Leviathans How Do Actors Macrostructure Reality. In K. Knorr and A. Cicourel (Eds.), *Advances in Social Theory and Methodology. Toward an Integration of Micro and Macro Sociologies*, (pp. 277–303). London: Routledge.
- Cheney, D. L., and Seyfarth, R. M. (1990). *How Monkeys See the World. Inside the Mind of Another Species*. Chicago: University of Chicago Press.
- Collins, H., and Yearley, S. (1992). Epistemological Chicken. In A. Pickering (Ed.), *Science as Practice and Culture*, (pp. 301–326). Chicago: Chicago University Press.
- De Waal, F. (1982). *Chimpanzee Politics. Power and Sex Among Apes*. New York: Harper and Row.
- Denett, D. C. (1987). *The Intentional Stance*. Cambridge Mass: The MIT Press.
- Desrosières, A. (1993). *La politique des grands nombres. Histoire de la raison statistique*. Paris: La Découverte.
- Dosse, F. (1991). *Histoire du structuralisme. Tome I. Le champ du signe, 1945–1966*. Paris: La Découverte.
- Dosse, F. (1995). *L'Empire du sens. L'humanisation des sciences humaines*. Paris: La Découverte.

- Dupuy, J. P. (1992). *Introduction aux sciences sociales. Logique des phénomènes collectifs*. Paris: Editions Marketing.
- Fedigan, L. M. (1982). *Primate Paradigms. Sex Roles and Social Bonds*. Montréal: Eden press.
- Friedberg, E. (1993). *Le pouvoir et la règle. Dynamiques de l'action organisée*. Paris: Le Seuil.
- Goodwin, C. (1995). Seeing in Depth. *Social Studies of Science*, 25 (2), 237–284.
- Goody, J. (1977). *The Domestication of the Savage Mind*. Cambridge University Press: Cambridge.
- Haraway, D. (1989). *Primate Visions. Gender, Race and Nature in the World*. London: Routledge and Kegan Paul.
- Hennion, A., and Latour, B. (1993). Objet d'art, objet de science. Note sur les limites de l'anti-fétichisme. *Sociologie de l'art* (6), 7–24.
- Heritage, J. (1984). Garfinkel and Ethnomethodology. London: Polity Press.
- Hutchins, E. (1995). *Cognition in the Wild*. Cambridge, Mass: MIT Press.
- Kummer, H. (1993). *Vies de singes. Moeurs et structures sociales des babouins hamadryas*. Paris: Odile Jacob.
- Latour, B. (1987). *Science in Action. How to Follow Scientists and Engineers through Society*. Cambridge Mass: Harvard University Press.
- Latour, B. (1994a). Les objets ont-ils une histoire? Rencontre de Pasteur et de Whitehead dans un bain d'acide lactique. In I. Stengers (Ed.), *L'effet Whitehead*, (pp. 197–217). Paris: Vrin.
- Latour, B. (1994b). On Technical Mediation. *Common Knowledge*, 3 (2), 29–64.
- Latour, B., and De Noblet, J. (Eds.). (1985). *Les „vues“ de „l'esprit“. Visualisation et Connaissance Scientifique*. Paris: Culture Technique.
- Latour, B., and Lemonnier, P. (Eds.). (1994). *De la préhistoire aux missiles balistiques – l'intelligence sociale des techniques*. Paris: La Découverte.
- Latour, B., and Strum, S. (1986). Human Social Origins. Please Tell Us Another Origin Story! *Journal of Biological and Social Structures*, 9, 169–187.
- Lave, J. (1988). *Cognition in Practice. Mind, Mathematics and Culture in Everyday Life*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Law, J. (Ed.). (1992). *A Sociology of Monsters. Essays on Power, Technology and Domination*. (Vol. 38). London: Routledge Sociological Review Monograph.
- Law, J. (1993). *Organizing Modernities*. Cambridge: Blackwell.
- Lemonnier, P. (1993). Technological Choices. Transformation in Material Cultures since the Neolithic. London: Routledge.
- McGrew, W. C. (1992). *Chimpanzee Material Culture. Implications for Human Evolution*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Norman, D. (1993). *Things that Make Us Smart*. New York: Addison Wesley Publishing Company.
- Porter, T. M. (1995). *Trust in Number. The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life*. Princeton: Princeton University Press.

- Power, M. (Ed.). (1995). *Accounting and Science: National Inquiry and Commercial Reason*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ricoeur, P. (1990). *Soi-même comme un autre*. Paris: Le Seuil.
- Star, S. L. (1989). Layered Space, formal representations and long-distance Control: the politics of information. *Fundamenta Scientae*, 10 (2), 125–155.
- Star, S. L. (Ed.). (1995). *Ecologies of Knowledge. Work and Politics in Science and Technology*. Albany: State University of New York Press.
- Strum, S. (1982). Agonistic Dominance among Baboons an Alternative View. *International Journal of Primatology*, 3 (2), 175–202.
- Strum, S. (1987). *Almost Human. A Journey Into the World of Baboons*. New York: Random House.
- Strum, S., and Latour, B. (1987). The Meanings of Social: from Baboons to Humans. *Information sur les Sciences Sociales / Social Science Information*, 26, 783–802.
- Thomas, N. (1991). *Entangled Objects. Exchange, Material Culture and Colonialism in the Pacific*. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- Wilson, E. O. (1971). *The Insect Societies*. Harvard U. P. Cambridge Mass: The Belknap Press.
- Wilson, E. O. (1975). *Sociobiology, the New Synthesis*. Cambridge Mass: Harvard University Press, The Belknap Press.

БРЮНО ЛАТУР

ГДЕ НЕДОСТАЮЩАЯ МАССА?

СОЦИОЛОГИЯ ОДНОЙ ДВЕРИ¹

Роберту Фоксу посвящается

С точки зрения некоторых физиков, во Вселенной недостает определенного количества массы, чтобы подтвердить модель, выстраиваемую космологами. Они везде ищут «недостающую массу», которая могла бы в результате дать ожидаемую ровную сумму. То же самое происходит и с социологами. Они постоянно, с некоторым отчаянием, сосредоточены на том, чтобы обнаружить социальные связи, достаточно прочные, чтобы объединить всех нас, или моральные законы, которые были бы достаточно незыблемыми, чтобы заставить нас вести себя должным образом. При суммировании социальных связей мы не получаем требуемого итога. Нестойкие и слабые моральные принципы – вот и все, что могут обнаружить социологи. Общество, которое они пытаются воссоздать при помощи тел и норм, постоянно разрушается. Чего-то все время недостает. Такого, что было бы строго социальным и высоко моральным. Где же они могут это найти? Повсюду – но слишком часто они отказываются это видеть, несмотря на большое количество исследований, которые ведутся в области социологии артефактов. Я уверен, что социологи окажутся более удачливыми, чем космологи, поскольку скоро обнаружат искомую недостающую массу. Чтобы свести баланс нашего общества, мы просто должны переключить наше внимание с людей и посмотреть на нече-

¹ Latour B. Where are the missing masses? Sociology of a few mundane artifacts / Wiebe Bijker and John Law (eds.). Shaping Technology // Building Society. Studies in Sociotechnical Change. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1992. P. 225–259. Текст этой статьи был ранее переведен и опубликован в журнале «Неприкосновенный запас» (2004, № 2 (34)). Перевод печатается с разрешения редакции журнала.

любеков. Вот они, скрытые и презренные социальные массы, которые дополняют нашу мораль. Они стучат в дверь социологии, требуя учета при подведении общественного баланса так же настойчиво, как это делали человеческие массы в XIX веке.

1. ОПИСАНИЕ ОДНОЙ ДВЕРИ

Я начну свое исследование с коротенькой надписи, сделанной каким-то анонимом. В этом году, холодным февральским днем, на дверях Палаты кож в парке Ла Виллетт в Париже, где группа Роберта Фокса пытается уговорить французов заняться социальной историей науки, можно было увидеть маленькое, сделанное от руки объявление: «Доводчик бастует, ради Бога, закрывайте двери». Это соединение трудовых отношений, религии, объявления и техники в одном единственном весьма незначительном факте и есть та разновидность вещей, которую мне хотелось бы описать, чтобы обнаружить недостающие массы. Как технолог, преподающий в инженерной школе, я хочу бросить вызов некоторым предположениям социологов, которые они часто выдвигают относительно «социального контекста» механизмов.

Стены — это прекрасное изобретение, но не будь в них никаких отверстий, было бы невозможно попасть внутрь или выйти наружу — они были бы чем-то вроде мавзолеев или склепов. Проблема состоит в том, что, если вы делаете отверстия в стенах, что-то или кто-то может войти внутрь и выходить наружу (коровы, посетители, пыль, крысы, шум — ведь Палата кож находится всего в десяти метрах от Парижской кольцевой дороги — и, что хуже всего, — холод, поскольку Палата находится на севере Парижа). Поэтому архитекторы изобрели этот гибрид: отверстие-стену, часто называемую дверью, которая, хотя и является достаточно распространенным механизмом, всегда поражала меня как чудо техники. Проявленная изобретательность в данном случае состоит в креплении дверных петель: вместо того, чтобы каждый раз пробивать стену при помощи кувалды или кирки, вы просто легко толкаете дверь (я предполагаю здесь, что замок еще не изобретен — это усложнило бы и без того уже в высшей степени сложную историю двери Ла Виллетт). Кроме того, и в этом-то и состоит весь фокус, после того как вы прошли в дверь, вам не надо искать мастерок и цемент, чтобы восстановить стену, которую вы только что пробили: вы просто опять легко толкаете дверь (я пока оставляю в стороне дополнительные сложности, которые возникают в связи с указаниями типа «на себя» и «от себя»).

Таким образом, чтобы оценить работу, которую проделывают дверные петли, вы просто должны представить себе, что всякий раз, когда

вы хотите войти в здание или выйти из него, вам необходимо проделать ту же самую работу, что и заключенному, пытающемуся совершить побег или гангстеру, пытающемуся ограбить банк, а также работу тех, кто восстанавливает стены тюрьмы или банка (я никогда не слышал о заключенных или о гангстерах, восстанавливающих стены, сквозь которые им удалось пройти, хотя я слышал о гангстерах, которые, попав в тюрьму и обладая определенными навыками, проделывали отверстия в тюремных стенах). Если вы не хотите представить себе людей, разрушающих стены и восстанавливающих их всякий раз, когда они желают войти в здание или выйти из него, тогда представьте себе работу, которую необходимо проделать, чтобы удержать внутри или снаружи все вещи и всех людей, которые, будучи предоставлены самим себе, выбрали бы неправильный путь. Как никогда не говорил Максвелл, вообразите, что придуманный им демон работает без своей заслонки. Все что угодно могло бы покинуть Палату кож или, наоборот, проникнуть туда, и скоро возникло бы полное равновесие между наводящей тоску шумной окружающей средой и внутренним пространством здания. Некоторые технологи, включая и автора настоящей работы, писали в учебнике «Сопротивление материалов» (1984) о том, что техника привлекается нами тогда, когда целью является достижение асимметрии или нереверсивности; могло бы показаться, что двери — это яркий контрпример, поскольку они сохраняют отверстие-стену в состоянии реверсивности; максвелловский демон ясно показывает, однако, что это не так; реверсивная дверь — это единственный способ удержать в стенах Палаты кож дифференциальную массу согревшихся в тепле историков, знаний, документов, а также, увы, всей канцелярской работы; дверь на петлях делает возможным селективный отбор входящих и выходящих, что позволяет добиться локального увеличения порядка или информации. Если вы впустите внутрь сквозняк (эти знаменитые «новые веяния», столь опасные для французского здоровья), то рукописи могут так и не попасть на открытый воздух, к издателям.

Теперь сделайте две колонки (если мне не позволено отдавать распоряжения читателю, тогда рассматривайте это в качестве настоятельного совета): в правой колонке перечислите работу, которую пришлось бы делать людям, если бы у них не было двери; в левую колонку впишите легкое толкание двери (к себе или от себя), которое они должны произвести, чтобы выполнить те же самые задачи. Сравните эти две колонки: огромное усилие в правой уравнивается небольшим усилием в левой, и все это благодаря дверным петлям. Я определяю это преобразование большего усилия в меньшее

при помощи таких слов, как перенесение, или трансляция, или делегирование, или перемещение; тогда я могу сказать, что мы делегировали (или транслировали, или перенесли, или переместили) дверным петлям работу по реверсивному решению дилеммы отверстия-стены. Заходя к Роберту Фоксу, я не должен ни выполнять эту работу, ни даже думать о ней; она была делегирована плотником некоему герою — дверным петлям — которого я назову не-человеком (заметьте, что я не сказал «нелюдь», как сделали бы многие сверхчувствительные люди). Я просто вхожу в Палату кож. Примем в качестве более общего дескриптивного правила следующее: всякий раз, когда вы захотите знать, какую работу совершает не-человек, просто представьте себе, что бы пришлось делать другим людям или другим не-человекам, если бы этот персонаж отсутствовал. Такая воображаемая субституция точно определяет роль или функцию этой маленькой фигуры.

Прежде, чем продолжить, позвольте мне извлечь дополнительную пользу из этой таблицы: действительно, мы привели чаши весов в такое равновесие, при котором крошечные усилия уравнивают огромную тяжесть; эти весы (по крайней мере, те, которые вы представили, если подчинились моим распоряжениям, я хочу сказать, последовали моим советам) воспроизводят ту же самую идею рычага, которую мы находим в дверных петлях. То, что малое может стать сильнее большого, — это история с моралью (вспомните о Давиде и Голиафе); а кроме того, по крайней мере, со времен Архимеда, — это еще и очень хорошее определение рычага и силы: какой минимум вам необходимо удержать и хитроумно использовать ради достижения максимального эффекта. Имею ли я в виду машины или правила Сиракуз? Я не знаю, и это не имеет значения, поскольку правило и Архимед объединили два «минимакса» в одну историю, рассказанную Плутархом: речь идет о защите Сиракуз при помощи рычагов и военных машин (см. у Плутарха, около 80 года н. э.). Я утверждаю, что это реверсирование сил есть то, на что социологи должны обратить внимание, чтобы осознать «социальное конструирование» техники, вместо изучения того гипотетического социального контекста, для понимания которого они не подготовлены (такого рода насмешливые замечания социологи ожидают услышать от технологов, и мне не захотелось вас разочаровывать). Высказав это маленькое соображение, позвольте мне продолжить эту историю (в дальнейшем мы поймем, почему я на самом деле не нуждаюсь в вашем разрешении продолжать и почему вы тем не менее вольны не продолжать, хотя и только относительно).

2. ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ЛЮДЯМ

С дверьми есть одна проблема. Посетители толкают их на себя, чтобы войти, или от себя, чтобы выйти (или наоборот), но потом дверь остается открытой. То есть вместо двери вы имеете зияющее отверстие в стене, через которое, например, врывается холод или выходит тепло. Конечно, вы можете представить себе, что люди, живущие в этом здании или посещающие Центр истории науки и техники, хорошо дисциплинированы (в конце концов, историки — аккуратные люди). Они научатся закрывать дверь за собой и преобразовывать мгновенно возникающее отверстие в хорошо загерметизированную стену. Проблема в том, что дисциплина не является отличительной особенностью людей, обитающих в Ла Виллетт; да и возможно, здание посетят простые социологи или даже педагоги из близлежащего Центра образования. Будут ли они все обладать такими же навыками? Закрывание дверей могло бы показаться достаточно простым ноу-хау после того как были изобретены дверные петли, но, принимая во внимание количество усилий, различные нововведения, записки, требования друг к другу закрывать двери, которые бесконечно слышатся везде (по крайней мере, в северных регионах), оно представляется весьма малораспространенным.

Именно здесь вам и предлагается старый мамфордовский выбор: либо дисциплинировать людей, либо заменить ненадежных людей на другой делегированный человеческий персонаж, чьей единственной функцией будет открывать и закрывать дверь. Он называется швейцаром, или портье (от французского слова «porte» — «дверь»), или привратником, или консьержем, или надсмотрщиком, или надзирателем. Преимущество состоит в том, что теперь вы должны дисциплинировать только одного человека и со спокойной совестью можете позволить другим вести себя так, как им взбредет в голову. Независимо от того, кто они и откуда пришли, швейцар всегда позаботится о двери. Не-человек (дверные петли) плюс человек (швейцар) разрешили дилемму отверстия-стены.

Разрешили? Не совсем. Прежде всего, если Палата кож будет платить швейцару, у них не останется денег, чтобы покупать кофе или книги или приглашать выдающихся иностранцев читать лекции. Если они будут давать бедному мальчику другие поручения, помимо тех, которые выполняет швейцар (да, это отражает мое сексистское, шовинистическое, дискриминационное предубеждение против приема на работу девушек), тогда большую часть времени он будет отсутствовать, и проклятая дверь будет оставаться открытой. Даже если бы

у них были деньги, чтобы держать его на рабочем месте, мы сталкиваемся теперь с проблемой, которую так полностью и не разрешили две-сти лет капитализма: как надежно дисциплинировать молодого человека, чтобы он выполнял скучную и малооплачиваемую работу? Хотя теперь надо дисциплинировать только одного человека вместо сотни (на практике только десятка, поскольку Палата кож очень неудобно расположена); здесь можно заметить слабое место этой стратегии: если один этот парень окажется ненадежным, тогда вся цепочка распадется; если он заснет на работе или пойдет прогуляться, то ничего хорошего в итоге не получится: чертова дверь будет оставаться открытой настежь (напомним, что запереть ее на замок не является решением проблемы, поскольку это превратило бы ее в стену, а снабдить каждого ключом — трудная задача, и к тому же это не гарантировало бы того, что обладатели ключей стали бы запирают за собой дверь). Конечно, сорванца можно наказать или даже выпороть (вперед, не сомневайтесь, конечно же, это отражает мое буржуазное позднекапиталистическое монополистическое предубеждение против рабочих). Но представьте себе заголовки в газетах: «Социальные истории науки устраивают порку швейцару, бедному выходцу из рабочего класса»; а если он темнокожий, что вполне вероятно, учитывая низкую зарплату? Нет, дисциплинировать швейцара — невзирая на то, что говорит Фуко, — это сложная и дорогостоящая задача, которая по плечу только отелям «Хилтон», и то по совершенно другим причинам, которые не имеют ничего общего с закрыванием двери.

Если мы сравним работу по дисциплинированию швейцара с работой, которую он замещает, в соответствии с перечнем, составленным выше, мы увидим, что этот делегированный персонаж имеет противоположный результат относительно того, к которому приводят дверные петли: простая задача — заставить людей закрыть дверь — теперь выполняется невероятной ценой; минимальный эффект достигается при максимуме затрат и взбучек. Если мы составим наши два списка, то заметим интересное различие. В первом типе отношений (петли vs работа многих людей) вы не только имели аннулирование усилий (рычаг позволяет перемещать большой вес посредством легких манипуляций), но также и изменение в распределении времени: как только петли устанавливаются, больше ничего не надо делать, кроме как поддерживать их в рабочем состоянии (время от времени смазывать маслом). Во втором типе отношений (работа швейцара vs работа многих людей) вам не только не удастся упразднить усилия, но не удастся изменить и распределение времени: ничто не может воспрепятствовать тому, чтобы швейцар, на которого можно было положиться в течение

двух месяцев, подвел нас на 62-й день. В этом случае приходится выполнять работу не по поддержанию дверных петель в исправном состоянии, но ту же самую работу, что и в первый день, если не считать тех нескольких привычек, которые вам удалось внедрить в тело швейцара. Хотя два эти способа делегирования кажутся схожими, первый сосредоточен на моменте установки двери, тогда как другой осуществляется непрерывно; точнее, первый создает четкие различия между производством, установкой и обслуживанием, тогда как во втором — различие между обучением и исполнением действия является либо неопределенным, либо нулевым. Первое требует прошедшего времени («когда петли были установлены»); второе — настоящего времени («когда швейцар на своем посту»). В первом случае есть заданная инерция, которая в значительной мере отсутствует во втором. Первый — ньютоновский (нечеловеческий), второй — аристотелевский (человеческий). Глубокий временной сдвиг имеет место тогда, когда прибегают к не-человекам; время сворачивается (говорю это, чтобы показать вам, что, хотя я и простой технолог, я тоже могу иногда пофилософствовать).

3. ДЕЛЕГИРОВАНИЕ НЕ-ЧЕЛОВЕКАМ

Именно в этом пункте у вас появляется относительно новый выбор: либо дисциплинировать людей, либо заменить ненадежных людей на делегированного персонажа-не-человека, чья единственная функция будет состоять в том, чтобы открывать и закрывать дверь. Он называется доводчиком двери или *groom*'ом. («*Groom*» — это название французской торговой марки, вошедшей теперь в повседневный язык). Преимущество доводчика заключается в том, что теперь вам надо дисциплинировать только одного не-человека, и вы можете со спокойной совестью позволить всем остальным (включая коридорных) вести себя так, как им взбредет в голову. Независимо от того, кто они и откуда приходят, — вежливы они или невоспитанны, торопливы или медлительны, друзья или недруги — швейцар-не-человек будет всегда заботиться о двери при любой погоде и в любое время дня. Один не-человек (дверные петли) плюс другой не-человек (доводчик) разрешили дилемму отверстия-стены.

Разрешили? Вообще-то, не совсем. Здесь возникает вопрос о сокращении кадров в связи с автоматизацией, вопрос, столь дорогой для социальных историков технологии: тысячи швейцаров-людей оказались безработными по вине своих братьев-не-человеков. Можем ли мы сказать, что они были замещены? Это зависит от вида действия,

которое было им транслировано или делегировано. Другими словами, когда людей замещают и сокращают, не-человеков приходится модернизировать и переквалифицировать. Это, как мы сейчас увидим, не-легкая задача.

Нам всем приходилось иметь дело с дверью, оснащенной мощным пружинным механизмом, которая захлопывается прямо перед нашим носом. Бесспорно, пружины делают работу, замещающую действия швейцаров, но они исполняют роль очень грубого, невоспитанного и бестолкового швейцара, который совершенно очевидно предпочитает вариант двери-стены варианту двери-отверстия. Они просто захлопывают дверь. Эти невежливые двери имеют одну интересную особенность: раз они захлопываются с такой силой, это означает, что вы, посетитель, должны проходить в нее очень быстро и при этом ни в коем случае не идти за кем-нибудь впрытык, поскольку в противном случае вы рискуете прищемить или расквасить себе нос. Неквалифицированный доводчик-не-человек таким образом предполагает квалифицированного пользователя-человека. Это всегда компромисс. Следуя Мадлен Акрич (Akrich, 1992), я назову это поведение, которое в свою очередь навязывается человеку не-человеком, предписанием делегатов. Предписание — это моральное и этическое измерение механизмов. Несмотря на постоянные сетования моралистов, ни один человек не является столь неизменно моральным, как механическое устройство, особенно если оно (она, он, они) столь же «дружелюбно по отношению к пользователю», как мой компьютер марки «Макинтош». Мы смогли делегировать не-человекам не только усилие, но также и ценности, обязанности и этику. Именно благодаря этим моральным отношениям, мы, люди, ведем себя так этично, независимо от того, насколько слабыми и злыми сами себя ощущаем.

Каким образом можно эксплицировать эти предписания? Путем замены их рядами предложений (обычно в императиве), которые (безмолвно и постоянно) производятся механизмами для блага тех, кто их использует: сделайте то, сделайте это, поступайте так, не делайте того. Такие предложения очень похожи на язык программирования. Подобная замена молчания на слова может осуществляться в мысленных экспериментах аналитика, но она также встречается в брошюрах с инструкциями или явным образом на занятиях по инструктажу, где она осуществляется голосом демонстратора, инструктора или преподавателя. У военных особенно хорошо получается выкрикивать такие слова голосом инструкторов — людей, которые делегируют себе обратно задачу объяснить от имени винтовки, каким должен быть ее идеальный пользователь. Но какие бы многочисленные способы

не изобретал аналитик, чтобы в словах и текстах восстановить явное предписание, главная особенность такого предписания состоит в том, чтобы оставаться безмолвным — отсюда впечатление, возникающее у тех, кто озабочен *человеческим* поведением, что где-то недостает массы моральных отношений.

Результатом такого распределения компетенций между людьми и не-человеками окажется то, что компетентные сотрудники из Палаты кож благополучно пройдут сквозь захлопывающуюся дверь на правильном расстоянии друг от друга, в то время как те посетители, которые не знают о местных культурных условиях, будут толпиться в дверях и расквасят себе носы. Эта история подобна известной истории об автобусах, набитых бедными чернокожими, которые не могли проехать под эстакадами, ведущими к манхэттенским паркам (Winner, 1980). Не-человеки принимают на себя селективные установки тех, кто их проектировал. Поэтому, чтобы избежать дискриминации, изобретатели возвращаются к чертежной доске и пытаются придумать такого персонажа-не-человека, который не будет предписывать своим пользователям-людям такие исключительно локальные культурные навыки. Хорошим решением могла бы показаться слабая пружина. Но это не так, потому что она заместила бы собой такого малоквалифицированного и нерешительного швейцара, который никогда не уверен в статусе двери (или своем собственном статусе). Что такое дверь — отверстие или стена? Я должен закрывать дверь или открывать ее? Если дверь то и другое одновременно, то вы можете забыть о тепле — а ведь в конце концов даже британцы нуждаются в тепле, чтобы писать хорошие статьи по истории науки. «Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée»². На компьютерном языке, дверь — это гейт типа ИЛИ, а не И.

Я — большой фанат дверных петель, но должен признаться, что гораздо сильнее восхищаюсь гидравлическими доводчиками двери, особенно тем старым, тяжелым, покрытым медью доводчиком, который медленно закрывал главную дверь нашего дома в деревне Алос-Кортон. Я очарован тем, что к пружине добавлен гидравлический поршень, который легко вбирает энергию тех, кто открывает дверь, удерживает и затем медленно возвращает ее с разными оттенками той непреклонной твердости, какую можно ожидать от хорошо обученного дворецкого. Особенно изобретательным является его способ извлечения энергии из всех и каждого, из любого случайного, ничего не подоз-

² «Надо принять то или иное решение» — дословно: «Надо, чтобы дверь была или открыта, или закрыта» — *Прим. перев.*

ревающего прохожего. Мои друзья-социологи в Горной школе называют такое ловкое извлечение энергии «обязательной точкой прохождения», что является очень подходящей характеристикой двери; независимо от того, что вы чувствуете, думаете или делаете, вы должны оставить в дверях в буквальном смысле частицу вашей энергии. Это так же хитро, как приспособление для сбора дорожной пошлины.

Это, однако, не полностью разрешает все проблемы. Разумеется, гидравлический доводчик двери не бьет по носам тех, кто не знает местных условий, так что его предписания могут считаться менее ограничивающими, но он все же остается преградой для некоторых групп населения: ни мои маленькие племянники, ни моя бабушка не могли войти в эту дверь без посторонней помощи, потому что наш доводчик нуждался в силе физически здорового человека, которая бы позволила ему (доводчику) накопить достаточное количество энергии, чтобы потом закрыть дверь. Если использовать классическое мотто Лэнгдона Винера (Winner, 1980): своими предписаниями эти двери дискриминируют очень маленьких и очень старых людей. Кроме того, раз нет никакой возможности держать их открытыми постоянно, они подвергают дискриминации перевозчиков мебели и вообще каждого, кто нагружен пакетами, что в нашем позднекапиталистическом обществе, как правило, означает наемных работников из рабочего или нижнего среднего класса (да и кто из представителей даже более высоких страт не был хоть раз задержан автоматизированным швейцаром, когда его руки были заняты пакетами?).

Правда, решения есть: делегирование доводчику может быть аннулировано, обычно это достигается его блокировкой или более прозаическим образом — действием, которое делегировано доводчику, может быть противопоставлена нога (говорят, что коммивояжеры большие специалисты по этой части). Действие ноги, в свою очередь, может быть делегировано коврику или чему-нибудь, чем можно придержать доводчик (хотя я всегда поражаюсь количеству предметов, которые не выдерживают этого силового испытания, и очень часто видел, как дверь, которую я только что с помощью какого-нибудь предмета зафиксировал в открытом состоянии, вежливо закрывалась, стоило мне только отвернуться от нее).

4. АНТРОПОМОРФИЗМ

Как технолог, я мог бы утверждать, что, если не считать работы по установлению доводчика двери и поддержанию его в рабочем состоянии и согласиться не принимать во внимание те немногочисленные

группы населения, которые оказываются дискриминированы, гидравлический доводчик хорошо выполняет свою работу, постоянно, твердо и медленно закрывая за вами дверь. Своим скромным способом он показывает нам, как три вида делегированных актантов-не-человеков (петли, пружины и гидравлические поршни) 90 % времени замещают либо недисциплинированного портье, которого никогда не бывает на месте, когда он нужен, либо программы-инструкции для широкой публики, предназначенные напоминать о том, что нужно закрывать-дверь-потому-что-холодно.

Петли плюс доводчик — это мечта технолога об эффективном действии, по крайней мере так было до того печального дня, когда я увидел объявление, прикрепленное к дверям Ла Виллетт, с которого я начал свое рассуждение: «Доводчик бастует». Значит, мы не только смогли делегировать акт закрывания двери от человека не-человеку, мы также оказались способны делегировать ему недисциплинированность нашего маленького сорванца (и, возможно, соответствующий профсоюз). Бастует... Только представьте себе это! Не-человеки, прекращающие работу и требующие — чего? Выплат пособий? Свободного времени? Офисов с хорошим видом? Однако здесь бесполезно чем-то возмущаться, потому что не-человеки, несомненно, не являются настолько надежными, чтобы нереверсивность, которой нам хотелось бы их наделить, была абсолютной. Нам не хотелось еще когда-нибудь вспоминать об этой двери, если не считать регулярного проведения технического обслуживания (это просто иной способ сказать, что нам нет нужды о ней беспокоиться) — и вот, пожалуйста, мы вновь озабочены тем, как добиться, чтобы дверь все время была закрыта, а сквозняк оставался снаружи.

Что интересно в этом объявлении, так это юмор, приписывающий человеческий характер поломке, которая обычно рассматривается как «чисто техническая». Этот юмор, однако, более глубок, чем объявление синонимичного характера, которое можно было бы поместить на дверях: «Доводчик не работает». Я постоянно говорю с моим компьютером, который дерзит мне; я уверен, что вы клянете свою старую машину; мы постоянно наделяем таинственными способностями гремлинов, живущих внутри всех мыслимых домашних приборов, не говоря уже о трещинах в бетонном покрытии вокруг наших атомных электростанций. Однако моралистами — я подразумеваю здесь социологов — это поведение признается скандальным нарушением естественных барьеров. Когда вы пишете, что доводчик «бастует», это, как они считают, представляет собой «проекцию» человеческого поведения на холодный технический нечеловеческий объект,

который по своей природе не способен испытывать никаких чувств. Это антропоморфизм, что для них является грехом, подобным зоофилии, но только еще хуже.

Подобное морализирование чрезвычайно раздражает технологов, потому что автоматический доводчик уже насквозь антропоморфичен. Хорошо известно, что французы — большие любители этимологии; что ж, вот вам еще один экскурс в эту область: *άνθρωπος* и *μόρφος* вместе означают либо то, что имеет человеческую форму, либо то, что придает форму людям. Доводчик и в самом деле антропоморфен, причем сразу в трех смыслах: во-первых, он сделан людьми, является конструкцией; во-вторых, он замещает действие людей и является тем делегатом, который постоянно занимает позицию человека; и в-третьих, он формирует человеческое действие, предписывая, какие именно люди должны проходить в дверь. И после этого кто-то еще будет запрещать нам приписывать чувства этому полностью антропоморфному созданию? Делегировать трудовые отношения, «проецировать» — то есть переводить, транслировать — другие человеческие свойства доводчику? А что с множеством других нововведений, которые наделили гораздо более утонченные двери способностью видеть ваш приход (электронные глаза), или спрашивать, кто вы (электронный пропуск), или захлопываться в случае опасности? Но как бы то ни было, кто такие вы, социологи, чтобы раз и навсегда решить, какова реальная и конечная форма (*μόρφος*) людей (*άνθρωπος*)? Чтобы с уверенностью провести границу между тем, что является «реальным» делегированием, а что — «простой» проекцией? Чтобы, не прибегая к соответствующему исследованию, раз и навсегда разобраться в трех различных видах антропоморфизма, которые я перечислил выше? Разве мы не сформированы доводчиками-не-человеками, хотя, соглашусь, лишь в совсем незначительной степени? Разве они не наши братья? Разве они не заслуживают внимания? Вы с вашими корыстными и самодовольными социальными исследованиями технологии вечно жалуетесь на механизмы и увольнение рабочих, вызванное автоматизацией производства — но осознаете ли вы ваши дискриминационные предубеждения? Вы отделяете людей от не-человеков. Я не придерживаюсь этого предубеждения (хоть этого) и вижу только акторов — людей, не-человеков, квалифицированных, малоквалифицированных — которые обмениваются своими свойствами. (Но я увлекаюсь, что обычно происходит тогда, когда мы, технологи, дискутируем с нашими друзьями и тем не менее коллегами — социологами.) Таким образом, объявление, помещенное на двери, попадает в точку, оно с юмором и очень точно описывает поведение доводчика: он не работает, он бастует (заметьте, что слово

«бастовать» — это также антропоморфизм, перенесенный из человеческого репертуара в нечеловеческий, что еще раз доказывает несостоятельность этого разделения).

5. ВСТРОЕННЫЕ АВТОРЫ И ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Споры вокруг антропоморфизма возникают потому, что мы верим в реальное существование «людей» и «не-человеков», не осознавая, что это приписывание ролей и действия также являются результатом определенного выбора. Лучший способ осознать этот выбор — сопоставить устройства с текстами, поскольку вписанность создателей и пользователей в устройство является совершенно такой же, как вписанность авторов и читателей в повествование. Чтобы проиллюстрировать это утверждение, я должен теперь признаться, к моему стыду и вашему разочарованию, что я совсем не технолог. Я встроил в статью созданного мною автора, а также изобрел своих возможных читателей, чьи реакции и убеждения я предусмотрел. С самого начала я много раз использовал обращение «вы» и даже «вы, социологи». Если вы помните, я даже велел вам построить таблицу (или посоветовал это сделать). Я также попросил вашего разрешения продолжать это повествование. Делая это, я создал вписанного читателя, которому я с такой же несомненностью предписал определенные свойства и поведение, с какой светофор или картина подготавливают определенную позицию для тех, кто на них смотрит. Подписались ли вы под этим определением вас самих? Или, если сформулировать это еще радикальнее, есть ли вообще кто-нибудь, кто мог бы читать этот текст и занять ту позицию, которая приготовлена для его читателя? Этот вопрос является источником постоянных трудностей для тех, кто не знает основ семиотики. Ничто в данной сцене не может помешать вписанному пользователю или читателю вести себя иначе, чем это ожидалось (то есть ничто вплоть до следующего абзаца). Читатель из плоти и крови может полностью игнорировать мое определение его или ее. Тот, кто пользуется светофором, вполне может перейти дорогу на красный свет. И даже посетители Палаты кож, несмотря на то, что их поведение и траектория самым полным образом предвосхищаются доводчиком, могут просто никогда не добраться до него, поскольку найти это место слишком трудно. Что касается ввода информации в компьютер, то курсор может бесконечно мигать, несмотря на то, что пользователь отсутствует или не знает, что ему делать. Между пользователем, который задается предписанием, и пользователем из плоти и крови может быть огромный зазор, различие

столь же большое, как между «я» повествователя в романе и его автором. Именно это различие так сильно расстраивает авторов анонимного обращения, о котором я сейчас говорил. В других случаях, однако, зазор может быть нулевым: предписанный пользователь до такой степени предугадан, так тщательно вмонтирован внутрь сцены, так точно согласован с нею, что делает то, что от него ожидается.

Проблема, связанная со сценами, состоит в том, что они обычно хорошо подготовлены для того, чтобы предвосхищать поведение только тех пользователей или читателей, которые находятся поблизости. Например, доводчик успешно предусматривает то, что люди будут толкать дверь, открывая ее, и сообщать ей энергию, способную вернуть ее в обратное положение. Но он совершенно не способен помочь людям добраться до двери. Уже на расстоянии пятидесяти сантиметров он бесполезен и, например, никак не воздействует на те планы, которые развешаны по всей Ла Виллетт и объясняют, где находится Палата кож. Однако никакая сцена не может быть подготовленной без заложенного в нее представления о том, какого рода акторы будут занимать предписанные позиции. Вот почему я выше сказал, что, хотя вы вольны не читать дальше эту статью, это лишь «относительно» так. Почему? Потому что я знаю, что, поскольку вы купили эту книгу, вы трудолюбивые, серьезные, англоговорящие технологи или читатели, желающие понять новые направления в социальных исследованиях машин. Поэтому я могу преспокойно побиться об заклад, что у меня хорошие шансы, что вы прочитаете эту статью до конца! Поэтому мое предписание «читайте эту статью, вы, социолог» — не такое уж рискованное (но я бы не стал рисковать, если бы имел дело с французской аудиторией). Такой способ полагаться на более раннее распределение навыков, уменьшающее разрыв между встроенными пользователями или читателями и пользователями и читателями из плоти и крови, аналогичен предварительному вписыванию.

Подводя по ходу дела некоторые итоги, мы можем назвать социологизмом утверждение, что при наличии компетенции и предвписывания человеческих пользователей и авторов, вы можете вычитать тот сценарий, в соответствии с которым будут действовать акторы-не-человеки; а технологизмом — симметричное утверждение, что при наличии компетенции и предварительного вписывания в акторов-не-человеков, вы можете запросто вычитать и вывести то поведение, которое предписывается авторам и пользователям. Надеюсь, что с этого момента две эти нелепые точки зрения исчезнут со сцены, поскольку акторы в любом отношении могут быть как людьми, так и не-человеками и поскольку перемещение (или трансляция, или транскрипция)

делает невозможным легкое вычитывание одного репертуара из другого. Странная идея, что общество может быть составлено из человеческих отношений, представляет собой отражение другой, не менее странной идеи, что техника может быть составлена из нечеловеческих отношений. Мы имеем дело с персонажами, делегатами, представителями, заместителями («лейтенантами», от французского «lieu tenant», то есть «держатель места кого-либо другого»), некоторые из которых фигуративны, а другие — нефигуративны, некоторые — нечеловеческие, другие — человеческие, некоторые — некомпетентные, другие — компетентные. Вы хотите пробиться через это многообразие делегатов и создать два искусственных нагромождения, одно из которых — «общество» отбросов, а другое — «технология»? Это — ваше право, но я перед собой ставлю менее устрашающие задачи.

Сцена, текст, автоматизм — все это может оказать большое воздействие на предписанных пользователей, если они находятся на близком расстоянии, но то воздействие, которое в конечном итоге им приписывается, в большей мере зависит от целого ряда других последовательно выстроенных ситуаций. Например, доводчик закрывает дверь только в том случае, если есть люди, которые добрались до Центра истории наук; эти люди оказываются перед дверью, только если они нашли план квартала (еще один делегат, снабженный встроенным предписанием, которое мне особенно нравится: «вы находитесь здесь», обведенное на плане красным кружком) и только если есть дороги, ведущие от парижской кольцевой дороги к Палате (условие, которое не всегда выполняется); и конечно, люди станут беспокоиться о том, чтобы читать планы, шлепать по грязи и толкать дверь, чтобы открыть ее, только в том случае, если убеждены, что группа, которая там работает, заслуживает посещения (это едва ли не единственное условие в Ла Виллетт, которое выполняется). Этот градиент последовательно выстроенных ситуаций, которые наделяют акторов предварительно писанной компетенцией, позволяющей находить себе пользователей, очень похож на «креод» Уоддингтона³: поток людей легко проходит сквозь дверь Палаты кож и доводчик сто раз в день закрывает дверь, если только его не заело. Результатом такого последовательного выстраивания ситуаций является уменьшение количества

³ Теоретик биологии Конрад Уоддингтон ввел этот неологизм, означающий «необходимый путь», чтобы обратить внимание на некоторые закономерности, структурирующие процессы эволюции (например, существуют двуногие, четвероногие существа и т.д., но существ с некоторыми другими количествами ног не бывает) — *Прим. ред.*

случаев, в которых используются слова; большинство действий происходят безмолвно, они привычны, инкорпорированы (в человеческие или нечеловеческие тела), что значительно затрудняет работу аналитика. Даже классические споры о свободе, детерминированности и предопределенности, грубой силе или действенной воле, ведущиеся в XX веке и являющиеся продолжением споров XVII столетия о Божественном провидении, — постепенно улягутся. (Поскольку вы дочитали до этого места, это означает, что я был прав, когда говорил, что вы не вполне вольны перестать читать эту статью: ловко занимая позицию на креоде и используя несколько собственных уловок, я привел вас сюда... или нет? Может быть, вы перескочили через большую часть этой статьи или не поняли ни одного слова, о, вы, недисциплинированные читатели!)

6. ФИГУРАТИВНЫЕ И НЕФИГУРАТИВНЫЕ ПЕРСОНАЖИ

Большинство социологов ужасно переживают из-за нарушения священного барьера, отделяющего человека от не-человеков, поскольку смешивают данное деление с другим, с тем, которое существует между фигуративными и нефигуративными актерами. Если я говорю, что Гамлет — это образное представление «депрессии внутри аристократического класса», я перехожу от фигуры отдельной личности к менее индивидуальной фигуре — классу. Если я говорю, что Гамлет воплощает собой идею Рока, я прибегаю к менее фигуративным сущностям, и если я утверждаю, что он репрезентирует Западную цивилизацию, то я использую нефигуративные абстракции. Тем не менее все они равным образом являются актантами, то есть объектами, которые совершают свои действия либо в хитроумных пьесах Шекспира, либо в более скучных изысканиях комментаторов. Решение о том, наделять актантов фигуративностью или нет, полностью предоставлено авторам. То же самое можно сказать и в отношении техники. Инженеры являются авторами этих изощренных сюжетов и сценариев, в соответствии с которыми действуют множество делегированных, связанных друг с другом персонажей, и оценить которые могут лишь немногие. Характеристика техники при помощи закрепившегося за ней атрибута «нечеловеческая» просто-напросто игнорирует механизмы трансляции и тот выбор, который может быть сделан между фигурацией или дефигурацией, персонифицированием или абстрагированием, воплощением или развоплощением акторов.

Например, фигура, которая находится на изображении напротив вертела для жарки мяса в музее Hôtel-Dieu в городе Боне, — маленький

мальчик под названием «малыш Бертран» — является делегированным автором того вращательного движения, которое он осуществляет.

Этот маленький человечек так же хорошо известен в Боне, как «писающий мальчик» в Брюсселе. Конечно, не он совершает это движение — скрытый тяжелый маховик использует силу, возникающую тогда, когда демонстратор или повар поворачивают тяжелую ручку, которая наматывает ремень на оборудованный храповиком барабан. Очевидно, «малыш Бертран» полагает, что он единственный, кто производит эту работу, потому что он не только улыбается, но также с очевидной гордостью покачивает головой из стороны в сторону, вращая свою маленькую рукоятку. Когда мы были детьми и видели, как наш отец запускает механизм и снимает большую рукоятку, которой приводит его в движение, нам доставляло удовольствие думать, что вертел вращает именно этот паренек, а не то, что его приводит в движение что-то еще. Ирония заключается здесь в том, что хотя делегирование действия механизмам нацелено на то, чтобы сделать ненужным человека, вращающего вертел, сам механизм украшен постоянно эксплуатируемым персонажем, «работающим» весь день напролет.

Хотя эта история с человечком, вращающим вертел, представляет собой случай, противоположный примеру с доводчиком двери, если говорить о фигурации (доводчик на двери вовсе не напоминает швейцара, но в действительности делает ту же самую работу, тогда как «малыш Бертран» выглядит как самый настоящий поваренок, но на самом деле совершенно пассивен), то оба эти устройства представляют собой все же два сходных случая, если говорить о делегировании (вам больше не нужно закрывать дверь, и повар больше не должен вращать вертел). Автор произведения (*enunciator*) — словосочетание, обозначающее здесь как автора текста, так и механиков, которые изобрели вертел, — волен поместить, а волен и не помещать репрезентацию себя самого или себя самой в сценарий (идет ли речь о текстах или механизмах). «Малыш Бертран» — это делегированная версия того, кто отвечает за механизм. Это та же самая операция, которую я совершал, делая вид, что автор этой статьи является матерым технологом (тогда как на самом деле я простой социолог, что является второй локализацией текста, столь же неверной, как и первая, поскольку в действительности я простой философ...). Если я говорю «мы, технологи», я с той же очевидностью предлагаю определенное изображение автора текста, как если бы мы утвердили «малыша Бертрана» в качестве автора всей сцены. Но для меня и для механиков было бы возможным и не помещать никакого фигуративного персонажа в качестве автора в сценарии наших сценариев (если использовать жаргон

семиотики, то можно сказать, что здесь отсутствует нарратор). Мне надо было только вместо того, чтобы писать от первого лица («Я»), сказать что-то вроде «недавние исследования в социологии науки показали, что...», а механики должны были бы просто напросто убрать «малыша Бертрана» и оставить работать только лишь прекрасные коленчатые валы, зубцы, храповики и колеса.

Различия между людьми и не-человеками, воплощенными и развоплощенными навыками, персонификацией и «механизацией» являются менее интересными, чем вся цепочка, по которой распределяются компетенции и действия. Например, на днях, я притормозил на автостраде, потому что увидел парня в желтом костюме и красном шлеме, который махал красным флажком. Движения парня были такими размеренными, место, где он находился, было таким опасным, а улыбающееся лицо таким бледным, что, проезжая мимо, я понял, что это — механическое устройство (как сказал бы когнитивист, он не прошел тест Тьюринга). Делегированы были не только красный флажок и не только рука, размахивающая флажком, но и самому механизму был также придан телесный облик. Мы, дорожные инженеры (видите? я могу сделать это еще раз и создать еще одного автора), могли бы продвинуться гораздо дальше по пути фигурации, хотя это и обошлось бы недешево: мы могли бы наделить его / ее (осторожно! никакой сексуальной дискриминации роботов) электронными глазами, чтобы махать флажком только тогда, когда приближается автомобиль и отрегулировать эти движения так, чтобы они становились быстрее, если автомобиль не подчиняется, и мы также могли бы добавить к этому — почему бы нет? — разъяренный взгляд и узнаваемое лицо, напоминающие госпожу Тэтчер или президента Миттерана, что, конечно, является очень эффективным средством заставить водителей сбросить скорость. Но мы также могли бы пойти и по другому пути, по пути менее фигуративного делегирования: флажок и сам по себе мог бы выполнять эту работу. Да и зачем этот флажок? Почему, например, не поставить знак «ведутся дорожные работы»? И зачем вообще этот знак? Водители, если они осмотрительны, дисциплинированы и осторожны, сами увидят, что ведутся работы и сбавят скорость. В зависимости от того, где мы находимся на этой цепочке делегирования, мы получаем либо классических морально ответственных существ, наделенных чувством собственного достоинства, способных говорить и подчиняться законам, либо исполнительные и эффективные устройства и механизмы; а где-то посередине между двумя этими крайностями мы получаем обычную власть знаков и символов. Именно вся цепь целиком составляет недостающую массу, а не какое-либо из ее крайних звеньев.

7. ОТ НЕ-ЧЕЛОВЕКОВ К СВЕРХ-ЧЕЛОВЕКАМ

Здесь мы приходим к самому интересному и самому печальному уроку, который можем извлечь из объявления, помещенного на двери в Ла Виллетт: люди неосмотрительны, недисциплинированы и неосторожны, и особенно французские водители, которые дождливым воскресным утром выжимают на автостраде 180 километров в час, при том что ограничение скорости — 130 километров в час (я специально отмечаю установленный правилами предел в этой статье, потому что это единственное место, где вы можете увидеть его напечатанным черным по белому; похоже, что больше до этого никому нет дела, кроме родственников тех, кто погиб на дорогах). В этом и состоит суть нашего объявления: «Доводчик бастует, ради Бога, закрывайте двери». В наших обществах существуют две системы, к которым можно апеллировать: нечеловеческая и сверхчеловеческая, то есть механизмы и боги. Это объявление показывает, до какой степени отчаялись его озябшие анонимные авторы (мне так и не удалось выяснить, кто они, и почтить их так, как они того заслуживают). Сначала они полагались на моральные принципы и здравый смысл, присущий людям; однако из этого ничего не вышло, дверь всегда оставалась открытой. Тогда они обратились к тому, что мы, технологи, считаем самой высшей инстанцией, к какой только можно апеллировать, то есть к не-человеку, который бесперебойно и эффективно делает работу вместо ненадежных людей; к нашему стыду, мы должны признать, что через некоторое время и он не оправдал ожиданий, дверь опять распахнута настежь. Насколько последовательно двигается мысль авторов этого объявления! Они вернулись к самому древнему и непреклонному апелляционному суду, который только был, есть и будет. Если человек и не-человек подвели, то Бог, конечно, никогда не обманет их надежд. Мне стыдно говорить это, но, когда я тем роковым февральским днем проходил через холл, дверь была открыта... Но не вините в этом Бога, ведь объявление не обращалось непосредственно к Нему (я знаю, что я должен был добавить «к Ней» в интересах установления равноправия, но не уверен, как отреагировали бы на это теологи). Бог не доступен без посредников, анонимные авторы хорошо знали свой катехизис, поэтому вместо того, чтобы просить о непосредственном чуде (чтобы Бог Сам/Сама держал дверь плотно закрытой или сделал это при посредничестве Ангела, как то происходило в нескольких случаях, например, когда апостол Павел был освобожден из тюрьмы), они призывают к почитанию Бога в человеческих сердцах. В этом и состояла их ошибка. В наши секулярные времена этого уже недостаточно.

Похоже, в наши дни ничто уже не срабатывает, когда речь идет о дисциплинировании мужчин и женщин, и ничто не способно заставить их просто-напросто закрывать двери в холодную погоду. Точно такое же отчаяние подвигло дорожного инженера прибавить к красному флажку этого голема, в надежде заставить водителей быть осторожнее, хотя единственным способом заставить французских водителей уменьшить скорость по-прежнему остается старая добрая дорожная пробка. Как видно, требуется все больше и больше этих выстроенных в ряд фигуративных делегатов. В этом делегаты подобны наркотикам; начинаешь с легких, а заканчиваешь тем, что сидишь на игле. Делегированные персонажи тоже подвергаются инфляции. Спустя некоторое время их действие ослабевает. В давние времена, возможно, людям было достаточно только лишь иметь дверь, чтобы уметь ее закрывать. Но потом эти навыки, усвоенные на телесном уровне, каким-то образом исчезли; пришлось напоминать людям о том, что они должны этому учиться. В те старые добрые времена, возможно, хватало простой надписи «закрывайте двери». Но вы же знаете людей, они больше не обращают внимания на объявления и нуждаются в напоминаниях при помощи более сильных устройств. И тогда вы устанавливаете автоматические доводчики, поскольку электрошок применяется к людям не столь широко, как к коровам — прискорбное ограничение, от которого, быть может, скоро откажутся, особенно в Палате кож, которая, прежде чем приютить историков науки, предназначалась для обработки коровьих шкур. В прежние времена, когда все вещи делали хорошего качества, возможно, было достаточно только время от времени смазывать дверные устройства, но в наши дни даже механизмы бастуют.

Это, однако, не значит, что, как правило, все движется от более слабых устройств к более сильным, то есть от автономного корпуса знания к принуждению при посредничестве сформулированных предписаний, как заставляет думать дверь в Ла Виллетт. Это происходит также и другим путем. Бесспорно, что в Париже ни один водитель не будет соблюдать ограничения, устанавливаемые дорожным знаком (например, белой или желтой линией, запрещающей стоянку) или даже пешеходной дорожкой (то есть желтой линией плюс краем дороги шириной пятнадцать сантиметров); поэтому, вместо того, чтобы внедрять в сознание парижан внутрисоматический навык, власти предпочитают установить дополнительно и третьего делегата (тяжелые каменные глыбы в форме усеченных пирамид, размещенные таким образом, чтобы автомобили не смогли протиснуться между ними); но если исходить из достигнутых результатов, то вероятно, только сплошная Ве-

ликая стена высотой в два полных метра могла бы решить поставленную задачу, но и это, скорее всего, не сделало бы пешеходную дорожку безопасной, если учесть, насколько малоэффективной оказалась Великая Китайская стена (прошу прощения, что так много говорю об автомобилях, но я рад предложить вам этот новый случай социального детерминизма; я живу в Париже и по сто раз в день проклиная автомобили, припаркованные на пешеходных дорожках). Таким образом, идея сокращения кадров в связи с автоматизацией может показаться общим правилом; всегда следует идти от внутрисоматических навыков к внесоматическим; следует всегда полагаться скорее на надежных делегированных не-человеков, чем на недисциплинированных людей. Но это далеко не так, даже для парижских водителей. Например, красный свет светофора обычно заставляет их остановиться, по крайней мере, тогда, когда светофор устроен достаточно сложно, чтобы объединять транспортные потоки при помощи датчиков; делегированные полицейские, днем и ночью стоящие на своем посту, добиваются подчинения себе, даже несмотря на то, что у них для этого нет ни свистков, ни белых перчаток, ни тел. Достаточно воображаемой возможности столкновения с другими автомобилями или отсутствующими полицейскими, чтобы держать водителей под контролем. Мысленный эксперимент «что случилось бы, если бы делегированного персонажа здесь не было» совершенно аналогичен тому, который я рекомендовал выше для определения функции такого персонажа. Точно такое же воплощение письменного предписания в телесный навык имеет место в случае с руководствами по эксплуатации автомобиля. Никто, я полагаю, теперь не заглядывает в такое руководство (разве только мельком), прежде чем завести двигатель незнакомой машины. Существует большое количество навыков, которые до такой степени были усвоены или инкорпорированы нами, что медиация письменных инструкций является совершенно ненужной. Из внешнесоматических они стали внутрисоматическими. Инкорпорирование в человеческие тела или «экс-корпорирование» в не-человеков — это еще один выбор из числа тех, которые остаются на усмотрение проектировщиков.

8. ТЕКСТЫ И МЕХАНИЗМЫ

Даже если теперь стало очевидно, что недостающие массы нашего общества надо искать среди нечеловеческих механизмов, то неясно, как они попали туда и почему они были сброшены со счетов. Именно здесь аналогия между текстами и артефактами, которую я использовал до сих пор, начинает вводить нас в заблуждение. Существует кар-

динальное различие между повествованиями и механизмами, которое объясняет, почему механизмы с таким трудом находят себе место в нашем повседневном языке. Когда рассказывается история, перемещением называется любое перенесение персонажа либо в другое место, либо в другое время, либо к другому персонажу. Если я говорю вам, что «Пастер вошел в аудиторию университета Сорбонны», я беру настоящую ситуацию — вас и меня — и переношу ее в другое пространство (центр Парижа), другое время (середина XIX века) и к другим персонажам (Пастер и его аудитория). «Я», автор произведения, может решить появиться, исчезнуть или репрезентировать себя при помощи нарратора, рассказывающего эту историю («в тот день я сидел в аудитории в верхнем ряду»); «Я» может также решить поместить вас и любого читателя внутрь своей истории («если бы вы были там, вас бы убедили эксперименты Пастера»). Количество перемещений, из которых может состоять история, безгранично. Например, «Я» вполне может инсценировать внутри аудитории диалог между двумя персонажами, которые рассказывают историю о том, что произошло в Академии наук между, скажем, Пуше и Милн-Эдвардсом. В этом случае аудитория — это место, из которого нарраторы перемещаются, чтобы рассказать историю об Академии, и они могут переместиться назад, чтобы продолжить первую историю о Пастере, или не перемещаться. «Я» может также перемещаться по всем сериям вложенных друг в друга историй, чтобы закончить свою собственную историю и вернуться к ситуации, с которой я начал, — с вас и меня (Latour, 1988a). Все эти перемещения хорошо известны на кафедрах литературы, и именно в них и состоит мастерство талантливых писателей.

Независимо от того, насколько умны и искусны наши романисты, они не чета инженерам. Инженеры постоянно переносят своих персонажей в другое место и другое время, изобретают позиции для пользователей-людей и пользователей-не-человеков, демонтируют компетенции, перераспределяя их затем между многими различными акантами, создают сложные нарративные программы и подпрограммы, о которых выносятся суждения и оценки. К сожалению, литературных критиков гораздо больше, чем технологов, и изощренные достоинства техносциальных ситуаций ускользают от внимания образованной публики. Одна из причин такого отсутствия интереса может заключаться в особом характере перемещения, порождающего механизмы и устройства. Вместо того, чтобы позволить читателю истории одновременно находиться в другом месте (в рамках референции истории) и здесь (в своем кресле), техническое перемещение вынуждает его выбирать между направлениями референции. Вместо того, чтобы

допустить для авторов произведения и его адресатов что-то вроде со-присутствия и сопричастности с другими актерам, техника позволяет тем и другим игнорировать делегированных акторов и проходить мимо, даже не чувствуя их присутствия.

Чтобы понять разницу, существующую между двумя направлениями перемещения, позвольте нам рискнуть еще раз отправиться на французскую автостраду. В энный раз я крикнул Робинсону: «Не сиди посередине заднего сиденья — если я заторможу слишком резко, ты покойник!». В автомагазине, расположенном дальше по автостраде, я наталкиваюсь на устройство, сделанное для усталых-и-злых-родителей-детей-от-двух-до-пяти-лет (слишком взрослых для детского сиденья и недостаточно взрослых для ремня безопасности), у-которых-маленькая-семья (то есть такая, где нет кого-то еще, кто бы держал ребенка ради его безопасности), имеющих-машины-с-двумя-отдельными-передними-сиденьями-и-подголовниками. Это небольшой рынок, но он хорошо проанализирован немецкими ребятами, выпускающими подобные приспособления, и, если учитывать цену, он является, конечно, очень прибыльным. Это описание меня самого и той маленькой категории, к которой я счастлив оказаться приписанным, запечатлено в самом устройстве — стальном держателе с прочными креплениями, которые присоединяются к подголовникам, — и в рекламе на внешней стороне коробки; оно также предвписано в то единственное, пожалуй, место, где я мог бы понять, что нуждаюсь в этом устройстве, — в автостраду. (Если быть честным и воздать должное тому, что того заслуживает, я должен сказать, что у Антуана Эньона есть подобное приспособление в его машине и что я видел его за день до этого, так что на самом деле я искал его в магазине, а не «натолкнулся» на него, как я неверно сказал; это означает: а) что есть доля правды в исследованиях, посвященных распространению через подражание; б) что, если я буду описывать этот эпизод так же подробно, как и дверь, я никогда не смогу рассказать о работе, проделанной историками технологии в Ла Виллетт.) Чтобы закончить эту и без того слишком затянувшуюся историю, я сразу скажу, что больше не кричу на Робинсона и уже не пытаюсь глупо останавливать его моей вытянутой правой рукой: он крепко держится за брусок, который защитит его в том случае, если я заторможу.

Я делегировал постоянное предписание, осуществляемое моим голосом и протягиванием моей правой руки (с уменьшением полезного результата, как мы знаем из закона Фехнера), закрепленному, обитому тканью стальному держателю; конечно, я должен был совершить два обходных маневра: во-первых, взять бумажник, а во-вторых, достать

ящик с инструментами; спустя 200 франков и пять минут я установил устройство (разобравшись в инструкциях, написанных японскими иероглифами).

Перевод слов плюс маневр вытянутой руки в стальной держатель бесспорно являются трансляцией, но иного типа, нежели при рассказывании истории. Стальной держатель теперь завладел моей компетенцией в области удержания моего сына на расстоянии вытянутой руки. Если в наших обществах существуют тысячи таких помощников, которым мы делегировали компетенции, это означает, что наши социальные отношения определяются, главным образом, тем, что безмолвно предписывается нам не-человеками. Знание, мораль, профессиональное мастерство, принуждение, общительность являются качеством не людей, но людей, сопровождаемых целой свитой делегированных персонажей. Поскольку каждый из этих делегатов формирует связность какой-то части нашего социального мира, это означает, что изучение социальных отношений невозможно, если не принимать во внимание не-человеков (Latour, 1988b). Одна из задач социологии состоит в том, чтобы сделать для масс не-человеков, составляющих наши современные общества, то, что она с таким успехом сделала для масс обычных, никого не интересующих людей, которые составляют наше общество. Чтобы найти недостающие массы, к обычным людям надо добавить теперь живой, очаровательный, благородный... обычный механизм.

О трудах Роберта Фокса и миссионерской работе его группы можно много всего рассказать, но так много не-человеков требуют себе места в нашей модели общества, что я увлекся, описывая всего лишь дверь холла, ведущего в ее офис, и у меня не осталось места, чтобы рассказать о ее работе...

Перевод с английского Натальи Мовниной

ЛИТЕРАТУРА

- Akrich, Madlen. (1992) «The De-Description of Technical Objects», pp. 205–224 in Wiebe Bijker and John Law (eds.), *Shaping Technology/Building Society. Studies in Sociotechnical Change*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Latour, Bruno (1988a) «A Relativist Account of Einstein's Relativity», *Social Studies of Science* 18: 3–45.
- Latour, Bruno (1988b) «How to Write The Prince for Machines as Well as for Machinations», in Brian Elliot (ed.) *Technology and Social Change*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Winner, Langdon (1980) «Do Artifacts have Politics?», *Daedalus* 109: 121–136.

ДЖОН ЛО

ОБЪЕКТЫ И ПРОСТРАНСТВА¹

Данный текст является частью нашего совместного с Анн-Мари Мол проекта по исследованию пространственности. Это результат почти десятилетнего обсуждения, бесед и совместной работы. Я особенно благодарен Клаудии Кастанеде, Кевину Хезерингтону, Дункану Ло, Дорин Мэйси, Викки Синглтон, Джону Урри и Хелен Веран за обсуждение, поддержку, ободрение и критику.

ВВЕДЕНИЕ

Что такое объект? В акторно-сетевой теории (АНТ), в исходной ее форме, есть предельно конкретный ответ на этот вопрос. Объекты являются «производными» некоторых устойчивых множеств или сетей отношений. Наше фундаментальное допущение таково: объекты сохраняют свою целостность до тех пор, пока отношения между ними стабильны и неизменны.

Предложенный акторно-сетевой теорией подход многим обязан постструктуралистской семиотике. Семиотика (в европейском десосюрловском варианте синхронической лингвистики) показывает, что значение всякого слова относительно, то есть конституировано отношениями различия между данным словом и другими связанными с ним словами. Например, слова «собака» и «кошка». Каждое из этих слов приобретает значение благодаря отличию от другого и каждое из них соотносимо с иными именами: «собака», «кошка», «волк», «ще-

¹ Впервые эта работа была представлена автором на конференции «Sociality/Materiality: The Status of the Object in Social Science» (19 сентября 1999 г., Brunel University). Позднее сокращенная версия текста была опубликована в журнале «Theory, Culture and Society» (N5/6, 2002) и на сайте Ланкастерского университета: <http://www.comp.lancs.ac.uk/sociology/papers/Law-Objects-Spaces-Others.pdf>. Публикуется с разрешения автора — Прим ред.

нок» и т. д. Значение слова произвольно (arbitrary), хотя и сильно детерминировано сетью отношений различия. По сути, оно представляет собой результат этих отношений.

Структуралисты, как правило, утверждают, что такая произвольная природа языка открывает нечто универсальное в операциях человеческого мышления. Люди структурируют отношения определенными способами и делают это посредством содержащейся в их головах машинерии. Соответственно, предполагается, что все языки обладают одной и той же «глубинной структурой». В противоположность структуралистскому тезису об универсальности глубинной структуры, постструктурализм провозгласил существование различных, находящихся в процессе становления глубинных структур, создающихся и поддерживающихся в разных социальных ареалах. Данные структуры производят различные типы объектов и различные знания об этих объектах, что хорошо видно на примере предпринятого Мишелем Фуко анализа телесности. В классической эпистеме тело — это арена действия отношений символической власти (проявляющихся, например, в применении пыток), тогда как в современной эпистеме тело превращается в функциональную и (само) дисциплинированную машину, совокупность упорядоченных и продуктивных отношений. Соответственно, Фуко выделяет несколько «глубинных стратегий» упорядочивания таких связей (Фуко, 1999).

Акторно-сетевой подход сходен с подходом Фуко в том, что касается акцентирования значимости материального. Речь, тела, жесты и материалы — вроде зданий, кораблей, самолетов или огнестрельного оружия — все рассматривается как проявление стратегической логики, все участвует в поддержании всего. Все создано отношениями и участвует в их создании. Отличие же акторно-сетевой теории от постструктуралистского подхода состоит в том, что она менее увлечена «границами возможного», установленными современностью (а в некоторых вариантах и вовсе безразлична к данной проблематике). Вместо этого акторно-сетевая теория изучает конкретные стратегии, рекурсивно и продуктивно встроенные в отношения производства объектов, организаций, субъектов и т. п. ANT допускает не один, а множество современных «способов упорядочивания».

Что означает это различие между подходом М. Фуко и акторно-сетевым анализом? Предположим, что объекты действительно представляют собой просто «относительные неопределенности» («контингентности»). Это означает, что способы их образования и то, как приобретают устойчивость сформировавшие их отношения, — вопрос преимущественно эмпирический. В свою очередь, как подчеркивают

теоретики акторно-сетевого подхода, вся совокупность возможностей мира ограничена, но ограничена случайным образом, и поскольку вселенная может явить нам разнообразное множество вещей, способы их упорядочивания не агрегируются в большие эпистемические блоки.

Насколько удачен выбранный нами способ рассуждения? С одной стороны, можно рассматривать вышесказанное как освобождение от мрачной одержимости Фуко границами условий возможного, от его предубеждения против всего, что за последние двести лет незаметно лишило нас свободы посредством логики и стратегии современной эпистемы². Однако есть и другая возможность: сказать, что подобное рассуждение — лишь форма слепоты. В таком случае акторно-сетевая теория оказывается вовлеченной в интеллектуальную и политическую борьбу против попыток заглянуть за границы возможного. Найти неоткрытый континент и исследовать затененные, гетеротопичные места — места Иного, которые лежат за пределами сегодняшних возможностей³.

Данная работа посвящена этому недостатку «инаковости» (alterity). Мой вопрос таков: *что есть объект, если мы начинаем думать об «инаковости» серьезно?* Здесь я попробую рассмотреть эту тему пространственно или, вернее, топологически. Во-первых, я настаиваю на том, что производство объектов действительно имеет пространственные следствия; и, далее, что пространство не самоочевидно и не единично, но имеются *множественные формы пространственности*. Во-вторых, я предполагаю, что использование объектов само создает *пространственные условия возможности и невозможности*. Пространственности порождаются и приводятся в действие расположенными в них объектами — именно этим определяются границы возможного. (Следуя первому утверждению, стоит упомянуть, что пространственные возможности по своему характеру также множественны.) Существуют различные формы пространственностей; те, о которых говорим мы, включают в себя регионы, сети и потоки. В-третьих, я предполагаю, что эти *пространственности и объекты, которые заполняют и создают их, плохо совместимы, т. е. находятся в напряженных отношениях*. Они Иные по отношению друг к другу. Объектность есть отражение и творение их несовместности, результат переключения различных пространственных возможностей.

² Исключительно интересный анализ гетеротопий за пределами ограничений «эпистемы современности» предложен Кевином Хезерингтоном (Hetherington, 1997).

³ Подобную критику высказали Ник Ли и Стив Браун (Lee and Brawn, 1994), а также Сьюзен Ли Стар (Star, 1991).

ПОРТУГАЛЬЦЫ

В исследованиях, посвященных «науке, технике и обществу» (STS studies), теоретический анализ, как правило, опирается на рассмотрение ряда эмпирических примеров. Для нужд своего анализа мы обратимся к примеру одного крупномасштабного и весьма заметного исторического явления — технологиям португальской колониальной экспансии⁴.

Как известно, иберийские морские технологии — новые корабли и новые практики навигации — играли ключевую роль в колониальном доминировании Европы. Христофор Колумб добрался до Центральной Америки в 1492 году, Васко да Гама достиг берега Индии в 1498. Описание кораблей, использовавшихся в ранние периоды экспансии, позволяет выделить несколько технических особенностей. Эти суда были удобны в управлении (маленькие корабли быстро переоснащались при смене ветра); относительно защищены от абордажа (даже если атакующим удавалось забраться на борт, их встречал смертоносный огонь из укрытий на носу и корме); автономны (благодаря передовым навигационным технологиям, которые позволяли кораблям удаляться на значительное расстояние от земли и пользоваться всеми преимуществами попутных ветров и течений), а также обладали существенными транспортными возможностями и обслуживались немногочисленными командами (то есть, в отличие от гребных кораблей, могли оставаться в море месяцами).

Таким образом, в картине ранней португальской и испанской экспансии особое место занимают огромные корабли — галеоны — уходящие в море, проводящие в плавании до восемнадцати месяцев, возвращающиеся (если возвращающиеся) с грузом специй или награбленного золота. «Если» — потому что, несмотря на успех этих новых морских технологий, с их оригинальными кораблями и приспособленными к новым условиям навигационными техниками, корабли тонули, терялись или их команды умирали от голода и тропических болезней. Как говорили португальцы: «Если хочешь научиться молиться — отправляйся в море».

АКТОРНО-СЕТЕВАЯ ТЕОРИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ

С точки зрения акторно-сетевой теории описанная выше технология представляет собой *сеть*, причем сетевой анализ применим к различным уровням ее изучения. Например, корабль может быть представ-

⁴ Это исследование было описано в (Law, 1987).

лен в виде сети — сети остовов, рангоутов, парусов, канатов, пушек, складов продовольствия, кают и самой команды. С другой стороны, при более обобщенном рассмотрении, навигационная система, со всеми ее эфемеридами, астролябиями и квадрантами, таблицами расчетов, картами, штурманами и звездами, также может быть рассмотрена как сеть. Далее, при еще более отстраненном анализе, вся португальская имперская система в целом, с ее портами и пакгаузами, кораблями, военными диспозициями, рынками и купцами, может быть описана в тех же категориях⁵.

Выше было упомянуто множество объектов. Аргумент акторно-сетевой теории таков: объект (например, корабль) остается объектом до тех пор, пока отношения между ним и связанными с ним объектами устойчивы и все сохраняется на своих местах. Штурманы, противники-арабы, ветра и течения, команда, складские помещения, орудия: если эта сеть сохраняет устойчивость, корабль остается кораблем, он не тонет, не превращается в щепки, напоравшись на тропический риф, не оказывается захваченным пиратами и уведенным в Аравийское море. Он не пропадает, не теряется до тех пор, пока команда не сломлена болезнями или голодом. Корабль определяется своими отношениями с другими объектами и акторно-сетевой анализ направлен на исследование стратегий, которые производят (и, в свою очередь, произведены) этой *объектностью*, синтаксисом или дискурсом, определяющими место корабля в сети отношений.

Брюно Латур предложил интересную версию этой истории. Он говорит о *неизменных мобильностях* (Latour, 1990). Корабли представляют собой «мобильности», потому что действительно происходит их перемещение из Лиссабона в Калькутту. А «неизменные» они потому, что сохраняют при этом перемещении свою форму как сетевые единства. Таким образом, сетевая метафора действует в двух направлениях, на двух уровнях анализа, упомянутых выше. Неизменные мобильности, будучи объектами, сами являются сетями, ансамблями отношений. Но они также включены в сеть отношений с иными объектами. Если эта сеть разрывается, корабль перестает быть кораблем, теряет свою сетевую форму, превращаясь во что-то другое.

ВВЕДЕНИЕ В ТОПОЛОГИЮ

Все вышесказанное — пример классического акторно- сетевого анализа. Менее привычна другая идея: конституирование объектов с необходи-

⁵ Вопрос масштаба здесь особенно значим и требует отдельного рассмотрения.

мостью предполагает включение пространственных отношений. Латуровский термин «неизменные мобильности» отсылает к понятию движения — движения через пространство. Мы еще вернемся к этому позже. Пока же отметим, что идея сети (или существования объектов как сетевых единств) пространственно не нейтральна⁶ и указывает на производство определенного типа пространства. Чтобы прояснить этот аргумент нам потребуется краткое отступление в топологию.

Топология — отрасль математики, изучающая характер объектов в пространстве. Как она работает на практике? Нематематический ответ состоит в том, что топологи изучают пространственность с точки зрения непрерывности фигур. Фигуры сохраняют свойство непрерывности, даже будучи деформированными. В топологии, например, утверждается, что фигура сохраняет непрерывность своей формы, если она сплющена, согнута или растянута, но не в том случае, если она разорвана или сломана. При разрыве или повреждении поверхности она трансформируется, то есть не является более *гомеоморфной*. Например, топологически куб тождественен сфере, они гомеоморфны. Однако обе эти фигуры принципиально отличаются от фигуры бублика, потому что бублик можно получить из шара или куба, лишь проделав в них отверстие. В двумерном пространстве окружность и квадрат гомеоморфны, но отличны от дуги — чтобы получилась дуга, линию, образующую окружность (или квадрат), нужно разрезать.

Приведенные примеры согласуются с тем, что говорит о пространстве европейско-американский здравый смысл: пространство по характеру своему географично, евклидово. Но это обманчивое ощущение, потому что евклидова геометрия описывает лишь одну из пространственных возможностей. Топологи создают и исследуют разные вероятные пространства или (что, впрочем, одно и то же) различные условия, в которых объекты могут быть деформированы без повреждений. Конвенциональный характер этого вопроса станет более очевидным, если мы обратимся к примеру на Рис. 1.

Топологически две эти формы не эквивалентны. Потому что если мы захотим преобразовать Положение А в Положение В, нам будет недостаточно одной лишь деформации. Нам придется разрезать большую окружность, чтобы вытащить меньшую «наружу». Следовательно, непрерывность большей окружности будет нарушена, а гомеоморфизм — потерян. Однако это верно лишь в том случае, если мы мыслим в двумерном пространстве и вынуждены проводить свои

⁶ Эта идея развита в нашей совместной работе с Анн-Мари Мол. См.: (Mol and Law, 1994).

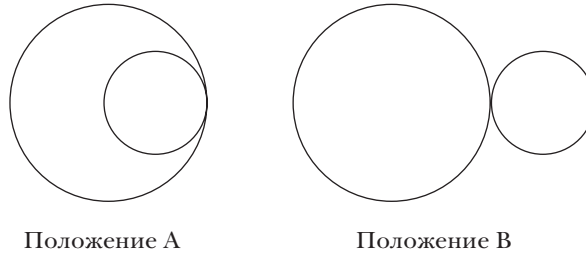


Рисунок 1. Гомеоморфное или не гомеоморфное преобразование?

преобразования на плоскости. Если же мы не ограничены двумя измерениями, то достаточно перекинуть одну окружность через другую в точке их соприкосновения, и Положение А будет преобразовано в Положение В без утраты гомеоморфизма. Непрерывность объекта не пострадает.

Приведенный пример иллюстрирует два интересующих нас аспекта проблемы: во-первых, он показывает, что пространственность — это конвенция; во-вторых, что для адекватного ее описания одной евклидовой геометрии мало⁷. Кроме того, пример с окружностями показывает, как тесно связаны между собой вопросы пространственности и непрерывности объектов. При каких обстоятельствах объект может быть изменен (например, перемещен в пространстве относительно прочих объектов) без трансформации его формы? Этим вопросом занимается топология, как область математики, призванная исследовать способности различных фигур к трансформациям (и различные пространства, которые делают эти трансформации возможными). Соответственно, существует множество способов определения того, что будет считаться непрерывностью формы, и что — пространством.

ЕВКЛИДОВО И НЕЕВКЛИДОВО ПРОСТРАНСТВО, ИЛИ «ЧТО ТАКОЕ КОРАБЛЬ»?

Как мы отметили выше, для европейско-американского здравого смысла наиболее очевидной формой пространства является пространство евклидово. Фигура здесь мыслится как нечто помещенное в систему координат, образованную тремя ортогональными осями, а объект

⁷ Те, кто в этом сомневаются, могут попробовать представить себе аналогичный пример со сферами вместо окружностей. Может ли малая сфера покинуть пределы большой сферы, не разрывая ее? Да, но только через четвертое измерение!

полагается неизменным, если его координаты в трехмерном пространстве остаются постоянными относительно друг друга. Изменение — например, перемещение объекта с одного места на другое, перемещение относительно других объектов — не означает утраты гомеоморфизма, если только отношение координат остается прежним. Так, корабль остается тем же самым кораблем, если, плавая по морям, сохраняет свою форму как физическое тело. Однако акторно-сетевая теория работает с другой, гораздо менее очевидной формой пространственности. Зададимся вопросом: что составляет непрерывность формы объекта как сетевого единства? *Объект остается тем же самым объектом, пока сохраняет свое место в устойчивой сети отношений с другими вещами.* Следовательно, ответ на данный вопрос: *стабильность порядка отношений.* Чтобы можно было показать пальцем на объект и сказать: «это корабль» (причем, корабль нормально функционирующий): корпус, парус, мачта, снасти, руль, цейхгауз, команда, вода, ветер — все это и многое другое должно сохранять свои *функциональные связи*⁸. Все части должны быть на «своих местах» и делать свою работу. На языке акторно-сетевой теории можно сказать, что все элементы должны быть «включены» (enroll) и оставаться «включенными». Так что нормально функционирующий корабль заимствует силу ветра, легкость течения, энергию команды и все это заключает в себе самом.

Обратите внимание: в евклидовом пространстве корабль есть устойчивая совокупность *ортогональных координат*, описывающих положение кормы, носа, киля, мачты и парусов относительно друг друга; пока корабль плывет, все эти части образуют единое целое. В пространстве сетей корабль также представляет собой устойчивый и непрерывный объект, «*сетевую форму*», целостность которой зависит от позиций всех релевантных, связанных с ним объектов. Так поддерживается объектная сущность судна. Это означает, что корабли *пространственно или топологически множественны*, т. е. находятся одновременно и в евклидовом пространстве и в пространстве сетевых отношений. Корабли гомеоморфны в каждом из пространств, поскольку сохраняют свою форму в обоих: физически — в одном, функционально или синтаксически — в другом. Однако *перемещаются эти объекты лишь в евклидовом пространстве*, в пространстве сетей они неподвижны. Никакого изменения отношений между компонентами, образующими корабли как объекты, не происходит. А если происходит, значит, что-то

⁸ Понимание того, как важен концепт «функциональности» в акторно-сетевой теории и некоторых других объяснительных схемах пришло ко мне после бесед с Клаудией Кастаньедой. Я исключительно признателен ей.

не так, значит, их сетевая форма «разорвана». В то же время, именно неподвижность корабля в сетевом пространстве делает возможным его перемещение в пространстве евклидовом, позволяя ему без повреждений покрывать расстояние между Калькуттой и Лиссабоном.

Такова анатомия латуровского понятия «неизменной мобильности». Неизменность здесь относится к сетевому пространству, тогда как мобильность — атрибут пространства евклидова. Резюмируя, можно сказать, что объекты способны к перемещениям благодаря своей топологической комплексности, благодаря тому, что они существуют одновременно в различных пространственных системах и потому что произведены они как пересечения этих пространственностей. Забегая вперед и рискуя сделать чрезмерно поспешный вывод, уточним данное нами выше определение объекта: *объекты представляют собой пересечения характеристик неизменности формы в разных топологиях*⁹.

СОЗДАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОСТИ

Европейско-американскому здравому смыслу свойственно ощущение «вечного евклидова пространства» — кажется, что пространство предшествует объектам и определяет условия их возможности. Мы чувствуем, что пространство появилось задолго до нас, что оно представляет собой нейтральный «контейнер» внутри которого нашим телам (или португальским кораблям) приходится существовать. Отчасти это так. Без сомнения существуют отдельные пространственные конфигурации, предшествующие некоторым объектам в евклидовом пространстве. Но, как мы отмечали выше, в топологии вопросы пространственности и гомеоморфизма объектов неразрывно связаны. Действительно, топологически объекты и пространства *созданы вместе*. Изобретая объекты и определяя, что в их случае будет считаться неизменностью формы, топология вместе с тем изобретает и определяет пространственные условия их возможности. Однако мы можем развить этот аргумент и за пределами топологии. Объект из нашей повседневной жизни, сформированный, деформированный или перемещенный с сохранением непрерывности формы в евклидовом пространстве *в то же время* создает это пространство. Или, если сфор-

⁹ Это заключение может увести нас в область чисто спекулятивных рассуждений. Далее я постараюсь избежать такой спекулятивности, указав, во-первых, на взаимное производство пространств и объектов, во-вторых — на то обстоятельство, что объекты просто не могут быть корректно описаны без должного внимания к их интертопологическому происхождению.

мулировать данный тезис более общо и лаконично, *пространства сделаны с использованием объектов*.

С точки зрения здравого смысла такое утверждение неприемлемо, в основном, потому что мы не видим *работы* по производству пространства. Пространственность «осела» в вещах. Если евклидово пространство воспринимается как вечное и неизменное, то представление о пространстве как о пред-существующем контейнере кажется вполне приемлемым. Поверить в создаваемость пространства трудно. Однако здесь — скорее случайно, чем намеренно — акторно-сетевая теория может оказаться полезной. Представить себе создание сети соотносимых друг с другом объектов гораздо легче, чем производство евклидова пространства (уже хотя бы потому, что в производство объектов вовлечена более или менее зримая инженерия). Действительно, это старая территория акторно-сетевого подхода, изначально предназначенного для изучения гетерогенной инженерии сетей, циркуляции неизменных мобильностей, формирования структур отношений, которые гарантируют, что законы Ньютона (как замечает Брюно Латур) будут одинаковы в Лондоне и Габоне (Latour, 1988: 227). Аргумент ANT таков: когда создается (сетевой) объект, создается также и весь (сетевой) мир, с его собственной пространственностью, собственным определением гомеоморфизма и непрерывности формы¹⁰.

СЕТИ СОЗДАЮТ РЕГИОНЫ, РЕГИОНЫ СОЗДАЮТ СЕТИ

Однако это всего лишь первый шаг. Все гораздо сложнее, поскольку образование сетевых пространств предполагает также производство евклидовой пространственности¹¹. Отчасти это вполне очевидный аргумент. Объекты (например, корабли), регионы (скажем, страны), измерения расстояний (таких, как расстояние от Лиссабона до Калькутты) *произведены сетевыми средствами*. Например, границы и расстояния произведены исследователями, которые знали, как использовать теодолиты, чтобы измерить углы между тригонометрическими точками, сделать аккуратную запись этих измерений, принести запись в картографический центр, где на основе уже имеющихся измерений

¹⁰ Вот почему некоторые теоретики ANT иногда говорят, что ничего не существует вне сети. Впрочем, этот тезис ведет к развитию «сетевого колониализма», утверждению идеи сетевого пространства как первичного, что само по себе неверно.

¹¹ Этот аргумент развивают не только сторонники акторно-сетевого подхода. Например, см. работы Д. Харви (Harvey, 1989) и Н. Трифта (Thrift, 1996).

и с использованием имеющихся навыков на двумерной поверхности была нарисована карта¹².

Анн-Мари Мол как-то заметила, что акторно-сетевой подход представляет собой средство для борьбы с регионами. Если быть более точным, это способ размыwania «естественности» региона, разрушения его самоочевидности. Наша задача — показать, что евклидовы условия пространственной возможности или невозможности не даны самим порядком вещей. Напротив, не только сетевые объекты и пространства произведены, но также, по аналогии, и евклидово пространство — есть результат производства. Точнее, результат серии производств устойчивых объектов и параллельного определения гооморфизма, как неизменности относительных ортогональных координат; результат серии производств, которые хотя бы частично происходят в сетевом пространстве.

Но если сети способствуют образованию регионов, то существуют ли сети «сами по себе», не испытывая обратной зависимости от евклидова пространства? Действительно ли они, как склонны полагать АНТ-теоретики, пространственно автономны? Есть несколько оснований для отрицательного ответа на эти вопросы. Например, приводившееся выше утверждение о зависимости сетевого объекта от серии производств в различных и дополнительных по отношению друг к другу топологических системах. (Мы еще вернемся к данному тезису.) Однако более очевидным нам кажется другой аргумент: создание сетевых объектов напрямую зависит от сохранения их гооморфизма в евклидовом пространстве.

Вернемся к португальским кораблям. Как мы видели, они представляют собой сетевые объекты, неизменность которых обусловлена своего рода синтаксисом, порядком отношений. Но они *также* являются объектами в евклидовом пространстве. Так или иначе, *корабль может быть целостным сетевым объектом только в том случае, если является неповрежденным евклидовым объектом*. И здесь возникает затруднение. *Чтобы создать объект, гооморфный в пространстве сетей, приходится иметь дело с евклидовым пространством*, т. е. создавать объект (в данном случае объект, имеющий форму корабля), чьи относительные евклидовы координаты постоянны.

Каковы следствия этого утверждения? Их два. Во-первых, старый иерархический подход акторно-сетевой теории — якобы пространство сетей и сетевые объекты являются *основанием* евклидовой пространственности и евклидовых объектов — ошибочен. Напротив, отношения между

¹² Все это детально было исследовано в работе (Latour, 1990).

двумя этими типами пространственностей и объектностей двусторонни. Во-вторых, производство объекта в одном пространстве предполагает изменения в другом. Иными словами, как было указано выше, *производство объектов всегда носит мультитопологический характер*, своей «непрерывностью» объекты обязаны пересечению различных пространств.

ВТУЛОЧНЫЙ НАСОС КАК «ИЗМЕНЧИВАЯ ТЕХНИКА»¹³

Пока мы говорили только о евклидовом и сетевом пространствах, но существуют и иные возможности. Для исследования одной из них я прибегну к другому эмпирическому примеру — примеру зимбабвийского втулочного насоса, описанного в образцовой работе Марианны де Лэт и Анн-Мари Мол как феномен *нестабильной техники* (de Laet and Mol, 2000)¹⁴. Нестабильным этот прибор делает размытость и неопределенность его границ:

Что представляет собой зимбабвийский втулочный насос? Устройство для выкачивания воды из земли, получившее наименование по названию самой значимой части своего механизма? Тип гидравлики, «производящей» воду в определенных количествах и из определенных источников? Или санитарное устройство, которое благодаря бетонной плите, опалубке, гравии и обсадным трубам, не позволяет просочиться зараженной и грязной воде? Тогда в «состав» насоса следует включить саму пробуренную скважину, а также все необходимые измерения, инструкции и пробы. Без них насос непригоден. А как быть с местным сообществом? Насос не может существовать вне деревень, поскольку тогда некому будет поддерживать его в рабочем состоянии, может быть и местное поселение следует добавить к его определению? Тогда, по-видимому, границы определения насоса совпадут с границами Зимбабве: даже по самым скромным меркам зимбабвийский втулочный насос вносит в создание Зимбабве не меньший вклад, чем Зимбабве — в создание втулочного насоса (de Laet and Mol, 2000: 273).

¹³ Далее для описания этой формы пространственности, отличной как от пространства сетей, так и от евклидова пространства, автор использует понятие «fluid» — термин, которым в физике обозначаются жидкие и газообразные вещества. Дословно: «текучий», в переносном значении — «подвижный», «изменчивый», «нестабильный». Выражения «текучая пространственность» и «пространство потоков» используются автором как синонимичные — *Прим ред.*

¹⁴ Представленный здесь аргумент впервые был изложен в нашей совместной работе (Mol and Law, 1994), а содержание эмпирического исследования подробно изложено в (de Laet and Mol, 2000). Аналогичную мультитопологическую аргументацию см. (Law and Mol, 1998).

Разве не составные части насоса определяют его объектность и поддерживают его «идентичность»? Однако болты, которыми насос крепится к своему основанию или ручка — к насосу, часто оказываются ненужными. Есть насосы, которые прекрасно без них обходятся. Кожаная изоляция в них с успехом замещается старой крышкой. Возможно, *существует* «устойчивое ядро» насоса — некоторые существенные его части — но это ядро постоянно размывается. «Сущностные» механизмы оказываются несущественными и легко заменимыми.

А если мы рассмотрим насос как устройство, обеспечивающее жителей чистой водой? Это тоже очень неопределенный критерий. Иногда насос качает воду, индекс кишечной палочки в которой менее 2,5 микроорганизмов на 100 мл, но отнюдь не всегда. Порой данный показатель вырастает в десять раз, причем, без заметных признаков заболевания среди жителей — все зависит от того, кто использует насос. Или вода может быть «грязной», но все же гораздо чище, чем вода, доступная жителям в близлежащем ручье; тогда мы по-прежнему вправе говорить о «нормально работающем насосе». И опять же если мы не в состоянии зафиксировать бактериологическое загрязнение воды, нашим единственным критерием остается отсутствие заболеваний среди жителей.

Рассмотрение изменчивой природы втулочного насоса может быть продолжено. Получим ли мы искомое «стабилизирующее» определение, если скажем, что насос — это устройство, вовлеченное (как часть государственной зимбабвийской политики) в строительство местных сообществ? Ответ — нет. Часто деревенские общины действительно поощряются к установке на своей территории втулочных насосов, но отнюдь не всегда; насосы конструируются стихийно небольшими группами семей, и, соответственно, не могут рассматриваться как инструмент социальной инженерии зимбабвийского государства. Более того, изменчивость насоса, его «нефиксированность» оказывается важным условием его эффективности: устройство легко трансформируется, приспособляясь к местным условиям. Никакой фиксированной структуры, никакого жесткого определения. Будучи установленным и используемым, насос непрерывно трансформируется, меняет свою форму, работает различными способами. В этом есть что-то от поведения его изобретателя, который твердо отказывается принять авторство своего изобретения.

Морган — человек, положивший начало этому *распределенному действию*... уверен в необходимости отказа от контроля. Успех внедрения, полагает он, зависит от привлечения тех, кто будет непосредственно использовать вне-

дряемое устройство. Соответственно, нужно расчистить место для их собственных методов и интуиции. В противном случае, любое нововведение обречено. Для сферы водоснабжения, говорит Морган, особенно характерно, что все новое и незнакомое попросту не работает, а яркие и сверкающие приспособления превращаются в груды ржавой и бесполезной техники (de Laet and Mol, 2000: 251).

ИЗМЕНЧИВАЯ НЕПРЕРЫВНОСТЬ

Итак, в евклидовом и в сетевом пространствах втулочный насос — нестабильный объект. Вероятно, его гомеоморфизм утрачивается при постоянных трансформациях. Однако такой вывод ставит нас перед проблемой: действительно ли речь идет о «сломанном» объекте или все же насос сохраняет гомеоморфность, но в некоем ином пространстве? Де Лэт и Мол высказываются в пользу второго решения. Насос как изменчивое устройство является частью (и участвует в производстве) особого типа текучей пространственности — пространства потоков.

Каковы правила преобразования формы в этом пространстве? Каким образом объект сохраняет непрерывность формы в текучем мире? Из примера с насосом мы можем вывести четыре заключения.

- Во-первых, *ни одна конкретная структура отношений не является привилегированной*. Это означает, что текучие объекты сохраняют свою идентичность в процессе образования новых отношений: реконфигурации уже существующих элементов или добавления других. Однако отсюда следует весьма сильное утверждение — в пространстве потоков *изменение* необходимо для сохранения гомеоморфизма. Объекты, которые зафиксированы и стабильны, например, в пространстве сетей оказываются сломанными в текучем пространстве. Они иные по отношению к нему.
- При этом не стоит забывать о непрерывности. Соответственно, наш второй вывод состоит в том, что *отношения, формирующие объект в пространстве потоков, меняются, но не одновременно, а постепенно*. В пространстве изменчивости «топологический разрыв» и утрата целостности происходят не только в случае «застывания» объекта, прекращения всякого его изменения, но и в случае слишком масштабных его трансформаций, которые также разрушают гомеоморфизм. Если все демонтируется одновременно, результатом будет потеря непрерывности формы и идентичности объекта. Возможно, в итоге появится некий иной, альтернативный объект, но он более не будет втулочным насосом.

- В-третьих, из приведенного примера следует, что *граница изменчивого объекта не фиксирована*. Его части могут устраниваться и замещаться другими. Невозможно начертать на песке линию (региональная метафора) и сказать, что гомеоморфизм зависит от этой границы. Действительно, установить жесткую фиксированную границу, значит разрушить изменчивый объект, поскольку гомеоморфизм в пространстве потоков зависит от подвижности границ. Ригидное установление «внутреннего» и «внешнего» чуждо текучей объектности.
- Однако, при всей их подвижности, *границы необходимы для существования объекта в пространстве потоков*. В какой-то момент различия пересиливают, гомеоморфизм утрачивается: объект изменяется слишком сильно и из втулочного насоса превращается, например, в поршневой насос. Или же растворяется в некоем большем объекте, прекращая свое самостоятельное существование. Таким образом, в пространстве потоков не действует принцип «все допустимо» (anything goes). Текучие объекты создаются практиками, весьма чувствительными к «разрыву», утрате непрерывности. Просто понимание разрыва здесь иное, нежели в сетевом или евклидовом пространстве.

Де Лэт и Мол распространяют такое видение текучего объекта с самого втулочного насоса на его (не) автора Моргана, который отказывается признавать и патентовать свое изобретение. Морган утверждает, что насос был изобретен многократно — во всех местах его разнообразного использования.

Морган создает не-создающего субъекта, растворенное «Я». Не в том смысле, что он сам растворяется и исчезает в пространстве. Распределенным и растворенным оказывается его изобретение. Возможно, его поведение видится нам столь привлекательным, потому что крайне далеко отстоит от поведения современного субъекта, ориентированного на достижение максимального контроля, — субъекта, с легкостью принимающего роль солдата, генерала, завоевателя или любой другой облик сильного и непоколебимого авторитета. Отказаться от контроля, служить людям, прислушиваться к *нга-нга* [шаманам, ищущим воду], смотреть, как изменяется, приспособляясь к местным нуждам, твое изобретение — это не поведение суверенного хозяина. Это феминистская мечта об идеальном мужчине (de Laet and Mol, 2000: 251–252)¹⁵.

¹⁵ Для Мол и де Лэт идеальный мужчина — это «человек потока». Нежелание Морган капитализировать собственное имя контрастирует с той беспардонной цен-

Отсюда следует один любопытный вывод. Различие между современным субъектом (кто-то добавит — современным объектом) и несовременным субъектом / объектом показывает, что многие так называемые потоки вовсе не принадлежат текучей пространственности. Например, неизменные мобильности, вроде корабля, являются неизменными, потому что сохраняют свою форму одновременно и в сетевом, и в евклидовом пространстве. Они перемещаются («плывут») в евклидовом пространстве, но, к пространству потоков никакого отношения не имеют. Следовательно, многое из того, что говорится о «глобальных потоках»¹⁶ — информации, капитале, людях — также принадлежит сетевому пространству и столь же мало относится к изменчивой поточной пространственности.

Действительно, как мы видели выше, текучие объекты теряют свой гомеоморфизм, будучи закрепленными и зафиксированными; эти объекты выходят за пределы возможного в сетевом пространстве¹⁷. То же касается центров. Краткий эмпирический экскурс. В конце XIX века во Франции сложилась практика: если вы хотели спасти свою корову от сибирской язвы, вы вынуждены были обращаться в лабораторию Луи Пастера (Латур, 2002). В результате, лаборатория аккумулировала ресурсы, необходимые для того, чтобы закрепить ее неоспоримое превосходство. Таким образом, Институт Пастера — *как объект в сетевом пространстве* — стал центром аккумуляции, его отношения с другими «местами» были закреплены и фиксированы.

Но это именно то, чего стремился избежать Морган! Притом изобретенный им втулочный насос пользуется немалым успехом. Просто его успех не приносит прибыли и вознаграждений одному конкретному человеку. Нет стратегического местоположения, где аккумулируются ресурсы, — нет центра и периферии¹⁸. Морган действительно

трализацией, которую некогда предпринял Луи Пастер, превративший свою лабораторию в «точку обязательного прохождения» для всех желающих получить вакцину против антракса. Подробнее об этом см. (Latour, 1988).

¹⁶ Пожалуй, наиболее яркий пример подобных описаний можно найти в работах Кастельса (Кастельс, 1999).

¹⁷ Этот аргумент был впервые изложен в работе (Mol and Law, 1994).

¹⁸ К этому тезису многое может быть добавлено. Несомненно, стратегии гибкой аккумуляции [которые обнаруживают современные капиталистические отношения] демонстрируют нам связь объектов, существующих одновременно в сетевом пространстве и пространстве потоков — это не просто вопрос перемещения неизменных мобильностей. Но зверю капитализма нужна берлога, капиталистические отношения должны где-то аккумулироваться — даже

«субъект пространства потоков»: как и изменчивые объекты, он находится вне сетевых ограничений. А потому он более или менее непонятен. Иной.

ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

Анализ примеров заставляет нас от описания отдельных пространственностей перейти к вопросу об их пересечении. Выше мы предположили, что объекты существуют и сохраняют непрерывность формы в нескольких различных пространственных системах, и, как следует из рассмотренных примеров, текучесть часто чужда пространству сетей. Но как, в таком случае, должны мыслиться пересечения пространственностей?

Чтобы серьезно разобраться с этим вопросом, одной статьи недостаточно. А потому здесь я ограничусь четырьмя краткими замечаниями, касающимися пересечения пространств сетей и потоков.

1. Поскольку сетевые объекты имеют свойство превращаться в объекты текучие, следует избегать излишней романтизации изменчивости. От сетевых объектов нелегко (если вообще возможно) избавиться. Нормально функционирующий объект иногда должен принимать форму сетевого объекта: здесь, конечно, вспоминаются португальские корабли, но даже втулочный насос обладает ядром устойчивых сетевых отношений — отношений вертикальных труб, рычагов, клапанов, шатунов и т. д. Насос также существует в евклидовом пространстве и создает это пространство. Как прочие объекты, он возникает на пересечении гомеоморфных отношений в нескольких топологических системах. Короче, даже в изменчивом мире потоков *сеть играет исключительно важную роль*.
2. И наоборот, сетевые объекты и реалии *зависят от изменчивости пространства потоков*. Например, приведенное выше сетевое описание португальских кораблей, очевидно, неполно — оно оставляет за скобками всю «специальную изменчивость» корабельной техники, необходимую для того, чтобы удерживать корабль на плаву в течение восемнадцатимесячного путешествия в Индию и обратно. Иными словами, сетевой гомеоморфизм, обнаруживаемый исследователем в любом центре аккумуляции, скрывает бесконечное многообразие случайных, текучих, ситуативных изменчивостей.

если это «где-то» перемещается в евклидовом (и даже в сетевом) пространстве. Более подробно данная дискуссия изложена в (Law and Netherington, 2000).

3. Отсюда следует, что такая «работа потоков» часто остается *невидимой*: она просто не гомеоморфна в пространстве сетей и потому неопи-суема. Сети произведены неизменными мобильностями (которые, в свою очередь произведены сетями) — товарами, дисциплиниро-ванными исполнителями и особенно данными, прочно связанными друг с другом в узловом центре сети, центре аккумуляции. Сетевая пространственность зависит от сетевых объектов, сохраняющих целостность благодаря порядку (аналогичному синтаксису) посто-янно выполняемых функций. Следовательно, то, что не произве-дено в рамках такого инвариантного функционального синтаксиса, *вообще не может быть представлено ни в каком узловом центре сети*. Го-воря метафорически, изменчивость «протекает» сквозь сеть.
4. В тех же случаях, когда объекты/субъекты, принадлежащие про-странству потоков, становятся различными в сетевом простран-стве, они выглядят опасно *неопределенными, нечеткими и размытыми*. В отличие от Пастера, Морган не производит впечатления чело-века, чьи действия организованы и взаимосвязаны. Специалисты сферы здравоохранения, бухгалтеры, архитекторы, люди с улицы — все они смотрятся так, будто им не удастся выдержать требования соответствующего протокола: медсестры самостоятельно проводят операции, матери не укладывают своих детей спать на спине, ла-боранты пренебрегают инструкциями, стрелочники на железно-дорожных станциях выполняют свои обязанности спустя рукава¹⁹. Наша гипотеза такова: сети поддерживают гомеоморфизм вклю-ченных в них объектов и все, что препятствует его поддержанию — в том числе описанная выше изменчивость — становится одновре-менно видимым и чужим, распознается как вероятность утраты се-тевого гомеоморфизма и, следовательно, как угроза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Топология создает пространства посредством установления правил, правила дают ответ на вопрос «что именно следует считать гомео-морфным объектом?». Число возможных правил (и, соответственно, возможных пространств) не ограничено. Акторно-сетевая теория на-стаивает на пространственном понимании объектов и объектном по-нимании пространств, населенных и созданных этими объектами. От-

¹⁹ Примеры из области здравоохранения заимствованы из работ В. Синглтон (Singleton, 1998), (Singleton, 2000). Случай сигнальщиков исследован в рабо-те (Law and Mol, 2002).

сюда напрямую следует отказ от реификации евклидова пространства, указание на взаимное производство пространств и объектов. Некоторые версии акторно-сетевой теории нацелены на установление граничных условий пространственной (и политической) возможности²⁰. Анализ изменчивостей, напротив, указывает на то, что гомеоморфные объекты в пространстве потоков одновременно сопротивляются условиям сетевой пространственности и поддерживают ее. Способы, которыми они это делают, кажутся беспорядочными, неорганизованными и далекими от совершенства, но выглядят они так лишь в перспективе сетевого пространства. Зачастую изменчивые формы представляются «ошибкой сети»: мол, если бы их удалось вернуть к сетевой организации, вещи были бы лучше. Таково распространенное заблуждение.

Цель настоящей статьи — денатурализация сетевого пространства и сетевых объектов как созданных, производных, и фокусировка на топологически множественных объектах, существующих в качестве пересечений или точек интерференции различных пространств — регионов, сетей и потоков. В частности, я предположил, что объекты могут быть поняты как пересечения между различными определениями непрерывности формы: евклидовой, сетевой и текучей.

Наконец, я попытался предложить пространственное понимание инаковости. Вопреки тому, что обычно говорится и делается, существуют объекты и пространства, лежащие за пределами сетей. Я хотел бы закончить свой текст утверждением: пространственные системы *политически не нейтральны*. Они являются политическими, потому что создают объекты и субъекты определенного вида и с определенным типом гомеоморфности. Потому что устанавливают пределы условиям возможности объектов. Потому что формулируют запреты на те или иные формы «инаковости». И потому что (как в случае с сетевым пространством) стремятся эти «инаковости» устранить. Сети, таким образом, воплощают и производят «политическое», замаскированное под «функциональное».

В то же время сетевая пространственность не может быть отрицана, скорее — осажена или умерена. Следствием чего станет понимание текучей пространственности, как потоков, воплощающих и производящих альтернативную политику целостности объектов — политику, не привязанную к функциональности, централизации, синтаксической стабильности или капитализации. Как мы видели, эта политика

²⁰ Более подробно об этом см.: (Harraway, 1994), (Strathern, 1996), а также работы в сборнике (Law and Hassard, 1999).

чужда сетевой пространственности, она *Иная* по отношению к ней. Именно поэтому, в порядке свершения политического выбора, следует исследовать объекты в их пространственной множественности и инаковости, создать и артикулировать альтернативные пространственности, и, в частности, реабилитировать изменчивость пространства потоков.

Перевод с английского Виктора Вахштайна

ЛИТЕРАТУРА

- Кастельс, Мануэль (1999) Становление общества сетевых культур // В.Л. Иноземцев (ред.) *Новая постиндустриальная волна на Западе*. Антология. М.
- Фуко, Мишель (1999) *Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы*. М.: Ad Marginem.
- Латур, Брюно (2002) Дайте мне лабораторию, и я переверну мир // *Логос* 5–6 (35): 211–241.
- de Laet, Marianne, and Annemarie Mol (2000) The Zimbabwe Bush Pump: Mechanics of a Fluid Technology // *Social Studies of Science* 30: 225–63.
- Haraway, Donna (1994) A Game of Cats Cradle: Science Studies, Feminist Theory, Cultural Studies // *Configurations* 1: 59–71.
- Harvey, David (1989) *The Condition of Postmodernity: an Enquiry into the Origins of Cultural Change*. Oxford: Blackwell.
- Hetherington, Kevin (1997) *The Badlands of Modernity: Heterotopia and Social Ordering*. London: Routledge.
- Hetherington, Kevin, and Rolland Munro (eds) (1997) *Ideas of Difference: Social Spaces and the Labour of Division*. Oxford: Blackwell.
- Latour, Bruno (1988) *The Pasteurization of France*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Latour, Bruno (1990) Drawing Things Together, pp. 19–68 // Michael Lynch and Steve Woolgar (eds), *Representation in Scientific Practice*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Law, John (1986) On the Methods of Long Distance Control: Vessels, Navigation and the Portuguese Route to India, pp. 234–263 // John Law (ed.), *Power, Action and Belief: a new Sociology of Knowledge?* London: Routledge and Kegan Paul.
- Law, John (1987) Technology and Heterogeneous Engineering: the Case of the Portuguese Expansion, pp. 111–134 // Wiebe E. Bijker, Thomas P. Hughes, and Trevor Pinch (eds) *The Social Construction of Technical Systems: New Directions in the Sociology and History of Technology*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Law, John and John Hassard (eds) (1999) *Actor Network Theory and After*. Oxford: Blackwell.

- Law, John and Kevin Hetherington (2000) Materialities, Spatialities, Globalities, pp. 34–49 // John Bryson, Peter Daniels, Nick Henry and Jane Pollard (eds) *Knowledge, Space, Economy*. London: Routledge.
- Law, John and Annemarie Mol (1998) Metrics and Fluids: Notes on Otherness // Robert Chia (ed.) *Organised Worlds: Explorations in Technology, Organisation and Modernity*. London: Routledge.
- Law, John and Annemarie Mol (2001) Situating Technoscience: an Inquiry into Spatialities, 19: 609–621.
- Law, John and Annemarie Mol (2002) Local Entanglements or Utopian Moves: an Inquiry into Train Accidents, pp. 82–105 // Martin Parker (ed.) *Utopia and Organization*. Oxford: Blackwell.
- Lee, Nick, and Steve Brown (1994) Otherness and the Actor Network: the Undiscovered Continent // *American Behavioural Scientist*, 36: 772–790.
- Mol, Annemarie, and John Law (1994) Regions, Networks and Fluids: Anaemia and Social Topology // *Social Studies of Science*, 24: 641–671.
- Singleton, Vicky (1998) Stabilizing Instabilities: the Role of the Laboratory in the United Kingdom Cervical Screening Programme, pp. 86–104 // Marc Berg and Annemarie Mol (eds) *Differences in Medicine: Unravelling Practices, Techniques and Bodies*. Durham, NC.: Duke University Press.
- Singleton, Vicky (2000) Made on Locations: Public Health and Subjectivities, submitEd. Star, Susan Leigh (1991) Power, Technologies and the Phenomenology of Conventions: on being Allergic to Onions, pp. 26–56 // John Law (ed.) *A Sociology of Monsters? Essays on Power, Technology and Domination*. London: Routledge.
- Strathern, Marilyn (1996) Cutting the Network // *Journal of the Royal Anthropological Institute*, 2: 517–535.
- Thrift, Nigel (1996) *Spatial Formations*. London: Sage.

УИЛЬЯМ ПИЦ

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

ОБ ИСТОРИИ ДОГОВОРНОГО ПРАВА¹

Нынешний период отмечен утратой интереса к истории права со стороны социологов. В среде последних немного найдется таких, кто попытался бы, по примеру Макса Вебера (1968), разрабатывать фундаментальные категории социальной теории на основе подробного исторического исследования правовых форм. Если какая-то часть их и предпочитает отсылать свою социальную теорию к эмпирическим, а не к универсальным структурам, то подобная отсылка имеет в своей основе наблюдения современных обществ. Работы такого рода принимают либо форму этнографических, этнометодологических или опирающихся на статистику исследований, пионером которых стал в свое время Эмиль Дюркгейм (1951), либо форму постмодернистских критических «набегов» на различные культурные явления; в результате этих «набегов» иногда появляются ситуативно значимые теории. Одним из позитивных следствий данного подхода оказалось сближение понятия социальности (а также субъективности) с понятием материальности, благодаря более серьезному отношению к «конкретным формам жизни» (Habermas, 1987: 326). Такие теоретические конструкции, как «коммуникативно структурированные жизненные миры» (Habermas, 1987: 295) и «габитус» (Bourdieu, 1977: 78) еще больше концентрируют внимание на деятельностных структурах

¹ Впервые эта работа была представлена автором на конференции «Sociality / Materiality: The Status of the Object in Social Science» (19 сентября 1999 г., Brunel University). Позднее несколько измененная версия текста была опубликована в журнале «Theory, Culture and Society» (№ 5/6, 2002). Название статьи — «material considerations» — дословно означает «материальные вознаграждения», однако автором слово «consideration» используется в более широком смысле: и как «соображения», и как «интерес». При переводе учтена эта особенность авторского словоупотребления — Прим. ред.

сегодняшней жизни и на перформативном микровоспроизводстве социального порядка.

Однако, хотя сам по себе габитус или жизненный мир полагаются «историческими», это не означает, что к историческому исследованию относятся как к чему-то необходимому для формулирования теоретической аргументации. Более того, существует тенденция пренебрегать юридической терминологией и институциональными дискурсами как формами идеологического затуманивания реальной картины становления социальной жизни. Изучать их считается необходимым только с целью развенчания. Правовой дискурс становится первой жертвой этого подхода. Так, например, Бурдье (1997: 105) рассматривает закон в качестве «оправданной (justified) силы». Поскольку же истинной основой правопорядка является «внеправовое насилие» (Bourdieu, 1977: 95), исследование языка права и лежащей в его основе логики лишено смысла.

Настоящее эссе опирается на иную точку зрения. Я полагаю, что институциональные дискурсы и, в частности, правовые терминологии обладают социальной консеквенциональностью². По моему мнению, последние вовлечены в некое диалектическое обращение конкретных предметов жизненного мира или габитуса посредством рутинизированных коммуникативных актов, объективирующих их в качестве социальных фактов. Хотя высказанное утверждение и не является целью этой статьи, я полагаю, что все последующее изложение будет служить ему доказательством.

Название статьи («материальные вознаграждения») отсылает к присущему правовой культуре Англии и бывших британских колоний, таких, как Соединенные Штаты и Нигерия, неясному, но важному социальному объекту. В этих обществах *материальное вознаграждение* представляет собой фактическую реальность; обычно это некая вещь, обладающая экономической ценностью и наделенная благодаря ей важнейшим видом социальной власти: власти трансформировать субъективное обещание в объективное обязательство. Говоря конкретней, материальное вознаграждение есть фактическая причина договорных обязательств. В функционировании материальных вознагра-

² «Социальная консеквенциональность» — буквально, «способность иметь социальные последствия». У. Пиц противопоставляет юридический тезис «консеквенциональности» социологическому тезису «конвенциональности». Если для П. Бурдье всякая юридическая терминология — есть конвенция, *результат* социального соглашения, то для У. Пица, напротив, право становится одним из *источников* социального — Прим. ред.

граждений как формирующего фактора договорных отношений меня особенно интересует то, что в этом процессе экономическая ценность материального предмета фигурирует исключительно в качестве средства порождения социального факта — правового обязательства.

В настоящем эссе исследуется история вознаграждения как правовой и как социальной реальности. Из подзаголовка следует, что главной целью этих исследований является использование задействованного в судопроизводстве метода социального исследования для изучения конкретных исторических процессов денежной оценки. Я намерен подвергнуть анализу материальные вознаграждения, потому что именно с ними в данной области связана основополагающая проблема — проблема отношений между судебно-правовыми объектами и капитализированными экономическими объектами.

Современное судопроизводство как теоретическая дисциплина изучает «гибриды» (Latour, 1993) — в том смысле, что его задача состоит в переводе знания о физической каузальности, являющегося достоянием культуры, на изрядно отличающийся от него язык социальной причинности, в контексте которого и устанавливаются правовые обязательства. Думаю, большинство из нас склонно ассоциировать теорию современного судопроизводства с полицейскими процедурами, в ходе которых находит применение уголовное право: с анализом места преступления, тел жертв, с лабораторным анализом образцов крови и токсинов, с физическим анализом «сомнительных документов» на предмет выявления фактов мошенничества и подлога и т. п. Но и в гражданском праве судопроизводство имеет важное значение. Так, например, проблема того, что можно называть судебной практикой капитала, впервые привлекла мое внимание в связи с появлением современного кодекса гражданских правонарушений. В 1846 году британским парламентом был отменен старинный квазирелигиозный закон Англии, по которому за смерть от несчастного случая должна была выплачиваться компенсация в размере денежной стоимости объекта, ставшего причиной смерти (Pietz, 1997). Этот закон был заменен «Законом о несчастных случаях, повлекших за собой тяжкие последствия», предусматривающим расчет размера компенсационных выплат исходя из оценки будущего неполученного дохода погибшего. «Законом о несчастных случаях» 1846 года устанавливалась современная процедура определения денежной ценности человеческой жизни, которая с тех пор используется во всех англоязычных капиталистических странах. Поводом для этой правовой реформы явилась новая социальная проблема, возникшая в конце 30-х — начале 40-х годов XIX века с распространением на территории Англии сети желез-

ных дорог; речь идет о проблеме крушений поездов. Двойственность статуса вовлеченного в судебный процесс материального объекта — локомотива — фигурирующего одновременно в качестве ценного капиталовложения и в качестве подлежащей судебному разбирательству причины смерти людей (а стало быть, являвшегося участником новой правоприменительной практики выплаты денежных компенсаций), как мне кажется, ставила перед теорией требующую разрешения проблему соотношения капитализма и судопроизводства.

Хотя проблема соотношения объектов судопроизводства и капитализированных объектов позволяет наиболее ярко представить дела о компенсациях в связи с несчастными случаями, вероятно, гражданское право — не та область, в которой эта проблема предстает во всей своей «фундаментальности». Потому что гражданское право обычно занимается физическими происшествиями, становящимися причиной телесных повреждений — столкновений, несчастных случаев на производстве, «врожденных уродств», вызванных употреблением лекарственных препаратов родителями ребенка. В таких случаях перевод физической каузальности на язык юридических обязательств выглядит относительно просто и непроблематично. Теория судопроизводства, определяя, какие из случаев физической причинности должны быть установлены законом как влекущие за собой судебную ответственность, использует собственные знания в области баллистики, структуры материалов или эпидемиологии. Случаи же денежной оценки — калькуляции причиненного ущерба — могут показаться несвязанными с практикой судопроизводства. Относительно неотрефлексированной теоретической проблемой является тот факт, что некоторые подразделы теоретического судопроизводства, такие, как судебная инженерия, прямо затрагивают стоимость капитализированных активов в случае, если они требуют пересмотра конструкции или правил техники безопасности.

Чисто экономический подход к таким сторонам судопроизводства предполагает, конечно, анализ соотношения прибылей и убытков, наиболее известным примером которого являются калькуляции, проводимые производителями автомобилей. На основании этих калькуляций они выносят заключение: например, оснащение машин ремнями безопасности и другими страховочными приспособлениями будет неоправданным, если снижение прибылей вследствие увеличения стоимости автомобилей перекроет стоимость компенсационных выплат и судебных расходов, связанных со смертями в автокатастрофах. Важным основанием для требований установления неэкономических критериев судопроизводства, оспаривающих легитимность эконо-

мики как истинно «научной» логики правильного социального устройства, продолжает оставаться неприятие обществом такого экономически верного образа мысли. Но само гражданское право разрабатывалось в середине XIX века в качестве существенного дополнения и усовершенствования того, что тогда представлялось многим всеохватывающей правовой формой гражданского общества — речь идет о договорном праве (law of contract). В своей прекрасной книге «Причинность закона» Харт и Хоноре (1985: 308–9) подчеркивают, что в договорном праве рассмотрение вопросов причинности имеет гораздо меньшее значение, чем в гражданском праве, потому что в контексте договора причиненный вред рассматривается скорее как экономический ущерб, а не как нанесение физического увечья. В собственной небольшой главе, посвященной договору, Харт и Хоноре рассматривают причинность только в связи с нарушениями существующих договоров. Проблему причинности в ситуации первоначального заключения договора они не затрагивают. В данной работе, ставя в центр внимания правовую концепцию материальных вознаграждений, я исследую правовой аспект того, как реально формируются договорные социальные отношения.

МАТЕРИАЛЬНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ СОЦИАЛЬНОСТИ

Согласно правовой концепции вознаграждений, договор не может состояться вследствие простого обещания, данного кому-то на словах. Положение о том, что правовое обязательство не может проистекать из «голой договоренности», то есть из чисто словесного соглашения, является одним из принципов римского права, используемого английской юриспруденцией. По латыни данное положение звучит: *Nudum pactum non parit actionem* или *nudo pacto non oritur action* (Holdsworth, 1942: Vol. 8: 1–42; Pollock and Maitland, 1959: Vol. 2: 194). Согласно современному англо-американскому праву, для того чтобы добровольное соглашение в отсутствие письменного договора стало законным обязательством, необходимо наличие дополнительного компонента: «загадочной субстанции, называемой *вознаграждением*» — так излагает суть дела Фридман (1973: 245).

Требование, согласно которому помимо словесного должно иметься и некое материальное свидетельство договоренности, позволяет удостовериться в значении договора как социального объекта, а не простого соглашения между отдельными индивидами. Государство берет на себя миссию обеспечить выполнение обязательств по договорам, чего оно не делает в отношении даже самых искренне

заключенных и чрезвычайно важных обещаний. Соображения, преобразующие личное обещание в социально санкционированное обязательство, не могут быть тем, что зовется «соображениями морали», такими как чувство личного морального долга. Скорее, это должны быть «материальные» соображения, такие как переход из рук в руки некоего осязаемого предмета. Кое-кому из читателей памятен фильм Сьюзан Сэрндон «Клиент». В нем маленький мальчик, которого собирается допросить честолобивый следователь (мальчику известно нечто об убийствах, совершенных одной организованной преступной группировкой), нанимает сочувствующую ему женщину-адвоката, вручив ей скомканную долларовую бумажку. Факта передачи даже такой символической суммы оказывается достаточно для заключения формального договора, в данном случае — договора между адвокатом и клиентом. В заключении подобного договора доллар играет роль «предварительного гонорара»³. Выплата предварительного гонорара обуславливает вступление в действие системы прав и обязанностей, составляющих отношения между адвокатом и клиентом и запрещает поверенному действовать в интересах противника своего клиента (практически так же, как выплата задатка, о котором я поведу речь позже, запрещает торговцу продать товар другому покупателю). Хотя предварительный гонорар может рассматриваться (и часто рассматривается) как оплата в рассрочку (часть общей суммы, которую надлежит уплатить за оказанную услугу), первичная роль гонорара — в том, чтобы служить материальным вознаграждением.

В романе Джона Гришема (кстати, бывшего юриста), по которому был снят фильм «Клиент», адвокат говорит мальчику: «Технически ты должен мне что-то заплатить в качестве предварительного гонорара и как только ты это сделаешь, я стану твоим представителем». Хотя адвокат принимает доллар, она не рассматривает его в качестве предоплаты за будущие услуги. Это лишь техническое требование для установления контрактных отношений. Понимая, как много значит доллар для ребенка, она пытается вернуть его, не задев гордости мальчика — ведь он «нанял» себе адвоката (Grisham, 1993: 113). В фильме мальчик не передает доллар из рук в руки. Он просто кладет его на стол перед ней. В англо-американской правовой системе этого

³ Слово «retainer» в английском языке означает «держатель», «фиксатор», «стопор» и одновременно — «предварительный гонорар, выплачиваемый адвокату». У.Пиц далее обыгрывает эту двойственность значения: материальность вознаграждения фиксирует, скрепляет и удерживает социальные отношения сторон — *Прим. ред.*

вполне достаточно. Для контракта, имеющего исковую силу, важно то, что человек, получивший обещание — в данном случае обещание юридического представительства — «разлучается» с некоторой обладающей стоимостью вещью, находящейся в его распоряжении. Человек, давший обещание, не обязательно становится обладателем этой вещи (в нашем случае — бумажной банкноты), достаточно того, что он соглашается с ее отчуждением как с приемлемым вознаграждением.

Вознаграждение представляет собой социальный факт, порожденный добровольным отчуждением обладающего стоимостью материального предмета. По крайней мере, такого понимания придерживаются с XIX века, когда в качестве прецедента был принят исход ученого спора по поводу судебного дела «Коггс против Бернарда» (2 *Ld. Raym.* 909). В основе данного дела лежал следующий инцидент. Один джентльмен попросил водителя грузовика подвести к себе домой бочонок бренди. Водитель согласился, и этот человек вручил ему бочонок. Водитель доставил бочонок до дома, но при разгрузке так швырнул его, что бренди пролился. При этом никаких денег заплачено не было, но не было и явно высказанной просьбы оплатить оказанную услугу. Только водитель мог сказать, согласился ли он оказать любезность, доставив бренди, было ли это чистое выражение доброты или же он рассчитывал подзаработать, получив деньги после доставки. В отсутствие внешних свидетельств субъективная мотивация есть нечто недоказуемое. Суду надлежало решить, несет ли водитель ответственность за причиненный ущерб. Поскольку простого обещания выполнить то, о чем просят, недостаточно для установления факта формального обязательства, признать ответственность водителя можно было лишь установив, что в этом случае имело место материальное вознаграждение. Суд постановил, что фактически материального вознаграждения здесь не было. Но что же тогда было? Некоторые интерпретаторы доказывали, что само действие доставки водителем ящика свидетельствовало о наличии требуемых «материальных соображений». Оливер Венделл Холмс убедительно доказывал, что материальные соображения обнаруживали себя в предшествующем действии, когда владелец вручил водителю ящик бренди, тем самым отчуждая от себя самую некую материальную ценность и фактически перестав распоряжаться предметом, которым он по праву обладал. Это, согласно Холмсу (1881: 290–2), и был тот момент, когда данное водителем обещание стало формальным обязательством.

Вознаграждения являются примером действий того типа (свойственных культурам, чей облик сложился под воздействием определенной правовой традиции), которые кладут начало новому социальному

факту. Неотъемлемым условием возникновения этого нового социального факта является акт отчуждения некоего обладающего стоимостью материального предмета, будь то самая дешевая из банкнот, довольно дорогой бочонок спиртного, или дорогостоящие активы в облике локомотивного состава. Без подобной материальности социальность не существует.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ КАК ФЕНОМЕН ЭПОХИ МОДЕРНА

Требование, чтобы клиент отказывал себе в распоряжении каким-то материальным предметом (стоимость которого иногда чисто символическая) может показаться пустой формальностью или бессмысленным ритуалом, дошедшим до нас из первобытных эпох. В действительности же позитивной доктриной и конкретной правовой реальностью вознаграждения стали лишь в конце XVI века. До наших дней они дожили в качестве объекта права при вынесении судебных решений и одновременно в качестве практических реалий социальных соглашений.

Верно и то, что материальные вознаграждения принято причислять к характерным особенностям английской истории. Специфика этой исторической особенности заключается в следующем: в Англии правовая процедура возвращения непогашенных долгов (в ранней версии английского права словом «долг» (debt) обозначалась определенная сумма денег) была установлена еще до того, как во всеобщее обращение в государственном управлении и в частных договорах вошли письменные документы. Когда же письменная форма утвердилась повсеместно, была разработана специально приспособленная к письменным договорам правовая форма — действие, именуемое «заключением соглашения» или «договором-ковенантом». Собственно говоря, ковенантами назывались письменные документы, заверенные печатью участвующей стороны; наличие печати означало, что для вынесения судом окончательного решения не требовалось дополнительных свидетельских показаний. Между тем в ранней версии закона, подзащитный, желавший оспаривать требование выплаты долга, имел возможность «перекупить закон»: он мог уплатить суду «заклад» или залог (некую сумму денег или нечто, обладающее денежной стоимостью), который становился безвозвратным в случае, если ответчик не являлся в суд в назначенный день чтобы поклясться в том, что он не должен взыскиваемой с него суммы — и к тому же не приводил с собой одиннадцать соседей, готовых подтвердить его клятву. Истец в этом случае имел право привести в суд столько же или вдвое больше

свидетелей, готовых клятвенно подтвердить правоту его, истца, требований. Эта называемая «компургацией» процедура привлечения в суд друзей, подкреплявших собственными клятвами клятву одной из сторон, была отменена благодаря появлению суда присяжных (где свидетели, способные повлиять на судебное решение, вызывались судом, а не какой-либо из сторон; к тому же к ним предъявлялось новое требование: судить об относящихся к делу фактах беспристрастно). Все это имело место в судах, руководствовавшихся общим правом (*common law*). С появлением специальных судов справедливости, чье назначение состояло в исправлении недостатков системы общего права, была разработана новая процедура востребования непогашенных долгов. Согласно этой процедуре суд предпринимал «*assumpsit*» (латинский термин, означавший, что некто «взял на себя» (*assumed*) ответственность или «подрядился» сделать что-то). Обязательства, взятые на себя судом согласно *assumpsit*’у, изначально представляли собой некие сделки, сводившиеся к открыто корыстному обмену товарами или услугами, а правильность правового решения гарантировалась в таком случае присутствием некоего «*quid pro quo*»⁴. Так закон и решал дела о взыскании долгов и предпринимал *assumpsit* по договорам и подобным им соглашениям, заключавшимся без письменных документов. В XV — начале XVI веков принцип «*quid pro quo*» нередко описывали как «взаимные вознаграждения» обеих сторон договора. В конце XVI века термин «вознаграждения» начал обретать технический смысл, отличный от «*quid pro quo*», или, можно сказать, он стал отождествляться с «*quid*», вынуждавшим другую сторону взять на себя обязательство по обеспечению «*quo*», и в процедуру было включено словесное обещание последующего исполнения данного обязательства. Тем самым под «вознаграждениями» стали понимать материальную ценность, обеспечиваемую исполнением обязательства или «вынуждением» обещавшего сдержать свое слово. Так в теорию права вошло положение о том, что в отсутствие *вознаграждения* как некоего дополнения к *обещанию* последнее не может стать *договором*.

Исторически, «вознаграждения» возникли как юридическая реакция на факт развития в британском обществе коммерческих отношений. Эти коммерческие отношения приняли, или, как минимум, стремились принять, форму добровольных договоров, заключаемых самостоятельными частными предпринимателями, участниками сделки: «В средние века, когда законодательства создавались с целью установления идеально справедливых условий осуществления коммерческой

⁴ «услуга за услугу» (*лат.*)

и производственной деятельности, когда преследование подобной цели подталкивало законодателей к детальному регулированию этих условий посредством издания различных статутов и местных подзаконных актов, любая попытка нарушить действие установленных правил расценивалась как нарушение закона... Но мы видим, что на протяжении XVI века политические и моральные представления менялись так же быстро, как и условия предпринимательства, и что эти изменения с неизбежностью порождали множество перемен в экономических представлениях людей. При этом преследовалась цель не столько обретения идеально справедливых условий, сколько увеличения мощи нации. Следовало побуждать предпринимателей к открытию новых производств; именно ради этого должны были учреждаться новые ассоциации и компании — их усилиями должна была обеспечиваться требуемая мощь капитала. Как отдельным предпринимателям, так и предпринимательским союзам следовало предоставить большую, чем прежде, свободу, в том числе и свободу заключения любых нужных им договоров» (Holdsworth, 1942: Vol. 8, 56–7).

Когда же коммерческие связи оказывались разорванными, публичные власти, ответственные за разрешение споров, испытывали нужду в неких объективных свидетельствах имеющихся между сторонами обязательств.

В период формирования самого понятия «вознаграждение», английское право не обладало единой процедурой рассмотрения споров по договорам: в рассмотрении письменных договоров (дел о ковенантах), денежных долгов (дел о долгах) и того, что можно назвать контрактами по обслуживанию (дел об *assumpsit*)⁵ существовали самые разные «способы действия». Но помимо юридических судов складывался и новый дискурс коммерческого колониализма, представлявший торговый обмен как деятельность, в сущности своей цивилизующую и благожелательную. В книге «Десятилетия Нового мира» (1555) Ричард Иден⁵ выдвигает новаторскую аргументацию, согласно которой хороший коммерсант одновременно является и добрым христианином, утверждающим гражданский порядок уже тем, что участвует в честной торговле. «Созданный Иденом образ коммерсанта-христианина, насаждающего «цивилизованность» путем «диалога» (так он называл «коммерцию») с язычниками, являет новый важный способ озвучивания дискурсивной тематики европейского колонизаторского дискурса» (Williams, 1990: 130). Этот дискурс, распространивший идеал обменов «на равных» между участниками сделки, впервые был

⁵ Eden, Richard (1555). *Decades of the Newe Worlde*.

артикулирован сторонниками торговли с дальними странами, такими, как «Московия», «Азия» и Новый Свет. Представление о том, что данная договорная форма коммерческих трансакций может рассматриваться в качестве универсальной модели хорошо отлаженных социальных отношений получило хождение в британской интеллектуальной культуре после 1570 года, когда отлучение от церкви королевы Елизаветы не только спровоцировало испанцев в Новом Свете на агрессивные военные выступления, но и вызвало серьезный интерес государства к новой торговой идеологии как теоретической альтернативе политической теологии, оправдывавшей не только санкционированное папством испанское колониальное владычество и монополию испанцев в области торговли, но и легитимность европейских суверенов. В то время как сторонники колонизации Нового Света и торговли с дальними странами создали новую идеологию коммерции как цивилизующего социального процесса, принятие этой идеологии значительной частью елизаветинского истеблишмента, состоявшееся приблизительно в 1584 году, было связано не столько с присутствием испанцев-католиков в Америках, сколько с их военным присутствием в Бельгии и с затуханием восстания голландцев и Нидерландах (Russell, Congrad 1971: 234–7). Кроме того, по утверждению Рассела (1971: 222–9, 237–40), еще одним важным фактором становления представлений об обществе как о «контракте» свободных договаривающихся сторон явилось британское пресвитерианство. Это представление содержалось в пресвитерианском идеале правления посредством выборного органа, а не епископальной иерархии. Пресвитерианский идеал нацеливал на внимательное отношение к процедурам достижения коллективного соглашения и к соблюдению предусматриваемых им индивидуальных прав его участников. Этот «пуританский легализм» нашел свое наиболее яркое воплощение в юриспруденции верховного судьи Кока, тогда как идеал всенационального политического контракта — идеи, одинаково близкой и купцам, и радикальным протестантам — получил широкое хождение в начале XVII века, в эпоху провала парламентского проекта «Великого договора» (Great Contract).

В конце XVI века сама практика торговли становилась все более формализованной, и это лишь подчеркивало ее образцовую упорядоченность. Именно в этот период были опубликованы первые руководства, знакомящие английских читателей с бухгалтерской системой двойной записи⁶ (Poovey, 1998: 41–59; Thompson, 1994: 56). Воз-

⁶ Система учета, в соответствии с которой каждая операция отражается одновременно по дебету одного и кредиту другого бухгалтерского счета; считается

растание значения торговых соглашений, контрактов коммерческих продаж и точного фиксирования меновых стоимостей послужило для юристов тем социальным фоном, в котором начался поиск логики договорных обязательств, а именно ее не хватало практическому функционированию английского права. Словом «вознаграждения» («соображения») пользовались сначала не как техническим термином, при помощи этого слова устанавливалась некая аналогия между различными правовыми процедурами, использовавшимися в ту эпоху для установления договорных обязательств. Хотя письменные контракты, фигурировавшие в практике договоров-ковенантов, и не имели в качестве условия их истинности вручения обладавших стоимостью предметов, уже в 1566 году один юрист высказал мнение, что печать, которую следует прилагать ко всем письменным сделкам, «придает им значение материального соображения» (Holdsworth, 1942: Vol. 3, 149).

Понятие «соображения» («вознаграждения») возникло в период, называемый историками «ранним модерном». Будучи новым общим понятием, оно сформировалось главным образом в результате возрастания в Британии роли и значения коммерции. Его можно с полным правом причислить к «идеологическим» представлениям, поскольку появление его повлекло за собой реинтерпретацию (а точнее, как я намерен показать далее, искажение) ценности материальности, каковая и являлась обязательным элементом «вознаграждений».

КОММЕРЧЕСКАЯ МЕНОВАЯ СТОИМОСТЬ И БОЖЬЯ КОПЕЕЧКА

Хотя понятие «вознаграждения» вызвано к жизни торговыми мотивами, было бы ошибкой оценивать статус вознаграждений в терминах коммерческой меновой стоимости. Подобное толкование кажется возможным из-за того, что «вознаграждения» принимают форму передачи денег или какого-то ценного предмета. Но согласно классическому понятию «вознаграждения», сформулированному в XVI–XVII веках, «денежные вознаграждения» являлись лишь одной из форм материальных вознаграждений. Другая форма, называемая «вознаграждение, основанное на благих побуждениях» (*good consideration*), не имела ничего общего с деньгами или их передачей. Кроме того, правовые прецеденты, на основе которых создавалось данное понятие, предполагали наличие феодального представления о деньгах, имевшее мало общего с коммерческой меновой стоимостью.

более надежной по сравнению с простой бухгалтерией, т. к. позволяет проверять точность отражения операций — *Прим. ред.*

Нет ничего нового в утверждении, что собственность феодала и деньги, циркулировавшие между ним и христианским королевским государством, не имели капитализированной меновой стоимости. Хотя частью системы была продажа собственности с целью получения необходимых для уплаты налогов денег, денежная оценка движимого имущества и поместий, измеряемых «наделами», используемых для оценки его долга в качестве плательщика земельного налога, или в «запашках» и других мерах оценки долга, бывших в ходу в XVI–XVII веках, не зря исходила из того, что доход, получаемый от владения собственностью, являлся результатом естественного плодородия земли, а не прибылью, выручаемой от продажи чего-то на рынке (Jurkowski et al., 1998). Английские короли действительно обращались к торговому капиталу за займами для финансирования своих войн, но эти займы были чем-то внешним и даже противоречащим самой феодальной системе. Одалживание в XIII веке у купцов-евреев обрело форму особого института, Еврейского Казначейства, и подвергалось нападкам со стороны представителей английской феодальной системы, завершившимся в 1290 году изгнанием евреев из страны. В начале XIV века английские короли получали займы и от итальянских банкиров (вплоть до краха великих флорентийских банковских домов в 1340 году), и от английских экспортеров шерсти, чей привилегированный статус был институционализирован в 1363 году («Гильдия города Кале»). Усиление в ходе четырнадцатого столетия парламентского правления, и особенно палаты общин, состоящей в основном из купцов, означало наступление сферы монетарных меновых стоимостей на фискальные структуры английского государства. Однако утрата контроля над парламентом со стороны короля — теперь для назначения налогов ему требовалось согласие парламента — а также народное восстание (спровоцированное тем, что основное налоговое бремя в виде подушного налога было перенесено парламентом в 1377–1381 годах на некупеческое население) засвидетельствовали провал попыток интеграции торговой системы монетарных меновых стоимостей в фискальную систему государства. Фискальная политика Йорков и Тюдоров, проводимая ими с конца XV и на протяжении XVI века, продолжавшаяся до самых последних лет правления Елизаветы I, состояла в попытке обрести независимость от торгового капитала и парламента путем превращения в товар самой феодальной собственности, восстановления прерогатив короны в землевладении, а также посредством браков и опекунов (Hurstfield, 1958). Лишь в самом конце XVI века английское государство стало получать значительную часть своего дохода от таможен, «доивших» заморскую торговлю (Coleman, 1977: 57). Феодальная соб-

ственность даже в XVII веке не являлась в материальном аспекте формой капитализированной меновой стоимости.

В XIII веке в европейских коммерческих кругах использование денег в целях установления договорных обязательств начинает принимать в купеческой среде форму авансовых платежей — так называемой Божьей копеечки. Задаток представлял собой платеж, вносимый не за саму вещь, а за согласие продавца не продавать ее кому-либо другому. Задаток можно было бы считать средневековым аналогом того, что современные экономисты называют компенсацией за упущенные возможности (opportunity cost), но подобное было бы навязыванием Средневековой экономической логики, чуждой действительной логике задатка. Современная теория по большей части не сознает того факта, что средневековая монетарная система имела в своей основе функциональную взаимозависимость, в которой сосуществовали монетарные меновые стоимости торговой экономики, монетарные налоговые ценности монархического государства, облагаемые этими налогами феодальные поместья, а также то, что я назвал в другом месте деньгами для «благочестивого использования» — институционализированная экономика христианского милосердия и спасения души (Pietz, 1997: 101–2). Данный недостаток, как мне кажется, присутствует и в следующем отрывке из работы двух великих историков права Поллока и Мейтланда: «По всей Западной Европе задаток получает хождение в качестве Божьей копеечки или копеечки Святого Духа (denarius Dei). Порой мы видим, что его расходуют на покупку свечей для святого — покровителя города или на благотворительность. Таким образом договор оказывается под защитой святого. Из купеческого устава, каким он дошел до нас в пересказе Флета (Fleta), видно, что Божья копеечка еще, так сказать, не решается выказать свою подлинную сущность — договора купли-продажи. Несколькими годами позже последний шаг в этом направлении сделал Эдуард I... провозгласив в своей «*Carta Mercatoria*», что в купеческой среде Божья копеечка налагает на стороны обязательства, по которым никто не может нарушить заключенный таким образом договор» (Pollock and Maitland, 1959: Vol. 2, 208).

Несмотря на то, что задаток, подобно залому при получении кредита, на протяжении трех веков превращался в свойственные секуляризованному модерну денежные «вознаграждения», в своем историческом существовании в качестве Божьей копеечки он не был договором купли-продажи, якобы скрывавшимся под религиозной маской христианского благочестия. Способность христианской веры служить источником санкций воплотилась в целом ряде материальных предметов, обладавших реальной публичной властью. Это была функцио-

нальная составляющая рассматриваемого нами конкретно-исторического периода.

Конкретная сумма «Божьих копеечек», которую следовало выплатить в качестве задатка, рассчитывалась исходя не из стоимости «упущенных возможностей» продавца или «естественной цены» обещанного товара. Здесь достаточно было — исходя из критериев монетарных отношений в религиозных, купеческих и юридических институтах того времени — сослаться на санкцию христианской веры в той мере, в какой представитель некупеческого населения мог связывать себя клятвами на святых реликвиях или на мече, повернутом таким образом, чтобы его эфес и рукоятка образовывали крест. Как следует из самого выражения «Божья копейка», гарантом соблюдения договоров могла служить и самая мелкая денежная единица, поскольку ее функцией было установить материальную связь между договором и внешней санкционирующей силой живого Бога, который в те времена считался материально присутствующим (нельзя не сказать) в тысяче различных вещей. Эта логика связывания социальной санкции с материальным получила продолжение в теории «вознаграждений», хотя в наше время их санкционирующая сила заключена во всей системе правосудия светского государства. Конечно, в момент их появления на свет монархическое государство, частью которого были суды, все еще черпало собственную легитимность в божественном праве. Только в XVIII веке английская юриспруденция предприняла серьезную попытку истолковать «вознаграждения» в терминах совершенно светской коммерческой логики субъективного соглашения, заключенного автономными индивидами.

ДЕМАТЕРИАЛИЗАЦИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ: НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ПРОЕКТ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Какое бы теоретическое обоснование ни подводилось под «вознаграждения», в юриспруденции они определялись как материальные факты, наличие которых необходимо «для того чтобы обещание могло стать предметом [судебного] иска» (Holdsworth, 1942: Vol. 8, 7). Учитывая, насколько сильное влияние на формирование дискурса социальных наук оказали Дэвид Юм, Адам Смит и другие представители Эдинбургской школы моральной философии, нелишне отметить, что шотландское право было ближе к континентальным правовым системам, которые усматривали в устных договоренностях достаточные основания для подачи иска (*causa*), чем к английскому праву (оно, как я уже говорил, придерживалось римской максимы относи-

тельно «голых пактов» и не принимало идеи «связующей устной формулы» (*stipulatio*). Для Смита это означало, что английский закон был более истинным выражением того, что Юм называл «естественной историей человека»: «Право Шотландии и большинства других европейских наций по сути является гражданским правом, *оно не приемлет лишь того, что nuda facta не могут служить основанием для иска...* Английский же закон сложился как система до открытия «Пандектов» Юстиниана... Поэтому он меньше заимствует из этих законов, чем закон любой другой европейкой нации; поэтому же он больше заслуживает внимания мыслящего человека, более других опираясь на естественные чувства человечества» (Smith, 1982: 98. *Курсив мой*).

В своем рассмотрении происхождения договорных обязательств А. Смит проводит различие между простым выражением обещания, не имеющим обязывающей силы, и торжественно сформулированным *вербальным* заявлением, римским *stipulatio*, которое такой силой обладает. Относительная непосвященность его в детали английского права, возможно, и была причиной неверного описания им «соображений» («вознаграждений») как эквивалента «causa» в церковном и континентальном праве. Смит полагал, что соображение есть «обещание не забыть сдержать обещание»: «Так же как в римском праве никакие обещания не обязывают к действию, если не подкрепляются особыми оговорками, в английском праве «соображения» или причина для выполнения обещаний изначально были необходимы для придания им обязывающего характера. Если кто-то пообещал своей дочери определенную сумму денег, подобное есть «соображение» и поэтому он обязан выполнить обещанное. Если же он пообещал то же самое чужой дочери, его обещание есть *sine causa*, и если дочь другого человека не является ему родственницей, из этого обещания не обязательно родится соответствующее действие. Если я вам что-то пообещал, это не значит, что я обязательно это сделаю, *но если я при этом пообещал не забыть своего обещания, первое оказывается обязательным к выполнению, а последнее обещание есть то соображение, которое сделало его таковым*» (Smith, 1982: 473. *Курсив мой*).

Неправильно истолковав «соображения» («вознаграждения»), Смит игнорирует и материалистический образ мысли, несомненно присутствующий в факте признания английским законом двух типов вознаграждений. «Вознаграждения, — пишет Блэкстон, — могут быть либо основанными на моральных соображениях (*good consideration*), либо стоимостными. На моральных соображениях основываются вознаграждения по зову крови, естественной любви и привязанности, когда человек, движимый щедростью, порядочностью и естественным

долгом, жалуется поместье близкому родственнику; стоимостными являются соображения, касающиеся денег, заключения брака и т. п., — всего того, что закон рассматривает как некий эквивалент сделанного дара; поэтому такие вознаграждения находят свою опору в правосудии» (Blackstone, 1979; Vol. 2, 279).

Если, как я уже говорил, подобные соображения кажутся выражением стоимостной логики рыночного обмена, но не являются таковыми, то вознаграждения по моральным соображениям лишены даже кажущейся связи с рыночной логикой. Свидетельством вознаграждения, основанного на благих соображениях, являлось кровное родство между сторонами (на момент заключения контракта). Сын мог привлечь к суду отца за неисполнение им обещания продать к моменту женитьбы земельный участок; дочь врача могла привлечь своего отца к суду за невыполнение обещания выплатить ей определенную сумму в случае, если он успешно проведет курс лечения кому-то из пациентов (Holdsworth, 1942: Vol. 86 12). Фактическая материальность таких «благих» соображений состоит в родственных связях, и в таких случаях реальная необходимость в передаче ценного предмета отсутствует. Как следует из правового обоснования, принимающего родство за разновидность «соображений», решающим в материальных соображениях является не перенос или отчуждение, дополняющие исходящее от другой стороны обещание, а наличие чего-то материального в качестве социального факта.

Представление о социальной материальности как о фактическом элементе понятия «вознаграждение» трудно выразить языком современной социальной теории. Однако только из-за того, что, как ясно показал Латур (1993: 11, 50–5), современная теория требует жесткого разделения общества (сферы, действующим принципом которой является человеческая субъективность) и природы (сферы, действующий принцип которой — физическая причинность). В таком контексте социальные объекты, подобные договорам, должны рассматриваться как выражения субъективных намерений, да и само общество следует понимать как разновидность добровольного договорного соглашения. Поэтому требование дополнения контракта материальным компонентом, таким как «вознаграждение», предстает чем-то в высшей степени загадочным. Теоретическое затруднение, приносимое этой загадочностью, описано в первом проекте «науки» о человеческом обществе — в «Трактате о человеческой природе» Дэвида Юма: «Далее я замечу следующее: если всякое новое обещание возлагает новое нравственное обязательство на лицо, дающее его, и если это новое обязательство проистекает из воли данного лица, то это один

из самых таинственных и непостижимых актов, какой только можно себе вообразить; его можно было бы даже сравнить с *пресуществлением* или с *посвящением в духовный сан*, при которых известная формула в связи с определенным намерением совершенно изменяет природу внешнего объекта и даже человеческого существа» (Юм, 1996: 564).

Прояснить этот «таинственный и непостижимый акт» Юм пытается путем постулирования ряда «искусственных» психологических объективаций, начиная с «Я» и кончая обществом. При всей субъективности того и другого, обе эти сущности связаны с материальными предметами двухслойной структурой наших страстей, и этот факт Юм пытается доказать научно: при рассмотрении человеческой страсти к собственности, он заводит речь о *каузальности* (Юм, 1996: 360–366). Эту каузальность следует понимать в терминах двойной референции человеческой страсти к собственности: последняя вызывает чувства не только удовольствия, но и гордости. Чувство удовольствия относится к самым внешним материальным предметам как к собственной причине; чувство же гордости имеет своим референтом искусственный внутренний объект, который Юм называет «Я». Когда своекорыстие подсказывает человеку, что получить и сохранить за собой собственность можно только сделав общепризнанным право каждого на собственность в качестве необходимого условия рыночной системы обмена собственностью, тогда это новое чувство публичного интереса и порождает искусственный объект, называемый обществом. Значит, общество является чистым объектом человеческой субъективности; собственность же как главное отношение в обществе оказывается — благодаря названной двойной референции человеческой страсти — одновременно и социальным, и материальным объектом. Все это настолько таинственно, что от католического религиозного предрассудка, каким является пресуществление, отличить «пресуществление» материальных объектов в социальные (в качестве частной собственности) Юму удастся только через утверждение, что церковь, в отличие от коммерческого общества, совсем не обладает чувством «публичного интереса» (Юм, 1996: 556–565).

Исторической демонстрацией неадекватности нематериалистической концепции договора (коей придерживаются современные социальные науки) стала предпринятая в середине XVIII века попытка лорда Менсфилда и его круга утвердить субъективную доктрину договора как морального «единства воли». С точки зрения Менсфилда, вознаграждения следует интерпретировать исключительно в терминах их потенциальной стоимости, относительно которой можно представить конкретные доказательства. Мысля в старом добром просве-

щенческом духе, он истолковывал реальную действенность материальных вознаграждений, актуализацию ими социальной способности налагать обязательства, как ту реальность, которая фактически существовала в момент заключения договора, то есть как разновидность метафизической иллюзии. Под истинным статусом *материальных* вознаграждений Менсфилд понимал их роль как конвенциональных символов субъективного морального обязательства, достигаемого в актах добровольного согласия. Так, относительно дела 1777 года «Труман против Фентона» он думал, что банкрот обязан платить своему кредитору по договору, даже если таковой является чисто словесным обещанием, данным после того как человек подал заявление о банкротстве и тем самым урегулировал свои прежние финансовые обязательства. Обосновывая это толкование, Менсфилд писал, что «долги банкрота предъявляются его совести» (Holdsworth, 1942: Vol. 8, 1). Таким образом, «долг совести», возникающий, как рассудили бы отдельные судьи, из морального или естественного закона, мог бы послужить основанием для решения об обязательности для исполнения того или иного обещания. Всеохватное представление Менсфилда об обязательствах как продуктах совести просуществовало недолго. Правда, в юриспруденции начала XIX века обоснование договорных обязательств было пересмотрено: тезис о присущей самому контракту правоте или справедливости сменился представлением о совпадении воль договаривающихся сторон (Horwitz, 1977: 160). Но, как подчеркивает Голдсворт (1942: Vol. 8, 1), эта концепция договора была не нова: «То, что суть договора составляет согласие сторон, а суть согласия сторон — единство воль, столь же явственно сознавалось юристами XVI века, сколь создается это нами». Радикальная инновация заключалась не в идее взаимного согласия, а в провале попытки исключить субстантивную процедуру и взять за основу договорных обязательств то, что было бы квалифицировано судом как *моральный* аспект данного дела.

Просвещенческая попытка переосмыслить материальные вознаграждения, представив их в качестве символического свидетельства морального долга, потерпела неудачу исключительно потому, что ею предполагалось огромное расширение полномочий государства как юридической дискреционной власти; предполагаемое за такой властью право на произвол было одновременно и нежелательным, и практически нереализуемым. Аналогичная неудача, как мы видим, постигла попытки приравнять оценку материальных вознаграждений к экономической стоимости обещанной прибыли — так, как если бы логика оценки вознаграждений была тождественна логике коммерческого рынка. Опровержение этой логики в XIX столе-

тии основывалось на фундаментальной истине современного рыночного общества: «*caveat emptor*» («остерегайся, покупатель»). Представление о том, что «обоснованность» вознаграждения — есть следствие предположительно равных ценностей, обмен которых происходит в рыночной сделке, впутывало судей в подсчет экономической ценности обещания — задача, явно выходящая за пределы их компетентности. В качестве субъективной теории рынка ценности стали получать все большее признание в экономической идеологии с появлением школы предельной полезности (Howley, 1989), и по мере того как колебания стоимости даже основных активов (собственности в докapiталистическом смысле слова) стали признаваться в качестве неизбежного следствия существования рыночного общества, юристы все более отходили от попыток выносить собственные суждения относительно «здоровой цены» или истинной экономической стоимости тех или иных вещей. Определение меновой стоимости есть прерогатива потребителя, так что *caveat emptor*. К третьей четверти XIX столетия классическая концепция вознаграждений решающим образом укрепилась, правда, в совершенно ином теоретическом контексте.

СУДЕБНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ПРИЧИННОСТЬ И МАТЕРИАЛЬНОСТЬ ДОГОВОРОВ

Современная социальная теория предпочитает рассматривать все социальные практики, производящие факты, исключительно в терминах их символического, подтверждаемого конкретными доказательствами значения, а не в качестве реальных воплощений социальной силы. Если мы не согласимся с этим подходом, перед нами встанет проблема выявления действия в мире вещей некой социальной причинности, аналогичной материальным вознаграждениям. Выход из этого затруднения можно найти в более детальном рассмотрении двух типов социальных объектов, обладающих некой способностью интегрировать субъективные договоренности в ту объективную социальную действительность, внутри которой и существуют договаривающиеся стороны. Согласно классической концепции «вознаграждений», такими двумя разновидностями являются кровно-родственные отношения и ценная собственность. Мы же можем попытаться рассмотреть эти разновидности не в связи с экономическим обменом, а как объекты судебной процедуры, то есть как материальные сущности, имеющие для людей жизненно важное значение. Возможно, что именно этот тип материальных сущностей, обладающий социальной способностью трансформировать субъективные обещания

в объективные обязательства в силу того, что последние заведомо представляют собой наделенную социальной силой фактическую реальность, — именно этот тип напрямую связывает социальную идентичность индивида с материальными силами, ответственными за наделение его наиболее фундаментальной ценностью, ценностью фактического присутствия в мире. «Кровные связи» — суть характеристики генетической материальности родственных отношений; они связывают идентичность отдельно взятой личности с тем причинным репродуктивным процессом, который произвел на свет этого индивида. Что же до «ценной собственности», то она, как я утверждал, должна рассматриваться в соответствии с докапиталистическим представлением о собственности. Ценная собственность имеет отношение к той жизнеобеспечивающей материальности, которая связывает социальный статус отдельной личности как собственника с производственными причинными процессами физического мира, то есть с теми необходимыми средствами, благодаря которым индивид продолжает существовать в мире.

Исторические свидетельства правомочности этой судебно-правовой концепции материальных вознаграждений, думаю, можно отыскать в ходе дальнейшего исследования, опровергающего то представление о договоре, которое опирается на современные понятия договоров купли-продажи как моделей социальности и «социального контракта». Современная судебно-правовая теория — в том виде, в каком она появилась в XVII веке — имела своим главным объектом иной тип социального договора. Первым авторитетным текстом, содержащим элементы судебно-правовой теории, был текст Паоло Заччия «*Quaestiones medico-legales*» (1661). Наиболее актуальной проблемой, поставленной в данном труде, была проблема роли физической причинности в деле установления правомочности брачных контрактов. Вопросом, сопоставимым с вопросом о присутствии *вознаграждений* в договорах купли-продажи, явился вопрос о том, какие физические способности и физические акты требуются для *окончательного оформления* брачного контракта. Подобное представляет собой задачу, способную смутить кого угодно — достаточно вспомнить судебные доказательства юридической силы брачных контрактов, к которым прибегали уже во времена Генриха VIII.

Каким бы историческим своеобразием ни отличались «вознаграждения» в рамках английской правовой традиции, это понятие нельзя считать простым этнографическим курьезом, не представляющим интереса для социологии. «Вознаграждения» явились конкретным историческим решением проблемы, общей для всех современных ком-

мерческих обществ: как отличить договор от дарения? В каком случае исполнение обещания становится чем-то большим, нежели выражением великодушия при оказании кому-то любезности, так что невыполнение его предполагает обязанность общества наказать человека, не сдержавшего обещание? Данная постановка вопроса сама по себе есть лишь современная формулировка более общей социальной проблемы: в каком случае определенные действия, являющиеся реализацией наших личных отношений, подпадают под санкции неких внешних (неважно, божественных или человеческих) установлений? С социологической точки зрения, как заметил мне однажды Рой Бойн, историческое исследование судебно-правового аспекта договорных отношений могло бы возобновить направление исследований инициированное Дюркгеймом (1933: 206), говорившим о воздействии договорных законов на «внутреннюю жизнь социального организма». Такое исследование могло бы придать больше исторической конкретности нашим исследованиям перформативного производства новых социальных фактов в рамках конкретного жизненного мира или габитуса частных культур.

Перевод с английского Ирины Мюрберг

ЛИТЕРАТУРА

- Юм, Давид (1996) Тракат о человеческой природе // Д. Юм. Сочинения в двух томах. Т. 2. М.: Мысль.
- Blackstone, William (1979) *Commentaries on the Laws of England*. 4 Vols. Chicago, IL: University of Chicago Press. (факсимильное воспроизведение 1-го издания 1765–1769 гг.)
- Bourdieu, Pierre (1977) *Outline of a Theory of Practice*, trans. Richard Nice. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bourdieu, Pierre (1997) *Pascalian Meditations*, trans. Richard Nice. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Coleman, D. C. (1977) *The Economy of England, 1450–1750*. Oxford: Oxford University Press.
- Durkheim, Emile (1933) *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press.
- Durkheim, Emile (1951) *Suicide: A Study in Sociology*. New York: Free Press.
- Friedman, Lawrence M. (1973) *A History of American Law*. New York: Simon and Schuster.
- Grisham, John (1993) *The Client*. New York: Dell.
- Habermas, Jürgen (1987) *The Philosophical Discourse of Modernity*. Cambridge, MA: MIT Press.

- Hart, H. L. A. and Tony Honore (1985) *Causation in the Law*. Oxford: Clarendon Press.
- Holdsworth, William (1942) *A History of English Law*. London: Methuen.
- Holmes, Oliver Wendell (1881) *The Common Law*. Boston, MA: Little, Brown.
- Horwitz, Morton, J. (1977) *The Transformation of American Law 1780–1860*. Cambridge: Harvard University Press.
- Howley, Richard, S. (1989) *The Rise of the Marginal Utility School 1870–1889*. New York: Columbia University Press.
- Hurstfield, Joel (1958) *The Queen's Wards: Wardship and Marriage under Elizabeth I*. London: Longman's.
- Jurkowski, M., C. L. Smith and D. Crook (1998) *Lay Taxes in England and Wales 1188-1688*. Kew. PRO Publications.
- Latour, Bruno (1993) *We Have Never Been Modern*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Pietz, William (1997) Death of the Deodand: Accursed Objects and the Money-value of Human Life, *Res* 31: 97–108.
- Pollock, Frederick and Frederick William Maitland (1959) *The History of English Law Before the Time of Edward I*. Washington, DC: Lawyer's Guild Literary Club.
- Poovey, Mary (1998) *A History of the Modern Fact: Problems of Knowledge in the Sciences of Wealth and Society*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Russell, Conrad (1971) *The Crisis of Parliaments: English History 1509–1660*. London: Oxford University Press.
- Smith, Adam (1982) *Lectures on Jurisprudence*, Ed. R. L. Meek, D. D. Raphael and P. G. Stein. Indianapolis, IN: Liberty Fund.
- Thompson, Grahame (1994) Early Double-Entry Bookkeeping and the Rhetoric of Accounting Circulation, pp. 40–66 in Anthony G. Hopwood and Peter Miller (eds) *Accounting as Social and Institutional Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Weber, Max (1968) *Economy and Society*. Berkeley: University of California Press.
- Williams, Robert A., Jr (1990) *The American Indian in Western Legal Thought: The Discourse of Conquest*. Oxford: Oxford University Press.
- Zacchia, Paolo (1661) *Quaestiones medico-legales*. Lyon.

КАРИН КНОРР-ЦЕТИНА

СОЦИАЛЬНОСТЬ И ОБЪЕКТЫ

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПОСТСОЦИАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВАХ ЗНАНИЯ¹

Мне хочется поблагодарить Майку Физерстоуна, Джерри Джейсона, Вольфа Крона, Скотта Лэша, Гэрри Маркса, Дэниэла Тодеса, Нортона Вайза и всех тех, кто откликнулся анонимными, но важными для меня рецензиями и комментариями, за критическое чутье и поддержку, оказанную крупному проекту, частью которого является данная статья.

Этой статьей я начинаю анализ объект-центричной социальности — социальной формы, противостоящей современному опыту индивидуализации. Как бы ни определялась последняя, ее сущность неизменно связывается с человеческими взаимоотношениями и сводится к тому, что отдельные индивиды пользуются плодами современных свобод за счет утраты тех благ, которые они прежде извлекали из факта существования в сообществе. Далее мы покажем, что такое сведение проблемы «неукорененности» современных индивидов к проблеме отношений между людьми не учитывает механизмов, посредством которых индивиды устанавливают связи с мирами объектов. Исследователи, придерживающиеся этого подхода, забывают о том, в какой степени нынешний разрыв связей между идентичностями сопровождается расширением объект-центричного окружения, в котором «Я» находит свое место и приобретает устойчивость. Это окружение определяет идентичность индивида точно так же, как прежде ее определяли общины и семьи; оно благоприятствует воз-

¹ Первая публикация Knorr Cetina K. Sociality with objects. Social relations in postsocial knowledge societies // Theory, Culture and Society. 1997. N4. На русском языке полный текст данной статьи публикуется впервые — Прим. ред.

никновению новых видов социальности (социальных типов связи с другими людьми), подпитываемых объектами. На объекты зачастую перераспределяются те риски, которые многие авторы считают неизбежными в современных человеческих взаимоотношениях (см., например: Coleman, 1993). Понятие «объектуализации» в своем крайнем варианте подразумевает, что объекты сменяют людей в роли посредников и партнеров по взаимодействию, что они все сильнее вмешиваются в человеческие взаимоотношения, из-за чего последние попадают в зависимость от них. Такую ситуацию я и предлагаю называть «объектуализацией».

Начав с понятия индивидуализации, мы покажем связь между ней и тем «отступлением» традиционных социальных принципов, которое наблюдается в настоящее время. Мы постараемся показать, как эти «постсоциальные» явления связаны с распространением особого рода процессов и структур познания в социальной жизни. Процессы познания по большей части фокусируются на объектах познания. Я предполагаю, что развитие современной науки обусловило и усилило объектные отношения, противоположные двум основным типам выделяемых в социологии объектных отношений: тем, которые связаны с товарами и инструментами. В заключительной части статьи будет предпринята первая попытка дать характеристику этой форме объектных отношений и связанному с ними понятию объекта.

Следует добавить, что объектуализация, по моему мнению, не ограничивается описанными в настоящей статье объектуальными отношениями в экспертных культурах. Например, объектуализацию нетрудно распознать во взаимоотношениях людей с объектами природы (подобных тем, в которые вовлечены участники экологических движений), или в определенных видах физической деятельности, распространенных в современной жизни. Однако, полагаю, для начала нам вполне хватит тех ситуаций, в которых отношения с объектами носят длительный, поглощающий и в некотором смысле взаимный характер — как в экспертных культурах.

Собственно говоря, понятие «социальности с объектами» требует весьма значительного расширения социологического воображения и словаря. Если наша аргументация в отношении текущих постсоциальных процессов верна, подобное расширение потребует и осуществить его, возможно, самая серьезная задача, встающая сегодня перед социальной теорией.

1. СМЫСЛ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

Представление о том, что мы живем в мире, несущем печать индивидуализации, не так уж и ново. Более 150 лет назад Алексис де Токвиль, приехав из Франции в США, назвал «индивидуализмом» и заклеил склонность «каждого гражданина отделяться от массы сотоварищей» (в чем он усматривал одно из последствий американской демократии), поскольку в итоге человек рискует «замкнуться в одиночестве своей души» (Tocqueville 1969 [1840]: 506, 508). Этот тезис зазвучал по-новому благодаря обнаруженной более поздними авторами связи между различными индивидуализирующими силами и развитием капиталистической экономики. Важнейшим наследием классической социальной мысли стала идея, согласно которой само развитие современных обществ предполагает превращение традиционных общин, строящихся на фундаменте групповой солидарности и отмеченных преобладанием родственных связей, в системы, где доминируют частная собственность, требования максимизации прибыли, индустриальное производство, мобильность, крупные городские центры и бюрократический профессионализм — все вместе это подрывает «укорененность» индивидов в традиционных общинах (MacFarlane 1979). В последние годы подобные рассуждения были обновлены и творчески развиты в ряде работ, посвященных исследованиям личности в контексте эволюции техники, института семьи, правосудия и т. д. — исследований, в которых нашли свое выражение совокупный исторический смысл и последствия индивидуализации.

Ключевое место в этих дискуссиях занимали идеи, вращающиеся вокруг роли науки и техники, и, как правило, негативно оценивающие влияние знания на социальные отношения. Предшествовавшие дискуссии воплотились в понятии «бездомного разума» (Berger et al. 1974), которое тесно связывает индивидуализацию с «абстрактностью» технической продукции, вторгающейся в повседневную жизнь: «Практически во всех своих областях, — утверждают авторы данного понятия, — современная жизнь непрерывно атакуется не только материальными объектами и процессами, порожденными техническим производством, но и формируемыми им типами сознания» (1974: 24, 39). Такой стиль мышления основан на понимании реальности как совокупности разделяемых и по отдельности контролируемых компонентов, на возможности использования этих компонентов в самых разных целях (различение средств и целей) и на присутствующей в трудовом процессе «абстракции» — это понимание созвучно представлению Белла (Bell 1973: 14) о «центральном положении теоретического зна-

ния» как источника инноваций в техническом производстве. Будучи привнесенными в сферу социальной жизни, все эти явления приводят к возникновению «фрагментарной» (расколотой) идентичности и к анонимности социальных отношений; Бергер и пр. называют отчуждение «симметричным коррелятом» или «ценой» индивидуализации (Berger et al. 1974: 196). Добавьте к этому плюралистическую структуру и социальную мобильность современных обществ, ставящих индивида перед изменчивостью истин и систем верований, и вы получите ситуацию, в которой надежность этих систем, их смыслопорождающая функция подрываются, они бесполезны поскольку более не служат основанием и источником уверенности для человека. В итоге, утверждают авторы, мы оказываемся «бездомными» не только в обществе, но и во вселенной (Berger et al. 1974: 184–185).

В аналитическом плане эти исследователи демонстрируют большую амбициозность, чем авторы многих более поздних работ; они пытаются установить, каким именно образом экономическая и техническая цивилизация уничтожает гражданственность и ведет к возникновению, как бы мы сейчас сказали, необремененного и неукорененного «Я» — вырывая личность из локального контекста взаимодействий, который прежде обеспечивал надежную основу для процесса самооформления (см., например: Sandel, 1982; Walzer, 1990; Etzioni, 1994). Позднейшие исследования больше внимания уделяют разновидностям сознания, соответствующим индивидуализации; при этом налицо отказ от бергеровской метафоры бездомности в пользу выражений клинического и социологического языков описания. Анализ нынешней «культуры нарциссизма» (Lasch, 1978) проливает свет на психологические синдромы индивидуализации в личных отношениях. Бергер и его коллеги все же изображают личную жизнь как убежище, как берлогу, в которой мы ищем спасения от суровой реальности внешнего мира — хотя упоминают они также и о «структурной слабости» этого убежища, где личной жизни не укрыться от «холодных ветров бездомности» (Berger et al. 1974: 187 ff). Лаш считает, что сфера частной жизни «рухнула», ее уничтожили катастрофы анархического социального строя, убежищем от которых она служила.

Лаш анализирует семейный личный опыт в «квазивоенных условиях», обнаруживаемых не только в обществе, но и в стенах частного жилища. Краеугольным камнем таких условий является нарциссическая личность нашего времени — Лаш возвращает этому концепту психологический и клинический смысл, тем самым, выводя его из сферы популярного использования, где он трактуется как чистая антитеза гуманизму и социализму. Аргументация Лаша основывается на возрастающем зна-

чении диффузных расстройств характера, в которых нарциссизм является важным элементом. Нарциссический синдром включает в себя многие особенности, такие как неспособность ребенка терпеть неопределенность или беспокойство, его яростную реакцию на отвергнутую любовь, и компенсирование всего этого чрезмерным возвеличением своего «Я», постоянными проекциями образов «хорошего Я» и «плохого Я» и т.д. Эти явления и формирующиеся под их воздействием черты личности — включающие страх перед эмоциональной зависимостью, эксплуататорский подход к личным взаимоотношениям, и в то же время жажду эмоционального опыта, призванного заполнить внутреннюю пустоту, — можно проследить в эрозии отношений между супругами и между родителями и детьми, в бегстве от чувств в отношениях между полами и в нынешнем обострении сексуальных сражений, в страхе перед старостью, в деградации и товаризации образования и т.д.

Более позитивное социологическое использование понятий «бездомности» у Бергера и «нарциссизма» у Лаша выражается в таких определениях, как «изменение статуса традиций в современной жизни», включающее в себя «замену внешнего авторитета внутренним»: индивиды вынуждены опираться на собственные ресурсы в поисках внятного жизненного курса, идентичности и форм общности с самими собой (Beck and Beck-Gernsheim, 1994, 1996; Giddens, 1994a; Heelas, 1996: 2). Хейдж и Пауэрс (Hage and Powers, 1992) описывают эту тенденцию на языке ролевой теории, указывая, что из-за необходимости новых знаний о производстве и потреблении мы подвергаемся процессу усложнения профессиональных и семейных ролей, в результате чего эти роли становятся более зависимыми от последствий человеческого взаимодействия. Менее регулируемые, более сложные ролевые наборы требуют навыков взаимоотношений, основанных на постоянных усилиях, готовности к эмоциональным перегрузкам, неопределенности и социальной креативности. Однако, как и предыдущие авторы, Хейдж и Пауэрс также полагают, что подобные требования болезненно отражаются на неприспособленном к ним переходном поколении (Hage and Powers, 1992: 133f, 197f) и приводят к массовому ролевому фиаско: у индивидов не хватает ресурсов для того, чтобы справиться с современными обстоятельствами.

Упадок общины и традиций также оставляет индивида беззащитным — у него не остается психологических орудий для совладания со свободой выбора и превратностями современной жизни, к которым ведет эта свобода (Bauman, 1996: 50f). Именно здесь в игру снова вступает знание — в обличье экспертов, которые помогают сделать выбор, исправляют ущерб и т.д., способствуя появлению «умных людей»,

как называет их Гидденс (см., например: Giddens, 1994b: 92ff). «Умные люди», полагающиеся на знания экспертов в тех вопросах, где уже не властно прошлое, в экзистенциальном плане не обязательно богаче, чем описанные Лашем нарциссические личности. Тем не менее акцент на возможности выбора своего жизненного пути и непосредственного окружения (Coleman, 1993; Etzioni, 1994; Lash, 1994) вносит конструктивную нотку в мрачные рассуждения о моральной и экзистенциальной ненадежности личных отношений в наше время.

2. ПОСТСОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Переход от рассмотрения индивидуализации в категориях отчуждения к ее пониманию в контексте требований взаимодействия значителен: он отражает переход от индустриального общества (все еще доминирующего на картине, нарисованной Бергером и его коллегами) к постиндустриальному, о котором идет речь в недавних исследованиях. Заостря сделанные в них выводы, можно сказать, что сегодня мы сталкиваемся не только со специфическими и, возможно, новыми смыслами индивидуализации, но и с «постсоциальными» явлениями в более широком смысле. Каковы же эти постсоциальные явления?

Помимо краха общины и традиций, составляющего основу индивидуализации, в число текущих преобразований входят некоторые другие виды «отступления» социальных принципов. Чтобы разобраться в этом, мы должны вспомнить, что области социального упорядочивания и структурирования в течение XIX в. и в первые десятилетия XX в. не сужались, а, напротив, расширялись. Прогресс наблюдался по крайней мере в трех взаимосвязанных сферах: в развитии социальной политики и государства социального обеспечения; в смене менталитета, благодаря которой социальное мышление заняло место традиционных, либеральных идей; и в сфере корпоративных форм. В этих же самых сферах в настоящее время наблюдается «отступление», и в первую очередь «эрозия исконных социальных отношений» (Coleman, 1993), которая ведет к индивидуализации.

Сперва об экспансии социальной политики. Согласно многим авторам, эта экспансия реализовалась как попытка национальных государств (которые, возможно, сами сформировались в результате подобного действия)² преодолеть социальные последствия капитали-

² См., например, работу: (Rueschemeyer and Skocpol 1996), где приводится обзор многих недавних попыток интерпретировать историю учреждений соцобеспечения. См. также: (Giddens, 1994b: 134ff).

стической индустриализации. Социальная политика в известном нам современном варианте восходит к тому, что можно назвать «национализацией социальной ответственности» (Wittrock and Wagner, 1996: 98ff). Под этим термином подразумевается оформление социальных прав наряду с правами личности — государство взяло на себя роль «естественного регулятора» и организатора трудовых отношений, источника пенсий и социального обеспечения, пособий по безработице, всеобщего образования и т. д.

Последствием такой экспансии социальной политики стали новые представления о силах, управляющих судьбой личности: отныне все они воспринимались в качестве обезличенных, социальных сил. Рабинбах показал: рассмотрение индивидуальных рисков, нищеты и неравенства как социально обусловленных явлений повлекло решительный разрыв с предшествовавшими индивидуалистическими либеральными идеями (см., например: Rabinbach, 1996). Вытеснив представления, согласно которым индивид автоматически адаптируется к изменениям условий своего существования, эти взгляды основное внимание привлекли к причинам нарушения социального равновесия, например, к социальной обусловленности несчастных случаев на производстве³.

Третья сфера экспансии — сфера социальной организации. Развитие национального государства влекло за собой развитие бюрократических учреждений; правительства превращались в многоуровневые администрации со сложным членением. Рост промышленного производства привел к возникновению фабрики и современной корпорации; развитие здравоохранения получило выражение в форме клиники, а современной науки — в научно-исследовательских институтах и исследовательских лабораториях. Индустриальное общество в национальном государстве немыслимо без современных, сложных ор-

³ Классики социологии и социология вообще, разработав дискурс о социальной причинности, сыграли важную роль в том изменении менталитета, благодаря которому в индивидах стали видеть носителей личных издержек, связанных с коллективными структурами. Дюркгеймовская теория общества, воплощенного в «социальных фактах», отражает поворот к социуму как к специфическому слою отношений — эти отношения полагаются причинным фактором, например, при структурировании космологических представлений (см.: Durkheim and Mauss, 1963). Более поздний пример — ссылка Уинча на «социологическое воображение» (Winch, 1957), проиллюстрированная социетальными процессами, проходящими мимо сознания индивидов, но затрагивающими и изменяющими их жизни.

ганизаций. Последние представляют собой локальные социальные порядки, призванные организовывать работу коллективов социально-структурными средствами. В целом, если индустриализация дала мощный импульс индивидуализации, она также породила различные виды социального страхования, социального участия и социального мышления — посредниками при этом выступали государство, рабочие движения и пр.

Для нашего современного опыта ключевым является тот факт, что это развитие социальных принципов сегодня резко затормозилось. Во многих европейских странах и в США государство всеобщего благосостояния, с его многочисленными механизмами социальной политики и коллективной защитой от индивидуальных бедствий, находится в процессе «перестройки», которая больше напоминает «демонтаж». По словам Баумана, новое мировое устройство состоит из наций, поделенных на тех, кто платит, и тех, кто получает блага, причем те, кто платят, требуют не предоставлять благ тем, кто получает их бесплатно (Bauman, 1996: 56).

Социальные объяснения и социальное мышление противоречат, среди прочего, биологическим теориям о поведении человека, в борьбе с которыми они пытаются доказать свою истинность. Если Фрейд полагал, что исследовавшиеся им отклонения и нервные болезни вызваны неспособностью индивида прийти к согласию с суровым внутренним «цензором» — представителем общества (Lasch, 1978: 37), то современные психологи более склонны искать причину психических расстройств в наследственности. Мобилизация социального воображения представляла собой попытку выявить коллективные основания личных проблем, и наиболее вероятные реакции на эти проблемы. В настоящее время такую коллективную основу чаще усматривают в генетическом сходстве социально не связанных друг с другом членов популяции.

Однако интереснее всего то, что и социальные структуры начинают терять почву под ногами. Сложные организации разваливаются на системы мелких независимых центров (аналогичных структурным подразделениям, результаты деятельности которых измеряются полученной ими прибылью), и в ходе этого процесса отчасти теряется структурная глубина иерархически организованных социальных систем, представителями которых эти организации прежде являлись. Когда услуги, предоставляемые живым человеком, заменяются автоматизированными электронными услугами, не требуется вообще никаких социальных структур — только электронно-информационные структуры (см.: Lash and Urry, 1994). Главной ареной та-

ких глобальных сделок, как торговля фондами или фореक्स-трейдинг, оказываются электронные средства связи, типа компьютерных сетей или телефона. В этих случаях колоссальные социальные ресурсы мультинациональных корпораций заменяются микроструктурами коммуникации и взаимодействия, на которые и ложится ноша транзакций. Судя по всему, превращение локальных обществ в глобальные не влечет за собой дальнейшего нарастания социальной сложности. Создание «всемирного общества», вероятно, достижимо с помощью усилий индивидов и социальных микроструктур, и возможно, становится осуществимым лишь в связи с подобными структурами (см.: Bruegger and Knorr Cetina, 1997).

3. КРЕОЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО: СПОРЫ ОБ ОБЩЕСТВЕ ЗНАНИЯ

Подобные «постсоциальные» преобразования свидетельствуют о том, что известные нам социальные формы уплощаются, сужаются и истончаются; социальное отступает во всех описанных выше смыслах. Можно интерпретировать эту тенденцию как очередной импульс к индивидуализации: вполне допустимо предположить, что отныне именно индивиды, а не государство, будут нести ответственность за удовлетворение потребностей в социальном обеспечении и социальной безопасности, и что в обществе услуг именно с личностью, а не с крупномасштабными организациями, сильнее будут связываться средства производства и коммуникации. Такая интерпретация точно фиксирует положение дел: в современном обществе на подъеме находятся структуры, строящиеся вокруг личности, а не коллектива. Однако она оказывается ограниченной из-за своего взгляда на нынешние изменения с одной лишь точки зрения утраты известных форм социального. Такому сценарию простой «десоциализации» мне хочется противопоставить следующее соображение: уплощение структур, отступление их организующих принципов, истончение социальных отношений происходят одновременно с развитием «других» культурных элементов и практик современной жизни, и в какой-то степени могут даже являться их следствием.

Как представляется, отступление социальных принципов не оставляет разрывов в ткани культурных паттернов. Общество не лишается текстуры, хотя, возможно, следует пересмотреть вопрос о том, из чего эта текстура состоит. Если такое представление верно, то идея о постсоциальных преобразованиях уже не относится к ситуации, в которой социальное просто «вытесняется» из истории. Скорее, она описывает

ситуацию, в которой социальные принципы и структуры (в прежнем смысле) креолизуются «другими» культурными принципами и структурами, на которые в прошлом не распространялось понятие о «социальном». *Согласно этому сценарию, постсоциальные отношения не являются асоциальными либо несоциальными. Их можно назвать отношениями, характерными для обществ позднего модерна, которым свойственно сосуществование и переплетение социального с «другими» культурами.*

Здесь в роли чужеродной культуры, подразумевавшейся также во всех предшествовавших исследованиях индивидуализации, выступают знание и экспертиза. В наши дни широко распространено убеждение, согласно которому современные западные общества в том или ином смысле управляются знаниями. Данная идея находит воплощение в многочисленных теориях наподобие концепций «технологического общества» (см., например: Berger et al, 1974), «информационного общества» (см., например: Lyotard, 1984; Beniger, 1986), «общества знаний» (Bell, 1973; Drucker, 1993; Stehr, 1994), «общества риска» или «общества, основанного на опыте» (Beck, 1992). Современным защитником этих представлений выступает Дэниэл Белл (Bell, 1973), по мнению которого знание оказывает непосредственное воздействие на экономику, проявляясь в широкомасштабных явлениях вроде изменений в разделении труда, возникновении новых специализаций и новых форм предприятий. Белл и близкие ему авторы (см., например: Stehr, 1994) также приводят обширные статистические данные по использованию в Европе и США научно-исследовательских разработок и — судя по их размаху, задействованному в них персоналу и выделяемым на них средствам — делают вывод о заметном возрастании их роли.

Недавние оценки не столько изменили эту аргументацию, сколько указали на другие сферы, в которых ощущается влияние знаний. Например, заявления о «технизации» жизненного мира посредством всеобщих принципов когнитивной и технической рациональности представляют собой попытку понять распространение абстрактных систем в повседневной жизни (Habermas 1981). Дракер (Drucker, 1993) проводит связь между знаниями и изменениями в организационной структуре и практике менеджмента, а Бек (Beck, 1992), говоря о союзе ученых с капиталом, раскрывает процесс преобразования политической сферы, осуществляющийся через научные организации. Наконец, Гидденс, утверждая, что мы живем в мире всевозрастающей рефлексивности, проводником которой выступают системы экспертизы, распространяет свой анализ на саму личность, указывая, что в наши дни индивиды взаимодействуют с более широким окружением и с самими собой благодаря поступающей от специалистов информации,

регулярно интерпретирующей и активно используемой в повседневной жизни (см., например: Giddens, 1990, 1994b).

Введенное Гидденсом понятие «систем экспертизы» обладает одним преимуществом: оно не только обращает внимание на влияние отдельных знаний или научно-технических элит, но подразумевает наличие целостных контекстов экспертной работы. Однако эти контексты по-прежнему рассматриваются как чужеродные элементы в социальной системе — элементы, с которыми лучше не связываться. Поэтому утверждается, что экспертные системы имеют отношение к технической стороне работы экспертов, но отличаются от принципов, проявляющихся в других сферах социальной жизни.

Трансформационные теории применяют к знаниям логику интерпретационной «стратегии замысла», как называет ее Деннетт (Dennett, 1987). С точки зрения замысла можно игнорировать детали устройства конкретной сферы и, предположив, что эта сфера призвана производить некий продукт, учитывать только этот продукт и его практическую значимость для чьих-либо целей⁴. Теоретики модернизации обычно не затрагивают вопрос о том, каким образом работают процессы познания, учитываемые ими в своей аргументации, и какие структуры и принципы адекватно описывают эту работу — они считают, что данную проблему следует решать эмпирически. В целом их интересует только трансформирующий эффект работы этих систем.

Основная проблема в отношении многих из упомянутых выше теорий состоит в том, что знание (или техника) считаются в них независимой переменной — иногда формулируемой так, чтобы соответствовать давним представлениям о науке (пример тому — попытка Белла истолковать знание как «теорию»; см. Bell, 1973: 44)⁵, но по сути остающейся без объяснения и не получающей наполнения в аналитических моделях. Так, контексты знания сохраняют свою ауру чуже-

⁴ Например, большинство пользователей компьютеров не знают, какие физические и информационные принципы определяют работу компьютера — да им и не нужно этого знать. Если они знают, для чего предназначен компьютер, то могут предсказать его поведение и уверенно пользоваться им для своих целей.

⁵ Белл объясняет структурный переход от индустриального к постиндустриальному обществу в категориях «экспоненциального роста и разветвления науки, развития новых интеллектуальных технологий (таких как принятие решений, основанное на теории решений), проведения систематических исследований в рамках бюджетов НИОКР и, как венец всего этого, кодификации теоретических знаний» (Bell, 1973: 44).

родности просто из-за того, что они остаются эмпирически неисследованными — сходная судьба ждала их до самого недавнего времени и в специально посвященных им научных исследованиях. Однако если указания на усиливающееся присутствие экспертных систем и процессов познания в современных западных обществах верны, то именно точка зрения «от замысла» не позволяет понять этот конкретный феномен. Возрастающая роль экспертных систем не только приводит к возрастанию роли технологических и информационных продуктов в процессах познания. Она подразумевает существование особого рода связанных со знанием структур и форм ангажированности. Общество знания — не просто общество, в котором больше экспертов, больше технологических и информационных инфраструктур, а также авторских экспертных интерпретаций. Культуры знания вплетены в саму ткань этого общества, равно как и весь спектр процессов, практик, отношений, создающихся знанием и обретающих жизнь в ходе его производства. «Раскрытие», распространение отношений знания в обществе — вот в чем следует видеть проблему, требующую скорее социологического, нежели экономического решения в исследованиях обществ знания (см. также: Knorr Cetina, 1996, 1997b).

Традиционное определение «общества знания» делает акцент на «знании», рассматриваемом как конкретный продукт. Определение, которое предлагаю я, перемещает акцент на «общество» — то общество, которое (если аргументация об экспансии экспертных систем верна) в настоящее время существует скорее внутри процессов познания, а не вне их. В постсоциальном *обществе* знания взаимоисключающие определения процессов познания и социальных процессов теоретически оказываются неадекватными; мы должны проследить те способы, которыми знания конституируют социальные отношения⁶.

Определение социальности как исключительно вопроса человеческих отношений игнорирует взаимопереплетение культур знания и социальных структур. Если и существует такой аспект культур знания, в отношении которого сходятся во мнении общепризнанные точки зрения на науку и экспертизу и недавние исследования науки

⁶ Этот вопрос не следует путать с интересом к социальным основам знания. См. проведенный Мертоном анализ роли пуританства в развитии науки (Merton, 1970 [1938]) как образец исторического анализа такого рода, и в качестве современных примеров — недавние исследования социологии науки (см., например: Knorr Cetina, 1981). В данной статье меня интересуют отношения между индивидами и объектами как конкретная структурная форма, существенная для понимания обществ знания.

и техники, так это тот, что культуры знания строятся вокруг объектных миров — именно на объектные миры ориентированы эксперты и ученые (что касается новой социологии науки, это подчеркивалось, в частности, Каллоном (Callon, 1986) и Латуром (Latour, 1993))⁷. По моим представлениям, эти объектные миры необходимо включить в расширенную концепцию социальности и социальных отношений. Если данная точка зрения верна, то, возможно, отнестись к дискуссиям об индивидуализации следует иначе. В этом случае индивидуализация переплетается с объектуализацией — со все большей ориентацией на объекты как на источники обретения своего «Я», близости, совместной субъектности и социальной интеграции.

4. ПОНЯТИЕ ОБЪЕКТА

Итак, мы обозначили тематику данной статьи в рамках дискуссии об индивидуализации, которую я попыталась освободить от несколько избыточной ориентации на общину и традиции, затронув более широкую тему постсоциальных явлений. Эти явления я связываю с развитием отношений знания в современной социальной жизни, утверждая, что в обществе знания объектные отношения замещают социальные отношения и становятся их существенной частью. Сейчас же необходимо в общих чертах определить суть расширенного понимания социальности, включающей и материальные объекты (но не ограничивающейся ими) — мы назовем такую социальность объект-центричной⁸. Эта концепция призвана раскрыть такие понятия, как

⁷ Интересные примеры работы историков и социологов науки с этими идеями см.: (Pickering, 1995); (Wise, 1993) и (Dodier, 1995). Важное исследование привязанности индивидов к компьютеру см.: (Turkle, 1995). Концепции, выдвигаемые, например, в: (Thévenot, 1994) представляют собой, вероятно, наиболее общий социологический взгляд на эту проблему. См. также: (Simmel, 1923: 236ff) — дискуссия о трагедии культуры как ранняя попытка уловить культурную динамику объектов; впоследствии к этой теме обращался Бодрийяр в своей книге о системе объектов (Baudrillard, 1968). Попытку подойти к теории объекта с точки зрения рефлексивной модернизации см.: (Lash, 1996).

⁸ Ради стимулирования дискуссии я рассматриваю максимально неоднозначный вариант, делая в данной статье акцент на материальных объектах. Однако я хочу подчеркнуть, что не исключаю из рассмотрения символические объекты в социальных, экономических и прочих науках (или, если на то пошло, людей, имеющих статус объектов), хотя и не могу в рамках данной статьи осветить возникающие в этой связи специфические проблемы.

«эксперт», «техническая компетентность», «экспертная система» или «научно-техническая работа». Данные понятия предполагают наличие объектных отношений, поскольку от них зависит сам процесс экспертизы, но они никак эти отношения не проясняют и определяют их не проблематично⁹. Напротив, концепция объект-центричной социальности восходит к этим отношениям. Но одновременно она выступает как удобное обозначение для целого диапазона социальных форм, которые зависят от объектов или связаны с ними.

Например, объекты выполняют фокусирующую и интегрирующую роль в режимах экспертизы, превосходящих время жизни эксперта. В подобных режимах объекты формируют коллективные договоренности и моральный порядок. Кроме того, объектные миры создают контекст, в котором работает эксперт, тем самым, представляя собой что-то вроде эмоционального убежища для личности эксперта. Чтобы понять связующую роль объектов, необходимо подвергнуть рассмотрению связи индивидов с объектами, объект-центричные традиции и коллективы, а также созданные объектами эмоциональные миры. Хотя оставшаяся часть статьи посвящена первому типу объектных связей, в последнем разделе мы еще чуть-чуть поговорим об объектных взаимоотношениях в широком смысле.

При изучении взаимоотношений, связывающих экспертов и объекты экспертизы, первым встает вопрос о сущности этих объектов. Чтобы ответить на него, сперва сошлемся на предположение Рейнбергера (Rheinberger, 1992), который, описывая научные объекты, применяет подход, потенциально распространяемый на любые объекты экспертизы. Далее мы предпримем два экскурса с целью определить, чем объекты познания не являются (их не следует воспринимать как орудия или товары в общепринятом смысле), постепенно приближаясь к их существенным свойствам. В следующем разделе мы подробнее поговорим о структуре недостаточного и желаемого, которая описывает объектные отношения.

Рейнбергер определяет эпистемические «вещи» как любые объекты научного исследования, которые находятся в центре исследовательского процесса и, соответственно, в процессе определения

⁹ Например, понятие «работы», особенно когда оно определяется в рамках марксистского наследия как инструментальное действие, направленное на преобразование природы, поднимает вопросы об организации работы, рабочих условиях, завершении работы и ее последствиях, связанных с ней кооперацией и коммуникацией — вопросы, в корне отличающиеся от тех, которые имеют отношение к теме данной статьи.

(Rheinberger, 1992: 310). Он отличает их от фиксированных технологических объектов; последние служат элементами экспериментальной среды. Здесь Рейнбергер опирается на классическое различие между готовыми, понятными и нередко производящимися в промышленных масштабах техническими инструментами и неизученными объектами исследования, находящимися на пути превращения в технологический объект. Однако, в свете современных технологий, отождествление инструментов с технологическими объектами крайне спорно, так как последние одновременно являются «вещами для использования» и «вещами в процессе трансформации», подвергаясь непрерывному процессу доработки и тестирования. Типичный пример — компьютеры и компьютерные программы; они появляются на рынке как постоянно меняющиеся «обновления» (все более совершенствующиеся выпуски того же продукта) и «версии» (заметно отличающиеся от прежних разновидностей). Эти объекты одновременно и присутствуют (готовы к использованию) и отсутствуют (подвергаются дальнейшим исследованиям), они и одинаковые, и в то же время разные. Короче говоря, подобные технологии необходимо включать в категорию эпистемических вещей.

С другой стороны, инструменты туда включать не следует. Различие между объектами познания (включая саму технику) и инструментами, на мой взгляд, лучше всего освещается в хайдеггеровском анализе вещиности и оснастки (Heidegger, 1962 [1927], 1982 [1927]), Хайдеггер фиксирует грань между нашим инструментальным пребыванием в мире и ориентацией на знание. Он полагает, что для оснастки (Zeug), — термин, которым он называет инструменты, — характерно свойство не только готовности к использованию, но и прозрачности: оснащение имеет тенденцию к исчезновению и превращается в средство, когда мы его используем. Оборудование непонятно только тогда, когда оно недоступно, неисправно или временно неработоспособно. Только в этих случаях мы от «слепых усилий» переходим к «прогнозированию», к «сознательным усилиям» и к научной позиции «теоретического размышления» о свойствах вещей. Так, Хайдеггер характеризует объекты познания (по контрасту с инструментами) в терминах «теоретического отношения», которое предполагает «отказ» от практических рассуждений.

Эти идеи, на мой взгляд, служат не слишком удачной характеристикой науки в целом¹⁰, но они представляются многообещающими в от-

¹⁰ Здесь анализ Хайдеггера необходимо рассматривать в связи с его попыткой субстантивировать экзистенциальную априорность нашего инструменталь-

ношении объектов познания — неизменно неготовых, недоступных и непонятных, отсылающих к одному из возможных этапов в истории любой вещи. С другой стороны, инструменты являются орудиями — имеющимися средствами для достижения цели в логике инструментальных действий. Что касается науки, последующие авторы, — например, Хабермас, который рассматривает этот вопрос скорее с точки зрения «типа действователя», — приходят к иным выводам, нежели Хайдеггер. Последний понимает инструментальность практически как антитезу познания и науки, для Хабермаса же она является характеристикой науки — благодаря тому типу действия, который он называет «инструментальным». В соответствии с этой аналитической схемой, инструментальная деятельность коренится в рациональности целей и средств, связана с заинтересованностью в техническом контроле, и ее следует отличать от коммуникативных и символических действий. Однако такое предположение лишь углубляет раскол между миром людей (воплощенным в коммуникативной деятельности и взаимоотношениях) и миром работы и вещей (воплощенном в инструментальном труде). Подобный вывод чужд Хайдеггеру. В хабермасовской вселенной взаимоотношения в мире вещей и работы основываются на логике технического контроля и эксплуатации, а в мире людей они должны основываться на просвещенной логике диалога и стремления к согласию (Habermas, 1970).

Объектные отношения, затрагивающие одновременно людей и материальные предметы, не обходятся без отношений власти и доминирования, что подчеркивал еще Фрейд и многие аналитики после него. Но в этих отношениях следует видеть нечто большее, чем простое выражение технической заинтересованности в предметах, доступных контролю и эксплуатации. Идеи Хабермаса важны для нас из-за того, что в них отразилось господствующее сегодня понимание инструментальности. Хайдеггер в идею наших инструментальных отношений с миром включил концепцию заботы и опеки: такое представление о «структуре заботы» (care-structure) полезно и онтологически оправдано, но оно отсутствует в современной концепции инструментальных действий.

Чтобы развить эту тему дальше, стоит вкратце рассмотреть еще одну важную категорию объектов, хорошо знакомых социологам — речь идет о товарах. Соответствующий процесс называется товаризацией; под этим термином уже давно обсуждается, оплакивается,

ного бытия в мире, а не как эмпирическую теорию познания. См., например: (Dreyfus, 1991).

подвергается сомнению и опровергается переход к последнему этапу капитализма (Slater, 1997). Чтобы понять сущность товара, можно воспользоваться определением Зиммеля, который называет товары «вещами, сопротивляющимися нашему желанию обладать» ими, вещами, которые можно приобрести, лишь «пожертвовав каким-то иным объектом, ценным для другого лица» (Simmel, 1978 [1907]).

Товары обычно определяют в соответствии с логикой обмена; Маркс понимал под ними, прежде всего, продукты производства — их стоимость определяется затрачиваемым на их производство трудом. В более поздней литературе товары понимаются также как средство символического выражения и утверждения статуса. Как значащие объекты товары играют все более важную роль в обществе изобилия, не страдающем от недостатка благ. Тем не менее ни демонстративное потребление, ни обмен благами как символами в условиях изобилия (Baudrillard, 1968, 1970), ни марксистское понятие товара, выраженное через труд, явно не охватывают тех объектных отношений, которые обнаруживаются в экспертных культурах. Согласно господствующим представлениям, товар по определению ценится не за присущие ему свойства, а скорее за то, что в обмен на него можно приобрести — статус, связи, другие объекты и т. д.

Эти же представления находят выражение в понятии овеществления, описывающем ситуацию, в которой социальные явления все сильнее наделяются вещеподобными качествами и включаются в экономические расчеты (Marx, 1968 [1887]: 85ff). Скажем, студент, задающийся вопросом, какая специализация ему требуется, чтобы преуспеть на рынке труда (и затем получающий неинтересную ему лично профессию), относится к самому себе как к товару. С точки зрения человеческих взаимоотношений, овеществление влечет за собой индивидуализацию: стремление к соучастию и сопереживанию подменяется вычислением собственных выгод и безличным нейтралитетом экономических отношений (Levinas, 1990). Сила этого термина связана с тем, что он объясняет ощущение отчуждения, которое Маркс и другие авторы отождествляли с определенными этапами индустриализации. Но современную культуру «самонасыщения» едва ли можно свести к феномену отчуждения. Что более важно, сущность марксистского определения товара заключается в отчуждении человека от плодов своего труда. Однако, похоже, что объектные отношения в экспертной работе характеризуются ровно противоположными чертами: неотчужденностью и идентификацией. Следовательно, концепция отчуждения становится весьма сомнительной, если применять ее к отношениям, связывающим эксперта и объект экспертизы.

5. ОБЪЕКТУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: ПЕРВАЯ ПОПЫТКА ОПИСАТЬ ОБЪЕКТ-ЦЕНТРИЧНУЮ СОЦИАЛЬНОСТЬ

Сейчас мне бы хотелось сфокусироваться непосредственно на этих отношениях, подведя предварительные итоги дискуссии. Отправной точкой для концептуализации объектной ориентации как совокупности реальных связей может послужить природа самой этой ориентации. Дискуссия о товарах и инструментах подразумевала существование континуума между присущими предмету стоимостью и полезностью. Товары и инструменты находятся ближе к одному из полюсов этого континуума, отчего кажутся внешними по отношению к нашим истинным интересам. Объекты познания располагаются ближе к другому полюсу. Они представляют собой цель работы экспертов; кроме того, они — то, к чему эксперты регулярно проявляют интерес, к чему их влечет и тянет, к чему они испытывают привязанность. В следующих разделах мы дадим несколько примеров такого отношения. Однако разговор о неотъемлемых взаимосвязях, оправдывая использование соответствующего словаря, может одновременно привести к неверным коннотациям. Нам следует проявлять осторожность и не определять объектные взаимоотношения просто как позитивные эмоциональные связи, или как симметричные, неприсваивающие т. д.

Нам требуется более динамичная характеристика, учитывающая амбивалентность, силу и устойчивость увлеченности людей объектами. Мне представляется, что отношение экспертов к объектам доступно концептуализации скорее в терминах отсутствия *и соответствующей «структуры желаемого»*, нежели через понятие позитивных связей и удовлетворения. Идея отсутствия восходит к Лакану; чтобы прояснить ее, нам следует ненадолго вернуться к характеристике эпистемических вещей, предложенной Рейнбергером. Она охватывает те объекты познания, которые отличаются открытостью, сложной природой и способностью порождать вопросы (проблематичностью). Эти объекты представляют собой скорее процессы и проекции, нежели какие-либо определенные предметы. Наблюдения и исследования лишь увеличивают, а не уменьшают их сложность. Продолжая в наших категориях, можно сказать, что объекты познания обнаруживают способность к бесконечному раскрытию; в этом смысле они также представляют противоположность инструментам и коммерческим благам, которые уже готовы к использованию или к дальнейшей перепродаже. Эти инструменты и блага похожи на закрытые ящики. С другой стороны, объекты познания скорее напоминают открытые

ящики, полные папок, которые уходят в темноту на неизвестную глубину. Поскольку объекты познания всегда находятся в процессе материального определения, они постоянно приобретают новые свойства и изменяют те, которые уже имеют. Но это также означает, что объекты познания никогда не смогут стать полностью постижимыми, что они, если угодно, никогда не являются вполне самими собой.

В исследовательском процессе мы сталкиваемся с репрезентациями или заменителями, которые компенсируют фундаментальную недостаточность объекта. С точки зрения субъекта, эта недостаточность соответствует «структуре желаемого», постоянно возобновляемому интересу к познанию, который по видимости никогда не будет удовлетворен окончательным знанием. Как показывают исследования науки, процессы познания редко приходят к естественному окончанию такого рода, когда считается, что об объекте известно все, что о нем следует знать. Скорее интерес обращается на другой объект по мере прохождения исследователя по извилистому маршруту, через серию поисков отсутствующего объекта.

Подчеркну, что открытый, раскрывающийся характер объектов познания полностью соответствует «структуре желаемого», посредством которой мы можем описать самих себя. Эта идея почерпнута мной у Лакана (Lacan, 1975), но ее можно также возвести к Болдуину (Baldwin, 1973 [1899]: 373ff) и к Гегелю¹¹. Лакан связывает это желаемое не с фрейдовским инстинктивным импульсом, конечной целью которого является снижение телесного напряжения, а скорее со «стадией зеркала» в развитии ребенка. На этом этапе ребенок оказывается поглощен цельностью своего отражения в зеркале, его четкими границами и подконтрольностью — понимая в то же время, что этих вещей не существует в реальности. Желание порождается завистью к совершенству собственного отражения в зеркале (или зеркального отражения родителей); отсутствие на данной стадии фундаментально, поскольку невозможно преодолеть дистанцию между субъективным ощущением отсутствия чего-либо в нашей жизни, и зеркальным образом или зримой цельностью других индивидов (Lacan and Wilden, 1968; Alford, 1991: 36 ff). Можно также попробовать трактовать это отсутствие в категориях «репрезентаций», что ближе современным представлениям (Baas, 1996: 22f). Согласно такой интерпретации, желания всегда направлены на эмпирический объект, опосредованный репрезентациями — благодаря знакам, которые идентифицируют объект и наделяют его значе-

¹¹ Обзор представлений Болдуина и Гегеля о желании см.: (Wiley, 1994: 33). См. также: (Hegel, 1979 [1807]) и (Baldwin, 1973 [1899]).

нием. Но эти репрезентации никогда полностью не совпадают с объектом, они не в состоянии «схватить» ту вещь, на которую указывают. Тем самым они скорее воспроизводят отсутствие, чем восполняют его. Чтобы теперь перейти к объектам познания, я хочу подчеркнуть, что те репрезентации, с которыми имеют дело эксперты в процессе научного поиска, как правило, частичны и неадекватны, но они зачастую указывают на отсутствующие фрагменты картины — иными словами, предлагают направление дальнейшего поиска, для восполнения отсутствия. В этом смысле можно сказать, что объекты познания структурируют желание, или обеспечивают развитие структуры желаемого. Они создают структуру желаемого не только для отдельных ученых, но и для целых коллективов и поколений экспертов, группирующихся вокруг конкретных объектов, таких как плодовая мушка дрозофила (Geison and Holmes, 1993; Kohler, 1994).

К вопросу коллективности мы перейдем позже. Прежде, чем вернуться к собственно социологическому языку описаний, мне хочется сказать еще несколько слов о том, что предлагает нам понятие структуры желаемого. Те идеи Лакана, которые я беру на вооружение, помогают исследовать объектные отношения в качестве отношений, основанных на известной взаимности. Последняя связывает объекты, обеспечивающие непрерывность цепочки желаний посредством знаков («signifiers» у Лакана), указывающих на то, чего этим объектам еще не хватает, с субъектами (экспертами). Субъекты же обеспечивают непрерывность объектов, которые существуют лишь как последовательность отсутствий, или как «раскладывающаяся», раскрывающаяся структура. При этом нас не интересуют представления Лакана о том, что нехватка субъективности укоренена в нарциссическом отношении ребенка к себе самому, а не к отсутствующим другим, равно как и метафоры, используемые Лаканом при описании стадии зеркала. Чтобы признать правдоподобность идеи «структуры желаемого» вовсе не обязательно соглашаться с лакановскими идеями о «стадии зеркала».

«Структура желаемого» — всего лишь удобный способ описать процесс непрерывного поиска желаниями новых объектов и движения к ним; если угодно, удобный способ описать изменчивость и неудержимость желания. Применительно к познанию, идея структуры или цепочки желаний позволяет увидеть целые последовательности шагов и их внутреннюю динамику там, где традиционный словарь мотивов и интенций позволяет распознать только отдельные изолированные причины. Кроме того, данная идея указывает на чувственное либидозное измерение (или основание) стремления к знанию — фундамент, существование которого либо игнорируется, либо отрица-

ется, когда наука и экспертиза рассматриваются как чисто когнитивные начинания. Я утверждаю, что присутствие такого измерения напрямую следует из интенсивности объектных отношений, в которые вовлечены эксперты (см. следующий раздел). Кроме того, оно «созвучно» онтологической переориентации на «опыт» в обществе как таковом, диагностируемой некоторыми авторами (Welsch, 1996). Понятие «общества знания», например, не противоречит понятию «общества, основанного на опыте», или идее такого общества, которое ориентировано на визуальный и визуально симулированный мир; чему оно противоречит, так это сухому понятию знания в исключительно когнитивном смысле.

Экспертиза давно вскормила и приютила своего рода «ментальность опыта», если под «опытом» понимать стимулирование у индивида сензитивной восприимчивости и способности к обработке информации. Помимо глубокого эмоционального вклада (*investment*) в объекты познания, который описывается понятием «структуры желаемого», следует учесть также и *открытый* динамический характер этого процесса: он созвучен самым разнообразным представлениям и воплощениям объектных взаимосвязей. В том, что мы называем «романтической любовью», могут сосуществовать любовь, доминирование и экономические интересы. Следует признать: объектные отношения не распадаются благодаря целому набору привязанностей и по сути могут даже укрепляться посредством их сочетания.

В завершение этого раздела я хочу еще раз вернуться к понятию объекта познания. Выше уже обсуждались две основные категории объектов, знакомые социологам и преобладающие в социальной жизни: товары и инструменты. Изучение процесса экспертизы в науке и вне науки позволяет выделить третью категорию — объект познания. Определяющей характеристикой объектов этого вида, с теоретической точки зрения, является их переменчивый, раскрывающийся характер — отсутствие «объектности» и завершенности существования, неидентичность с самими собой. Важнее всего незавершенность существования: объекты познания во многих сферах имеют материальное выражение, но одновременно они должны восприниматься как раскрывающиеся структуры отсутствия — как предметы, которые непрерывно «взрываются» и «мутируют» во что-то иное и которые в большей степени определяются через то, чем они не являются (хотя, вполне возможно, станут), нежели через то, что они представляют собой в настоящий момент. Более того, их следует понимать как текстуальные или значащие объекты; большинство объектов познания генерируют всевозможные знаки и выражаются через них. Особое свойство этих объектов как тек-

стов (и проблема читаемости этих текстов) порождает такие вопросы, в которые мы не станем вникать, но этот феномен следует отметить. Наконец, объекты познания существуют одновременно в разнообразных формах, что важно в смысле их объединяющей роли по отношению к коллективам. На первый план снова выступают изменчивость во времени и раскрывающаяся онтология данных объектов — именно эти аспекты обеспечивают соответствие со «структурой желаемого» и порождают эмоциональную привязанность экспертов к объектам их познания. Идею раскрывающейся онтологии, можно выразить в словах: «каждая часть организма является всем организмом не в меньшей степени, чем все прочие его части» — слова эти принадлежат ученым, перед которыми таким образом «раскрылось» конкретное растение.

Если аргументация о расширяющейся роли знания и экспертизы в современном обществе верна, то социологический словарь должен быть обогащен характеристиками объектов, понимаемых как непрерывно раскрывающиеся структуры, в которых сочетаются наличие и отсутствие. Не одни лишь эксперты занимаются такими объектами, мы сталкиваемся с ними в повседневной жизни, где инструменты и товары выступают в качестве объектов познания (см. раздел 8). Кроме того, в социологическом словаре не хватает идеи о субъекте, связанном с такими объектами и идентифицируемом через них. Психоаналитик Фэйрбэрн показал, что «эго немислимо иначе, нежели в связи с объектами. Оно развивается посредством отношений с объектами как реальными, так и вымышленными, подобно растению, которому для роста нужны почва, вода и солнце» (Greenberg and Mitchell, 1983: 165). Фэйрбэрн, подобно другим психоаналитикам-исследователям объектных отношений, имеет в виду в основном отношения между людьми. Но такое ограничение концепции объектных отношений ничем не обосновано; многие исследователи в числе первых объектных отношений, в которые вступает ребенок, называют отношения с частями тела — например, с материнской грудью.

В науке уже давно существует ниша, в которой может существовать и развиваться очерченное мной понятие объекта. Можно допустить также, что наука является средой объектных отношений, поддерживающих индивидуальность; благодаря им индивиды находят свое место в мире. Подобные отношения существовали задолго до того, как началось развитие науки. Однако вполне возможно, что научная среда подпитывает и укрепляет эту форму укоренения «Я», в то время как прочие контексты — например, индустриальная среда, изображаемая Бергером с соавторами — могут приводить к отчуждению индивида от объектных отношений.

6. ОБЪЕКТ-ЦЕНТРИЧНАЯ СОЦИАЛЬНОСТЬ-2: ВЗАИМНОСТЬ И СОЛИДАРНОСТЬ

Весьма вероятно, что социальность является постоянной характеристикой человеческой жизни. Но формы социальности тем не менее изменяются, вследствие чего общепринятые концепции социального постоянно пересматриваются. Открытая нами дискуссия нацелена на то, чтобы освободить концепцию социальности от ее одержимости человеческими коллективами. Такое «распатывание» концепции социальности нельзя назвать совершенно новым явлением. Среди прочих, еще Мид говорил о коммуникации не только с людьми, но и с объектами, а до Мида — Джеймс и Кули (см.: McCarthy, 1984; Wiley, 1994: 32ff). Фигурировавший у Мида язык *жестов* позволил ему рассматривать коммуникацию не только между людьми, но также между животными; кроме того, Мид порой описывает социальный акт как результат взаимосвязи между жестом и приспособительной реакцией обоих организмов (1934: 80). Тем не менее нам не обойтись без некоторых поправок, если мы хотим применить концепцию социальности для анализа человеческой привязанности к материальному миру.

В первом приближении социальность определяется через группобразование, социальную связь людей, взаимность и рефлексивность их отношений. Социальность групп и коллективов будет вкратце рассмотрена в заключительном разделе; сейчас же мы снова проанализируем социальность отношений между человеком и объектом, но более систематически и развернуто, пытаясь понять эти отношения в свете их взаимности и связанности. В предыдущем разделе мной была описана такая форма взаимной зависимости, которая может служить одним из измерений объект-центричной социальности: она построена на частной концепции объектов познания как цепи отсутствий. Такая форма социальности предполагает рефлексивность: она возникает тогда, когда личность как «структура желаемого» направляет свое желание на объект, а через объект — на саму себя. В этом процессе «Я» утверждается и расширяется благодаря тому объекту, который создает «структуру желания» (или обеспечивает ее непрерывность) через недостаточность своего наличия, законченности и объектности. В данном случае социальность заключается в том, что «желания» объекта переходят к субъекту — «структура желания» субъекта определяется объектом. В то же время объект артикулируется субъектом: объект становится «структурой отсутствия», воплощенной в тех вопросах, которые он порождает, и в тех вещах, которые «ему» нужны, чтобы получить материальную определенность. Объект

утверждается и расширяется благодаря субъекту (анализом этой ситуации занимается перспективизм)¹².

Формула «взаимного сотворения» личности и объекта через переплетение желаний и отсутствий создает опору для двустороннего характера объект-центричной социальности. Однако подобное описание все же чрезмерно формально поскольку оно придает этой взаимности завершенный характер. Взаимность желаний и отсутствий не просто «случается» или «возникает». Как правило, она создается — кропотливо и даже сознательно. Все самое интересное заключено в этом процессе: например, когда ученый пытается «найти смысл» в знаках, подаваемых объектом, чтобы выяснить, чего в нем еще не хватает, и соответственно, что с этим объектом захочется делать дальше. Во-вторых, эту характеристику в ее нынешней формулировке следует распространить и на более глубокий уровень связей «Я» с объектами. Для осмысления данного уровня, рассмотрим, как эксперт описывает собственные объектные отношения.

Этим экспертом является биолог Барбара Мак-Клинтон; ее высказывания, представляющие для нас интерес, обильно цитируются в превосходной биографии, принадлежащей перу Эвелин Фокс Келлер (Evelyn Fox Keller, 1983). Мак-Клинтон в данном отношении — особенно удачный пример, поскольку ее открытия начала 1950-х гг., противоречившие тогдашним представлениям большинства исследователей, сделали ее своего рода отщепенцем в сообществе биологов. Кроме того, Мак-Клинтон даже в детстве явно не имела либо не испытывала потребности в эмоциональной близости при взаимоотношениях личного характера. В контексте поставленных выше вопросов это дает существенное преимущество: картина не загромождается всевозможными межличностными связями (в рамках сообщества или исследовательской группы) в такой степени, в какой это могло бы быть в случае с другими учеными.

Мак-Клинтон, родившаяся в 1902 г., работала в одиночку; большая часть ее исследований производилась в отделе генетики лаборатории Колд-Спринг-Харбор на северном берегу Лонг-Айленда. Исследо-

¹² Здесь важную роль играет взаимность: согласно лакановской формулировке, объект стабилизирует идентичности (и коллективности) в той же степени, в какой идентичности (и коллективности) стабилизируют объект. Или, выражаясь в более традиционной терминологии, в то время как объекты существуют в рамках конкретных практик и интерпретаций благодаря скрывающей ими структуре отсутствия, раскрывающиеся и убывающие объекты также могут объединять коллективы и содействовать расширению их практик.

вания в области цитогенетики кукурузы привели Мак-Клинтон к открытию транспозиции генетических элементов — это открытие в конечном счете принесло ей широкое признание и награды после того как вся генетическая наука пошла по ее следам (Fox Keller, 1983: x ff). По словам Фокс Келлер, главным стимулом к работе у Мак-Клинтон служила ее «влюбленность в мир», которая выражалась в особом «чувстве близости с живыми организмами» (1983: 205). Вот в чем заключалось это чувство, по описанию самой Мак-Клинтон (1983: 117):

Я обнаружила, что чем больше работаю с ними [хромосомами], тем больше они вырастают в размерах. Занимаясь ими всерьез, я была не снаружи, а там, с ними. Я становилась частью системы. Я спускалась к ним туда, где все было большим. Я даже могла различить внутреннее строение хромосом — все его детали стояли перед моими глазами. Это было поразительно! Мне в самом деле казалось, что я нахожусь рядом с ними, и что они — мои друзья.

То, что Мак-Клинтон видела «там», среди хромосом, она пересказывает научными терминами, которые можно найти в книге Фокс Келлер. Для нас же сейчас важна логика ее рассуждения, которая имеет еще один аспект. Он проявляется в таких высказываниях, как это:

Когда ты смотришь на эти штуки, они становятся частью тебя. И ты забываешь о себе. Это самое главное — ты совершенно забываешься.

Первую из этих цитат я обобщу фразой «стать явлением»: как выразился один из современников Мак-Клинтон, «если вы хотите на самом деле понять, что такое опухоль, вы должны сами *стать* опухолью» (Fox Keller, 1983: 207). Однако при этом остается за кадром, каким образом Мак-Клинтон чувствовала, что находится среди изучаемых ею хромосом. Она не просто отождествляет себя с ними, она проникает в их среду и становится там «одной из них». Во второй же цитате уже сам материал движется навстречу ученому. Суть второй цитаты в том, что субъект исчезает, переходя в состояние «меня здесь нет» (Fox Keller, 1983: 188). Выражаясь иначе, объект познания становится внутренним объектом, расположенным в пределах процессуальной среды личности. При этом субъект поглощен объектом настолько сильно, что временами чувствует свое единство с ним.

Если прибегнуть к несколько более аналитическому подходу, то такая ситуация по крайней мере отчасти описывается известной формулой Мида о «принятии роли другого», использованной им для оп-

ределения межличностной социальности. Она подразумевает межличностную рефлексивность: индивид принимает отношение к себе «значимых других». Далее эти отношения формируют и структурируют его «Я», которое таким образом получает социальную наполненность (через другие «Я»). Этот процесс — двусторонний и непрерывный — делает возможным повседневное восприятие других людей и коммуникацию с ними. Схему «принятия роли другого» можно применить к первой цитате Мак-Клинток, где описывается, каким образом исследователь принимает установку (роль, отношение) своих хромосомных объектов, если и не вкладывая слова им в уста, то, как минимум, находя у них поведенческие диспозиции (аналогичные мидовским «жестам») и прогнозируя их последующие действия (сходным образом и сам Мид распространял свою схему на физические объекты; Mead, 1938: 426ff; Joas, 1980; Heintz, 1988). В этой формуле отсутствует только описанная нами выше рефлексивная петля: у Мак-Клинток превалирует не отношение объектов и их расположенность к ней самой, а их отношение и расположенность друг к другу и по отношению к своей объектной среде.

С другой стороны, анализируя вторую цитату, можно увидеть как материал приходит к субъекту, чтобы «вселиться в него». Мы могли бы, вероятно, сказать, что хромосомы, поступая так, в самом деле проникаются отношением Мак-Клинток к ним (прежде всего, теоретическим отношением) — в конце концов, у нее в сознании они найдут ее мысли, обращенные к ним же. Но при такой формулировке концепция принятия роли другого и рассказ Мак-Клинток о своих ощущениях оказываются слишком натянутыми. Возможно, пройдя вслед за Мидом лишь часть пути, мы можем согласиться с тем, что Мак-Клинток описывает, каким образом она — в роли субъекта и исследователя — присутствует в объектном мире и каким образом исследуемый ею объектный мир присутствует в ней самой. В данном случае взаимность налицо, но она несколько асимметрична, поскольку Мак-Клинток и объекты в структурном плане делают не одно и то же (например, она наблюдает их и ставит себя на их место, но они используют лишь ее когнитивные способности).

Взаимное «коммуникативное» присутствие такого рода, или описанное мной взаимоналожение субъекта и объекта (субъект частично входит в объект или «становится» им и наоборот) заводит нас дальше, чем взаимность желаний и отсутствий, с которой мы начали. Однако есть еще одна точка зрения, с которой можно подойти к вышеприведенным цитатам. На этот раз проводником нам послужит Дюркгейм, а не Мид. Как подчеркивает Фокс Келлер (я думаю, правильно), смысл

исчезновения осознающего себя «Я» во второй цитате Мак-Клинток и ее призыв «забыть себя» сводится к субъективному слиянию с объектом познания. Фокс Келлер называет это превращением объекта в субъект (Fox Keller 1983: 118). Выражаясь языком дюркгеймовской социологии, можно сказать, что здесь мы сталкиваемся с чувством единства, общности или *солидарности*. Солидарность у Дюркгейма и прочих авторов не является константой, неизменным однозначным выражением. Во-первых, дюркгеймовское «силовое поле» (Durkheim, 1964 [1893]; Wiley, 1994: 106, 122) социальной солидарности подпитывается чувствами или эмоциями; Дюркгейм полагает, что «мы»-ощущение возникает тогда, когда группа находится в возбужденном состоянии. Во-вторых, солидарность имеет и моральный аспект: например, солидарность взаимоотношений основывается на правильных поступках. В-третьих, как упоминалось выше, солидарность подразумевает единство чего-то разделяемого с другими. У Дюркгейма это единство обусловлено либо морально, либо семиотически, т. е. представляет собой общность разделяемых всеми значений.

Применение дюркгеймовской концепции солидарности (как оно используется, например, в: Goffman, 1967; Collins, 1982 и Wiley, 1994) для наших целей проблематично — она слишком зависима от ритуала и символа как источников солидарности. Ритуалы действительно входят в отношения экспертов с объектами, и этот аспект экспертизы требует дополнительного рассмотрения. Однако та солидарность, которая подразумевается в вышеприведенных и других цитатах, также явно черпает силу из общности жизненного мира (например, когда ученый присутствует в мире объекта) или из знания вещи. Например, когда Мак-Клинток ощущает единство с хромосомами, она не просто пользуется этим отношением, чтобы лучше разобраться в них — она уже хорошо в них разбирается, что и делает возможным чувство ее единения с ними. Таким образом, если в сценарий объект-центричной социальности внести понятие солидарности, оно должно получить эпистемическое обоснование, а не следовать из одного лишь ритуала. С другой стороны, в данном сценарии должны быть учтены моменты эмоционального возбуждения и моральный аспект. В сущности, вполне допустимо предположить, что возбуждение от «прорывов», «открытий» и т. д., наряду с эмоциональным возбуждением от презентации личности эксперта (например, посредством ритуала конференций), играет свою роль в установлении связующих уз между экспертами и объектами экспертизы.

«Возбуждение», разумеется, может иметь различные оттенки; именно это имеет в виду Эйнштейн, когда говорит, что оно «сродни

возбуждению религиозного или влюбленного человека». Мак-Клинток ссылается на получаемое удовольствие и чувство экстаза (Fox Keller, 1983: 118, 198, 204):

Нет двух совершенно одинаковых растений. Они все разные, и поэтому необходимо понять различия. Когда я начинаю исследование с саженца, я не хочу его покидать. Мне кажется, что я не узнаю его историю, если не буду наблюдать за процессом его роста. Поэтому мне знакомы все растения в поле. Я знаю их очень близко и испытываю ни с чем не сравнимое удовольствие от этого знания.

Что такое экстаз? Я не понимаю, что это такое, но я наслаждаюсь им — когда его испытываю. Экстаз редок.

Третий — моральный — аспект объект-центричной солидарности обнаруживается в том, как Мак-Клинток учит нас обращению с объектами. Фокс Келлер отмечает, что Мак-Клинток повторяла снова и снова: нужно иметь терпение, чтобы «услышать то, что материал может рассказать вам», и нужно быть открытым, чтобы «он пришел к вам» (1983: 198). Но, прежде всего, требуется «чувство организма» (1983: 198ff). Такое отношение к организмам как к чему-то «невероятно превосходящему наши самые смелые ожидания», не покидает ее и в повседневной жизни:

Всякий раз, как я хожу по траве, меня охватывает жалость, потому что я знаю — трава кричит под моими ногами.

Возможно, понятие солидарности окажется наиболее убедительным и широко применимым к объектным отношениям именно тогда, когда на первый план выдвинется моральный аспект. В этом аспекте объект-центричная социальность означает альтруистическое поведение людей по отношению к объектному миру. Такое ощущение объект-центричной социальности с легкостью переходит на взаимоотношения человека с природой, на природоохранные настроения социальных движений и т. д. Но что служит и что должно служить опорой подобному альтруизму? Почему, например, Мак-Клинток жалеет траву, по которой ходит? Ответ, как мне кажется, лежит не просто в мягкости ее характера или в любви к природе вообще (хотя, возможно, что она обладала и тем, и другим), а скорее в ее знании растений и их «бесхитростных механизмов» реакции на среду. Судя по всему, Мак-Клинток сделала вышеприведенное признание в контексте ряда других, в которых она описывала эти поражающие ее механизмы реакции и это знание.

Например, она говорит: «Я столько узнала о зерновых растениях, что когда их вижу, то сразу же могу объяснить». Или:

Растения не перестают меня изумлять. Например... если вы срываете с растения лист, то ощущаете электрическую пульсацию. До растения невозможно дотронуться, не почувствовав электрической пульсации... Несомненно, что растения обладают всевозможными чувствами. Они активно реагируют на свое окружение. Они могут почти все, что только можно себе вообразить (Fox Keller, 1983; 199f).

Если моя интерпретация верна, то мы снова сталкиваемся с вышеотмеченным эпистемическим источником объект-центричной солидарности. В рассматриваемом случае отношения солидарности и знания переплетаются друг с другом, одно не может быть определено без другого. Я не считаю, что ощущение моральной солидарности, скажем, с природой, не может возникать при недостатке знания о ней. Однако это независимые, а иногда и противостоящие друг другу явления (см. раздел 7).

Солидарность — весьма невнятное понятие, скрывающее некоторые концептуальные аспекты, из-за чего, например, непроясненными остаются механизмы происхождения солидарности. Тем не менее это понятие проясняет важную характеристику объект-центричной социальности — чувство общности или единства (ощущение идентичности) с объектами, нравственное чувство (обязательство подходить к ним лишь определенным образом), и различные состояния эмоционального возбуждения, подкрепляющие эту общность. Все это некоторым образом связано со знанием объекта. Именно в связи с когнитивным аспектом приобретает значение пересмотренная формула Мида. Она уточняет механизмы эпистемической одержимости, описанные Мак-Клинток: как она погружается в мир объектов (в лабораторной науке это погружение приобретает физический смысл, когда ты стоишь за рабочим столом и производишь с объектами различные манипуляции), а объекты овладевают ее разумом и ею самой. Если представленная картина верна, объект-центричная солидарность представляет собой завершение этого процесса овладения, хотя она может также подпитываться ситуациями, внешними по отношению к описанным взаимосвязям. Следует отметить, что представление о «завершении» противоречит некоторым исследованиям (например: Wiley, 1994: 104ff; Collins, 1982), в которых солидарность и мидовские механизмы рассматриваются как отдельные и независимые процессы.

Овладение представляет собой последовательность действий. Возможно, образ цепочки желаний, которая закольцовывается через от-

сутствующие фрагменты объектов, поможет нам понять динамику желания в последовательности овладений. К этому нужно сразу же добавить, что три использованные мною выше модели лучше всего рассматривать как метафоры или орудия, помогающие разобраться в стоящей перед нами проблеме. Их удовлетворительный анализ невозможно провести в рамках данной статьи, но они помогут нам приступить к рассмотрению объект-центричной социальности на уровне взаимодействия объекта и личности¹³.

7. СОЦИАЛЬНОСТЬ ПРОТИВ РОМАНТИЧЕСКОГО СЛИЯНИЯ

Сделав обзор возможных подходов к объект-центричной социальности, необходимо указать на то, чем она не является. Вспомним еще раз ощущение единства или «субъективного слияния», в котором признавалась Мак-Клинтон — ощущение, которое мы пытались передать в понятии солидарности. Чувство общности с конкретными объектами-хромосомами, которое испытывала Мак-Клинтон, я хочу противопоставить более абстрактному стремлению слиться с миром, описанному многими другими авторами. Пример такого желания мы находим в интересной статье о первых годах жизненного и творческого пути статистика Пирсона (Porter, 1996), еще до того как Пирсон примерно в 35-летнем возрасте занялся математической статистикой и фактически стал основателем этой науки. Как пишет Портер, до того жизненный путь Пирсона был поразительно извилистым, отчасти по его собственной воле. Среди прочего, он был очарован «Вертером» Гете, путешествовал по Германии (и учился там же), написал «*Schwärmerroman*» — сентиментальный роман, изданный под псевдонимом в 1880 г. Портер считает, что Пирсон утаил свое авторство из-за того, что раскрыл в этой книге слишком много потаенных сторон своей личности. Герой романа живет с некой Этель, затем порывает с ней, но все равно изливает ей душу. Портер, проследив родственные связи Пирсона, не находит в его жизни никакой женщины, с которой можно было бы отождествить эту Этель, и полагает, что этот персонаж воплощал в себе страсть Пирсона к природе, аналогом чего в романе выступает его влечение к Этель. Пирсон, как показывает Портер, был одержим стремлением слиться с миром, жертв-

¹³ Например, предыдущую дискуссию о (дюркгеймовском) «возбуждении» можно сравнить с работой об ощущении «потока» (Csikszentmihalyi, 1990), которая подтверждает некоторые заявления, сделанные мною скорее с психологической точки зрения.

воватъ собой и в то же самое время подчинить природу себе. «Жажда знания, *conatus cognitandis*, верховодила его жизнью в гораздо большей степени, чем у большинства других ученых». В характерном пассаже из романа Пирсона «природа» отождествляется с десятком сельских девушек. Герой, уснувший у водопада, просыпается посреди ночи и видит, что

...все вокруг преобразилось — десять или двенадцать юных поселянков, не подозревающих о моем присутствии... тоже пришли приобщиться к радостям вечернего купания! С распущенными волосами, спускающимися до пояса, они плескались и баловались в пруду перед моими глазами, точно так, как мы воображаем себе нимф в счастливые времена пасторальной старины! О Этель, грешно ли было подглядывать за Природой во всей ее неприкрытой красе?.. Этель, это не было грехом, ведь мои мысли оставались чисты (Porter, 1996: 16).

В своих нехудожественных произведениях Пирсон также выражает это желание. Вот отрывок из его письма другу:

Сказать ли тебе, каким я хочу видеть моего сына? Не светским человеком, не торговцем, не книжным червем, а исследователем самой Природы, и не через математическую науку... не ради его собственной славы, не ради стремления облагодетельствовать человечество, а только по велению Искусства, только потому, что Искусство стало его богиней (Porter, 1996: 16ff).

Мы вслед за Портером можем объявить такое отношение к природе «поразительным, исходящим от одного из главнейших апологетов тотальной оцифровки всего окружающего» (1996: 16–17). Герой романа, как и сам Пирсон в реальной жизни, испытывает тягу к отречению. Отречение, по словам Портера, являлось воплощением желаний Пирсона, и в то же время приводило его в отчаяние, превращая то слияние с миром, которое обещал *conatus cognitandis*, в *conatus interruptus* — мучительный своей незавершенностью союз, не оставляющий никакой надежды на полное единство: «Пирсон, как и многие другие, был вынужден отказаться от удобной, соблазнительной тропинки через сад наслаждений ради крутого, каменистого пути, который никогда не приведет к желанной цели». Портер предполагает, что этот *conatus interruptus* — подходящее латинское обозначение для позитивизма (1996: 23), характерного для позднейших статистических работ Пирсона.

Эти замечания весьма проникательны. Кроме того, подобное описание позднейших трудов Пирсона по математической статистике

вполне совместимо с моделью «структуры желаемого» — речь идет о взаимоотношениях, которым свойственна постоянно воспроизводящаяся незавершенность, и она же является их движущей силой. Однако не следует путать романтические чаяния Пирсона с теми объектными взаимоотношениями, в которых признается Мак-Клинток. Выдвигаемое мной понятие объект-центричной социальности и объектных взаимоотношений в принципе более применимо к тому, как Пирсон относился к научным объектам под конец жизни, нежели к его юношеским страстям. Иными словами, оно должно быть совместимо со стремлением к объективности и ее демонстрацией, с отказом от субъективных желаний ради требований строгого метода и, по возможности, ради подсчета и измерений.

Социальность по отношению к объектам — это не безнадежный романтизм и не преклонение перед миром. Хотя в социальные взаимоотношения порой проникают восторженные излияния, сами по себе они вовсе не обязательны. В любом случае трудно себе представить такого ученого-экспериментатора, как Мак-Клинток, кропотливо выявляющего неизвестные генетические факторы, посыпая пылью одних растений тычинки других растений (Fox Keller, 1983: 129), и проникаясь *Schwärmergeist*¹⁴ ко всем исследуемым организмам. Мак-Клинток испытывала по отношению к этим растениям общность жизненного мира и описанную выше взаимность и солидарность. Далее в своей статье (Porter, 1996: 21f) Портер связывает присущее Пирсону «эротическое стремление к познанию самой природы» с ярко выраженным антииндивидуализмом, который находил мучительное выражение в некоторых из его писем. Пирсон боялся, что унаследовал от своего отца непреодолимый дух эгоистичного индивидуализма. Если мы захотим узнать, каким образом Пирсон выражал свою неизменную оппозицию индивидуализму в начале жизни, было бы поучительно обратиться к его изъявлениям стремления слиться с миром. Но задавшись вопросом «преодолел ли Пирсон этот пугающий его индивидуализм?», не следует сразу же списывать со счетов мир математической статистики, который он создал и в котором прожил остаток жизни.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ: РАСШИРЕНИЕ КОНТЕКСТА ОБЪЕКТ-ЦЕНТРИЧНОЙ СОЦИАЛЬНОСТИ

В наше время стало общепринятым утверждение о том, что знание и технологии являются важнейшими силами, формирующими обще-

¹⁴ Романтическим духом.

ство. Но мало кто из социологов пытался понять, что это означает на уровне ключевых концепций социального, например, на уровне социальных форм связи «Я» и «другого». Многие исследователи, от Маркса до Дэниэла Белла и иных современных авторов, высказали важные соображения о знании и технологии, сформулированные на языке индустриальных преобразований, трансформации рабочей силы или окружающей среды, и даже в категориях самого знания. Кроме того, они вдохновенно рассуждали о преобразовании (традиционных) сред обитания в рефлексивно сконструированные системы индивидуальной и коллективной жизни (см., например: Beck and Beck-Gernsheim, 1994). Это второе направление их рассуждений значительно ближе к современным проблемам, чем первое. Однако существующие теории остаются отвлеченными теориями науки и экспертизы; они рассматривают функционирование познания и технологии с внешней стороны, принимая вовлеченные в этот процесс сущности за когнитивные продукты того или иного рода. В таких дискуссиях понятие знания лишь изредка получает истолкование; а когда это происходит (как, например, в идеях Белла о постиндустриальном обществе; см.: Stehr, 1994), то свойства, приписываемые знанию, выводятся не эмпирически, а скорее основываются на традиционном отождествлении науки с теорией и с «абстрактными» системами (см., например: Giddens, 1994a: 128), технология же отождествляется с принципами работы (механических и электронных) машин. Если «Я» присутствует в этих сценариях, то обычно рассматривается как находящееся под негативным воздействием, как отчуждаемое техническим производством и технически изменяемым окружением, следствием чего являются различные риски: «Я» обременено сложностью общества знания, оно дистанцируется от науки с ее противоречивым содержанием и неопределенностью.

В данной статье я занимаю противоположную позицию. Оставляя открытыми для пересмотра понятия знания и экспертизы, я пытаюсь дополнить вышеназванные подходы, моя задача — вывести на передний план те объектные взаимоотношения, которые определяют процессы знания. Идея объекта, определяемая пониманием этих взаимосвязей, резко противоречит нашим общепринятым понятиям инструмента, товара или предмета повседневного обихода. Я утверждаю, что чувственные, либидозные и взаимные аспекты связей экспертов с объектами экспертизы способствуют пониманию этих отношений как разновидностей социальности, а не просто как форм «работы» или «инструментальных действий». Предпринятая выше ревизия интерпретаций позволяет нам заключить: объектные отношения того типа, которые представлены в культурах знания, являют собой скры-

тую и игнорируемую сторону современного опыта индивидуализации. Эпохальный характер происходящих ныне перемен отчасти, возможно, как-то связан с тем, что я называю «объектуализацией» — с усиливающейся ориентацией на объекты как на источники «Я», близости в отношениях, совместной субъективности и социальной интеграции. В данной статье я рассматриваю распространение экспертных сред и культур знания как возможную движущую силу объект-центричной социальности. Всепроницающее присутствие таких культур (в собственных «Я» экспертов, в объектах, обладающих свойствами объекта познания и т.д.) указывает на выстраивание социальных отношений вокруг объектов познания.

За процессом объектуализации может стоять и вторая движущая сила, а именно те риски, которые, по мнению многих авторов, неотъемлемы от современных взаимоотношений между людьми. Согласно данной схеме, объекты являются «рискополучателями», они могут также выигрывать от рисков и неудач в человеческих взаимоотношениях и от более широких постсоциальных преобразований, обрисованных в данной статье. Однако я также считаю, что эта и предыдущая ситуация не независимы друг от друга, что в реальности они пересекаются на многих уровнях. Например, поскольку бытовые объекты превращаются в высокотехнологические устройства, некоторые из свойств, которыми эти объекты обладают в экспертном контексте, могут переходить в повседневную жизнь, превращая инструмент или товар в «повседневный эпистемичный предмет». Таким образом можно интерпретировать некоторые требования, которые компьютеры и компьютерные программы выдвигают перед своими пользователями в ходе их интеракции, и некоторые возможные варианты такого взаимодействия (см.: Turkle, 1984, 1995). Если анализ Хайдеггера (Heidegger, 1962 [1927]) и других авторов верен, то типичные инструменты в прежнем смысле не предлагали подобных возможностей.

В данной статье я веду речь об объект-центричной социальности, отталкиваясь от взаимоотношений между личностью и объектом. В завершение мне хотелось бы подчеркнуть необходимость принятия идеи объект-центричной социальности в самом широком смысле, а также обратить внимание на те совокупные уровни социальности, которым свойственна объект-центричность. Отправной точкой для дискуссии способна послужить идея, неотъемлемая от понятия об объектных взаимоотношениях, идея о том, что «референтное целое» (Heidegger, 1962 [1927]) подобных взаимоотношений может также выполнять роль непосредственного окружения «Я». Тезис об индивидуализации, в котором утверждается, что современное «Я» лишено корней и окруже-

ния, выдвигает на передний план сообщества и традиции, объявляя их необходимыми для понимания прежних контекстов принадлежности (см., например: Neelas et al., 1996). Аргументация данной статьи подводит нас к мысли о том, что объекты могут играть существенную роль в формировании таких контекстов. Для «Я» экспертов возможным окружением является лаборатория; некоторые недавние исследования дают эмпирическое подтверждение этой идеи (см., например: Traweek, 1998; Knorr Cetina, 1997a: Ch. 7; Todes, 1997).

Чтобы развить данную мысль, можно обратиться к понятию интеграции, задавшись вопросом: не может ли идея об объектуальной интеграции дать нам ключ к пониманию общества знания? В общественных науках интеграция практически безальтернативно понимается в смысле человеческих связей, формируемых посредством нормативного консенсуса и благодаря общим ценностям — эта концепция восходит еще к Парсонсу и Дюркгейму. Такая форма интеграции становится крайне проблематичной, если принять во внимание повышение культурного и этнического самосознания среди населения национального государства (см., например: Featherstone, 1990). Поскольку общие ценности более не являются плодом совместных традиций и не могут быть просто навязаны какой-либо властью, интеграция через нормы и ценности представляется все менее эффективной. Фактически, сегодня такая интеграция вообразима лишь как социокультурно выстроенный консенсус (Etzioni, 1994). Питерс (Peters, 1993) указывает, что к интеграции могут привести и другие факторы, например, совместное процветание, которое обеспечивает социальную интеграцию больших сегментов населения. При совместном процветании существенную роль играют объекты, и возможно, следует выяснить их роль в такой интеграции. В экспертных контекстах объединяющая роль объектов познания, возможно, связана с их многочисленными обличьями: например, с их способностью распространяться в качестве пробных образцов, демонстрационных материалов, карт, прототипов, веществ и т.д. Такая форма объектной интеграции может создавать «мыслящие» сообщества (ср. Hutchins, 1995), коллективные обязательства по отношению к отсутствиям, обнаруживаемым в неполных объектах, и эмоциональную склонность к концентрации чувств, образов и метафор на ключевых объектах. Я полагаю, что объектная интеграция играет решающую роль при формировании исследовательских групп (Geison, 1993) и экспериментальных систем (Rheinberger, 1992) через многие поколения участников.

Идея объектуализации предполагает, что мы наблюдаем переход форм взаимозависимости: от социальной и нормативной интеграции

в сторону объектов как партнеров по отношениям или элементов окружающей среды. Эта идея не игнорирует и не отвергает явление, заключавшееся в том, что известные формы привязанности к объектам и через объекты всегда были с нами; я утверждаю лишь, что эти формы широко развиваются в постсоциальных культурах знания и должны учитываться в наших ключевых концепциях социального. Те преобразования, на которые я указываю, нуждаются в дальнейшем выявлении посредством эмпирического изучения тесных объектных отношений в экспертных сферах, а также в других областях. Например, особенно богатым на социальность с объектами может оказаться досуг, а на совершенно ином уровне – международный рынок фондов и фокс-трейдинга, для которого характерна полная поглощенность участников объектами (Abolafia, 1996: 238), которые никогда не являются фиксированными (например, цена товара), и которые уже давно считаются насыщенными знанием (Hayek, 1945). Подобные исследования могут расширить наши представления о составных частях социальной, что необходимо для понимания нынешнего перехода к постсоциальному обществу знания и все большей склонности к индивидуализированному образу жизни. Кроме того, они позволят нам различать всевозможные типы социальной с объектами и посредством объектов, увязав их с межличностным разнообразием социальных форм.

Перевод с английского Николая Эдельмана

ЛИТЕРАТУРА

- Abolafia, M. (1996) 'Hyper-Rational Gaming', *Journal of Contemporary Ethnography* 25 (2): 226–50.
- Alford, C. F. (1991) *The Self in Social Theory*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Baas, B. (1996) 'Die phänomenologie Ausarbeitung des Objekts a: Lacan mit Kant und Merleau-Ponty', *Riss* 1: 19–60.
- Baldwin, J. M. (1973/1899) *Social and Ethical Interpretations of Mental Development*, New York: Arno Press.
- Baudrillard, J. (1968) *Les Systèmes des objets*. Paris: Gallimard.
- Baudrillard, J. (1970) *La Société de consommation*. Paris: Éditions Denoel.
- Bauman, Z. (1996) 'Morality in the Age of Contingency', in P. Heelas, S. Lash and P. Morris (eds) *Detraditionalization: Critical Reflections on Authority and Identity*. Oxford: Blackwell.
- Beck, U. (1992) *Risk Society: Towards a New Modernity*. London: Sage.
- Beck, U. and E. Beck-Gernsheim (1994) *The Normal Chaos of Love*. Cambridge: Polity.

- Beck, U. and E. Beck-Gernsheim (1996) 'Individualization and «Precarious Freedoms»: Perspectives and Controversies of a Subject-Oriented Sociology', in P. Heelas, S. Lash and P. Morris (eds) *Detraditionalization: Critical Reflections on Authority and Identity*. Oxford: Blackwell.
- Bell, D. (1973) *The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting*. New York: Basic Books.
- Bengler, J. R. (1986) *The Control Revolution*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Berger, P., B. Berger and H. Kellner (1974) *The Homeless Mind: Modernization and Consciousness*. New York: Vintage Books.
- Bruegger, U. and K. Knorr Cetina (1997) 'Global Microstructures', paper presented at the Annual Meeting of the Society for Social Studies of Science, Tucson, Arizona, October.
- Callon, M. (1986) 'Some Elements of a Sociology of Translation: Domestication of the Scallops and the Fishermen of St. Briec Bay', in J. Law (ed.) *Power Action and Belief: A New Sociology of Knowledge?* London: Routledge and Kegan Paul.
- Coleman, J. (1993) 'The Rational Reconstruction of Society: 1992 Presidential Address', *American Sociological Review* 58: 1–15.
- Collins, R. (1982) *Sociological Insight*. New York: Oxford University Press.
- Csikszentmihalyi, M. (1990) *Flow: The Psychology of Optimal Experience*. New York: Harper & Row.
- Dennett, D. (1987) *The Intentional Stance*. Cambridge: MIT Press.
- Dodier, N. (1995) *Les Hommes et les machines*. Paris: Editions Métailié.
- Dreyfus, H. L. (1991) *Being-in-the-World: A Commentary on Heidegger's Being and Time, Division I*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Drucker, P. F. (1993) *Post-Capitalist Society*. New York: HarperCollins.
- Durkheim, E. (1964 [1893]) *The Division of Labor in Society*. New York: The Free Press.
- Durkheim, E. and M. Mauss (1963), *Primitive Classifications*, trans. by R. Needham. Chicago: University of Chicago Press.
- Etzioni, A. (1994) *The Spirit of Community*. New York: Crown.
- Featherstone, M. (ed.) (1990) *Global Culture*. London: Sage.
- Fox Keller, E. (1983) *A Feeling of the Organism: The Life and Work of Barbara McClintock*. San Francisco: Freeman.
- Geison, G. L. (1993) 'Research Schools and New Directions in the Historiography of Science', in G. L. Geison and F. Holmes (eds) *Research Schools: Historical Reappraisals*. *Osiris* 8: 227–38.
- Geison, G. L. and F. Holmes (eds) (1993) *Research Schools: Historical Reappraisals*. *Osiris* 8.
- Giddens, A. (1990) *The Consequences of Modernity*. Stanford, CA: Stanford University Press.

- Giddens, A. (1994a) 'Living in a Post-Traditional Society', pp. 56–109 in U. Beck, A. Giddens and S. Lash, *Reflexive Modernization*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Giddens, A. (1994b) *Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Goffman, E. (1967) *Interaction Ritual*. New York: Doubleday.
- Greenberg, J. R. and S. A. Mitchell (1983) *Object Relations in Psychoanalytic Theory*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Habermas, J. (1970) *Zur Logik der Sozialwissenschaften*. Frankfurt / M.: Suhrkamp.
- Habermas, J. (1981) *Theorie des kommunikativen Handelns*. Frankfurt / M.: Suhrkamp.
- Hage, J. and C. H. Powers (1992) *Post-Industrial Lives: Roles and Relationships in the 21st Century*. London and Newbury Park: Sage.
- Hayek, F. (1945) 'The Use of Knowledge in Society', *American Economic Review* 35 (4): 519–30.
- Heelas, P. (1996) 'Introduction: Detraditionalization and its Rivals', in P. Heelas, S. Lash and P. Morris (eds) *Detraditionalization: Critical Reflections on Authority and Identity*. Oxford: Blackwell.
- Heelas P., S. Lash and P. Morris (eds) (1996) *Detraditionalization: Critical Reflections on Authority and Identity*. Oxford: Blackwell.
- Hegel, G. W. F. (1979 [1807]) *Phenomenology of Spirit*. Oxford: Oxford University Press.
- Heidegger, M. (1962 [1927]) *Being and Time*. New York: Harper & Row.
- Heidegger, M. (1982 [1927]) *Basic Problems of Phenomenology*. Bloomington: Indiana University Press.
- Heintz, B. (1998) *Die Binnenwelt des Mathematik. Zur Kultur und Praxis der Mathematik*. Berlin: Springer (forthcoming).
- Hutchins, E. (1995) *Cognition in the Wild*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Joas, H. (1980) *Praktische Intersubjektivität*. Frankfurt / M.: Suhrkamp.
- Knorr Cetina, K. (1981) *The Manufacture of Knowledge: An Essay on the Constructivist and Contextual Nature of Science*. Oxford: Pergamon Press.
- Knorr Cetina, K. (1996) 'Epistemics in Society', in W. Heijman, H. Hetsen and J. Frouws (eds) *Rural Reconstruction in a Market Economy*. Wageningen: Mansholt Institute.
- Knorr Cetina, K. (1997a) *Epistemic Cultures*. Cambridge, MA: Harvard University Press (forthcoming).
- Knorr Cetina, K. (1997b) 'Objectual Practice', in K. Knorr Cetina, E. v. Savigny and T. Schatzki (eds) *Thinking Practices: The Practice Approach in Social Thought*. Cambridge, MA: MIT Press (forthcoming).
- Kohler, R. (1994) *Lords of the Fly*. Chicago: University of Chicago Press.
- Lacan, J. (1975) *The Language of the Self*. New York: Dell.

- Lacan, J. and A. Wilden (1968) *Speech and Language in Psychoanalysis*. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
- Lasch, C. (1978) *The Culture of Narcissism*. New York: W. W. Norton.
- Lash, S. (1994) 'Reflexivity and its Doubles: Structure, Aesthetics, Community', in U. Beck, A. Giddens and S. Lash, *Reflexive Modernization*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Lash, S. (1996) 'The Consequences of Reflexivity: Notes toward a Theory of the Object', paper presented at the Joint Meeting of the Society for Social Studies and the European Association for the Study of Science and Technology, Bielefeld, October.
- Lash, S. And J. Urry (1994) *Economies of Signs and Space*. London: Sage.
- Latour, B. (1993) *We Have Never Been Modern*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Levinas, E. (1990) *De l'existence à l'existant*, 2nd edn. Paris: Librairie philosophique J. Vrin.
- Lyotard, J. F. (1984) *The Postmodern Condition*. Manchester: Manchester University Press.
- MacFarlane, A. (1979) *The Origins of English Individualism: The Family, Property and Social Transition*. New York: Cambridge University Press.
- Marx, K. (1968 [1887]) *Das Kapital. Kritik der politischen Ökonokie*, Band 1. Hamburg: Europäische Verlagsanstalt.
- McCarthy, E. D. (1984) 'Toward a Sociology of the Physical World: George Herbert Mead on Physical Objects', *Studies in Symbolic Interaction* 5: 105–21.
- Mead, G. H. (1934) *Mind, Self and Society*. Chicago: University of Chicago Press.
- Mead, G. H. (1938) *The Philosophy of the Act*. Chicago: University of Chicago Press.
- Merton, R. K. (1970 [1938]) *Science, Technology and Society in Seventeenth-Century England*. New York: Harper & Row.
- Peters, B. (1993) *Die Integration moderner Gesellschaften*. Frankfurt / M.: Suhrkamp.
- Pickering, A. (1995) *The Mangle of Practice: Time, Agency and Science*. Chicago: University of Chicago Press.
- Porter, T. M. (1996) 'Karl Pearson's Wanderjahre: Desire, Renunciation, and Objectivity', manuscript, University of California, Los Angeles, Department of History.
- Rabinbach, A. (1996) 'Social Knowledge, Social Risk, and the Politics of Industrial Accidents in Germany and France', in D. Rueschemeyer and T. Skocpol (eds) *States, Social Knowledge, and the Origins of Modern Social Policies*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Rheinberger, H.-J. (1992) 'Experiment, Difference, and Writitng: I. Tracing Protein Synthesis', *Studies in the History and Philosophy of Science* 23 (2): 305–31.
- Rueschemeyer, D. and T. Skocpol (eds) (1996) *States, Social Knowledge, and the Origins of Modern Social Policies*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

- Sandel, M. J. (1982) *Liberalism and the Limits of Justice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Simmel, G. (1923) *Philosophische Kultur*. Potsdam: Kiepenheuer.
- Simmel, G. (1978 [1907]) *The Philosophy of Money*. London, Routledge.
- Slater, D. (1997) *Consumer Culture and Modernity*. Cambridge: Polity.
- Stehr, N. (1994) *Arbeit, Eigentum und Wissen. Zur Theorie von Wissensgesellschaften*. Frankfurt / M.: Suhrkamp.
- Thévenot, L. (1994) 'Le Régime de familiarité. Des choses en personne', *Génese* 17 (Sept.): 72–101.
- Tocqueville, A. De (1969 [1840]) 'Of Individualism in Democracies', in J. P. Mayer (ed.) *Democracy in America*, Vol. 2, trans. George Lawrence. New York: Doubleday, Anchor Books.
- Todes, D. (1997) 'Pavlov's Physiology Factory', manuscript, Johns Hopkins University.
- Traweek, S. (1998) *Beamtimes and Lifetimes: The World of High Energy Physics*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Turkle, S. (1984) *The Second Self: Computers and the Human Spirit*. New York: Simon & Schuster.
- Turkle, S. (1995) *Life on the Screen*. New York: Simon & Schuster.
- Walzer, M. (1990) 'The Communitarian Critique of Liberalism', *Political Theory* 18 (1): 6–23.
- Welsch, W. (1996) 'Aestheticization Processes: Phenomena, Distinction and Prospects', *Theory, Culture & Society* 13 (1): 1–25.
- Wiley, N. (1994) *The Semiotic Self*. Chicago: University of Chicago Press.
- Winch, P. (1957) *The Idea of Social Science and its Relation to Philosophy*. London: Routledge & Paul.
- Wise, N. (1993) 'Mediations: Enlightenment Balancing Acts, or the Technologies of Rationalization', in P. Horwich (ed.) *World Changes: Thomas Kuhn and the Nature of Science*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Wittrock, B. And P. Wagner (1996) 'Social Science and the Building of the Early Welfare State', in D. Rueschemeyer and T. Skocpol (eds) *States, Social Knowledge, and the Origins of Modern Social Policies*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

КАРИН КНОРР-ЦЕТИНА, УРС БРЮГГЕР

РЫНОК КАК ОБЪЕКТ ПРИВЯЗАННОСТИ:

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСТСОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ^{1,2}

В основе статьи лежит предположение о все большей распространенности и значимости объектных миров в социальном мире. Согласно этому предположению, подобный наплыв объектных миров ведет к трансформации моделей связей между людьми (human relatedness), которую можно обозначить понятием постсоциальных форм. Эти формы включают объектные отношения, в которых объектами выступают неживые предметы. Впервые (по крайней мере, в новейшей истории) возник вопрос о том, а действительно ли наибольший интерес для людей представляют другие люди. Как показывают многочисленные исследования, возникающие риски — неотъемлемая часть современных человеческих отношений — связаны с объектами в не мень-

¹ Более ранняя версия этой работы была представлена на конференции «Статус объекта в социальных науках» в Бранелском университете (Аксбридж, Великобритания) 9–11 сентября 1999 г., где мы получили много полезных замечаний. Ценный комментарий предложил Нико Штер. Мы выражаем огромную благодарность менеджерам, трейдерам, продавцам и аналитикам изучаемого нами глобального инвестиционного банка, которые столь щедро делились необходимой нам информацией.

² Knorr-Cetina K., Bruegger U. The Market as an Object of attachment: Exploring Postsocial Relations in Financial Markets // Canadian Journal of Sociology. 2000. Vol. 25. No. 2. Текст этой статьи был переведен М. С. Добряковой (научный редактор перевода В. В. Радаев) и опубликован в хрестоматии западной экономической социологии (См.: Западная экономическая социология: Хрестоматия современной классики / Сост. и науч. ред. В. В. Радаев; Пер. М. С. Добряковой и др. М.: РОССПЭН, 2004.) Мы искренне признательны В. В. Радаеву и М. С. Добряковой за предоставленную возможность его повторной публикации — *Прим. ред.*

шей мере, чем с самими людьми. «Постсоциальные формы» проникают в социальные отношения, при этом последние «опустошаются», теряя свое былое значение. Мы сумеем понять данное явление, лишь переосмыслив традиционные понятия, согласно которым объекты рассматриваются просто как отчужденные абстрактные технологии или фетишизированные товары, сковывающие любой человеческий или политический потенциал (К. Маркс). Ранее мы предложили иной подход, который и используем в данной работе. Здесь детально анализируется понятие постсоциальных связей, основанное на идее динамики потребностей и невозможности их реализации. Это явление рассматривается на примере финансовых рынков: трейдеры здесь относятся к рынкам как объектам привязанности (objects of attachments), основанным на повторяющихся актах нереализованности.

1. ВВЕДЕНИЕ

В основу данной статьи положена наша более ранняя работа, в которой в качестве возможной социальной, т. е. конституирующей, формы анализировалась «объект-центричная социальность» (object-centered sociality), рассматривающаяся как обратная сторона современной индивидуализации (Knorr-Cetina 1997). В ней утверждалось, что, представляя себе современную личность «неукорененной» (disembedding), как это делается сегодня в посттрадиционных обществах, мы упускаем из виду распространение объект-центричной среды, которая задает наше место и привносит стабильность, определяет индивидуальную идентичность так же, как это делали прежде местное сообщество или семья, и выводит на первый план формы социальности, подкрепляющие и дополняющие формы, исследовавшиеся обществоведами ранее. Мы полагаем, что десоциализирующие силы и события современных переходных обществ следует попытаться анализировать с позиций постсоциальной модели социальности. Согласно этой модели, в отношениях, предполагающих элементы риска (а таковыми, по мнению многих авторов, является подавляющее большинство нынешних человеческих отношений), именно объекты получают преимущества. А объектные отношения рассматриваются как категория, составляющая все более мощную конкуренцию человеческим отношениям. Одна из отличительных особенностей современной жизни состоит в том, что, пожалуй, впервые в истории (по крайней мере, новейшей) встает вопрос: действительно ли другие люди являются наиболее интересным элементом окружающей среды — тем, на который люди тоньше и охотнее всего реагируют и которому они уделяют наи-

большее внимание (см. также: Turkle 1995). Мы попытаемся проанализировать эту возможность, используя понятие «постсоциальные отношения», и предполагаем, что это позволит нам несколько смягчить жесткие рамки, заданные прежними подходами.

Понятие «постсоциальный» служит удобным обозначением для неограниченного спектра культурных форм, выходящих за пределы привычных определений социального порядка, но проявляющих себя сегодня в целом ряде образований. Среди таких форм — крайне рискованное поведение по отношению к природной среде, подобное тому, что описал С. Линг (Lyng 1990; его пример — затяжные прыжки с парашютом); определение идентичности с точки зрения объектных принципов и категорий, возникающих в результате анализа потребительского поведения и деятельности крупных торговых центров (Falk, Campbell 1997; Ritzer 1999); виды привязанностей (attachments), обсуждаемые в данной работе. Все эти формы объединяет вовлеченность в «объектные отношения» (object-relations) с неживыми вещами, которые начинают конкурировать с человеческими отношениями и в определенной степени заменяют их. Однако понятие постсоциального можно использовать и для анализа человеческих отношений, когда те вымываются из наших основных представлений о социальности. Подобную методику анализа можно использовать также в коллективных обезличенных системах, возникающих в символическом пространстве, — например, для исследования форм человеческого взаимодействия, образованного коммуникационными технологиями и ими опосредуемого. Мы можем назвать такие системы постсоциальными формами, так как они возникают в обстоятельствах, когда взаимодействие, пространство и даже коммуникация начинают означать нечто, отличное от их привычного понимания. Открытым вопросом, на который предстоит ответить эмпирическим исследованиям, остается вопрос о том, как изменяются характеристики социального взаимодействия, когда технологическое становится естественным, а «социальное пространство превращается в компьютерный код, — всеобщий и обманчивый (consensual and hallucinatory)» (Stone 1996: 38). Мы не будем здесь пытаться ответить на этот вопрос, а сосредоточим внимание на постсоциальных отношениях в сфере, в которой объектами выступают одновременно и люди, и предметы. А в качестве примера мы рассмотрим «рынок» и, в частности, финансовые рынки, оказывающие все возрастающее влияние на современную жизнь. Вслед за трейдерами, видящими в рынке совокупность преимущественно анонимных поведенческих актов, мы будем анализировать его как объект, а затем вернемся к его человеческой составляющей.

Наша позиция в некотором смысле исторична: она основывается на послышке о том, что в современной жизни определенные категории вещей и привносимые ими обстоятельства получают все большее распространение и обретают все большую значимость и признание. Подобный «наплыв» объектных миров в социальный мир, их постоянное движение и предъявляемые ими требования можно обрисовать, опираясь на посвященные им последние работы. Речь идет о литературе об информационных и коммуникационных технологиях (Turkle 1995; Heim 1993), о «возвращении природы» и требованиях природной среды (Sheldrake 1991; Serres 1990), об объектах потребления (consumer objects) (Baudrillard 1996; Ritzer 1999; Miller 1994) и финансовых рынках (Smith 1991; White 1981; Baker 1984; Abolafia 1996). «Наплыв» объектных миров совпадает с изменением моделей межличностных отношений и отношений в рамках сообществ, о которых писали в том числе К. Лаш, Дж. Коулман, Э. Гидденс, У. Беки Э. Бек-Гернсхейм, С. Лэш (Lasch 1978; Coleman 1993; Giddens 1991; Beck, Beck-Gernsheim 1994, 1996; Lash 1994). Постсоциальные явления возникают в результате пересечения всех этих тенденций. Формы объект-центричных отношений, очевидно, не новы, и объекты (в широком смысле слова), несомненно, становились ключевой характеристикой и в другие исторические периоды. Однако есть основания полагать, что нынешние формы объект-центричности или, если угодно, современного «объектного сдвига» («object shift»), с исторической точки зрения отличаются от прежних типов объектной ориентированности (object orientation). Например, отличительной особенностью современной ситуации являются сами объекты, которые, как нам кажется, все более активно заимствуют свои характеристики у объектов, используемых в сфере науки и экспертного знания. Важная задача данной работы — показать, что рынки суть «эпистемические вещи» (epistemic things) (понятие предложено Х.-И. Райнбергером и доработано Кнорр-Цетиной (Rheinberger 1997; Knorr-Cetina 1997)).

Рассматриваемая в данной работе идея постсоциальных отношений тесно связана с понятием объекта как разворачивающейся структуры (unfolding structure), не тождественной самой себе. Подобная концептуализация имеет место в естественных науках, но противоречит традиционным представлениям об объектах в социальных науках. Мы должны концептуализировать не только объекты, но и саму социальность; необходимо выявить механизм (ы) связей между «собой» и «другими» (self and others), согласно которым объектные ориентации можно рассматривать как социальные отношения. Это и будет вторым вопросом данной работы. Мы опираемся при этом

на работы Ж. Лакана и его идеи по поводу субъекта как предлежащей структуры желаний (subject as implying structure of wanting). Интерпретация объектных ориентаций как постсоциальной формы связи (relatedness) в корне отлична от интерпретаций, ориентированных на действие и включающих такого рода ориентации, например, в рамках понятий труда и инструментального или практического действия. Одно из положений данной статьи заключается в том, что подход, ориентированный на объектные отношения (object-relations approach), не означает отказа от интерпретаций в терминах «труда» или «действия», и наоборот. Применительно к финансовым рынкам подходы, ориентированные на действия, можно использовать для иллюстрации ответов на вопросы социологии экономики (sociology of economics), индустриальной социологии и организационной социологии, в то время как *теория постсоциальных объектных отношений смещает дискуссию в русло теорий трансформации, исследующих характер изменений в современной жизни*. Одновременно, настаивая на отказе от таких понятий, как «труд» или «действие», наш подход также ставит под сомнение более ранние взгляды, в которых эти термины зачастую изначально включают в себя объектную сторону, но не развивают ее в целенаправленной деятельности и пренебрегают отношениями, которые связаны с этими процессами³. Используемое нами понятие социальных связей с объектами основывается на интуитивном предположении о том, что в некоторых областях индивиды относятся к (некоторым) объектам не только как «производители» и «творцы» («doers» and «accomplishers») вещей в рамках той или иной схемы действия, но как воспринимающие, чувствующие, размышляющие и помнящие существа, — как носители опыта, который мы, как правило, связываем только со сферой интересубъективных отношений.

В последующих разделах мы сначала рассмотрим международные валютные рынки как объект глобального знания, в который они пре-

³ Часто утверждают, что Хайдеггер сумел преодолеть различие объект — субъект, обосновав, что мы живем в мире, который по отношению к нам всегда уже организован с точки зрения целей. Однако его идеи были направлены против «когнитивистских» теорий знания, упускающих из виду непосредственно данный и фундаментальный опыт собственной вовлеченности. Из анализа не следует исключать человеческую любовь как процесс построения отношений, предполагающих различные сущности. Рассуждения Хайдеггера относятся скорее к фундаментальному философскому уровню «здесь-бытия» (Dasein), нежели к повседневным процессам (Heidegger 1962).

вратились. Затем представим наше понятие объекта и концепции связанности, чтобы с их помощью описать то, что мы называем постсоциальными отношениями.

2. РЫНОК КАК ЭПИСТЕМИЧЕСКАЯ ВЕЩЬ

Мы хотим проверить наши идеи о постсоциальных объектных отношениях на примере валютных рынков и, в частности, торговли валютой между крупными глобальными инвестиционными банками. Данные, представленные в нашем исследовании, получены в ходе включенного наблюдения и интервью в торговом зале Швейцарского банка (Swiss bank), который по своим зарегистрированным доходам от торговли валютой в последние годы прочно занимает место в пятерке или семерке наиболее успешных банков мира (FX Week 1998).⁴ В 1999 г. в этом банке по всему миру работали 14 500 человек, размещенных по 60 офисам в 30 странах на всех шести континентах. Изучаемые валютные рынки характеризуются особой глобальной формой, которая основана не на воздействии отдельных стран или индивидуального поведения, а на создании узлов институциональной торговли в финансовых центрах, располагающихся в трех основных временных зонах: Нью-Йорке, Лондоне и Токио, а также — поскольку мы исследуем швейцарский банк — в Цюрихе. Институциональные инвесторы в этих регионах связаны с глобальным банком при помощи «открытых» (прямых) телефонных линий. Основные центры и подразделения банка связаны между собой развитыми сетями Интранета — внутренними компьютерными сетями, простирающимися через весь земной шар. Электронная информация и брокерские услуги таких компаний, как «Reuters», «Bloomberg» и «Telerate», предоставляются через Интранет исключительно институциональным клиентам. Валютные сделки, проходящие по этим каналам, начинаются от нескольких сотен тысяч долларов, достигая сотен миллионов

⁴ К сентябрю 1999 г. было проведено 81 интервью (каждое продолжительностью примерно полтора часа) с трейдерами, продавцами и аналитиками, работающими в торговой зоне. Включенное наблюдение велось непрерывно в течение последнего года, а также регулярно с 1997 г. более краткими периодами — от нескольких дней до одной недели. Исследование является частью более крупных проектов по изучению работы аналитиков в исследовательских отделах крупных банков (Mars 1998; Knorr-Cetina, Preda 2000), анализу финансовых документов (Knorr-Cetina 1999) и того, что мы называем «глобальными микроструктурами» (Bruegger, Knorr-Cetina 2000).

долларов и более за транзакцию. Сделки совершаются трейдерами, финансовыми и фондовыми менеджерами, банкирами центрального банка и теми, кто хочет избежать негативных последствий колебания валютных курсов, получить прибыль от ожидаемых колебаний или кому необходима валюта для входа в транснациональные инвестиционные потоки или выхода из них.

Действия, происходящие в торговой зоне инвестиционных банков, следует отличать от действий, совершаемых при большинстве фьючерсных обменов, организованных как «рынки по заявкам» (order markets). На рынке заявок потенциальные покупатели и продавцы сообщают о своих намерениях брокерам, находящимся на особой торговой площадке (trading pit), где они выкрикивают ставки (bids) — цены, заявленные покупателями, и свои заявки, стараясь устроить сделку для своих клиентов (такие обмены были метко названы «обменами выкриками» («open outcry» exchanges)). Институциональные трейдеры на валютных торговых площадках глобальных инвестиционных банков, напротив, выступают в качестве участников рынка на так называемых дилерских рынках (dealer market). На таких рынках (в нашем исследовании это межбанковская торговля с немедленной поставкой (interbank spot), то есть прямой обмен валюты и опционная торговля (option trading)) дилеры торгуют только с другими дилерами, разбросанными по всему миру. На основе заявленных сумм и валютных пар для обмена (долларов на евро, иены, швейцарские франки и т.д.) дилеры одновременно делают предложения о покупке и продаже. Трейдер, с которым они связываются, может соглашаться или не соглашаться на сделку — цена в данном случае не является предметом переговоров. Трейдеры также «назначают цены» (make prices) (делают предложения о сделке) сотрудникам своего собственного банка, работающим в торговой зоне и имеющим дело с институциональными клиентами: центральными банками, пенсионными фондами и корпоративными клиентами. Участники рынка зарабатывают деньги для своего банка, играя на изменении валютных курсов (т. е. используя разницу цен в разное время) и занимаясь посредничеством (т. е. используя ценовые различия между разными рынками). Кроме того, они зарабатывают деньги за счет разницы между низкой ценой покупки и высокой ценой продажи (в фондовой торговле и торговле облигациями аналогом является получение комиссионных). Торговля также может иметь целью просто управление рисками (risk management) (например, посредством хеджирования (организованного страхования/защиты)). Выполняя свою роль «созидателей рынка» (market makers), трейдеры действуют как «поставщики ликвидности» для

своих рынков и защищают их, поддерживая непрерывный поток сделок. Участники рынка имеют «позитивное обязательство» (affirmative obligation) (Baker 1984) поддерживать рынок (не допустить его падения), предлагая сделки даже тогда, когда рынок работает против них и эти сделки наверняка оказываются для них невыгодными.

В исследованном нами банке в Цюрихе фондовой торговлей, торговлей облигациями и валютой занимаются около двухсот трейдеров. Торговцы валютой сидят за «столами», выстроенными по 6–12 столов в каждом. В их распоряжении несколько технических приспособлений, в том числе «голосовой брокер» (voice broker) (голос брокера озвучивается двусторонней системой связи, постоянно объявляющей цены и заявленные сделки) и телефон с экраном (screen-like phone). Однако, прежде всего, бросаются в глаза примерно пять мониторов, стоящих перед каждым трейдером, — они показывают состояние рынка и помогают вести торговлю. Каждое утро трейдеры приходят на работу и «пристегивают ремни», они буквально впиваются глазами в свои мониторы, следя за информацией на них, даже когда они разговаривают или перекрикиваются друг с другом. Их тела сливаются с миром их мониторов, они целиком погружаются в него. Мониторы же, в свою очередь, показывают ситуацию на рынке, который существует только на этих мониторах⁵, и здесь рынок в максимальной степени приближается к локально порождаемому феномену — в этно-методологическом смысле, если под «локальным» понимать ограниченность специфическим пространством. Сами мониторы по своей сути, конечно же, не локальны, а глобальны: они воспроизводят совершенно идентичное изображение на всех торговых площадках банков «одной группы» («same tier» banks), которые связаны друг с другом телефонными линиями, общими информационными технологиями, а также системами заключения сделок и обмена информацией таким образом, что трейдер, улетевший сегодня в Токио, может завтра продолжить там свою работу. Рынок формируется этими производимыми-и-анализируемыми дисплеями (produced-and-analyzed-displays), к которым привязаны трейдеры. В этих мониторах — «суть» рынка, выраженная их знаково-письменной поверхностью, или, как мы будем говорить далее, «жестовой поверхностью-в-действии» (gestural face-in-action).

⁵ Основное средство существования подобного рынка — это монитор. Однако в случае продолжительных сбоев в работе компьютеров участники рынка могут переключаться на телефонную связь и с ее помощью связываться с клиентами и узнавать цены.

Все вышесказанное может служить отправной точкой для более детального анализа нескольких характеристик рынка как «объекта-на-экране», при этом внимание будет уделено эпистемическому характеру этого объекта, его самостоятельному существованию в качестве «формы жизни» (lifeform), а также его жестовой поверхности (gestural face). Начнем с первого вопроса: в каком смысле мы можем назвать «рынок-на-экране» эпистемическим объектом? И что вообще такое эпистемические объекты? Представьте, что рынок на экране состоит из нескольких рядов окон и групп дисплеев, распределенных по нескольким рабочим станциям и компьютерам. Для трейдеров главным свойством этих дисплеев и средоточием всего рынка являются цены дилеров, показываемые «электронным брокером» — специальным экраном (или машиной), в значительной степени заменившим голосового (живого) брокера: он показывает цены для валютных пар (главным образом это отношение доллара к другим валютам, например, швейцарскому франку или евро) и сделки, возможные при таких ценах. Участники рынка часто работают при помощи электронного брокера; его ценовое действие играет решающую роль при установлении цен для игроков (callers), заинтересованных в сделке. Их взгляды также прикованы к одной точке — специальному экрану, представляющему компьютерную сеть системы «Reuters dealing», на основе информации которой участник рынка преимущественно и заключают сделки. Другие участники пишут свои цены и предложения сделок, которые отображаются на этих экранах. Сделки заключаются посредством «диалогов» на экране. Это напоминает обмен письмами по электронной почте (система «Reuters dealing» используется для обмена сообщениями в рамках таких «диалогов»), но обмен более стандартизованный в отношении институциональной принадлежности сторон (institutional conversations).

На другом экране трейдеры следят за ценами, которые выставляют различные банки по всему миру. Это не столько цены реальных сделок, сколько обозначение банками своих интересов. Помимо этого на экранах трейдеры могут отслеживать собственную позицию на рынке (например, длинную или короткую позицию по той или иной валюте), историю сделок за определенный период времени (а в случае немедленной продажи (spot trading) — за определенный день), а также свой общий расчетный баланс (прибыли и убытки за интересующий период времени). Наконец, на этих экранах трейдеры могут читать материалы различных новостных агентств — главные новости, комментарии и аналитику. Еще один важный вид информации на экране, который с точки зрения своей специфичности, скорости обновления

и актуальности имеет более непосредственное отношение к процессу заключения сделок, — это внутренние доски объявлений, на которые участники рынка помещают свою информацию. Экраны и окошки рабочих станций накладываются друг на друга; их очередность определяется рыночным действием и историей рынка. Внимание трейдеров к информации на разных экранах зависит от важности сообщений. Всю ситуацию можно уподобить концентрическим кругам: центральное место всегда занимают цены реальных сделок и торговые переговоры; в следующем круге — индикативные цены и отдельные новости (какие — зависит от истории данного рынка); еще дальше располагаются прочие новости и комментарии.

Все вышесказанное указывает на то, что экраны представляют (present) (или апрезентируют (appresent)) (см. ниже) информацию и знания. Это очевидно, если говорить об информации на доске объявлений: здесь публикуются все конфиденциальные соображения трейдеров и аналитиков того или иного банка, работающих по всему миру, по поводу действий рыночных игроков, политических или иных событий, потенциально имеющих отношение к сделкам и ценам. Очевидно также и то, что сообщения новостных агентств и провайдеров — таких, как «Reuters» и «Bloomberg», — репрезентируют значимую информацию. Как правило, это контекстуальное знание экономических условий и факторов, которые могут на них повлиять; выпуски включают также важные, регулярно обновляемые данные о разного рода показателях, а также о заявлениях и изменениях в области экономической политики. Пожалуй, менее очевидным является то, что третий вид сообщений — цены (центральный элемент рынка для трейдера!) — также следует рассматривать как «носитель знания» (carriers of knowledge). Именно в этом качестве они воспринимаются самими экономистами начиная с 1940-х гг. В своей знаменитой статье «Использование знания в обществе» Ф. Хайек утверждал, что хозяйство состоит из «разрозненных элементов неполного и зачастую противоречивого знания, которым обладают отдельные индивиды... это знание людей, местных условий, конкретных обстоятельств» (Hayek 1945). Рассуждения Хайека направлены против социалистических попыток централизации хозяйства. Он заявляет, что такое знание невозможно собрать статистическими средствами, поскольку мы даже не знаем, какое знание мы используем (Ibid.: 524). При этом оно сосредоточено в ценах: «лишь ценовой механизм может собрать и агрегировать такое знание»; благодаря дисперсному характеру знания и процесса принятия решений «ценовая система на конкурентных рынках позволяет чрезвычайно дешево собирать информацию» (Streissler 1994: 66–67). Ко-

гда считается, что сбор знания осуществляется «эффективно», мы получаем эффективно работающий рынок, где «вся новая информация быстро становится понятной участникам рынка и тут же инкорпорируется в рыночные цены» (Samuelson, Nordhaus 1995: 500 и далее). Трейдеры редко верят в то, что ценовой механизм абсолютно эффективен, и на самом деле стараются воспользоваться неравной информированностью других участников рынка⁶. Суть в том, что конкуренция в этом случае происходит целиком в сфере знания, предполагая гонку за самым свежим знанием и инкорпорирование его в свои цены. Соответственно цены оказываются конструктами знания, и трейдеры обращаются к ним как к информации в игре со знанием (knowledge game). Наконец, знание лежит также и в основе сделок, заключаемых трейдерами. Устанавливаемые цены и заявления на сделки, особенно со стороны «верных денег» (smart money) (крупных трейдеров и институтов, которые могут распоряжаться крупными денежными суммами), подсказывают участникам, куда будет двигаться рынок и «что у него на уме». Отслеживая совершённые сделки, трейдеры «читают рынок»; они обмениваются информацией в начале и в конце серии торговых операций (trading sequences), а также в ходе информационных диалогов (information conversation).

Мы показали, что рассматриваемый нами рынок состоит из отдельных сегментов и блоков знаний, визуализированных на экранах и искусно используемых трейдерами. В этом смысле «рынки-на-экране» являются конструктами знания, но это еще не эпистемические объекты. Предлагаемое нами определение эпистемического объекта во многом опирается на введенное Х.-И. Райнбергером понятие эпистемических вещей (Rheinberger 1992: 310): он применяет этот термин по отношению к любому объекту, находящемуся в центре научного исследования и материализующемуся в этом процессе. Райнбергер проводит различие между эпистемическими и технологическими объектами, последние он считает фиксированными, стабильными элементами в экспериментальной схеме, не вызывающими вопросов техническими инструментами, готовыми служить исследователям. С этой частью определения мы не согласны, поскольку во многих сферах (в том числе и той, о которой мы говорим, где инструментами являются электронные инфраструктуры и пакеты программного обеспечения) технические инструменты также находятся в непрекращающемся процессе переопределения. Важные в данном контексте объекты знания сложны, они открыты для изменений, постоянно по-

⁶ Данные, подтверждающие такую позицию, см. в работе: (Mars 1998).

рождают вопросы. Это скорее процессы и представления, нежели четко очерченные предметы. В нашей интерпретации объекты знания способны безгранично разворачивать свою сущность, и в этом смысле они прямо противоположны чистым инструментам и коммерческим товарам. Инструменты и товары по сути своей напоминают закрытые ящики стола — конкретного размера с четко очерченными углами, — в то время как объекты знания скорее подобны выдвинутым ящикам, заполненным папками, ряды которых теряются в темноте отведенного им пространства стола. С теоретической точки зрения определяющей характеристикой данного типа объекта является именно эта недостаточность «объективности» и завершенности существования, нетождественность самому себе. Поскольку процесс материализации объектов знания непрерывен, эти объекты постоянно приобретают новые качества и изменяют уже имеющиеся.

Теперь мы можем вновь обратиться к анализу рынков с позиций трейдеров и задаться вопросом: применимо ли к ним приведенное определение объектов знания? Ответ будет положительным. Трейдеры участвуют в процессе постоянного определения рынка не только в том смысле, что постоянно читают и понимают его, но и в том смысле, что они «делают», формулируют рынок — проверяя его, двигая его, манипулируя им. Рынок для них — сложная общность, которая постоянно, несмотря на все усилия собрать и привести к единому измерению релевантную информацию, ставит перед ними новые вопросы. Рынки никогда нельзя понять полностью, по мере изменения ситуации и разворачивания новых событий (от изменения процентных ставок до введения евро) они приобретают все новые и новые качества. Подобная разворачивающаяся структура рынков (*unfolding structure of the market*) соответствует исследовательскому поведению трейдеров — их потребности наблюдать за рынком и анализировать его состояние во все периоды активной торговли. Связанные с этими процессами эпистемические процедуры — предмет отдельного исследования, задачи которого выходят за рамки данной работы. Здесь важно подчеркнуть, что рынок — это объект знания для тех, кто хочет участвовать в его работе, и, в особенности, для профессионалов. Можно также отметить, что исследуемые рынки представляют собой концентрированную форму эпистемических объектов — более концентрированную, нежели, например, объекты исследования в такой эталонной науке, как молекулярная биология. Эти рынки представлены на экранах, неразрывно связаны с ними, наслаиваются в них друг на друга; часто они подвергаются стремительным изменениям (в случае валютных торгов при условии немедленной поставки — иногда за долю секунды) и разворачивают

свою структуру, невзирая на рабочие часы и иные ограничения, регулирующие действия индивидов и институты на локальном уровне.

Кто-то может спросить: а стоит ли вообще использовать понятие объекта применительно к рынку, — даже если данный объект рассматривается как разворачивающаяся структура; не следует ли попытаться разложить рынок на человеческие составляющие (human components), которые, возможно, стоят за всеми предпринимаемыми на нем действиями? Точнее, почему бы нам не рассматривать рынки как сети фирм или, быть может, сети трейдеров, как это предлагается в социоструктурном подходе к анализу рынков (см.: White 1981; Swedberg 1994, 1997)? Однако интересующие нас рынки — это рынки, за которыми наблюдают трейдеры, сидя перед экранами и заключая сделки. Трейдеры проводят различие между «своими сетями» контактов и отношений, которые они могут считать подмножеством рынка, и собственно рынком, который (когда они представляют его как нечто одушевленное) включает немалую долю анонимного поведения. Рынки являются объектами наблюдения и анализа, поскольку они не имеют однозначного определения в торговой среде (trading environments), у них нет четких границ, они не сводимы к конкретным группам игроков, занятых заключением прозрачных сделок. В приводимой ниже выдержке из интервью определение рынка включает широкий круг аспектов: здесь и знание того, кто и что делает, и знание совокупных фиксируемых характеристик рынка, «состояния его души» (Smith 1981) и настроения. Все междисциплинарные дискуссии между экономической теорией, социологией и психологией по поводу определений рынка в конечном итоге сводятся к выводу о том, что «рынки — это все», при этом основной акцент может постоянно смещаться от одного аспекта к другому.

Кнофф-Цетина: Что такое для вас рынок — ценовое действие, конкретные участники рынка, что-то другое?

Респондент: Всё.

КЦ: Всё? Информация?

Р: Всё. Абсолютно всё. Как вон тот человек что-то выкрикивает, как он возбужден, кто продает, кто покупает, где, какой центр, что делают центральные банки, что делают крупные фонды, что пишет пресса, что показывается на центральном дисплее, что говорит премьер-министр Малайзии — это все, что нас окружает.

Таковы слова опытного трейдера, который до переезда в Цюрих работал в нескольких странах, в том числе в Юго-Восточной Азии. Об-

ратите внимание, что его формулировка «рынок — это всё» относится именно к тем разнообразным вещам, которые показываются на экранах, включая новости и комментарии к ним, конфиденциальную информацию о том, чем заняты основные игроки, а также цены. Ниже приводится еще один фрагмент интервью с не менее опытным трейдером. Он прямо называет рынок «высшим существом» (greater being), на которое ориентированы трейдеры; иногда эта субстанция имеет конкретные очертания, иногда она рассеяна в пространстве и фрагментирована. Это качество рынка как «высшего существа» также объясняет, почему в данной работе рынок сопоставляется с относительным (разворачивающимся, никогда не тождественным самому себе) объектом (relational object) и эпистемической вещью.

P: Знаете, это невидимая рука, рынок всегда прав, это жизненная форма со своим особым образом существования. Это как гештальт — у него так же есть своя форма и свой смысл.

КЦ: У него есть форма и смысл, которые не зависят от вас? Вы хотите сказать, что не можете их контролировать?

P: Да, совершенно верно.

КЦ: А он чаще рассеян в пространстве или для вас он обретает некую стабильность очертаний?

P: Как раз поэтому-то я и говорю, что он живой, он живет своей собственной жизнью — иногда у него появляются конкретные очертания, а иногда все рассыпается, становится произвольным, случайным, не имеющим направления и единой основы.

КЦ: Вы считаете его третьим самостоятельным участником? Или подобием еще одного человека?

P: Высшим существом.

КЦ: ?

P: Нет, это не другой человек. Это целостное существо. И это существо — валютный рынок. А мы — сумма наших частей, или он — сумма своих частей.

КЦ: Возвращаясь к рынку, что такое рынок для вас? У него есть определенная форма?

P: Нет, он постоянно меняет свою форму.

КЦ: А что вы понимаете под этой формой?

P: Его форма — это ценовое действие. Вот как здесь (показывает на экран) — это торговля с короткими позициями (short term trading)⁷. Договориться

⁷ Сделка по продаже ценных бумаг, расчет по которой производится поставкой заемных, а не принадлежащих продавцу ценных бумаг. Для закрытия позиции должна быть произведена зачетная покупка таких же акций. Совершая «корот-

и купить здесь, продать там, купить здесь, продать там, купить здесь, продать там...

Схожее мнение по поводу торгов было высказано главным трейдером (chief trader): это игра «не трейдера против трейдера, а трейдера против рынка». Опять-таки, обратите внимание, что иногда трейдеры понимают «рынок» в более узком и, пожалуй, даже более овеществленном (reified) смысле, — когда ответом на вопрос «где сейчас рынок?» является конкретный уровень цены.

3. РЫНОК КАК ОБЪЕКТ ПРИВЯЗАННОСТИ I: ПОСТСОЦИАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ

Мы вкратце описали объектность и эпистемический характер рынков как незавершенных конструкторов знания (incomplete knowledge constructs) и теперь предлагаем рассмотреть понятия социальности, применимые к исследуемому полю. Здесь нам предстоит пересмотреть традиционную привязку понятий отношений и социальности только к группам людей. Подобное «расширение границ» понятия социальности уже имеет некоторую историю. Например, Дж. Мид (а до него — У. Джеймс и Ч. Кули) говорил о коммуникации с неодушевленными предметами (McCarty 1984; Wiley 1994: 32 и далее). Мид описал коммуникацию при помощи понятия жеста, что позволило ему соединить коммуникацию в животном мире и в мире людей. Он показал также, что иногда социальный акт является результатом связи между жестом и реакцией на него двух организмов (Mead 1934: 80). Разумеется, рынки — это неодушевленные объекты; однако же к ним можно применить рассуждения Мида об объектах и организмах, поскольку они являются неуправляемыми совокупностями (ungoverned aggregates) анонимных актов человеческого поведения и их последствий. Кроме того, у них очень выразительная, говорящая поверхность, внешняя форма, и чуть ниже мы вернемся к этому, используя понятие жеста. В целом, социальность обозначает формы объединения в группы (grouping), связи (binding) и взаимность или рефлексивность отношений между людьми. Попытка расширить границы данного по-

кую» продажу, продавец может иметь на руках данные ценные бумаги, однако предпочитает сохранить их по причинам налогового характера или из соображений контроля. В некоторых случаях у продавца нет необходимого вида ценных бумаг вообще. Данный прием используется в тех случаях, когда инвестор уверен, что цены на данные акции вскоре понизятся — *Прим. перев.*

нения, отказавшись от его привязки только к группам людей, нацелена на проверку гипотез, касающихся прежде всего собственно механизма связи (binding mechanism), а не специфически человеческих качеств вовлеченных в них индивидов. Ниже мы попытаемся предложить определение социальности, основанное на явлении взаимности (mutuality). Мы утверждаем, что всегда, когда имеем дело с взаимностью, мы вправе говорить о социальности — при условии, что связь достаточно длительна, динамична (а объект обладает особыми качествами). Обратите внимание, мы отнюдь не стремимся представить объектные отношения просто как позитивные, симметричные или лишенные собственнических элементов эмоциональные связи. Социальные формы предполагают и властные отношения, и отрицательные эмоции, и отношения эксплуатации. По нашему мнению, отношения трейдеров с рынками скорее описываются понятиями недостаточности (lack) и соответствующей структуры желаний (structure of wanting), нежели позитивными связями и чувством удовлетворения (fulfillment). Идея недостаточности заимствована из работ Ж. Лакана. Чтобы пояснить ее, необходимо вернуться к нашей характеристике рынка как объекта.

Мы уже говорили о том, что ключевой особенностью рынка в современных условиях является его меняющийся, разворачивающийся характер; его незавершенность в качестве самостоятельной субстанции и нетождественность самому себе. Принципиальное значение имеет указанная незавершенность (lack of completeness): в некоторые моменты рынки обретают фиксированное состояние, оно длится, пока не изменятся цены (dealing prices); однако при этом их следует рассматривать как разворачивающиеся структуры отсутствия (unfolding structure of absences), поскольку за этим на мгновение застывшим фасадом цен они уже начали меняться, а порою и взрываться. Это означает также, что рынки в равной мере определяются своим текущим состоянием и тем, чем они еще не стали (но могут стать), что они никогда не являются целиком самими собой и что как объекты знания они никогда полностью не достижимы. На своих экранах трейдеры находят лишь временное решение более фундаментальной проблемы недостаточности объекта (lack of object). Для субъекта это отсутствие достаточности соответствует определенной структуре желаний, постоянно поддерживаемому интересу, никогда не находящему полного удовлетворения. Метафорически это можно представить так: связь («бытие-в-отношении» (being-in-relation), взаимность) является производной от совпадения между последовательностью желаний и разворачивающимся объектом, который вызывает к жизни эти жела-

ния, демонстрируя состояние недостаточности. Эти желания никогда не удовлетворяются, но постоянно поддерживаются в актуальном состоянии непрерывно возобновляющейся недостаточностью объекта. Мы утверждаем, что открытый, разворачивающийся характер рынка как объекта уникальным образом соответствует структуре желаний, посредством которых мы можем охарактеризовать личность.

Прежде всего, проанализируем, что же означает структура желаний, и поместим эту идею в более социологические рамки; затем попытаемся связать ее с понятием взаимности/реципрокности. Идея структуры желаний заимствована из работ Ж. Лакана (см., например: Lacan 1975), однако подобные рассуждения встречаются и у Дж. Болдуина (Baldwin 1973 (1899): 373 и далее), и у Гегеля. В отличие от Фрейда, Лакан связывает возникновение желания не с инстинктивным импульсом, конечная цель которого — избавиться от телесного напряжения, а с зеркальной стадией развития ребенка. На этой стадии ребенок задумывается о целостности своего отражения в зеркале, анализирует появление четких границ и контроля движений — и при этом понимает, что на самом деле весь он не является тем, что он видит в зеркале. Желание (*wanting or desire*) возникает из стремления сделать отражение в зеркале совершенным или тем, каким его хотят видеть родители; возникающее здесь ощущение неполноты оказывается непреходящим — ведь между субъективным переживанием недостатка чего-то в собственной жизни и отражением в зеркале (или же кажущейся завершенностью (*wholeness*)) всегда сохраняется разрыв (Lacan, Wilden 1968; Alford 1991: 36 и далее).

Здесь можно попытаться проинтерпретировать данную ситуацию с более выраженных социологических позиций. Кажущаяся завершенность других — то же самое, что «звезды» и символы, фабрикуемые проектами в области индустрии культуры. Зеркалом, в котором рождаются вызывающие желание образы, здесь являются средства массовой информации, которые передают информацию не столько концептуально, сколько миметически (подражательно) (Baudrillard 1983; Lash 1994: 135 и далее). Однако возможна интерпретация менее очевидная, но более тесно связанная с предметом нашего исследования. Трейдеры должны удовлетворять общему требованию: зарабатывать деньги для своего банка. В действительности им задают точные объемы того, сколько именно они должны заработать, или (если использовать терминологию Лакана) сколько им не хватает (*how much they lack*). Эти объемы (*values*) устанавливаются раз в год на основе предыдущих заработков и с учетом состояния рынка. При этом трейдеры пытаются пойти дальше и в своей работе достичь еще од-

ной, более частной цели — получить максимальный бонус (сумма зависит от работы самого трейдера и работы его банка) и заработать побольше денег для самих себя. Торговые площадки инвестиционных банков обеспечивают организационный контекст, наделяющий «недостаточность» конкретным институциональным и персональным смыслом, который и направляет неопределенные желания к достижению вполне ясных целей. Персональная и институциональная конкретизация «недостаточности» как недостаточности богатства сопровождается рядом дополнительных уточнений, например, недостатками в «характере» (*lacks in character*). Культура торговых площадок предполагает наличие системы «звезд»: одни трейдеры зарабатывают больше и в этом смысле занимают положение намного более высокое, чем другие; считается, что они более искусны в торговле. В Цюрихе такая «звезда» торгует наиболее важной валютной парой на данной торговой площадке (доллары/швейцарские франки); его ежедневный оборот порою составляет несколько миллиардов долларов; ежедневно его действия означают для банка полмиллиона прибыли или убытков; его бюджет значительно превышает бюджет других трейдеров. Он располагается в центре торговой площадки, поддерживает постоянную связь с главным трейдером (сидящим за соседним столом) и демонстрирует ряд (личностных) качеств, составляющих часть его репутации. Некоторые из них описаны его коллегой:

Х целый день устанавливает цены, он делает рынок. Он работает с парой доллар/швейцарский франк, а не доллар/марка, потому что этот рынок (доллар/швейцарский франк) меньше; а рынок для пары доллар/марка слишком большой, никакому трейдеру не потянуть его в одиночку. Сила Х в том, что он может «продавливать» свою позицию. Он упрется покрепче и берет нахрапом, держится дольше всех. Все уже давно вышли из игры, а он продолжает давить. И в этом его сила».

Другие трейдеры оценивают свою работу относительно достижений и поведения «звезд» в данной области. Последние задают модели поведения для других трейдеров. Вот что говорит по этому поводу главный трейдер:

Если ваш дилер для пары доллар/швейцарский франк ведет себя как свинья, можете быть уверены: через пару месяцев все будут вести себя как свиньи, потому что он задает своего рода модель и его поведение оказывает влияние на поведение на всей дилерской площадке (*dealing room*).

Это происходит потому, что научиться валютной торговле можно, только наблюдая за тем, как это делают другие. Этому не научишься по книжке или в процессе формального образования — только непосредственно на рабочем месте. Как этому научиться? Наблюдать за коллегой, который разговаривает по телефону, прислушиваясь к его ответам, анализируя то, как он принимает решения.

Таким образом, наблюдая за «звездами» на торговой площадке и получая инструкции от своего руководства, сообщающего им, сколько они еще должны заработать, трейдеры начинают понимать, в чем состоит их недостаточность. Кроме этого, они каждый день сталкиваются с ситуацией недостаточности, когда теряют деньги на сделках и должны возместить потери, а также когда нужная им валюта оказывается в дефиците. «Недостаточность» можно представить как потребность трейдеров победить — а не просто выполнить рутинную работу. Как пишет М. Аболафия, «торговая площадка, в отличие от других организационных сред, воспринимается совсем не как место, где удовлетворяются достигнутым, влачат существование или попросту выживают. Это место, где куют победу», измеряемую величиной заработка (Abolafia 1998: 10). Он назвал «чистое наслаждение победой» (*sheer raw enjoiment of winning*) — возбуждение и чувство овладения объектами, вызываемое «настоящей игрой» (*deep play*) (Geertz 1973: 433) — целью второго плана, стоящей за более очевидной целью наживы. Если мы принимаем такую трактовку, то в культурном портрете трейдера появляется еще одна «недостаточность», связанная с испытанием характера в борьбе за статус.

Любопытное следствие полагания данной ситуации в терминах недостаточности заключается в том, что, по всей вероятности, если субъект хочет решить связанные с недостаточностью проблемы конструктивно и не дать им себя поглотить, ему следует их контролировать. И здесь на сцене появляется главный трейдер, который выступает своего рода наставником и видит одну из своих основных задач в том, чтобы поддерживать в трейдерах веру в себя, когда моменты недостаточности (потери денег, неудачные попытки заработать, поражения) кажутся всеобъемлющими, но также и в том, чтобы вовремя спустить с небес на землю тех, кто после нескольких удачных операций почувствовал себя «хозяином Вселенной». Во втором случае главные трейдеры пытаются вывести дилеров из состояния эйфории, предупредив их рискованные шаги и направив действия в более безопасное русло (Bruegger 1999: 282). В терминах недостаточности рискованное поведение означает просчитанную готовность к возможным недос-

таточностям в будущем в обмен на шанс преодолеть эту недостаточность сейчас. Конечно, торговля почти всегда сопряжена с рисками. Но это означает, что в данной области будущие элементы недостаточности сознательно встраиваются в сами стратегии действия, избранные для ее преодоления. Трейдеры не только пытаются избежать ситуации недостаточности, но и превращают «состояние недостаточности» («lacking») в сложную игру или практику, в поле изворотливости, повышения, понижения, предсказания, уверток, откладывания решений и попыток жить в ситуации недостаточности.

О проявлениях ситуации недостаточности и попыток ее контроля можно сказать гораздо больше, но мы хотели бы вернуться к объекту, который направляет все эти желания, т. е. к рынку. Метафорически мы представили картину так: связь («бытие-в-отношении», взаимность) является производной от соответствия между последовательностью желаний и разворачивающимся объектом, который вызывает к жизни эти желания, демонстрируя элементы недостаточности. Чтобы придать содержание этой метафоре с объектной стороны, повторим, что рынок независим от желаний субъектов и демонстрирует свои собственные моменты недостаточности. Для этого, прежде всего, вернемся к восприятию рынка его участниками: для них это форма жизни, которая им неподконтрольна, хотя они и являются ее частью и иногда могут оказывать влияние на цены. Но они — лишь маленькая часть в анонимной массе обменных действий и прочих факторов. Как сказал один профессиональный трейдер, «возможно, рынок на 99,99999 процента анонимен». Факт независимости рынка подкрепляет идеи, высказанные нами выше: это объект, с которым связаны трейдеры. Этот факт указывает также на источник разворачивающегося и постоянно «мутирующего» характера рынка, на незавершенность его бытия и появление все новых желаний — ведь здесь непрерывно действует рассеянная масса участников, постоянно происходят разные события, проводится новая политика, которая приносит свои последствия. Рынок как эмпирический объект непрекращающихся действий и факторов постоянно трансформируется — подобно птице, меняющей направление в середине полета, — тем самым создавая для трейдеров проблемы прогнозирования (ситуацию недостаточного знания (lack of knowledge)). Эта недостаточность усугубляется апрезентационным (Husserl 1960: 49–54) и репрезентационным (representational) характером «рынков-на-экране». Исследуемые рынки являют себя посредством обозначающих, которые идентифицируют объект и представляют его значимым. Однако эти апрезентации и репрезентации никогда в полной мере не успевают

за объектом; в некоторых отношениях они и вовсе оказываются неудачными и неверно репрезентируют искомый объект. Они воспроизводят (regenerate) рынок лишь частично и неадекватно, приводя к тому, что трейдеры оказываются вовлеченными в процессы поиска. Трейдер, назвавший рынок на 99,99999 процента анонимным, объяснил это так: «часть, которую я вижу, о которой могу сказать, что знаю ее не через вторые руки, совершенно ничтожна» (LG 26.05.97 2/1: 9). Для этого трейдера сообщения, выкрикиваемые на торговой площадке (например: «American Bank» запрашивает цену в 50 млн долл. за пару марка/швейцарский франк), «прозрачны на 100 %»; а сообщения, которые появляются на экранах — зачастую нет. Если сообщение на доске объявлений гласит: «Купил 50 пар марка/швейцарский франк для скандинавского клиента prop. desk» (Bought 50 mark-Swiss for Scandy prop. desk) — трейдер знает объем и товар, но не знает цену и не знает скандинавского покупателя. Он ценит полученную информацию, но почти всегда она оказывается неполной: «Я получил какую-то информацию (на доске объявлений и на экранах), но это не 100 %-я информация». Если анализировать историю развития рынков, то возможность представления их на экранах позволила преодолеть один из основных моментов недостаточности — знание о том, «где находится рынок» (каковы цены). Ведь до появления экранов цены повсюду были разными, и узнать о них можно было лишь путем мучительного обзвона банков, когда приходилось дожидаться в очереди, пока оператор соединит вас с зарубежным коллегой. Информацию о контексте рынка можно было получить только с большой задержкой, она пересылалась в виде бумажных документов и по телексу, а также передавалась по телефону. Однако с возникновением экрана появились и новые моменты недостаточности, ибо рынок стал более быстрым, подвижным и глобальным. Обратите внимание: различие здесь проводится не между эмпирической реальностью транзакций «где-то там» и их репрезентациями на экране. Транзакции *осуществляются* на экране, и в результате рынок существует только на нем (разве что за исключением ситуаций длительных сбоев в работе компьютеров, когда трейдерам приходится прибегать к старым средствам осуществления транзакций). Однако не все осуществляемые транзакции прозрачны для всех. Например, за торгами можно следить только в пределах рынков конкретных товаров, торговых площадок или банков (Интранета глобальных банков).

Отображенные на экране текстовые «желания» рынка представляют собой побуждающие к диалогу вопросы о цене, которые задают другие банки и институты и по которым трейдеры стараются «про-

честь» намерения (*dealing intentios*) запрашивающей стороны по поводу покупки или продажи, понять, какую роль это сыграет для изменения рынка (цены) и т.д., и на которые они реагируют, пытаясь удовлетворить собственные желания. Учтем, что эти текстовые «желания» — не просто заявки на сделку (*dealing orders*), но сообщения, которые необходимо раскодировать в контексте знания данного рынка; и пока они не станут предложениями о сделке (*deal requests*), они несут собственные моменты недостаточности информации. Второй слой отображенной на экранах недостаточности включает огромную область знания о рынке, на которую трейдеры ориентируются при своем формировании «картины» данного рынка; недостаточность связана здесь с неполнотой информации. Следует подчеркнуть, что на экране отображаются специфические моменты недостаточности: по ним можно догадаться, чего недостает (в приведенном выше примере — это цена и покупатель товара), кто может ответить на вопрос и как, если это необходимо, проложить свой путь среди этих моментов недостаточности. Важным аспектом используемого здесь понятия недостаточности является «обозначающая» способность (*signifying capacity*) визуальных и текстовых сигналов прямо или косвенно указывать на моменты недостаточности⁸. В качестве обозначающего объекта (*signifying object*) рынок структурирует желание или обеспечивает условия для поддержания структуры желаний трейдера.

Теперь можно более четко сформулировать, что мы понимаем под социальностью таких объектов, как рынки. Мы уже говорили, что связь (*binding*) возникает при достижении соответствия между последовательностью желаний и разворачивающимся объектом, который обеспечивает появление этих желаний, демонстрируя моменты недостаточности. Главная метафора социальности в данной работе — это взаимность или реципрокность; при этом предлагается также особая концепция объектов как разворачивающихся структур. Социальность имеет место тогда, когда «субъект» (*self*) в качестве структуры желания пропускает это желание через объект и возвращает его обратно. В этом движении субъект подпитывается объектом, развивается им (вспомните, что трейдеры должны бороться за свое место на рынке,

⁸ Это очевидно, когда моментами недостаточности являются открытые предложения о сделке. Однако некоторые менее однозначные ситуации недостаточности информации также содержат в себе определенные указания, на основании которых трейдеры звонят своим знакомым, советуются с коллегами по торговой площадке и получают недостающую информацию в процессе собственного непрерывного наблюдения за поведением рынка.

«показывать характер» и т. д.), то также обеспечивает возможность дальнейшего существования структуры желаний посредством фиксации моментов недостаточности в этом объекте. Социальность здесь заключается в том, что субъекту передаются желания объекта, и в качестве структуры желания субъект определяется объектом. И наоборот, форма (articulation) нашего объекта — рынка — пропускается через субъект, и в качестве структуры моментов недостаточности (вопросов, которые он ставит, и вещей, которые «ему» необходимы) рынок развивается в русле, определяемом субъектом. В нашем случае продолжение существования рынка, как мы уже говорили, в буквальном смысле зависит от готовности его участников обеспечивать для рынка ликвидность и заключать сделки даже в случае заведомой потери денег. Однако рынок в значительной степени определяется также и тем, как именно участники рынка работают на его поддержание.

4. РЫНОК КАК ОБЪЕКТ ПРИВЯЗАННОСТИ II: ФОРМУЛА МИДА

Формула взаимного выстраивания (mutual providing) субъекта и объекта в ходе переплетения желаний и моментов недостаточности задает основу реципрокности для понятия применимых к рынкам постсоциальных отношений, и, как мы показали выше, здесь тоже есть пространство для возникновения моментов недостаточности и контроля над ними. Например, к рассматриваемым в данной работе проблемам легко добавляются вопросы о том, как осуществляется поиск информации, как пропускаются желания субъекта через объект и как участники рынка контролируют свои желания. Почти все самое интересное на рынке связано именно с этими процессами: например, трейдер пытается разобраться в сигналах рынка, чтобы понять, в чем же заключаются его желания и, соответственно, как построить следующую сделку или сформировать представление о происходящем. Предложенное нами на основе идей Лакана описание постсоциальных межсубъектных отношений (postsocial interrelationships) имеет много достоинств. Это удобный способ выявить, каким образом желания постоянно перемещаются на новые цели, — если угодно, удобный способ понять изменчивость и очевидную ненасытность желания. Он открывает нам последовательности действий и их подспудную динамику, а не просто отдельно взятые факторы, как в случае с традиционным описанием мотивов и интенций. Он показывает нам и плоскость влечения, которая оказывается важна для понимания действий на рынке и в сфере получения знаний. Однако сформулированные выше характеристики могут также основываться и на иных трактов-

ках связи субъекта с объектами. Например, вместо размышлений Лакана по поводу зеркальной стадии можно использовать известную формулу Мида о выборе роли (role-taking formula). Последняя была предложена для анализа межсубъектной социальности, что позволяет исследовать реципрокность как основу социальности с более социологических позиций. Из этой формулы вытекает, что межсубъектная рефлексивность появляется, когда индивид усваивает установку (attitude) другого по отношению к себе. Эта установка определяет и структурирует субъекта (self), который формируется социальным образом (socially constituted). Данный процесс имеет взаимный и непрерывный характер, а также способствует повседневному пониманию других людей и коммуникации с ними. Эту формулу можно без труда применить и к участникам рынка, которые должны «усваивать тенденцию развития рынка», причем не единожды, а многократно.

Прежде всего, проанализируем, какое значение трейдеры придают тому, что они называют «занять позицию» (taking a position): открыть счет, купив или продав одну валюту по цене другой, которой они затем будут придерживаться в торговле с длинными (купили больше, чем продали), короткими (продали больше, чем купили) или равными позициями. Для нас же важно, что, занимая ту или иную позицию, трейдеры говорят, что они становятся частью рынка («если ты занял позицию, ты стал частью рынка»). И только тогда у них появляется «интерес к нему» и (если использовать терминологию Шюца) они «погружаются в него» (leap into it); переходят от бытия «вовне» к бытию «внутри». Будучи «внутри рынка» (in the market), трейдеры воспринимают мир с позиций его составной части. Как заметил один участник рынка, «пока ты не займешь свою первую позицию и будешь, пытаешься заснуть, вновь и вновь просыпаться, ощущая близость возможных потерь, ты никогда не узнаешь, сможешь ли ты победить» (Abolafia 1998). Легко можно поддержать точку зрения о том, что занятие позиции в торговле является буквально процессом принятия роли, который имел в виду Мид, говоря о принятии позиции обобщенного или конкретного другого (generalized or specific other). Конечно, рынок — это обобщенный, коллективный другой. Быть в центре рынка, покупать или продавать определенную валюту, избегая потерь и пытаясь заработать на этом, — вот что заставляет трейдеров наблюдать и реконструировать стратегии других, а также отслеживать коллективные условия и факторы, релевантные для своей валютной пары. Именно это побуждает их «чувствовать» («sense») рынок и прогнозировать его поведение. Трейдеры говорят о том, как они видят вещи с позиций рынка:

Торгуя, я стараюсь выяснить, что вредно для рынка и чем он может навредить мне... как позиционирован рынок.... Если у меня длинная позиция... и у всех длинные доллары, а доллар не хочет подниматься, то затем доллар пойдет вниз. Потому что, если потом кто-нибудь будет продавать доллары, тот, кто их купит, не захочет их держать у себя и тоже будет продавать. Но у него уже много долларов, которые он тоже хочет сейчас продать. Затем начинается беспорядочное, ускоряющееся движение, которое становится возможным, только когда масса людей совершает ошибку. И тогда я стараюсь представить, что же вредит рынку, стараюсь нащупать свой путь среди этих плохих сценариев и соответствующим образом защитить свой портфель от рисков.

Формулируя это высказывание в терминах Мида, можно сказать, что трейдер усваивает позицию рынка на основе собственной позиции на нем, наблюдая за другими и анализируя, что же они могут предпринять такого, что породит «вредоносный рынок» (*hurting market*) (падающий и, возможно, полностью обваливающийся (*falling and failing*)), и затем действует в соответствии со своими наблюдениями. В формуле Мида также содержится момент рефлексивной петли (*reflexive loop*): в ситуации межличностного взаимодействия другой усваивает позицию субъекта и соответствующим образом анализирует ситуацию и собственные действия. Такое разнообразие межсубъектных отношений существует и на рынке: другие анализируют позицию трейдера на основе любых проявлений его действий или же пытаются представить его вклад в движения рынка, ассимилируя его в позиции воображаемого обобщенного другого. Можно упомянуть, что Мид подходил к этой ситуации как к проблеме когнитивной рефлексивности (*cognitive reflexivity*) (Wiley 1994: 112). Однако трейдеры часто утверждают, что они «чутьем нащупывают» себе дорогу на рынке, действуя скорее опытным путем. Это больше соотносится с пониманием другого как эмоционального зеркала (*emotional mirror*) (в трактовке Ч. Кули), это процесс вменения «ощущений», испытываемых участниками рынка. В качестве иллюстрации приведем слова главного опционного трейдера об этом ощущении рынка (своего рода способности распознавания модели рынка (*pattern recognition capacity*), построенной на его длительном «знании»):

Ты — часть рынка, ты замечаешь его малейшие движения, замечаешь, когда рынок становится ненадежным, когда он становится беспокойным, замечаешь появление высокого спроса. Замечаешь также, что спрос значительно превышает предложение. Все это формирует ощущение рынка. Когда у вас

появляется это ощущение (что происходит далеко не у всех), появляется способность чувствовать и понимать рынок...

Если кто-то ощущает рынок, он может прогнозировать его поведение и действовать соответствующим образом. Если же ты вне рынка, этого ощущения рынка у тебя нет, и вернуть его крайне сложно.

Обратите внимание, что эмоциональная основа такого рода межсубъектных отношений с рынком закрепилась и в словаре трейдеров. Как заметил, один из них в Цюрихе, многие термины связаны «в основе своей с сексом (во многих случаях анальным) и насилием». Вот примеры:

Меня достали, нагнули, затрахали, изнасиловали, убили...

Интересная особенность этого словаря заключается в том, что насилие (*assault*), сопряженное с торговлей, изображается как телесное насилие. Для И. Гофмана было очевидным, что мы можем «участвовать в ситуациях, только если привносим в них свои тела и связанные с ними вещи (*assouplements*)», он считал, что оснащение (*equipment*) так же чувствительно к физическим оскорблениям, сексуальным домогательствам и т.д., поскольку инструментальные средства привносятся другими вместе с их телами (Goffman 1983: 4). Трейдеры воспринимают свое существование на рынке как «обнажение» и «попадание в уязвимую позицию» (*exposures and vulnerabilities*). Помимо указания на экономическую угрозу, этот словарь передает и эмоциональную связь трейдеров с рынком. Участники рынка оказываются внутренне включенными в реальность своих экранов, они телесно связаны с другими участниками, воспринимаемыми как анонимные другие. Они ощущают угрозу, связанную с межличностными отношениями, как посягательство на собственное тело. Один из способов понять эту физически ощущаемую связанность — еще раз вернуться к конкретной атмосфере рабочего места трейдера. С помощью своего лица и фронтальной части тела они переориентируют значительную часть всех своих органов чувств и телесных реакций на «жизненную форму» (*lifeform*) рынка (термин трейдеров) — на его мерцающее, завораживающее присутствие на экранах, его постоянные голосовые запросы (звонок телефона, голос брокера), его порою весьма возбуждающее воздействие на других трейдеров. Стремительно меняющиеся, мелькающие надписи на экранах можно сравнить с меняющимся выражением лица, а точнее — многих лиц; у каждого экрана и каждой его части свой ритм изменений, который требует особого способа раско-

дирования. Очевидно, что рынок сигнализирует о своих состояниях; говоря словами трейдера, которого мы цитировали выше, он может громко кричать, может становиться очень возбужденным — и все это по нему видно. Экраны не только показывают состояние рынка, но и придают ему определенное выражение (*mode of expression*). Трейдеры не могут перешагнуть за экран и целиком погрузиться в эту жизненную форму. Однако можно сказать, что они находятся в зоне его интимного пространства — достаточно близко, чтобы чувствовать его малейшее движение, вибрировать и колебаться вместе с ним. Здесь мы также можем представить реакции трейдера на рынок на языке описанного Мидом жестового диалога (Mead 1934: 144 и далее): это действия-отражения (*reflex-like action*), как в зеркале показывающие движения рынка и отвечающие на них; они возможны только в ситуации взаимной сенсорной настройки и привязки к соприсутствующему другому (*co-present other*).

5. ПОСТСОЦИАЛЬНАЯ УКОРЕНЕННОСТЬ

Есть и другой подход к анализу социальности — через понятие укорененности (*embeddedness*), к которому мы сейчас и обратимся. В дискуссиях, ведущихся между коммунитаризмом и либерализмом и, на более общем уровне, в политической философии, «укорененность» означает встроенность на глубинном уровне (*rootedness*) и интеграцию индивида в свое сообщество (Etzioni 1993; Sandel 1982; Waltzer 1990). Наиболее детально идея укорененности операционализирована в социологии экономики, что тоже важно для данного анализа. Укорененность здесь концептуализирована относительно хозяйственного поведения акторов, которое подчинено влиянию межличностных и межорганизационных связей, пронизывающих его, и структурирующих рынки (Granovetter 1985; см. также: Portes 1995: 6; Barber 1995; DiMaggio 1994: 24). Следуя этой концепции, многие авторы рассматривают и сам рынок с позиций сетевого подхода (White 1981; Baker, Faulker, Fisher 1998: 148 и далее; Uzzi 1997; Flingstein, Mara-Drita 1996: 14 и далее). Преимущество данной концепции заключается в том, что укорененность понимается как некая совокупность вполне осязаемых социальных связей. Однако, с нашей точки зрения, у нее есть и недостаток: она не позволяет включить в анализ понимание рынка трейдерами. Например, трейдеры считают рынок на «99,99999 процента анонимным», полагают, что он для них — «высшее существо», в отношении валютных обменов он для них — «всё». И в особенности он рассматривается как релевантная система знания, ценовое действие.

Едва ли можно адекватным образом описать все эти понятия при помощи концепции сетей или сообщества, сформированного социальными отношениями.

Вспомним еще раз, каковы же поставленные нами задачи. Во-первых, обращаясь к идее укорененности, мы обращаемся также и к более коллективному уровню социальности и развитости отношений, нежели те, что рассматривались до сих пор. Во-вторых, нам необходимо понять, что этот коллективный уровень социальности основан не исключительно на отношениях между людьми. Вопрос заключается в следующем: можно ли идею укорененности распространить на глобальные сферы, где участники (в отличие от ситуации в традиционных сообществах) не ощущают физического присутствия и реакции друг друга и представляют собой анонимные совокупности (*aggregates*). Мы предполагаем, что временные механизмы и общая ориентированность участников на объект на экране могут составлять основу постсоциальной формы «межсубъектности» и интеграции, имеющей место на данном уровне. Проанализируем это при помощи шюцевских понятий темпоральной синхронизации (*temporal synchronization*).

Свою теорию интерессубъективности А. Шюц тесно связывал с телесным присутствием участников в ситуации. Однако он предложил и другую идею, которая затем стала ключевой в его концепции, — идею темпоральной координации. Как заметил один из его последователей: «Для Шюца реципрочное переплетение временных измерений — центральное звено в феномене интерессубъективности» (Zaner 1964). Шюц отметил, что «близость в пространстве» (*spatial immediacy*) сопровождается и «близостью во времени» (*temporal immediacy*). Он пришел к выводу, что близость во времени позволяет одному индивиду признавать опыт другого (например, наблюдение за полетом птицы) и воспринимать его переживания как происходящие одновременно с его собственным опытом. Шюц предложил несколько формулировок темпоральной координации «фаз сознания»: он говорил о «синхронизации двух внутренних потоков длительности» и о том, что во время такой синхронизации «мы вместе становимся старше» (*we are growing older together*) (Schutz 1964. Vol. II: 24–26).

Для нас важно то, что, рассуждая о темпоральной координации, Шюц отказался от всяких попыток поместить в основу феномена социальной связанности (*social relatedness*) идею общего (идентичного) опыта или любое реальное понимание мыслей других. Взамен он оставил субъекта таким, каков он есть, представив другого тоже как человека «здесь и сейчас», который занят тем же событием, что и субъект. Что же превращает этот опыт в «Мы-отношения» (*We-relation*) как

он их называл? Это одновременность (*contemporaneousness*) протекания события, переживание его одним индивидом и свидетельство того, что внимание другого также направлено на это событие: «Поскольку во время полета птицы мы вместе становились старше и поскольку мои наблюдения свидетельствуют о том, что ты тоже следил за этим событием, я могу сказать, что мы вместе видели птицу в полете» (*Ibid.*: 25).

Чтобы проиллюстрировать это на примере финансовых рынков, начнем с вопроса о том, о каких «одинаковых событиях» можно сказать, что наблюдение за ними на глобальном уровне так же ведет к возникновению отношений, что и наблюдение за событиями в ситуации непосредственной коммуникации. Мы утверждаем, что такие события передаются на экраны посредством явлений, создаваемых знанием (*knowledge-created phenomena*), а также вместе с содержанием дополнительных каналов (информации), на которые ориентируются трейдеры. Иными словами, «птица», за которой вместе наблюдают трейдеры, — это рынок в том виде, как он представлен в тождественных формах (ценовые действия, анализ рынка, новые описания и т. д., сообщаемая глобальными поставщиками информация), формах, накладывающихся друг на друга (информация, передаваемая по сетям личных знакомств) и скоординированных на множестве окон и каналов, к которым привязаны (*attached*) участники рынка. В этих окнах и каналах «один и тот же» рынок громко заявляет о себе; он говорит с участниками и требует от них постоянного внимания — и действий.

Рассмотрим теперь вторую особенность шюцевского «Мы-отношения» — темпоральную координацию (см. также: Zerubavel 1981). Во-первых, трейдеры, продавцы и прочие акторы на торговых площадках, находящихся в пределах одной временной зоны, объединены общностью времени. Они видят рынок, когда он появляется перед ними утром, смотрят, как он выстраивается днем, наблюдают за ним практически непрерывно, синхронно и непосредственно в течение своего рабочего дня (начиная с момента пробуждения)⁹. Здесь важны все три

⁹ Как полагает Д. Харви, характерной особенностью всей современности и процесса постиндустриализации является «сжатие времени» (*time-compression*) (Harvey 1989: 2399–259). Аналогичное предположение выдвигалось М. МакЛюэном: электричество формирует глобальную сеть коммуникации, позволяющую нам воспринимать и переживать события, передаваемые средствами массовой информации, практически одновременно, как если бы у нас была единая центральная нервная система (McLuhan 1964: 358; см. также: Waters 1995: 35; Giddens 1990: 17–21). В отличие от других подходов, эти гипотезы предсказывают глобальную интеграцию посредством общей культуры (с помощью передачи

аспекта: синхронность (synchronicity), предполагающая, что трейдеры и продавцы наблюдают за одними и теми же событиями на рынке в один и тот же период времени; непрерывность (continuity), означающая, что они наблюдают за рынком практически неотрывно, обедая прямо за своим рабочим столом и прося кого-нибудь посмотреть за экраном, если им приходится отойти; наконец, близость во времени, означающая непосредственную доступность в реальном времени рыночных транзакций и информации для участников рынка, находящихся в рамках соответствующих институциональных торговых сетей. Местные новости поступают на экраны незамедлительно («живую»), информация об ожидаемых событиях (например, объявление экономических показателей) — в установленное время или с минимально возможной задержкой. Трейдеры, инвесторы и прочие акторы пытаются первыми узнать о новых тенденциях, однако эти усилия скорее укрепляют, нежели расшатывают ситуацию общности времени, в которой они существуют по отношению к рынку.

Во-вторых, координация во времени предполагает и темпоральное разделение труда по временным зонам таким образом, что временное сообщество в результате охватывает полные сутки. Примером может послужить такой торговый инструмент, как «опцион», — покупка или продажа валюты в определенный момент в будущем по согласованной цене. В отличие от мгновенно совершаемых покупок и продаж валюты с немедленной поставкой, о которых мы говорили до сих пор, опционы длятся неделями или месяцами после заключения сделки. Следовательно, в отличие от счетов трейдера, занятого торговлей с немедленной поставкой, счета трейдера, занимающегося опционами, не могут закрываться каждый вечер. Один из способов организации подобных долгосрочных транзакций на глобальном уровне состоит в том, чтобы каждый вечер передавать опционные счета со своего рабочего места одним и тем же опционным трейдерам в следующей временной зоне — они будут заниматься ими и добавлять сделки в течение своего рабочего дня. «Книга опционов» (option book), циркулирующая по земному шару, свидетельствует о глобальной финансо-

образцов) или сознания, а не при помощи экономических средств (Waters 1995: 33–35; Wallerstein 1974, 1980). Однако нас здесь интересует нечто гораздо менее общее по масштабу (ведь большая часть мира оказывается за пределами экранного мира трейдеров) и более микроуровневое по характеру — форма координации во времени, присутствующая во всех взаимодействиях участников рынка друг с другом и предполагающая десятки мини-механизмов их встраивания в единую временную схему.

вой интеграции: когда «летающая птица», т. е. рынок, грозит скрыться из виду в ночи, наблюдающий за ней человек передает свои функции следующему. Эту циркулирующую книгу можно рассматривать как попытку связать рынок воедино посредством вовлечения всех участвующих в его работе и совершающих на нем покупки акторов в разных временных зонах, в результате чего создается круглосуточная синхронизация наблюдения и опыта.

Третий аспект координации во времени, помимо усилий по обеспечению глобальной одновременности, связан с «календарями» и расписаниями работы рынка — датами и часами, установленными для важных экономических объявлений, передачей периодически рассчитываемых экономических показателей и данных. Эти календари и расписания структурируют сознание и ожидания участников, а также задают их темп. Они создают атмосферу коллективного ожидания и готовности к определенным событиям, что устанавливает скорость движения рынка и нарушает плавное течение событий. Темпоральные структуры такого рода снова и снова обращают внимание глобального поля наблюдателей на возможные изменения направления «полета птицы». Они привязывают это поле к конкретным временным рамкам, вокруг которых происходит усиление или ослабление внимания на глобальном уровне и выстраивание ожиданий. Таким образом, движение обычного темпорального потока синхронного и последовательного (по временным зонам) наблюдения регулярно помечается событиями, в принципе способными изменить его тенденцию. Запланированный характер этих событий не только синхронизирует опыт на коллективном и глобальном уровне, но и добавляет эмоциональный подъем (*emotional arousal*)¹⁰. Э. Дюркгейм считал, что такие подъемы играют решающую роль для возникновения чувства «солидарности», и исходил из того, что опыт «сопереживания» (*We-experience*) возникает, когда группа находится в возбужденном состоянии (Wiley 1994: 196, 122).

В завершение этого раздела и работы в целом обратим внимание на то, что для использования понятия постсоциальной формы применительно к отношениям между объектами необходимы два условия. Первое заключается в необходимости точно определить, что же является объектом. Мы предложили определение объектного характера рынка, построенное на понятии «недостаточность», при этом рынок предстал также как проект в сфере знания (*a knowledge project*). Второе условие состоит в том, чтобы показать механизм, связывающий

¹⁰ Интересный исторический пример использования таких расписаний см. в работе: (Zerubavel 1981: ch. 2. P. 65 и далее).

«субъекта» и «другого», а также объясняющий непрерывное и возобновляющееся притяжение между этими двумя единицами. Мы «протестировали» три варианта трактовки постсоциальных связей: одна основана на идеях Ж. Лакана, вторая — Дж. Мида, третья — А. Шюца. Идеи Шюца позволили нам выйти за пределы анализа форм привязанности (forms of attachment), в первую очередь, обсуждаемых в данной работе, и попытаться показать, что постсоциальные формы могут существовать и на более коллективном уровне социальности. Идеи Шюца послужили хорошей отправной точкой для дальнейшего анализа таких коллективных форм (это предмет отдельной работы). Интеграция социальных наук почти универсально понимается в терминах связей между людьми, сформированных на основе общих интересов (например, когда укорененность относится к сетям отношений) или нормативного консенсуса и разделяемых всеми ценностей (как в традициях, идущих от Парсонса и Дюркгейма). Однако эти формы интеграции оказываются все менее эффективными в условиях увеличивающейся культурной и иной неоднородности групп населения, растущей детрадиционализации и «размывания» социальных авторитетов, символизирующих ценностную интеграцию. В сущности, как отмечал А. Этzioni, сегодня нормативную интеграцию можно представить только как социокультурно выработанный консенсус (socioculturally engineered consensus) (Etzioni 1993). Б. Петерс утверждает, что интеграция может возникать также и в результате действия других факторов, — например, совместного преуспевания (joint prosperity), которое объединило бы крупные сегменты населения в общество (Peters 1993). Совместное преуспевание предполагает существенное вовлечение объектов, роль которых для процесса интеграции еще предстоит прояснить. В данной работе мы попытались представить рынок как объект, который соединяет анонимные массы людей, концентрируя их внимание на конкретных событиях в рамках темпоральной синхронности. В этом смысле рынок относительно субъекта можно рассматривать не только как объект привязанности, но и как укореняющую среду.

Перевод с английского Марии Добряковой

ЛИТЕРАТУРА

- Abolafia M. Y. Making Markets: Opportunism and Restraint on Wall Street. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996.
- Abolafia M. Y. Opportunism and Hyper-Rationality: The Social Construction of Economic Man on Wall Street / Unpublished manuscript. 1998.

- Alford C. F. *The Self in Social Theory*. New Haven, Yale University Press, 1991.
- Baker W. E. The Social Structure of a National Securities Market // *American Journal of Sociology*. 1984. Vol. 89. No. 4. P. 775–811.
- Baker W. E., Faulker R. R., Fisher G. A. Hazards of the Market: The Continuity and Dissolution of Interorganizational Market Relationships // *American Sociological Review*. 1998. Vol. 63. P. 147–177.
- Baldwin J. M. *Social and Ethical Interpretations of Mental Development*. New York: Arno Press, 1973 (1899).
- Barber B. All Economies Are «Embedded»: The Career of a Concept and Beyond // *Social Research*. 1995. Vol. 62. P. 387–413.
- Baudrillard J. *Simulations*. New York: Semiotext (e), 1983.
- Baudrillard J. *The System of Objects*. London: Verso, 1996.
- Beck U., Beck-Gernsheim E. *The Normal Chaos of Love*. Cambridge: Polity, 1994.
- Beck U., Beck-Gernsheim E. Individualization and «Precarious Freedoms»: Perspectives and Controversies of a Subject-Oriented Sociology // *Detraditionalization: Critical Reflections on Authority and Identity* / P. Heelas, S. Lash, P. Morris (eds.). Oxford: Blackwell, 1996.
- Bruegger U. *Wie handeln Handler? Akteure der Globalisierung*. Unpublished PhD diss. University of St. Gallen, Switzerland. 1999.
- Bruegger U., Knorr-Cetina K. Global Microstructures: The Interaction Practices of Financial Markets // *American Journal of Sociology*. 2000 (forthcoming).
- Coleman J. The Rational Reconstruction of Society: 1992 Presidential Address // *American Sociological Review*. 1993. Vol. 58. P. 1–15.
- DiMaggio P. Culture and the Economy // *The Handbook of Economic Sociology* / N. Smelser, R. Swedberg (eds.). Princeton: Princeton University Press, 1994.
- Etzioni A. *The Spirit of Community: Rights, Responsibilities, and the Communitarian Agenda*. New York: Simon and Schuster, 1993.
- Falk P., Campbell C. *The Shopping Experience*. London: Sage, 1997.
- Fligstein N., Mara-Drita I. How to Make a Market: Reflections on the Attempt to Create a Single Market in the European Union // *American Journal of Sociology*. 1996. Vol. 102. No. 1. P. 1–33.
- FXWeek. 1998. June 1. Vol. 9. No. 22.
- Geertz C. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books, 1973.
- Giddens A. *The Consequences of Modernity*. Stanford: Stanford University Press, 1990.
- Giddens A. *Modernity and Self-Identity*. Cambridge: Polity, 1991.
- Goffman E. The Interaction Order // *American Sociological Review*. 1983. Vol. 48. P. 1–17.
- Granovetter M. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness // *American Journal of Sociology*. 1985. Vol. 91. No. 3. P. 481–510.

- Harvey D. *The Condition of Postmodernity: An Inquiry into the Origins of Cultural Change*. New York: Blackwell, 1989.
- Hayek F.A. *The Use of the Knowledge in Society*// Hayek F.A. *Individualism and Economic Order*. London: Routledge & Kegan Paul, 1945 (1976).
- Heidegger M. *Being and Time*. New York: Harper & Row, 1962 (1927).
- Heim M. *The Metaphysics of Virtual Reality*. Oxford: Oxford University Press, 1993.
- Husserl E. *Cartesian Mediations*/Transl. by D. Cairns. The Hague: Nijhoff, 1960.
- Knorr-Cetina K. *Sociality with Objects. Social Relations in Postsocial Knowledge Societies*// *Theory, Culture & Society*. 1997. Vol. 14. No. 4. P. 1–30.
- Knorr-Cetina K. *Financial Markets and the Cultural Production of Transparency*/Paper presented at the Annual Meeting of the American Sociological Association. Chicago. 1999. August 6–10.
- Knorr-Cetina K., Preda A. *Postsocial Knowledge Societies: The Epistemic Embeddedness of Economic Action*// *The Socio-Economics of Long-Term Evolution. Advances in Theory, Complex Modeling, and Methodology*/K. S. Althaler, M. Lehmann-Wafenschmidt, K. H. Müller (eds.). Berlin: Fakultas Verlag, 2000 (forthcoming).
- Lacan J. *The Language of the Self*. New York: Dell, 1975.
- Lacan J., Wilden A. *Speech and Language in Psychoanalysis*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1968.
- Lasch C. *The Culture of Narcissism*. New York: Norton, 1978.
- Lash S. *Reflexivity and its Doubles: Structure, Aesthetics, Community*// Beck U., Giddens A., Lash S. *Reflexive Modernization*. Stanford, CA: Stanford University Press, 1994.
- Lyng S. *Edgework: A Social Psychological Analysis of Voluntary Risk Taking*// *American Journal of Sociology*. 1990. Vol. 95. No. 4. P. 851–886.
- Mars F. *Wir sind alle Seher. Die Praxis der Aktienanalyse*/Unpublished dissertation. Faculty of Sociology, University of Bielefeld. 1998.
- McCarthy D. E. *Toward a Sociology of the Physical World: George Herbert Mead on Physical Objects*// *Studies in Symbolic Interaction*. 1984. Vol. 5. P. 105–121.
- McLuhan M. *Understanding Media*. London: Routledge, 1964.
- Mead G. H. *Mind, Self and Society*. Chicago: University of Chicago Press, 1934.
- Miller D. *Modernity – An Ethnographic Approach*. Oxford: Berg, 1994.
- Peters B. *Die Integration moderner Gesellschaften*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1993.
- Fortes A. *Economic Sociology and the Sociology of Immigration: A Conceptual Overview*// *The Economic Sociology of Immigration*/A. Fortes (ed.). New York: Russell Sage Foundation, 1995.
- Rheinberger H.-J. *Experiment, Difference, and Writing: I. Tracing Protein Synthesis*// *Studies in the History and Philosophy of Science*. 1992. Vol. 23. No. 2. P. 305–331.

- Rheinberger H.-J. *Toward a History of Epistemic Things*. Stanford: Stanford University Press, 1997.
- Ritzer G. *Enchanting a Disenchanted World*. Thousand Oaks: Pine Forge Press, 1999.
- Samuelson P.A., Nordhaus W.D. *Economics*. New York: McGraw-Hill, 1995.
- Sandel M.J. *Liberalism and the Limits of Justice*. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1982.
- Schutz A. *Collected Papers II: Studies in Social Theory* / Ed. and introduced by A. Brodersen. The Hague: Nijhoff, 1964.
- Schutz A. *The Phenomenology of the Social World*. Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 1967.
- Serres M. *Le Contrat naturel*. Paris: Editions Francois, 1990.
- Sheldrake R. *The Rebirth of Nature*. London: Rider, 1991.
- Smith C. W. *The Mind of the Market*. London: Groom Helm, 1981.
- Stone A. R. *The War of Desire and Technology at the Close of the Mechanical Age*. Boston: MIT Press, 1996.
- Streissler E. W. Hayek on Information and Socialism // *The Economics of F.A. Hayek* / M. Colonna, H. Hagemann, O. Hamouda (eds.). Vol. 2. Aldershot: Elgar, 1994.
- Swedberg R. *Markets as Social Structures* // *The Handbook of Economic Sociology* / N. Smelser, R. Swedberg (eds.). Princeton: Princeton University Press, 1994.
- Swedberg R. *New Economic Sociology: What Has Been Accomplished, What Is Ahead?* // *Acta Sociologica*. 1997. Vol. 40. P. 161–182.
- Turkic S. *Life on the Screen*. New York: Simon and Schuster, 1995.
- Uzzi B. *Social Structure and Competition in Interfirm Networks: The Paradox of Embeddedness* // *Administrative Science Quarterly*. 1997. Vol. 42. P. 35–67.
- Wallerstein I. *The Modern World System*. New York: Academic Press, 1974.
- Wallerstein I. *The Capitalist World-Economy: Essays*. Cambridge: Cambridge University Press, 1980.
- Walzer M. *The Communitarian Critique of Liberalism* // *Political Theory*. 1990. Vol. 18. No. 1. P. 6–23.
- Waters M. *Globalization*. London: Routledge, 1995.
- White H. *Where Do Markets Come From?* // *American Journal of Sociology*. 1981. Vol. 87. P. 517–47.
- Wiley N. *The Semiotic Self*. Chicago: University of Chicago Press, 1994.
- Zaner R. *The Problem of Embodiment: Some Contributions to a Phenomenology of the Body*. The Hague: Nijhoff, 1964.
- Zerubavel E. *Hidden Rhythms. Schedules and Calendars in Social Life*. Berkeley, CA: University of California Press, 1981.

БРЮНО ЛАТУР

КОГДА ВЕЩИ ДАЮТ ОТПОР:

ВОЗМОЖНЫЙ ВКЛАД «ИССЛЕДОВАНИЙ НАУКИ»
В ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ¹

ВВЕДЕНИЕ

Не помню, какой именно известный философ остроумно заметил: все обстоит превосходно с общественными науками за исключением двух слов: «общественные» и «науки». Хотя смена тысячелетий сама по себе не имеет большого значения (разве, что для истовых христиан, для которых она является событием в истории Спасения) и хотя тысячи лет — слишком серьезный срок для юных общественных наук, которые насчитывают самое большее несколько веков, все же год 2000 — это неплохой повод еще раз поразмыслить над претензией общественных наук быть именно науками об общественном.

Время располагает к этому: в последние двадцать пять лет небольшая предметная область социологии, известная как «исследования науки и техники» (STS), несколько прояснила, что такое естественные науки и поставила под сомнение само понятие общества. А потому вопрос об общественных науках может прозвучать сейчас по-новому: чем они являются в свете социологии естественных и общественных наук? Какие перспективные области исследований они открывают? Задача нелегкая, ведь STS совершили скачок, сравнимый разве что с появлением первых млекопитающих в эпоху динозавров. Те сначала незаметно обживали свои скромные ниши, чтобы, дождавшись благоприятного момента, ворваться на множество новых территорий. Хотя я не думаю (и не надеюсь!), что комета уничтожит «динозавров», я уверен, STS начнут играть более заметную роль в непростой эколо-

¹ Первая публикация: Латур Б. Когда вещи дают сдачи: возможный вклад «исследований науки» в общественные науки // Пер. О. Столяровой // Вестник МГУ. Сер. «Философия». 2003. № 3. (Latour B. When things strike back: a possible contribution of 'science studies' to the social sciences // British Journal of Sociology. 2000. Vol. 51. № 1.) — *Прим ред.*

гии общественных наук, как только смерть хотя бы немногих традиционных Важных Проблем предоставит место для их распространения. Сейчас STS еще едва различимы, поэтому их вклад в магистральное обществоведение не так легко заметить².

Рассмотрим официальную версию: исследования науки и техники расширяют ряд «социально интерпретируемых» феноменов, добавляя к ним те, которые прежде оставались за пределами социологического рассмотрения. Здесь речь идет о таких феноменах, как материя, производительность, объективность, которые традиционно не вписывались в рамки социологического исследования, поскольку было хорошо известно, что работа обществоведов ограничивается социально релевантными темами. Например, если велосипедист, наткнувшись на камень, слетел с велосипеда, обществоведам, они сами признаются³, нечего сказать по этому поводу. Но стоит вступить на сцену полицейскому, страховому агенту, любовнику или доброму самаритянину, сразу же рождается социологический дискурс, потому что здесь мы получаем ряд общественно значимых событий, а не только каузальную смену явлений. Представители STS не согласны с таким подходом. Они считают социологически интересным и эмпирически возможным анализировать механизм велосипеда (Bijker, 1995), дорожное покрытие, геологию камней, психологию ранений и т. п., не принимая разделение труда между естественными и общественными науками, основанное на дихотомии материи и общества. Несмотря на то, что такая уравниловка («симметрия», выражаясь профессиональной лексикой) вызывает ожесточенные дискуссии в нашем лагере, все участники STS согласны относительно следующего: общественные науки должны *выйти за пределы* той сферы, которая до настоящего времени считалась сферой «общественного» (Bloog 1991 [1976]; Law 1986).

Итак, по случаю смены символов, которыми мы (развитая часть некоторых богатых обществ) исчисляем годы, я хочу поднять вопрос о том, насколько изменится обычный предмет общественных наук, если они займутся природными феноменами.

² Для введения в проблематику см. (Jasanoff, Markle, Peterson, Pinch, 1995). Для дальнейшего чтения см. (Biagioli, 1999). Для знакомства с новейшими и наиболее значительными результатами см. (Knorr-Cetina, 1999).

³ Здесь, очевидно, аллюзия на текст М. Вебера о категориях понимающей социологии: «Случайное столкновение велосипедистов мы не назовем общностно ориентированными действиями, но их предшествующие попытки избежать инцидента, а также их возможную „потасовку“ или попытку прийти к мирному „соглашению“, мы уже относим к действиям упомянутого типа» (Вебер, с. 509) — *Прим ред.*

УСПЕХИ НЕУДАЧ

Первая трудность состоит в необходимости выйти за пределы «общественного», чтобы увидеть природные и материальные объекты. Не могу удержаться от соблазна выразить ситуацию с помощью парадокса. Если социальная интерпретация естественных наук состоялась, значит — она провалилась, а вместе с ней и все общественные науки. Если же она неудачна, то она интересна, но до того бессодержательна, что мы теряем предмет изучения и вряд ли можем считать себя учеными. И в том, и в другом случае исследования науки и техники появляются как *fatum* общественных наук. Я собираюсь защитить этот парадокс, прежде чем в следующем разделе перейти к положительным (хотя и нелогичным) характеристикам вклада STS в общественные науки.

Что для респектабельных общественных наук означало бы дать природным феноменам социальную интерпретацию? Показать, что кварк, микроб, закон термодинамики, инерциальная система наведения и т. п. в действительности суть не то, чем они кажутся — не подлинно объективные сущности внеположной природы, а хранилища чего-то еще, что они преломляют, отражают, маскируют или скрывают в себе. Этим «чем-то еще» в традиции общественных наук непременно выступают некие социальные функции и факторы. Так, социальная интерпретация в конечном счете подразумевает способность *заместить* некоторый объект, относящийся к природе *другим*, принадлежащим обществу, и показать, что именно он является истинной сущностью первого (см. в высшей степени мастерский и доходчивый анализ в Hacking 1999).

У обществоведов достаточно оснований полагаться на эффективность этой стратегии — ведь она, по их мнению, работала в парадигматическом примере с религией в XIX веке, когда складывались общественные науки. Обществоведы без особого труда убедили себя: чтобы объяснить ритуалы, верования, видения или чудеса (т. е. трансцендентные объекты, каковым акторы приписывают свойство быть первопричиной какого-либо действия) вполне допустимо (хотя и не всегда легко) *заместить* содержание этих объектов функциями общества, которые были скрыты в этих объектах и имитированы ими. Такие типы объектов были названы фетишами, т. е. метками чего-то еще (генеалогию см. Pietz 1985). Как только произошла *подмена* ложных объектов, относящихся к верованиям, истинными объектами, относящимися к обществу, ничего больше в религии не заслуживает внимания, кроме социальных сил, которые она умело скрывает и сим-

волизирует. Поэтому когда наши коллеги слышат о существовании подрубрики их дисциплины, которая направлена на феномены науки и техники, им не остается ничего другого, как предположить, что STS хотят сделать для материальности и объектности то же, что было сделано сначала для религии, а впоследствии для множества других предметов — поп-культуры, мультимедийных исследований, политики, искусства, закона, гендерных феноменов и т. д. — то есть пере-направить внимание с ложного объекта на истинный, выводимый из общества.

Но в данном случае, конечно, нельзя не заметить, что предмет STS — будь то наука, объективность, универсальность — не похож на *все* прочие предметы общественных наук: он *единственный* не так легко допускает подмену. Потому что, с одной стороны, он выступает как объект объяснения, а с другой — как *исходный* пункт объяснения.

С наукой, говорят обществоведы (само по себе довольно убийственное признание) не так легко иметь дело, как со всем остальным (подразумевается, что с остальным они готовы справиться легко), ведь она составляет суть самих общественных наук, единственную цель, оправдывающую их существование — достичь знания о том, что такое природа социального.

Соответственно, вместо радости по поводу расширения своих владений — ведь STS добавили новую область к религиоведению, городским, гендерным, классовым и прочим подобным исследованиям, — общественные науки немедленно почувствовали отравляющий эффект этой инициативы и вынуждены были отвергнуть чашу с ядом для собственного спасения.

Причины проблемы понять нетрудно. В глубине души обществоведы сами сильно сомневаются в качестве своих интерпретаций и не хотят, чтобы их обрабатывали теми же вредными способами, какими они обрабатывают все прочие предметы. Вот она, западня рефлексии, которая хорошо проанализирована в исследованиях науки и техники (Woolgar 1988). Мы можем подвергнуть социальной интерпретации что угодно (включая общественные науки), но только до тех пор, пока не возьмемся за естественные науки. Почему? Да потому что для множества обществоведов социальная интерпретация означает разрушение интерпретируемого объекта, разоблачение ошибочных представлений о нем (каковые имеют обычные люди) и замену этих идолов истинными объектами науки, или указание на то, что такая замена невозможна, поскольку определенная мера иллюзии (или ложного сознания) необходима для функционирования социального порядка (Bourdieu и Wacquant 1992).

Принятое на веру допущение о нормальном *modus operandi* обществоведа вызывает беспокойство, когда дело доходит до материалов STS. Поскольку обществоведы сами верят, что социальная интерпретация разрушает объект, что произойдет, если подвергнуть такой радикальной обработке естественные науки? Не исчезнут ли они так же, как религия? Или хуже: если посадить естественные науки на диету подмены, сколько продержится объективность общественных наук? Не придется ли нам увидеть, как революция убивает своих детей — как разваливается все здание науки (естественной или общественной)? Еще хуже: поскольку социальная интерпретация подразумевает замену мнимого объекта социальной функцией, то конечный источник просвещения всецело держится на хрупких плечах обществоведов, задача которых предоставить неопровержимое знание о любых феноменах общества, и не только о Боге (нет проблем?), но также о законах природы. Действительно ли обществоведы готовы ответить на вызов? Если нет, если их знание недостаточно, как тогда сохранить проект современности, которому требуется абсолютное основание несомненной объективности для эмансипации людей и мобилизации их действий? Все это — вопросы так называемых научных войн. Но если такова эта банка с червями, открытая STS, безопаснее было бы захлопнуть ее, и поскорее. Похоже, когда исследования науки и техники расширяют общественные науки до сферы *собственно Разума*, они вынуждены *расставаться* с разумом.

Поэтому вклад исследований науки и техники в магистральные общественные науки был так ограничен: их всегда преследовала дурная репутация. Когда вы заняты в этой области, вам не избежать самых серьезных философских проблем, с которыми ваши ситуационные исследования оказываются связаны. Если даже вы изберете такие безобидные предметы, как математическое доказательство, нейротрансмиттер, расчет методом Монте-Карло или автоматизированную подземку, вам все равно придется иметь дело с «релятивизмом», «несоизмеримостью», «субъективизмом», «постмодернизмом». Из самых невинных полевых исследований непременно проглянет раздвоенное дьявольское копыто. Нетрудно показать, что Рембрандт был генеральным директором кустарей, занимавшихся спекуляциями на рынке, что поклонение товарам выражает глубокое колониальное разочарование, что классовые интересы и рост производства определяют каждый шаг в карьере *homo academicus*; но включите Британскую империю в физику Лорда Кельвина (Smith и Wise 1989) или весь империализм в условия зрительных восприятий приматов (Naraway 1989), и небольшой скандал обеспечен. Для этих предметов, и только

для них, почему-то сделано исключение: общество и общественное объявлены вне закона.

Здесь STS не просто сталкиваются с препятствием, но попадают в опасную ловушку, чему виной вторая особенность традиционно понимаемой социальной интерпретации: она или разрушает объект, или вообще его игнорирует! Осторожный обществовед мог бы спросить: почему не ограничить сферу научной практики, принадлежащую STS, только узким уровнем общественного, как благоразумно сделали в 50-е годы первые основоположники «социологии ученых и инженеров» (а не науки и инженерии) (Merton 1973)? Все трудности исчезнут. Да, но вместе с трудностями исчезнет цель общественных наук. Конечно, не случилось бы ничего страшного, если бы все сошлось на том, что социальная интерпретация должна быть направлена исключительно на те элементы, которые даже в науке и, тем более, в технике считаются принадлежащими сфере общественного: «силовые отношения», легитимность, идеология, пристрастия, деньги и что-нибудь вроде распределения «символического капитала». Но из этого следует, что STS затрагивают только самые поверхностные аспекты физики, математики, неврологии или этологии. Когда же дело доходит до существенного предмета, общественные науки вынуждены *пасовать*. Да, проблема признания STS как *bona fide* сферы общественных наук исчезнет; но такая стерилизация исследований науки и техники обнаружит, что социальная интерпретация *любого* объекта равносильна уходу от объективного в область *только* общественного. Вас допустят в салоны общественных наук, но лишь при условии: отказаться от интерпретации своего предмета. Что прошло незамеченным во всех прочих разделах, где социальное измерение казалось исчерпывающим, проявится в социологии естественно-научных фактов.

Затруднение, которое я обозначил в начале этого раздела, теперь в полной мере раскрыто. Предположим, что цели STS самые смелые; тогда, видимо, будет разрушено основание науки, естественной или общественной. Если же цели скромные, тогда будет разрушена сама идея социальной интерпретации того, что избегает сферы общественного. Если STS смогли предоставить социальную интерпретацию, она оборачивается неудачей или, как минимум, самсоновой смертью под обломками так безрассудно расшатанного храма. В конечном счете обществоведы правы, когда отказываются иметь дело с областью, разрушающей научность всех наук при попытке их социальной интерпретации. Если такая «социальная интерпретация» не удастся, STS легко занимают место в ряду остальных общественных наук, которые могут предложить лишь поверхностные интерпретации феноменов (будь то ре-

лигия, мода, поп-культура, искусство или типы неопознанных летающих объектов), чья истинная сущность скрыта от них навсегда.

Одного только присутствия исследований науки и технологии достаточно, чтобы заставить остальные общественные науки признать затаенное сомнение в собственной научности. Если мы поступим с естественными науками так, как поступаем с другими предметами, тогда мы их уничтожим, а это настолько опасно, что вызовет ответный огонь. Или альтернатива такова: обращение к естественным наукам может быть вполне безопасно, если, применяя обычную тактику, мы не затронем их существенных аспектов, далеких от сферы «общественного». Однако и в этом случае нам не избежать ответного удара, потому что обнаружится: когда обществоведы желают понять какую-то вещь, они вынуждены отбросить то, что фактически составляет ее *вещность*. Они или уничтожают свой предмет, или игнорируют его (замечательный пример из истории искусств см. в Hennipon 1993). Неудивительно, что магистральное обществоведение редко обращается к материалам STS.

К счастью для всех общественных наук, и, в частности, для исследований науки и техники, несмотря на многочисленные заявления некоторых сторонников и большинства противников STS-проекта, последний *никогда* не предлагал естественным наукам социальную интерпретацию. Потому что несовместимость некоторых новых объектов с социологическим методом обнаружила ущербность метода социальной интерпретации в целом (дискуссии по этим вопросам см. в Pickering 1992). Вот почему я опять говорю, прибегая по случаю милениума к евангельской метафоре, что неудача, которую потерпели STS с интерпретацией естественных наук, стала *felix culpa*, первородным грехом, способным привести общественные науки к иной расстановке сил, благодаря исправлению значения двух слов: «общественное» и «наука».

КАК ПОДРАЖАТЬ ЕСТЕСТВЕННЫМ НАУКАМ

Из того обстоятельства, что природные объекты сопротивляются социальным интерпретациям, можно сделать два противоположных вывода — осторожный и смелый. Осторожный сводится к тому, что проект «социального объяснения» природы был обречен на провал, поскольку природные факты не вписываются в рамки социального порядка. На этой позиции стоит большинство философов науки и участников «научных войн». Другой вывод, которого придерживаюсь я сам вместе с немногими единомышленниками из числа фило-

софов, социологов и антропологов, заключается в том, что *felix culpa* помогла прояснить общее свойство *всех* объектов: они настолько специфичны, что их нельзя заместить чем-то другим (заменителем чего их предположительно считают).

Эта «уникальная достаточность», которую так энергично отстаивают этнометодологи, является общим принципом, категорически запрещающим прибегать к любой другой вещи, например, социальной функции, для оправдания упорства, упрямства или неуступчивости какого-то объекта (Lynch 1994). Важность этого свойства трудно переоценить. Если социолог отрицает идею замещения, например, второго закона термодинамики неким социальным фактором (который якобы можно «выразить» с помощью этого закона), то же самое будет, по-видимому, справедливо в отношении всех прочих объектов, которые мы хотим объяснить. Они также противятся тому, чтобы быть подменой, и это не менее верно для чудес (Claverie 1990), моды, гендерных феноменов, искусства, чем для роторного двигателя или химической формулы. Вот в чем состоит вклад STS в общественные науки. Потребовалось другое определение объекта (Thevenot 1996; Pickering 1995): однажды обществоведы уже проходили испытание огнем, стараясь выразить в социальных терминах самую сущность того, что не принадлежит общественному, и сгорели. Конечно, этот вклад был бы немедленно утрачен, если бы мы опять принялись распределять объекты по двум лагерям: один — для *фетишей*, которые по причине своей легковесности могут и должны считаться «просто социальными конструктами», и другой — для *фактов*, которые существенны, и, по определению, избегают всех социальных интерпретаций (Latour 1996c). Я придумал неологизм «фактиши», чтобы напомнить о бесполезности такой дихотомии (см. Latour 1999b ch. 9 и карикатурную противоположность — Searle 1998).

Это новое признание уникальной достаточности объектов приводит общественные науки к двум последствиям: первое относится к понятию общества, второе — к тому, что именно должно быть воспроизведено, когда обществоведы пытаются подражать естественным наукам.

Я буду краток относительно первого, потому что развенчанием идеи общества как источника объяснения заняты в этой области различные авторы (см. Urry, Beck, Castells). В последние годы выяснилось, что существование общества есть часть проблемы, а не ее решение. «Общество» составлено, сконструировано, собрано, устроено, слеплено и смонтировано. Оно больше не может рассматриваться как скрытый источник причинности, который якобы следует привлечь для того, чтобы объяснить существование и устойчивость какого-то другого дей-

ствия или поведения (именно в этом суть систематизации, предпринятой акторно-сетевой теорией, см. Callon и Latour 1981; Law 1993). Диффузия терминов, сеть (Callon 1992) и текучая среда (Mol и Law 1994) демонстрируют рост сомнений по поводу идеи всеобъемлющего общества. В определенном смысле, век спустя мы становимся свидетелями реванша Габриэля Тарда над Эмилем Дюркгеймом: общество ничего не объясняет, оно само должно быть объяснено (Tarde 1999a, 1999b). И такое объяснение возможно по определению, через присутствие множества других маленьких вещей, общественных не по природе, а лишь в смысле того, что они *сообщаются* друг с другом.

Прилагательное «общественный» теперь означает не субстанцию, не сферу реальности (противоположную, например, естественному, или техническому, или экономическому), а способ связывания вместе гетерогенных узлов, способ *превращения* сущностей одного типа в другой («превращение» противоположно «замещению»: Callon 1986; Latour 1988). Немалую услугу оказали общественным наукам исследования техники, когда обнаружили, как много свойств бывшего общества (устойчивость, экспансия, масштаб, подвижность) существует на самом деле благодаря способности артефактов буквально, а не метафорически, строить социальный порядок (Latour 1996a), включающий печально известную дилемму актор/структура (Latour 1996b). Артефакты не «отражают» общество так, словно «отраженное» общество пребывало в каком-то ином месте и состояло из какой-то иной материи. Они в значительной мере представляют собой то самое вещество, из которого складывается «социальность» (Latour и Lemonnier 1994). То же можно сказать о широкой литературе по исследованиям науки. Демография, экономика, финансовый учет, политика и, конечно, сами разнообразнейшие обществоведы не являются извне, чтобы изучать общество. Они как раз и дают обществу телесность, существование и зрительную воспринимаемость (подробнее об этом ниже). Давно ставшая тривиальной тема социального конструирования перевернулась теперь с ног на голову: ученые стараются выявить ингредиенты, которые лежат в основе того или иного общественного порядка. Что было причиной, стало предварительным следствием. Общество не состоит из социальных функций и факторов. Интерес к «общественному» не приводит к обществу как исходной точке интерпретации (Strum и Latour 1987).

Второй аспект — дефиниция науки — менее известен, но поскольку определение науки могло бы прояснить определение общества, я подробнее остановлюсь на этом вопросе (я следую здесь (Stengers 1996), предисловие на английском см. (Stengers 1997b)). До сих пор подражание общественных наук естественным было комедией ошибок.

Обществоведы, отлученные от природных объектов и верящие в то, что философы науки и некоторые ученые говорили о «научном методе», были парализованы «завистью физике». Они вообразили, что великое превосходство «физиков» коренится в том, что они имеют дело с объектами, которые им подчиняются и позволяют полностью контролировать себя. Поэтому те, кто изучал социальные феномены, в большинстве своем старались максимально приблизиться к этой мифической естественно-научной картине: они хотели походить на беспристрастных ученых, которые способны по своему желанию управлять объектами и объяснять их посредством строгих причинно-следственных связей. Некоторые обществоведы играли в игру «кто кого» иначе. Они настаивали на том, что социальные сюжеты в отличие от физики, химии и геологии требуют совершенно *другого* типа научности, герменевтической, интерпретативной природы (оставим в стороне тех, кто вообще не верил в способность общественных наук что-либо изучать). Короче говоря, те, кто изучал социальные предметы, должны были либо полностью копировать естественные науки, либо стать их полной противоположностью. Однако обе позиции (назовем их «количественной» и «понимающей», чтобы не задерживаться на множестве нюансов), разделяют официальную версию о естественных науках, распространенную в «эпоху до STS».

Но модель, которую обществоведы избрали для подражания, изменится до неузнаваемости, если они обратятся к материалам STS, описывающим научную практику лабораторий и прочих научных учреждений, которая стала объектом детального изучения со стороны историков, антропологов и социологов. Разумеется, результаты этого изучения нужно принимать такими, какие они есть, то есть предлагающими нечто отличное от социальной интерпретации изучаемых феноменов (хотя даже некоторые социологи науки этого не поняли: см. (Bloog 1999) и мой ответ (Latour 1999a)).

Контроль над объектами, беспристрастность, солидарность и нейтральность не являются обязательными признаками лабораторного уклада. Но не потому, что ученые и инженеры предвзяты, пристрастны, тенденциозны, эгоистичны, корыстны (хотя и это — часть процесса), а потому что объективность, с которой ученые и инженеры имеют дело, — совершенно иной природы. «Объективность» означает не особое качество сознания, не его внутреннюю правильность и чистоту, но присутствие объектов, когда они «способны» («able», слово этимологически очень сильное) *возражать* (to object) тому, что о них сказано (замечательные примеры см. в (Rheinberger 1997)). Лабораторный эксперимент создает для объектов редчайшие, ценные, локаль-

ные и искусственные условия, где они могут предстать в своем собственном праве перед утверждениями ученых (детальную разработку такой реалистической социальной философии науки см. в (Latour 1999b)). Разумеется, речь не идет о полном противопоставлении субъективного и объективного. Напротив, именно в лаборатории (в широком смысле), благодаря, а не вопреки искусственности и ограниченности экспериментальной ситуации достигается величайшая степень близости между словами и вещами. Да, вещи можно сделать достойными языка. Но эти ситуации так нелегко найти, они — так необычны, если не сказать «чудесны», что разработка нового протокола, изобретение нового инструмента, обнаружение нужной позиции, пробы, приема, эксперимента часто заслуживают Нобелевской премии. Нет ничего более трудного, чем отыскать способ, позволяющий объектам достойно противостоять нашим высказываниям о них.

Парадокс состоит в том, что стремясь копировать естественные науки, сторонники количественного обществоведения упустили из виду именно эти свойства объектов, которые могли бы сделать их дисциплину по-настоящему объективной. Парадокс усиливается из-за того, что сторонники понимающей школы обвинили естественные науки в грехе, которого те не совершали, а именно в том, что они будто бы обращаются с предметами как с «простыми вещами». Было бы хорошо (мог бы сказать кто-нибудь) если бы обществоведы могли относиться к своим предметам так же, как «физики» — к своим! (Примеры из смутной области изучения приматов см. в (Strum и Fedigan 2000)). Стенжерс (Stengers 1997a) и Депре (Despret 1999) убедительно показали на примере психологии, что причина всех этих недоразумений коренится в представлении о неизвестной структуре. Аргумент, на первый взгляд, нелогичный при внимательном рассмотрении оказывается весьма здравым.

Чтобы достичь объективности в своем понимании, обществоведы стремились максимально снизить влияние человеческих субъектов на научный результат. Единственное решение проблемы — держать людей в неведении относительно того, что управляет их действиями, как, например, в известном эксперименте Милграма, который исследовал американских студентов на предмет душевной черствости. Когда актер — игрушка тайных сил, только ученый находится «в теме» и может предложить надежное знание, незапятнанное субъективной реакцией испытуемых. Ведь ученый непредвзят, а субъект *безразличен* к тому, что, по определению, неизвестно. Условия выглядят идеальными: человеческие субъекты никоим образом *не влияют* на результат, значит, мы создаем науку о людях, такую же строгую, как о природных объектах.

К сожалению, несмотря на то, что эти вездеходы «научной методологии» делают обществоведов внешне похожими на настоящих ученых, они оказываются фальшивой и дешевой имитацией, как только мы возвращаемся к нашему определению объективности как способности объекта достойно противостоять тому, что о нем сказано. Если мы потеряем эту способность объекта влиять на научный результат (чем гордятся сторонники количественных методов), мы потеряем и саму объективность. Если микробы, электроны и пласты скального грунта не нужно лишать способности воздействовать на результат эксперимента, то не потому, что они полностью подчиняются ученым, а потому, что совершенно *безразличны* к их высказываниям. Это не значит, что они — «просто объекты», наоборот, они ведут себя как им заблагорассудится без оглядки на интересы ученых — останавливают эксперименты, внезапно исчезают, умирают, отказываются отвечать или разносят лабораторию вдребезги. Объекты природы *непокорны* по природе. Какой ученый скажет, что они полностью управляемы? Наоборот, они всегда сопротивляются контролю и вносят путаницу в наши планы. Если с человеческими субъектами необходимо вести себя гораздо осторожнее, то не потому, что люди не должны рассматриваться как лишенные интенциональности, сознания и способности к рефлексии «просто вещи» (позиция понимающих школ), и не потому, что люди могут влиять на научный результат (точка зрения количественных школ), но, напротив, потому, что субъекты быстро *теряют* силу сопротивления, когда *идут на уступки* ожиданиям ученых. Микробы и электроны никогда не откажутся от *сопротивления*, потому что не легко поддаются воздействию эксперимента, интересы которого настолько далеки от их собственного *стремления* (если не сказать интереса). Субъекты, в отличие от них, сдаются так быстро, что превосходно играют роль тупого объекта, стоит «людям в белых халатах» попросить их пожертвовать сопротивлением во имя высоких научных целей (именно это произошло в эксперименте Милграма, который доказал только то, что психолог действительно умеет мучить студентов).

Если обществоведы хотят стать объективными, они должны найти такую редчайшую, ценную, локальную, чудесную ситуацию, в которой сумеют сделать предмет максимально способным возражать тому, что о нем сказано, в полную силу сопротивляться протоколу и ставить собственные вопросы, а не говорить *от лица ученых*, чьи интересы он не обязан разделять. Тогда поведение людей в руках обществоведов станет таким же *интересным*, как поведение вещей в руках «физиков». Сравните, например, дофеминистскую социологическую литературу,

посвященную домохозяйкам и гендерным ролям, с той, которая, явившись после феминизма, сумела сделать большинство своих потенциальных респондентов непослушными. Вы увидите разницу между псевдообъективной наукой, имеющей только внешность науки, и поразительными гендерными открытиями. Последние не всегда разделяют внешние атрибуты с естественными науками, но, несомненно, обладают собственной объективностью, т. е. «способностью возражать», которая заключается в том, что сами объекты вводят на сцену новые существа, ставят свои собственные новые вопросы, побуждают обществоведов, равно как и «физиков», переоснастить все их интеллектуальное оборудование. Несмотря на тревоги участников «научных войн», именно тогда, когда объекты изучения интересны, активны, непослушны, полностью вовлечены в разговор о них, общественные науки и начинают подражать поразительным новинкам лучших естественных наук (как раз это совершили исследования науки и техники со *своими* объектами: они позволили им возражать, причем в полный голос). Что же до остальных общественных наук, копирующих естественные науки и при этом теряющих объективность, они поступили бы благороднее, если бы промолчали.

Этот довод (я называю его шибболет Стенжерс-Депре, потому что он полностью перекраивает дисциплинарные нормы) не служит оправданием количественных или понимающих школ общественных наук. Энергия и тех, и других нашла бы лучшее применение, если бы вместо борьбы с воображаемой естественно-научной методологией (которая будто бы обеспечивает управление «просто объектами»), они действительно постарались бы открыть такие редкие и порой ужасные ситуации, где ни интенциональность, ни самосознание, ни способность к рефлексии не определяют человека. Усиленно отстаивая герменевтические методы, обществоведы мгновенно оказались за бортом методологии — они заключили в скобки мириады *не-человеческих* акторов, сущностно важных именно для определения человеческой природы. Огромная работа, проделанная сторонниками понимающей школы с тем, чтобы отделить людей от объектов, ничуть не более этична (несмотря на высоту моральных установок, с которыми герменевты шли на защиту людей от естественно-научной объективации), чем самый вульгарный расизм, который заявляет: «non-humans не место в нашей науке» (многие другие типы объективностей из медицинской практики представлены в (Berg и Mol 1998)).

Подведем итоги. Насколько я вижу, вещи незаслуженно обвиняются в том, что они — просто «вещи». Уточню: нам полезнее было бы вернуться к англо-саксонской и романской этимологии этого слова,

чтобы вспомнить, что все вещи (латинское *res*, а также *causa*: см. (Thomas 1980)) означают ансамбль судебной природы, который собран вокруг предмета обсуждения, *reus*, порождающего как конфликт, так и согласие. После нескольких веков Нового времени исследования науки и техники просто возвращают нас к обычному определению вещей как ансамблей, и это определение заставляет увидеть, что границы между природой и обществом, необходимостью и свободой, между сферами естественных и общественных наук, — весьма специфичная антропологическая и историческая деталь (Latour 1993; Descola и Palsson 1996). Достаточно просто взглянуть на любой из квазиобъектов, заполняющих страницы сегодняшних газет, — от генетически модифицированных организмов до глобального потепления или виртуального бизнеса, — чтобы убедиться: обществоведы и «физики» рано или поздно смогут забыть о том, что их разделяет, и объединиться в совместном исследовании «вещей», которые, будучи по природе гибридами, уже (много десятилетий) объединяют их на практике.

ЗОЛОТОЙ ВЕК ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК?

По какой странной причине общественные науки пытаются столь неправильным образом подражать естественным наукам? Любопытный ответ дает Бауман, характеризуя обществоведа как «законодателя» (Bauman 1992). Большинство общественных наук было изобретено в конце XIX века, когда после многих лет тяжелейших гражданских войн и революционной борьбы возникла потребность в упрощении политических процессов. Если у нас есть Общество как уже готовое единое целое, с помощью которого можно объяснить поведение неразумных акторов — общество, чье тайное устройство открывается опытному взгляду тренированного обществоведа — тогда можно ставить перед собой гигантскую задачу социальной инженерии и приступать к производству всеобщего блага вместо того, чтобы кропотливо создавать эту общность политическими методами. Вот откуда берет начало то самое Общество, гибель которого видна сейчас повсеместно, не столько даже из-за наступления сетей и глобального маркетинга, сколько потому, что оно оскандалилось и политически, и научно. От Конта до Бурдьё через Дюркгейма и Парсонса мечта о законодательстве определяла ключевую задачу большинства обществоведов (кроме немногих школ понимающей социологии, этнометодологов и «символистов», которых Бауман относит к другому направлению). Они хотели пойти в обход невыносимо беспокойной политической

арены, применив знание о том, что такое Общество, которое манипулирует людьми вопреки им самим.

В странной политической мечте об упрощении политики мы обнаруживаем не только понятие общества, обсуждаемое выше, но и крайний сциентизм, который мы также подвергли критике.

Когда обществоведы стремятся найти невидимую структуру, «манипулирующую» агентами без их ведома, они уверены, что должны копировать опасное естественно-научное изобретение, а именно дихотомию первичных и вторичных качеств, если употребить старую, но подходящую здесь философскую терминологию. Первичные качества определяют действительную ткань природы (элементарные частицы, цепи, гены, атомы, в зависимости от дисциплины), тогда как вторичные определяют способ, посредством которого люди субъективно репрезентируют тот же самый универсум. Например, стол выглядит коричневым, полированным и старомодным, а на самом деле, он состоит из атомов и вакуума. Компьютер разложим на биты и транзисторы, но я вижу только дружественный интерфейс. Смысл этого кажущегося невинным разделения — в том, что оно является хитрым политическим приемом. Этот наш общий мир (то, из чего на самом деле состоит универсум), известен ученым, но скрыт от обычных людей. Все, что можно видеть, переживать и чувствовать — разумеется, субъективно значимо, но при этом совсем несущественно, потому что не соответствует устройству мироздания. Поэтому, когда наступает время политической работы *par excellence*, т. е. время определить, каков мир, которым мы сообща обладаем, ученые могут сказать: вопрос *уже закрыт*, итог всех первичных качеств уже подведен в единой Природе. Конечно, остаются еще вторичные качества, но они только дробят нас на разные точки зрения, субъективно, быть может, значимые, но объективно (в традиционном смысле) несущественные. Так мы приобретаем одну Природу и множество несоизмеримых культур (подробную аргументацию см. в Latour 1999c).

Теперь мы можем понять, как велико для обществоведов искушение играть роль законодателей, чтобы сделать для Общества то, что (они считают) сделали для Природы «физики». Вместо того, чтобы создавать общество шаг за шагом, в напряженном политическом процессе, давайте лучше предположим первичные качества — такие как экономические инфраструктуры, силовые отношения, *эпистемы*, бессознательное, формы принуждения, невидимые руки (в зависимости от дисциплины). Предположим, далее, что акторы не сведущи в материи, из которой на самом деле соткана их общественная жизнь, как я не знаю атомарной структуры этого стола. И тогда, как только при-

дет время создавать наш общий мир, обществовед может сказать: «Культурные простофили, вы опоздали! У нас уже есть общий мир, он называется Общество. Он всегда был там, он лежал в основе всех ваших действий, даже если вы его не видели. Конечно, ваши субъективные ощущения тоже существуют, но они ничего не добавляют к суровой реальности Общества. Точнее, кое-что они добавляют: покров иллюзии, предохраняющий вас от этой ужасной истины, которую ясно видим мы, потому что являемся обществоведами».

Но можно пойти еще дальше и достичь новоевропейской мечты (впрочем, она разбита вдребезги недавней историей, а также благодаря некоторому вмешательству STS). Почему бы не применить сразу *оба* традиционных метода, которые предписывают создавать общий мир посредством сокращения необходимого политического развития, а именно Природу и Общество? «Физики» заняты первичными качествами природного мира, а обществоведы — первичными качествами Общества. Знание того, как мир на самом деле устроен, позволит «физикам» считать все вторичные качества иррациональными, частными, субъективными или фактами культуры (в зависимости от степени воинственности). В то же время, знание того, как Общество на самом деле устроено, позволит обществоведам отклонить любые реплики акторов, объявив их слишком субъективными, частными, искаженными, извращенными, несущественными или культурными иллюзиями (опять-таки, в зависимости от степени заносчивости). Так что сарказм, с которого я начал, принадлежит скорее философу. Да, общественные науки превосходны, за исключением слов «науки» и «общественное». Если «общественное» подразумевает Общество, а Науки означают упрощение необходимого развития посредством уже готового разделения первичных и вторичных качеств, и если все это дает право обществоведам и «физикам» насмехаться над остальными людьми за их иррациональность, то общественные науки гроша ломаного (или, может быть, евро) не стоят.

Но они могут иметь совершенно другое предназначение при условии, что, благодаря, в частности, STS, отвергнут дихотомию первичных и вторичных качеств (которую Уайтхед так выразительно назвал «бифуркацией природы» (Whitehead 1920)) и вернуться к «вещам», в смысле, определенном выше. Вещи («квазиобъекты» или «риск», слово не имеет значения) обладают специфическим свойством *неделимости* на первичные и вторичные качества. Они слишком реальны, чтобы быть представлениями, и слишком спорны, неопределенны, собирательны, изменчивы, вызывая, чтобы играть роль неизменных, застывших, скучных первичных качеств, которыми раз и наве-

гда оснащен Универсум. Что общественные науки могли бы делать вместе с естественными — это *представлять* самим людям вещи со всеми их последствиями и неясностями. Именно такую задачу семьдесят лет назад поставил перед общественными науками Дьюи в одной из наиболее важных своих работ (Dewey 1954[1927]): не определять невидимую структуру наших действий (как если бы обществовед знал *больше*, чем сам актер), но *пред-*ставлять общественное ему самому, потому что ни «народ» (слово, которое употреблял Дьюи для обозначения того, что мы называли сегодня «обществом риска»), ни обществовед точно не знают, через какой именно опыт мы проходим. С этой точки зрения, правильными общественными науками были бы не те, что придумывают инфраструктуры, играя в игру (воображаемых) естественных наук, а те, которые способны изменить представление народа о себе *настолько твердо*, чтобы мы были уверены: максимально возможное количество *возражений* (objections) этому представлению прозвучало. Тогда общественные науки начнут подражать естественным. Больше того, они смогут вернуть «вещи» тому, чему они принадлежат, — ансамблю, ответственному за создание общего мира, который должен по праву называться политикой (Latour 1999b; 1999c).

Такое определение проекта общественных наук «эпохи пост-STs» могло бы облегчить и нескончаемые дебаты по поводу текучести, изменяемости, многообразия, фрагментарности, открытости, столь типичные для сегодняшнего дискурса (Castells 1996). Если мы вырвемся из проекта «научного общества», предложенного модернизмом, это отнюдь не значит, что мы впадем в постмодернистское восхваление сетей, потоков и фрагментов. «Новый дух капитализма», употребляя бранное выражение (Boltanski и Chiapello 1999), пришлось бы кстати ницшеанскому требованию многообразия, но он упрощает необходимое политическое развитие так же, как до него — дихотомия природы и общества. Первый проект, модернизм, отверг *поступательное* создание общего мира, потому что считал Природу и Общество уже укомплектованными. Второй проект, постмодернизм, со своими сетями не хочет искать *общий* мир. Мы окажемся между Харибдой и Сциллой, если будем призывать к еще более текучему децентрализованному рынку и, тем самым, вновь обесценим общественные науки. Какая польза в избавлении от призрака тоталитаризма, если мы впадаем в «глобализм» («тотальный» и «глобальный» — два слова для обозначения общего мира, который достигается без надлежащего развития)? «Вещи» в смысле шокирующего вызова, брошенного STs общественным и естественным наукам, не обладают единством, каковое приписали им модернисты, но они не обладают и многообразием (послед-

нее понравилось бы постмодернистам). Они пребывают там, в новых ансамблях, ожидая необходимого развития, в *результате* которого (а не заранее) они объединятся.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой статье я предпочел употреблять термин «общественные науки» вместо «социологии». Не из-за какого-то империалистического *высокомерия*, а просто потому, что каждая общественная наука *кроме социологии*, имеет своего естественно-научного двойника. Точнее говоря, в «эпоху до STS» каждая общественная наука содержала внутри себя конфликт, определяемый природой «вещи». Только социология не разделила общую судьбу. Так, существуют физическая и социальная (human) географии, физическая и социальная (или культурная) антропологии. Психология нарезана бесчисленными слоями — от электрических разрядов мозга до рецептов психиатра и крыс, бегающих по кругу. Лингвистика путешествует по своей орбите — от компьютерного моделирования через эволюционные сценарии, этимологию и фундаментальную фонологию к речевым актам. Демография занята, по определению, наиболее запутанными генетическими гибридами, феноменами пола, статистикой, нравами и проблемами морали. Даже внутри экономики существует разделение на натурализацию рынка и экономизацию природы. Все это отнюдь не свидетельствует о внутренней гармонии данных дисциплин. Напротив, каждая из них содержит в себе конфликт разных способов рассмотрения вещей, которые сталкиваются в одном коридоре, на одних собраниях, смотрах, призывных комиссиях.

Есть *социальная* социология, но где же *физическая* социология? Социобиология, увы, не годится: она слишком воинственно противостоит общественным наукам и слишком нерефлексивна чтобы производить политически значимые «вещи». Я бы предположил, скорее, что искомым двойником социологии должны стать именно STS, способные удержать дисциплину «на ее границах». Они обратят внимание своих коллег, погруженных в «общественное» и «символическое», на чудовищную трудность рассмотрения объектов, которая требует от обществоведов принять радикальное смешение предметов, что придаст дисциплине больше сходства с остальными общественными науками. Общественное — не территория, но лишь один из голосов в ансамблях, собирающих вещи на этот новый (очень старый) политический форум: постепенное создание общего мира.

Перевод с английского Ольги Столяровой

ЛИТЕРАТУРА

- Вебер, М. (1990) 'О некоторых категориях понимающей социологии', в М. Вебер Избранные произведения. М.: Прогресс.
- Bauman, Z. (1992) *Intimations of Postmodernity*, London: Routledge.
- Berg, M. and Mol A.-M. (1998) *Differences in Medicine: Unraveling Practices, Techniques and Bodies*, Durham: Duke University Press.
- Bijker W. (1995) *Of Bicycles, Bakelites, and Bulbs: Towards a Theory of Sociotechnical Change*, Cambridge, Mass: MIT Press.
- Bloor, D. (1991 [1976]) *Knowledge and Social Imagery* (second edition with a new foreword), Chicago: University of Chicago Press.
- Bloor, D. (1999) 'Anti-Latour', *Studies in History and Philosophy of Science* 30 (1): 81–112.
- Boltanski, L. and Chiapello, E. (1999) *Le nouvel esprit du capitalisme*, Paris: Gallimard.
- Bourdieu, P. and Wacquant, L. (1992) *An Invitation to Reflexive Sociology*, Chicago: The University of Chicago Press.
- Callon, M. (1986) 'Some elements of a sociology of translation domestication of the scallops and fishermen of St Brieux Bay' in J. Law (ed.) *Power, Action and belief: A new Sociology of Knowledge?*, Keele: Sociological Review Monograph.
- Callon, M. (1992) 'Techno-economic Networks and Irreversibility', in J. Law (ed.) *Sociological Review Monograph* (Vol. 38), London: Routledge Sociological Review Monograph.
- Callon, M. and Latour, B. (1981) 'Unscrewing the Big Leviathans How Do Actors Macrostructure Reality', in K. Knorr and A. Cicourel (eds) *Advances in Social Theory and Methodology. Toward an Integration of Micro and Macro Sociologies*, London: Routledge.
- Castells, M. (1996) *The Rise of the Network Society?* Oxford: Blackwell.
- Claverie, E. (1990) 'La Vierge, le désordre, la critique', *Terrain* 14: 60–75.
- Descola, P., and Palsson, G. (eds) (1996) *Nature and Society. Anthropological Perspectives*, London: Routledge.
- Despret, V. (1999) *Ces émotions qui nous fabriquent, Ethnopsychologie de l'authenticité*. Paris: Les empêcheurs de penser en rond.
- Dewey, J. (1954 [1927]) *The Public and Its Problems*, Athens: Ohio University Press.
- Hacking, I. (1999) *The Social Construction of What?* Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- Haraway, D. (1989) *Primate Visions: Gender, Race and Nature in the World of Modern Science*, Londres: Routledge and Kegan Paul.
- Hennion, A. (1993) *La passion musicale. Une sociologie de la méditation*, Paris: A.-M. Métailié.
- Jasanoff, S., Markle, G. E., Peterson, J. C. and Pinch, T. (eds) (1995) *Handbook of Science and Technology Studies*, London: Sage.

- Knorr-Cetina, K. (1999) *Epistemic Cultures: How the Sciences Make Knowledge*, Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- Latour, B. (1988) *The Pasteurization of France*, Cambridge Mass: Harvard University Press.
- Latour, B. (1993) *We Have Never Been Modern*, (Catherine Porter, trans.), Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- Latour, B. (1996a) *Aramis or the Love of Technology*, (Catherine Porter, Trans.), Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- Latour, B. (1996b) 'On Interobjectivity – with discussion by Marc Berg, Michael Lynch and Yrjo Engelström', *Mind Culture and Activity* 3 (4): 228–45.
- Latour, B. (1996c) *Petite réflexion sur le culte moderne des dieux Faitiches*, Paris: Les Emêpcheurs de Penser en Rond.
- Latour, B. (1999a) 'For Bloor and beyond – a response to David Bloor', *Studies in History and Philosophy of Science* 30 (1): 113–29.
- Latour, B. (1999b) *Pandora's Hope. Essays On the Reality of Science Studies*, Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- Latour, B. (1999c) *Politiques de la nature. Comment faire entrer la science en démocratie*, Paris: La Découverte.
- Latour, B. and Lemonnier, P. (eds) (1994) *De la préhistoire aux missiles balistiques – l'intelligence sociale des techniques*, Paris: La Découverte.
- Law, J. (ed.) (1986) *Power, Action and Belief: A New Sociology of Knowledge?*, Keele: Sociological Review Monograph.
- Law, J. (1993) *Organizing Modernities*, Cambridge: Blackwell.
- Lynch, M. (1994) *Scientific Practice and Ordinary Action*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Merton, R. K. (1973) *The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations*, Chicago: The University of Chicago Press.
- Mol, A. and Law, J. (1994) 'Regions, Networks, and Fluids: Anaemia and Social Topology', *Social Studies of Science* 24 (4): 641–72.
- Pickering, A. (ed.) (1992) *Science as Practice and Culture*, Chicago: Chicago University Press.
- Pickering, A. (1995) *The Mangle of Practice: Time, Agency and Science*, Chicago: The University of Chicago Press.
- Pietz, W. (1985) 'The Problem of the Fetish', *Res* 9: 5–17.
- Rheinberger, H.-J. (1997) *Toward a History of Epistemic Things. Synthetizing Proteins in the Test Tube*, Stanford University Press.
- Searle, J. (1998) *La construction de la réalité sociale*, Paris: Callimard.
- Smith, C. and Wise, N. (1989) *Energy and Empire: A Biographical Study of Lord Kelvin*, Cambridge University Press.
- Stengers, I. (1996) *Cosmopolitiques – Tome I: la guerre des sciences*, Paris: La découverte Les Empêcheurs de penser en rond.

- Stengers, I. (1997a) *Cosmopolitiques—Tome 7: pour en finir avec la tolérance*. Paris: La Découverte-Les Empêcheurs de penser en rond.
- Stengers, I. (1997b) *Power and Invention*. With a foreword by Bruno Latour 'Stenger's Shibboleth', Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Strum, S. and Fedigan, L. (eds.) (2000) *Primate Encounters*, Chicago: University of Chicago Press.
- Strum, S. and Latour, B. (1987) 'The Meaning of Social: from Baboons to Humans', *Information sur les Sciences Sociales/Social Science Information* 26: 783–802.
- Tarde, G. (1999a) ré-édition *Les lois sociales*, Paris: Les empêcheurs de penser en rond.
- Tarde, G. (1999b) *Monadologie et sociologie*, ré-édition Paris: Les empêcheurs de penser en rond.
- Thévenot, L. (1996) *A Paved Road to Civilized Beings? Moral Treatments of the Human Attachments to Creatures of Nature and Artifice*. Paris: Ecole des hautes études en sciences sociales.
- Thomas, Y. (1980) 'Res, chose et patrimoine (note sur le rapport sujet-objet en droit romain)', *Archives de philosophie du droit* 25: 413–26.
- Whitehead, A. N. (1920) *Concept of Nature*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Woolgar, S. (1988) *Knowledge and Reflexivity: New Frontiers in the Sociology of Science*, London: Sage.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

БРЮНО ЛАТУР

НАДЕЖДЫ КОНСТРУКТИВИЗМА¹

*Мой английский был любезно исправлен Дуаной Фулвайли.
Я также благодарен Изабель Стенжерс и Грэхему Гармену
за их советы.*

Альбене Яневой, архитектору-исследователю

Что пошло не так? Поначалу идея выглядела совсем неплохо: было забавно, оригинально и поучительно использовать слово «конструктивизм» для характеристики тех исследований науки и техники, которыми я занимался. Лаборатории действительно выглядели гораздо интереснее, будучи описанными как стройплощадки, а не как темные подземелья, где хранятся мумифицированные законы науки. И прилагательное «социальный» также поначалу казалось очень удачно выбранным, поскольку я и мои коллеги помещали почтенную работу ученых в горячую ванну культуры и общества, с тем, чтобы снова вдохнуть в нее молодость и жизнь. Однако все пошло вкривь и вкось: мне пришлось со стыдом соскребать слово «социальный» из подзаголовка «Жизни лаборатории»², как изображения Троцкого стирались с фотографий парадов на Красной площади. Что же касается слова «конструктивизм», то и его как будто невозможно спасти — ни от фурий, спу-

¹ Первая публикация: *The Promises of Constructivism // Chasing Technoscience. Matrix for Materiality / Ed. by Ihde D., Selinger E. Indianapolis: Indiana University Press, 2003. P. 27–46.* Мы искренне признательны автору за комментарии и пояснения, облегчившие перевод и редактуру данного текста — *Прим. ред.*

² Речь идет о первой нашумевшей книге Брюно Латура (написанной в соавторстве со Стивом Вулгаром) «Жизнь лаборатории: социальное конструирование научных фактов» (1979). Уже во втором издании книги (1984) из ее названия было удалено слово «социальный». Так начался «крестовый поход» Латура за «спасение конструктивизма от социальных конструктивистов». — *Прим. ред.*

щенных с цепи «научными войнами», ни от детрита, образовавшегося после «деконструкции» — этого нового Аттилы, чьи лошади не оставляют ничего на своем пути. Все, к чему я стремился — а именно связать реальность и конструкцию единой движущей силой, обозначенной одним единственным термином, — рухнуло, как плохо спроектированный самолет. Времена изменились: сейчас, чтобы доказать свою благонадежность, нужно присягнуть на верность «реализму», который определяется как противоположность конструктивизма. «Выбирайте! — режут защитники храма. — Или вы верите в реальность, или вы примкнули к конструктивистам».

И все же в данной работе я преследую цель спасти конструктивизм. Я хочу раскрыть надежды, спрятанные в этом сбивающем с толку концепте, надежды — одновременно эпистемологические, моральные, политические, а, быть может, и религиозные. Моя позиция состоит в том, что конструктивизм мог бы стать нашей единственной защитой от фундаментализма (последний я определяю как тенденцию отрицать сконструированность и опосредованность сущностей, чье публичное бытование тем не менее обсуждается). Переговоры о достижении жизнеспособного общего мира возможны среди конструктивистов, но совершенно невозможны, если за столом переговоров оказываются фундаменталисты, причем не только религия служит прибежищем для фанатизма: природа, рынки и «деконструкция» в не меньшей мере подпитывают воображение zelотов. Между войной и миром стоит определение «конструкции» — таков, по меньшей мере, мой довод.

ЧТО НЕ ТАК С КОНСТРУКТИВИЗМОМ? ВСЕ

Для начала стоит рассмотреть все ошибки, заложенные в понятии «конструкции». Затем, когда перечень будет составлен, мы сможем решить, имеет ли смысл чинить этот концепт или лучше отказаться от него навсегда.

НЕВЫПОЛНИМАЯ МИССИЯ СОЦИАЛЬНОГО

Первая ошибка наиболее распространена, и ее легче всего исправить. Когда люди слышат слово «конструкция», они подменяют его выражением «социальная конструкция», означая, что конструкция сделана из социального материала. Считают, что наподобие Трех Поросят, построивших дома из соломы, из дерева и из камня, сторонники социального конструктивизма занимаются определением ingredi-

ентов, компонентов, строительных материалов, из которых сделаны факты. И поскольку Злой Волчище, дунув, разрушил пороссячьи домики из соломы и дерева, но не каменный дом, полагают, что социальные конструктивисты выбрали материал слишком непрочный, и что самый легкий ветерок сорвет крышу с их сооружения. У здания науки, вам докажут, твердые стены фактов, а не хрупкие подпорки социальных связей. Но такую теорию строительства приписывают социальным конструктивистам только их враги. Я никогда не встречал социального конструктивиста, который бы заявил, что здание науки построено на песке, а его стены сделаны из воздуха.

Слово «социальное», неважно, насколько оно неопределенно — Ян Хакинг, к которому я позже обращусь, тщательно классифицировал разновидности конструктивизма — обозначает не «тип материи» в сравнении с другими видами материалов, а процесс построения любой вещи, включая факты (Hacking 1999). Дома не падают на землю, как пирожки с неба, а факты, как и детей, не приносят аисты. Три Поросенка построили дома разной прочности, но все они были строителями и, кроме того, работали вместе или соревнуясь друг с другом: то есть, здесь имел место общий и коллективный процесс. Именно на этот процесс, а не на различные материалы, из которых сделаны вещи, указывает понятие «социальной конструкции». Зачем называть этот процесс «социальным»? Просто потому что он коллективный, требующий сложной координации многих умений и навыков. Как только слово «конструкция» преуспеет в метафорическом отношении к строительству, строителям, рабочим, архитекторам, каменщикам, подъемным кранам, бетону, залитому в опалубку под лесами, тогда станет понятно, что речь идет не о прочности получаемого конструкта, а о множестве гетерогенных ингредиентов, о долгом процессе и тонкой координации, необходимых для достижения результата. А итог будет настолько основателен, насколько получится.

К сожалению, это первое прояснение ничего не решает, и его не достаточно, чтобы спасти концепт конструкции от осуждения. Невозможно отыскать в исследованиях науки откровенных социальных конструктивистов, которые доказывали бы, что вещи состоят «из» или «в» социальных связях. Но существует множество тех (большинство из них попало в список Хакинга), кто считает, что само общество, его властные отношения, его принуждение, его нормы и его законы служат каркасом, структурой, твердым основанием и фундаментом, таким прочным, всеохватным и организованным, что он действительно способен устоять перед Волком, если тот попытается его опрокинуть. Речь теперь идет не о том, что здание фактов на самом деле по-

строено из более мягкого материала социальных связей, а о том, что мягкие и поверхностные связи, обеспеченные законами, культурой, средствами массовой информации, верованиями, религиями, политиками, экономиками, «в действительности» сделаны из более твердого материала, принадлежащего социальному каркасу силовых отношений. Таков обычный способ, посредством которого общественные науки и культурологические исследования объясняют устойчивость любой вещи: вещи устойчивы не по причине внутренней прочности строительного материала, из которого они якобы сконструированы, а по той причине, что их зримые фасады подпирает прочный стальной каркас общества. Например, закон не обладает своей собственной прочностью, он просто добавляет «легитимность» тайной силе власти. Законы, предоставленные своим собственным механизмам, — не более чем тонкий слой краски, покрывающей отношения господства³. То же самое касается религии. А также массовой культуры, рыночных отношений, СМИ и, конечно, политики. Любая вещь сделана из одного и того же материала: всеохватного, непреложного, всегда-уже-имеющегося, всемогущего общества. Большинство примеров, рассмотренных Хакингом, иллюстрируют эту логику — социальный конструктивист гордо восклицает: «Вы наивно полагаете, что закон, религия и т. д. устойчивы сами по себе, но я покажу вам, что в действительности они состоят из общественных отношений, которые бесконечно более прочны, долговечны, однородны и могущественны, чем труха и солома, скрывающая их структуру наподобие завесы, маскировки или тайника». Чаще всего те, кто гордится своим релятивизмом, являются социальными реалистами.

То, что этот тип «интерпретации» фальсифицирует саму идею конструктивизма, исследования науки обнаружили довольно быстро (хотя здесь мне, видимо, следует говорить за себя). Во-первых, как можно с помощью якобы прочной субстанции социальных отношений объяснять факты природы? Разве факты, открытые социологами и экономистами имеют больше веса, чем факты, созданные химиками, физиками или геологами? Что-то непохоже. «Объясняющее», очевидно, не объясняет «объясняемого». Еще более важным представляется вопрос: возможно ли использовать однородный материал всесильного «общества» для рассмотрения потрясающего разнообразия науки и техники? По меньшей мере, в нашем небольшом лагере исследователей науки и техники конструктивизм привел к формулировке программы, совер-

³ Этот нормативный подход представлен в работе (Bourdieu 1986). Наиболее полную и авторитетную критику можно найти в работе (Faveau 2001).

шенно отличной от программы критической социологии. Наша цель была далека от попыток объяснить «прочные» факты естественной науки «непрочными» фактами социологии. Она определялась стремлением понять: как наука и техника поставляют ингредиенты, необходимые для сотворения и сохранения общества. Это был единственный способ вернуть слову «конструкция» одно из его исходных значений, подчеркнуть коллективный процесс создания прочных строений посредством мобилизации и координации разнородных элементов (Nagaway 1999; Pickering 1995; Rheinberger 1997; Knorr-Cetina 1999; Latour 1999a).

В двух вещах исследования науки не нуждались совершенно: они не собирались подменять то волнующее, что они открывали, гомогенным, никем не созданным, всеохватным, неподсудным «обществом», равно как и никем не созданной, всегда-уже-имеющейся, неподсудной «природой». Поэтому исследованиям науки пришлось воевать на два фронта. Во-первых, они сражались с критической социологией, наследниками которой их по ошибке считали (как будто исследования науки попросту применили социологический способ интерпретации, опробованный в сферах права и религии, к науке и технике). Во-вторых, им пришлось выдержать натиск «фундаменталистов от природы», полагающих, что факты таинственным образом выпрыгивают из ниоткуда⁴. Если «социальное» означает материал, из которого сделаны «научные вещи» (этот взгляд, по моему глубокому убеждению, никто никогда не защищал), или некий крепкий каркас, обеспечивающий долговечность и прочность научных фасадов (как все еще верит большинство, включая Хакинга с его «социальными типами») — лучше обойтись вовсе без данного понятия. По этой причине я и стер прилагательное «социальное» из названия моей первой книги, оберегая чистоту слова «конструирование». Ведь благодаря исследованиям науки это слово стало обнаруживать свою связь со строительными метафорами — начали появляться «история», «прочность», «разнообразие», «неопределенность», «разнородность», «рискованность», «хрупкость» и т. д. Очевидно, «социальное» не относилось к материалу, из которого сделаны все прочие вещи (в чем их можно было бы критически обличить). Оно относилось к ассоциации источников множества относительно прочных компонентов. Социальные науки рас-

⁴ Здесь я не провожу различий между критической социологией и деконструктивизмом: деятельность первой направлена на крупные объекты, второй тяготеет к детализации; первая жертвует настоящим ради революции, второй приносит в жертву ревнивому богу настоящего все, включая революционные порывы.

сматривались не как науки о социальном, но как науки о гетерогенных ассоциациях (Tarde 1999; Latour 2002a).

Конструктивизм похож на слово «Республика»: чем больше прилагательных к нему добавишь — «социалистическая», «исламская» — тем хуже оно становится.

НЕВЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ: ТВОРЦЫ И ИХ ТВОРЕНИЯ

Однако и после того как слово «социальная» вычеркнуто, проблема конструкции остается острой. Дело, очевидно, не в наследстве, оставленном критической социологией, не в недостатках наших собственных исследований случаев (case studies) и не в продолжительности «научных войн». Проблема коренится во внутреннем механизме самой конструкции. Трудности конструктивизма обусловлены невозможностью объяснить построение чего бы то ни было — даже простейшей лачуги — с помощью строительной метафоры в том ее виде, который общественные науки ей придали. В ней непригодно все: роль, данная строителю, или создателю, роль, написанная для материальных сущностей, роль прочной и долговечной, необходимой или, наоборот, случайной постройки, образ ее исторического или внеисторического характера. Если бы каменщик, архитектор, или Поросенок захотели что-нибудь построить, руководствуясь конструктивистской теорией деятельности, сооружение было бы обречено.

Попробуем измерить глубину неадекватности понятия «конструкция», даже если после этого спасение конструктивизма окажется еще более безнадежным. Во-первых, сомнительна роль, которую конструктивизм отводит создателю (maker). Подразумевается, что создатель — это агент, который сам руководит собственными действиями. Я использую нейтральный термин «агент», потому что в роли архитектора-строителя могут выступать не только люди, но и общество, природа, силовые поля или структура. Когда мы говорим: «это конструкция», мы имеем в виду: «это было построено некоторой действующей силой (agency)». Теперь возникает вопрос: что собой представляет эта сила? Если мы согласимся, что она — всемогущий творец (creator), управляющий всем, что создано из ничего, тогда мы, конечно, не сможем достичь реалистичности в описании процесса построения настоящего сооружения. Даже если некоторые архитекторы склонны отождествлять себя с Богом, они не настолько безрасудны, чтобы утверждать, что творят ex nihilo (Yaneva 2002). Наоборот, рассказывая о собственных достижениях, архитекторы не ску-

пятся на разные словечки для разъяснения процесса строительства. Они толкуют о том, как «пришли» к решению, как им «мешали» другие постройки, как их «ограничивали» заинтересованные лица, как они «руководствовались внутренней логикой материала», «были вынуждены учитывать» условия местности, «вдохновлялись» идеями коллег, «считались» с состоянием архитектурного искусства и т.д. (Koolhaas and Mau 1995). Ни один архитектор — даже самый передовой и смелый — не является Творцом в той степени, в какой является им Господь. Архитекторы стараются подчеркнуть именно «восприимчивость к разным ограничениям, из которых рождается и начинает жить самостоятельной жизнью проект». И если мы внимательно вслушаемся в их наиболее скромные высказывания, значение «действующей силы» перейдет от «всемогущего создателя» ко множеству «вещей», «агентов» и «актантов», с которыми они разделяют ответственность за совершаемые действия.

Если же вместо архитекторов, этих «свободных» художников современности, мы возьмем инженеров, то коннотации слова «создание» (making) еще быстрее заставят нас перейти от создателя к материи. Когда инженеры объясняют принятие практических решений в непредвиденных ситуациях, они делают акцент именно на воспитании чуткости к неожиданным свойствам и особенностям материалов. Им и в голову не придет рассматривать себя в качестве наивных детей, которые думают, что весь мир подчиняется их капризам⁵. А вот на что слово «создание» вообще не указывает — так это на полновластного актора. Критическая социология парадоксальным образом использует понятие конструкции. С его помощью она доказывает, что вещи суть не простые и естественные данности, что они — продукт некоторого рода человеческой социальной изобретательности. Однако чуть только покажется метафора «производства» (making), «создания» (creating), или «конструирования», как сразу же на первое место выходят разного рода актанты, с которыми производитель, создатель, или конструктор должен разделить деятельность, и над которыми он никогда не властен в полной мере. В конструктивизме интересно именно отрицание того, что на первый взгляд содержит в себе данное понятие: не существует такого производителя, создателя или конструктора, о котором можно было бы утверждать, что он властвует над материей. Обнаруживаемая здесь неопределенность охватывает и то, что строится, и того, кто ответствен за неожиданное возникновение новых свойств подручных материалов.

⁵ Этому можно найти множество иллюстраций в (Suchman 1987); (MacKenzie 1990); (McGrew 1992); (Lemonnier 1993); (Bijker 1995); (Petroski 1996).

Абсурдно использовать слово «конструктивизм» без учета этой неопределенности, играющей столь важную роль в процессе строительства.

Второй неудачей конструктивизма является концепция «строительного материала». Если портрет строителя был написан нереалистично, будьте уверены, что и образ материала выйдет довольно бледным. Эти образы тесно связаны между собой, как мы увидим далее. Конструктивистские сценарии предписывают вещам только три роли: роль напористой безудержной слепой силы, роль опоры для прихотливой человеческой изобретательности и роль источника некоторого «сопротивления», оказываемого действиям людей. Первая роль взята из сценария «творения *ex nihilo*», только вывернутого наизнанку: вещи в нем наделяются той же неправдоподобной способностью, которая ранее приписывалась их создателю; они выступают в качестве абсолютной силы, все себе подчиняющей. Вторая роль исключает саму возможность «агентности» вещей — созидающий и абсолютно свободный человеческий разум придает им многообразные формы. Третья концепция вещей отличается от предыдущей лишь добавлением некоторой толики сопротивления, достаточной для того, чтобы преподнести создателю небольшой сюрприз, тогда как сам создатель (непременно «он») остается полновластным хозяином материи. И для завершения этого грустного перечня добавим сюда еще комическую роль вещей-существующих-только-ради-того-чтобы-доказать-что-мы-не-идеалисты. Подобная роль была впервые предписана вещам Кантом, и с тех пор много раз воспроизводилась философами вплоть до Дэвида Блума включительно: вещи существуют, но лишь в жалком образе молчаливых стражей, держащих щит с девизом: «Мы отрицаем, что мы отрицаем существование внешней реальности» (Bloor 1999). Видимо, это единственная роль, которой заслуживают несчастные «вещи в себе».

Всем возмнившим о себе конструктивистам должно быть стыдно: для вещей не нашлось ни одной роли, в которой им отдали бы должное. Первый сценарий представляет материю в образе хозяина и господина, согласно второму, она — просто сырой песок в песочнице, в третьем — ее «сопротивление» служит лишь поводом для демонстрации нашей собственной силы. Но с помощью этих теорий невозможно объяснить даже такие простейшие операции как выпечка кекса, плетение корзины или пришивание пуговицы, не говоря уже о возведении небоскреба, открытии черных дыр или принятии новых законопроектов. Большинство споров по поводу «реализма» и «конструктивизма» напоминают коробку с детскими игрушками, в которую до ровного счета добавляются «чашки», «подставки», «кошки» и «чер-

ные лебеди». Будем серьезны: если слово «конструктивист» вообще что-нибудь означает, то исключительно благодаря отсылке к действующим силам (*agencies*), не ограничивающимся такими глупыми и инфантильными ролями. Конечно, они действуют, упорядочивают и сопротивляются. Конечно, они эластичны. Но интересно не это, а занимаемые ими позиции «посредников» (Latour and Lemonnier 1994).

Парадокс состоит в том, что критики сохраняют только три или четыре пункта в описании тех процессов, для которых у художников, ремесленников, инженеров, архитекторов, домохозяек и даже детей в детских садах имеется богатейший словарный запас. Очевидно, Джанбатиста Вико своими руками не строил, поэтому он верил, что все им сделанное было «полностью известно». Я никогда не встречал ученых за лабораторным столом, довольствующихся выбором между «реализмом» и «конструктивизмом» (исключая, конечно, те эпизоды, когда они участвуют с зажигательными речами в научных войнах). Покажите мне хотя бы одного художника, который смог бы оклеветать свой материал, назвав его «беспределельно эластичной» глиной — так может поступить кто угодно, но не гончар (Geslin 1994). Покажите мне хотя бы одного программиста, считающего, что он полностью владеет программой, которую пишет. Вы видели когда-нибудь повара, который, рассказывая про сырное суфле, определял бы его тончайшую подрумяненную субстанцию с помощью таких понятий, как «эластичность», «сопротивление» и «простое подчинение силам природы»?⁶

«Строительство», «создание», «конструирование», «приложение усилий» — использование этих слов всегда предполагает восприимчивость к требованиям материала, к запросам и принуждениям конфликтующих сил (*agencies*), ни одна из которых в действительности не является полновластной⁷. И уж точно не полновластен создатель (*maker*), которому день и ночь приходится нести ответственность за то, что Этьен Сурио великолепно назвал «ин-ставрацией», «установлением», или «l'œuvrе à faire» (Souriau 1935, 1939).

Можем ли мы объяснить конструирование (неважно, со стороны создателя или со стороны созданного), с помощью теории деятельности, полностью противоречащей всем нашим действиям? Да, мне известен плохой пример, который уже упоминался выше: в «сценарии ех

⁶ Как превосходно показала Bensaude-Vincent (1998), физика поверхности не прожила бы и минуты с таким бедным материалистическим словарем. То же не раз подчеркивал и Гастон Башляр.

⁷ Согласно Jullien (1995) похожие идеи были намного раньше сформулированы в Китае.

nihilo» Создатель, играя с пылью, глиной и дыханием, сотворил явно нечто посредственное. Но не потому, что Он был первым «социальным конструктивистом», изобретающим все, что угодно, по капризу Своего воображения и мы теперь вынуждены следовать его примеру. Может быть, вместе с изгнанием из Эдема мы утратили смысл истории о Создании? Не только должны мы «трудиться в поте лица своего» и «рожать детей в муках», но и обречены на непонимание подлинного значения работы конструирования и создания. «Отныне непонятен тебе смысл Божественных действий». Неужели мы навсегда связаны первородным грехом ошибочной подмены конструктивизма «социальным» конструктивизмом?

**НЕВОЗМОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
«ЧЕМ БОЛЬШЕ КОНСТРУКЦИИ, ТЕМ БОЛЬШЕ РЕАЛЬНОСТИ»**

В Эдем возврата нет. Но что если возможно все же восстановление некоторых потерянных свойств исходной идиомы конструктивизма? Конечно, при условии, что мы сможем избавиться от проклятия, парализующего наши языки всякий раз, когда мы пытаемся заговорить. Для этого мало сделать то, что сделал я — стереть слово «социальный», перераспределив роли действующих сил и добавив некоторую неопределенность идеям создания и создателя. Для спасения конструктивистского способа изъяснения от нас требуется совершить еще более трудный шаг: нужно «вернуться к практике», обеспечив всему вышесказанному практическую применимость, но именно тем способом, которому изощренные версии конструктивизма препятствуют.

Когда архитекторы, каменщики, градостроители или жильцы рассказывают о спроектированных, возведенных, обустроенных или заселенных ими постройках, они всегда говорят об объеме выполненных работ — именно объем работ служит залогом прочности и удобства здания. Для них, таким образом, кропотливая работа и сама постройка, стоящая независимо от своих создателей, суть одно и то же, при условии, конечно, что все сделано добротнo. В их имплицитной бухгалтерии в столбец «кредит» заносится их собственная работа и прочность строения, в столбец «дебет» — все, что было плохо спроектировано, спланировано и построено, и что поэтому является опасным, ненадежным, незаконченным, уродливым и незаселенным. Однако жуликоватые конструктивисты навязывают им книгу записей с совершенно другими подсчетами. В ней все, относящееся к зданию, которое существует независимо от своих создателей, вписано в колонку «кредит», а работа, проделанная для его возведения, — в колонку «дебет». Даже

компания «Enron» и Артур Андерсен не осмелились бы на такую подтасовку. А ведь именно это мы и делаем, когда от языка практического конструирования переходим к языку теоретического конструктивизма. Мы обманываем, лицемерим и ведем двойную бухгалтерию.

Подобная измена конструктивизму как раз и была оспорена исследованиями науки. Говоря языком практикующих исследователей: факты становятся независимыми от действий ученых именно потому, что ученые работают и работают хорошо (Latour 1996). Но как только они оглядываются на уже проделанную работу или попадают под влияние какого-нибудь философа-реалиста, они начинают подделывать свои учетные записи и выводят два разных списка — один для независимой реальности фактов («кредит»), другой — для повседневной, человеческой, социальной и коллективной работы, которую сами же совершили («дебет»)⁸. Глупое занятие, во-первых, потому что слово «факт» еще хранит следы прежней интерпретации, грубо подчищенной — «*les faits sont faits*»; во-вторых, потому что из-за подобной манипуляции ученые теряют свой собственный тяжелый труд, который переходит в дебетовый столбец; и в третьих, потому что они лишают себя возможности подавать на гранты, ведь согласно их подтасованным grossбухам, они станут тем успешнее в достижении истины, чем меньше будут работать, чем меньше будет у них инструментов, коллективов и возможностей для конструирования... Независимая реальность одиноко стоит на одном берегу, а они пребывают на другом, и непроходимая пропасть разделяет их. Но существует еще и «в-четвертых», которое действительно лучше всего раскрывает нелепость такого лицемерия. При двойной бухгалтерии исчезает различие между хорошей и плохой наукой, между хорошо и плохо разработанными экспериментами, хорошо и плохо сфабрикованными фактами,

⁸ Будучи вдохновленным (или, скорее, зараженным) антифетишизмом критической теории, я не заметил этой подмены в «Жизни лаборатории». Я решил, что продукт, изготовленный руками ученых (сфабрикованные факты) становится тем, к чему ни одна рука не прикасалась (невыдуманные факты), и поэтому ученые как заправские фетишисты должны были выворачивать наизнанку причинно-следственные связи, выдавая то, что они сделали, за причину собственных действий. Но они были правы... и я был прав: да, подмена действительно происходила, но она заключалась в отказе от первой системы учета («чем больше работы, тем больше автономии у результата этой работы») в пользу второй («вы должны выбрать между работой и автономией результата»). Однако чтобы обнаружить подмену, мне потребовалось проникнуть в самую суть антифетишизма, который и по сей день остается основным продуктом критической теории.

а также важнейшее для лабораторной работы различие между хорошим и плохим ученым (Stengers 1993, 1997) — то есть исчезает все, что было бы великолепно схвачено в другой системе подсчета.

Если пример с архитекторами показывает, что единственная реальная пропасть разделяет хорошую и плохую конструкцию, а не конструкцию и автономную реальность, то почему не так обстоит дело с учеными и фактами? Из-за двух дополнительных особенностей, которые, кажется, навеки приговаривают конструктивистский дискурс. Когда мы говорим о постройке, которая живет своей собственной жизнью благодаря усилиям, вложенным инженерами, проектировщиками, архитекторами и каменщиками, и именно благодаря тому, что это были правильные усилия, мы не попадаем в метафизическую ловушку: любой согласится, что постройки ранее не существовало, какой бы самостоятельной она теперь не казалась. Пусть дом удачно вписывается в ландшафт и смотрится элегантно, гармонично и естественно, пусть он представляется совершенно «необходимым» для местности и радует глаз, — это совсем другая разновидность необходимости, чем та, которая требуется от фактов. У подобной, необходимости иной источник и основание — на него указывает мраморная или латунная призовая фигурка, которая стоит где-нибудь на стене в мастерской архитектора, наподобие пупочной отметины на животе, смиряющей наши мечты о самосоздании. Именно эта отметина раздражает ученых и философов, когда они видят, что слово «фабрикация» используется по отношению к «фактам» (даже если они прекрасно знают разоблачающую этимологию слова «факт»). Они полагают, что строение всегда стоит прочно и автономно, как будто и не было никаких усилий по определению его места, проектировке его высоты, и, наконец, по его обустройству. Ни идиома конструкции, ни архитектурные метафоры (хотя бы мы и следовали практике реального строительства настоящих зданий самым тщательным образом) ничего не скажут нам о такой высокой степени несомненности, пространственно-временной определенности, безусловной автономии, прочности и долговечности. Ведь конструкция по определению хранит именно те следы, которые можно стереть. Система учета, разводящая хорошую и плохую работу по разным столбцам, годится для архитекторов и инженеров, но кажется неприменимой для описания твердо установленных фактов: автономия и работа выглядят как две противоположности. Значит, конструктивизм умирает?

Вероятно так. В особенности, когда критическая социология желает подлить масла в огонь и упрощает труднейшую из метафизических проблем, задавая тестовый вопрос в конце университетского

курса «101 Континентальная теория»: «Сконструированная реальность — это конструкция или реальность?». Правильный ответ: «И то, и другое». А далее — комментарий с мягкой улыбкой искушенного: «Неужели мы настолько наивны, чтобы выбирать? Разве мы не знаем, что даже безумные идеологии приводят к реальным последствиям, что мы живем в мире собственных конструкций, который не становится от этого менее реальным?»⁹ Как я презираю это скромное «и то, и другое», которое старается по дешевке получить видимость глубокой мысли в подкрепление возвышенного духа критицизма! Какой некритичной выглядит критика, с легкостью принимающая ответ, который должен быть, напротив, источником глубочайшего замешательства. «Мы» никогда не строили мир «наших собственных иллюзий», потому что в «нас» не спрятан совершенно свободный строитель, и потому что не существует материала настолько податливого, чтобы выдержать насилие нашего игривого воображения. «Мы» ни разу не были введены в заблуждение «миром фантазий», потому что не существует силы, способной превратить нас в рабов мечты. Критический дух проигрывает дважды: когда рассматривает нас как конструкторов воображаемого мира и когда говорит о наших конструкциях, обладающих принудительной силой, — ведь и в том, и в другом случае он прибегает к реалистическим определениям «созданного», «сконструированного», «влияющего», «вводящего в заблуждение». Он упрощает именно то, что является самым удивительным в таинстве разделения власти с другими актантами, с иными действующими силами. Критический дух засыпает всякий раз, когда должен бодрствовать — никто никогда не был обманут реальностью мира собственного изготовления. Повторюсь, конструктивизм пал жертвой своих мнимых друзей, которые эксплуатировали разные версии «конструирования собственного мира», что сделало невозможным рассмотрение самого этого конструирования. Такая вера в «наивные верования» — единственно известное мне наивное верование. Сохранить его, невзирая на постоянные опровержения практики, Вы сможете только в том случае, если защитите диссертацию по критической теории.

В итоге складывается довольно печальная ситуация. Не существует, по-видимому, приемлемого способа доказать то, что степень устойчивости, прочности, автономии, самостоятельности и необходимости здания зависит от качества вложенной в него работы. Пусть твердят об этом всевозможные «практические языки» и полевые исследования

⁹ Типичный пример этого можно найти в (Heinich 1993). «Критика» такого критицизма предложена в работе Коха (см. его статью в (Latour and Weibel 2002)).

науки — нам все равно будет предложен выбор: «реальность» или «конструкция». Если же мы осмелимся ответить: «и то, и другое», то позитивное содержание такого ответа все равно примут за слабое, дешевое, равнодушное «и то, и другое» наших злейших врагов, т. е. наших дорогих друзей критических социологов... Если деконструкция — более прожорливая, чем термиты — смогла обратить в прах все конструктивистские претензии на прочность, самостоятельность, долговечность и необходимость, то только из-за хрупкости самого конструктивизма. Получается, что нет средства от термитов, нет такого опрыскивателя, который защитит конструктивизм от уничтожения. Испытание временем выдержит только то, что не было сконструировано.

ШКАЛА КОНСТРУКТИВИЗМА

Может быть, совсем отказаться от слова «конструктивизм»¹⁰? Но кому тогда достанется освободившееся пространство? С одной стороны «натуралистам», с другой — «деконструктивистам». Место под солнцем поделят между собой те, для кого реальность связана с отсутствием создающих усилий, а также те, кто искренне считает: где начинается творческое действие, заканчивается существование, прочность, необходимость и долговечность. Исследованиям науки не останется места. Нелепая система учета сделает практику недоступной для изучения.

По счастью, Ян Хакинг хорошо поработал над прояснением этого запутанного вопроса в своей книге «Социальное конструирование... Чего?» (Hacking 1999). Благодаря его усилиям, я преуспел в составлении перечня возможных значений предложений типа «Х следует рассматривать как конструкт», где на месте Х оказываются «законы природы», «проявления божественного», «технологии», «политические представительства», «институты рынка» и «субъекты». Необходимо, чтобы такие предложения обладали точным значением, поскольку в них упоминаются ингредиенты, посредством которых достигается «определение общего мира», как я называю этот политический процесс¹¹. Можно ли снять проклятие, лежащее на теории деятельности из-за конструктивистских метафор?

¹⁰ И удалить слово «конструирование» из подзаголовка «Жизни лаборатории», после того как мы уже удалили слово «социальное». Правда, я уверен, что тогда и слово «факты» тоже исчезнет.

¹¹ О необходимой связи между конструктивизмом и дипломатией я писал в другой своей работе (2002b), которая дополняет этот текст.

Хакинг понял, почему споры вокруг правильного соединения реальности и конструкции нагнетают столько страстей — по характеру своему они являются политическими. Прикрываясь эпистемологическими проблемами, они на самом деле посвящены вопросам совместного существования. Чтобы систематизировать различные направления «социального конструктивизма» (как я покажу далее, сюда попадает только часть этого семейства), Хакинг вводит измерительную шкалу, градуированную от 0 до 3. «Ноль» означает, что X дан «по природе», «один» — что X может быть чем-то другим, «два» — что X есть нечто плохое, и «три» — что X необходимо изменить (Hacking 1999: 6). Согласно этой шкале, «социальных конструктивистов» можно проранжировать: от самых безобидных («вещи не всегда были такими, как сейчас, они имеют историю») до самых радикальных («вещи следует изменить»). Все эти виды противоположны степени -1 , которую Хакинг подразумевает, хотя и не определяет: X есть то, что X есть, и точка.

Несмотря на важный шаг в раскрытии политической подоплеки спора о конструкции и реальности, Хакинг предлагает слишком асимметричный градиент. Он замечательно упорядочивает различные типы «социальных конструктивистов», но ничего не говорит о политических пристрастиях так называемых натуралистов, взгляды которых соответствуют степени -1 : мол, X есть неизменное свойство самой природы. Чтобы схема Хакинга работала лучше, в нее, по всей видимости, следует добавить действия тех, кто для определения «общего мира» прибегает к абсолютной необходимости природы — все уже создано и поэтому находится вне политического процесса. Теперь и конструктивисты, и реалисты заняты в «политической эпистемологии», как я называю арену, на которой представлены (во всех значениях этого слова) различные кандидаты (как люди, так и нечеловеки), соревнующиеся за право населять наш общий мир. Но не думайте, что это борьба между теми, кто выступает против политизации природы и радикалами, готовыми в собственных целях политизировать что угодно, включая факты природы. Происходящие на этой политической арене процессы состоят в обнародовании различными фракциями, партиями и коалициями своих программ по определению того, что спорно и бесспорно, случайно и необходимо, неизменно и должно быть исправлено. Если прибегнуть к традиционным метафорам, то политическая эпистемология — это не пародия на хорошую эпистемологию или хорошую политику, а необходимое поле деятельности для тех, кто готовит «Конституцию» и распределяет «действующие силы» по отраслям обширного «государства вещей», стремясь к наилучшему соотношению «сдержек и противовесов» (Latour 1999b).

Теперь, когда мы исправили асимметрию Хакинга и признали эту общую арену, мы можем на некоторое время отвлечься от имен соперничающих партий, будь то реалисты, натуралисты, конструктивисты, деконструктивисты и т. д. Давайте лучше посмотрим на список обязательств, которые они хотят получить от граждан общего мира (правда, разными способами). Мне представляется, что этот список позволит добиться более полной и ясной классификации семейства социальных конструктивистов, чем предложенный Хакингом. Мой перечень относится к его «точкам преткновения», но открывает иные дипломатические перспективы.

Обязательство первое. Обсуждение *X* должно прекратиться раз и навсегда. Только так мы избавимся от бесконечных споров, дебатов, ненужных сомнений и непомерной деконструкции. Обсуждать реальность запрещено, ее можно использовать только в качестве абсолютной предпосылки всех прочих доводов. Вот единственный способ защитить прочные и неизменные факты, на которых мы основываемся. Если задействовать этот рычаг, любая дискуссия станет невозможной (Hacking 1999: 84). Партия «конструктивистов» пренебрегает таким важным обязательством? Тогда не удивительно, что другие фракции «объявляют ей войну» и стараются изгнать ее из любого «парламента» (Stengers 1998). Теперь понятно, в чем состояло недоразумение предыдущих споров по поводу «социальной конструкции» — это обязательство было проигнорировано или, скорее, перепутано с другим, столь же важным, о котором речь далее.

Обязательство второе. Несмотря на предыдущее требование поддерживать бесспорный авторитет реальности, нужно сохранить возможность обжалования и пересмотра разных пунктов, чтобы новые претенденты, не включенные в ранее установленный миропорядок, могли рассчитывать на то, что их голоса тоже будут услышаны («голоса», конечно, принадлежат не только людям). Именно этого требуют массы конструктивистов (описанные Хакингом), когда нападают на «природную», не обсуждаемую, само собой разумеющуюся необходимость, выраженную нулевой отметкой по шкале Хакинга. Лишь то, что было создано, может быть переделано и разобрано. Если же любой пересмотр исключен, и мы просто поставлены перед лицом непреложной неизменной реальности, то важнейшее обязательство находится в опасности, и значит, снова «война». Новых кандидатов не пустят и на порог общего мира. Партия, которую мы называли «партией натуралистов», хочет запретить любые дискуссии и исправления, апеллируя к состоянию природы, чтобы во имя «закона и порядка» ликвидировать нормальный политический процесс.

Поэтому неудивительно, что другие фракции постараются выгнать ее из парламента.

Сдержки и противовесы политической эпистемологии требуют обоих обязательств, поскольку без них невозможен процесс обсуждения. Но споры не ограничиваются обсуждением этих двух пунктов.

Обязательство третье. Общий мир создается постепенно, а не задан раз и навсегда. Происходит совершенная путаница, когда это обязательство выдают за доводы в защиту контингентности против необходимости. В данном пункте Хакинг попадает в ловушку («точка преткновения» № 1). Он считает, что сконструированный характер фактов доказывается посредством демонстрации их контингентного характера, их возможности предстать другими, т. е. через отсутствие необходимости быть такими, какими они являются¹². Поэтому, согласно Хакингу, опровержение конструктивистской точки зрения состоит в том, чтобы показать: напротив, существует только одна возможность для X быть X. Здесь обнаруживается глубочайшее непонимание тех доводов, которые выдвигают исследования науки, в особенности, в связи с историей науки. Они отнюдь не стремятся показать, что могли бы существовать альтернативные физика, химия или генетика. Они говорят о невозможности монолитного мира¹³. Унифицированный мир — дело будущего, а не прошлого. Мы пока еще живем в том мире, который Джеймс назвал «плюриверсум», и все те ученые, философы и разномастные активисты, которые хотят сделать этот мир единым, рискуют потерпеть неудачу. Опасность, контингентность, неопределенность указывают не на результат (каковой сам может быть Необходимостью), но на процесс, в ходе которого «этот» мир постепенно становится одним и тем же разделяемым всеми миром. Оппозиция образована не контингентностью и необходимостью, а теми, кто хочет раз и навсегда упорядочить мир под предлогом того, что он — уже «един» (вычитая

¹² В исследованиях науки и техники ту же роль играет старое доброе понятие «интерпретирующей гибкости», или «эластичности», как будто эластичность и податливость — это только два состояния вещества, заслуживающие упоминания.

¹³ Хакинг в своей превосходной последней седьмой главе о доломите показывает, что даже в таком простейшем случае, как изучение камней (Стивен Вайнберг был единственным, кому захотелось ударить по камню ногой, чтобы доказать, что он «там»!) «единообразие мира» есть вещь недостижимая, по причине мультиреализма, к которому приводит любое исследование. Автор, кажется, не видит, что эта глава заставляет усомниться в его предшествующем анализе «точек преткновения». Мой список обязательств — это просто попытка раскрыть больше достоинств его эмпирической стратегии, чем он сам смог сделать.

из этой суммы все, что не вписывается в их представления о единстве мира), и теми, кто готов работать над постепенным собиранием общего мира, потому что для них в мире нет ничего «лишнего».

Обязательство четвертое. Люди и нечеловеки связаны историей, что делает их разделение невозможным. Это требование конструктивистской программы остается совершенно непонятным, если выдать его за спор между реализмом и номинализмом (хакинговская «точка преткновения» № 2, см. (Hacking 1999: 80)). Слова и миры не представляют собой два изваяния, стоящие друг напротив друга и символизирующие территории двух государств, только одному из которых следует присягнуть на верность. Слова и миры обозначают, скорее, возможные и не очень интересные пределы, итоги сложнейших практических усилий, инструментальных посредничеств, форм жизни, интересов и участия, благодаря которым создаются новые сообщества-ассоциации. Заявить о необходимости выбора между утверждениями и реальностью, равносильно тому, чтобы противопоставить один берег реки другому, не замечая широкого быстрого потока, протекающего между ними. Философия, которая только регистрирует выбор между реализмом и номинализмом, ничего не говорит о нашей обычной практике отношений с вещами. Она занята политическим упорядочиванием, предполагающим разделение людей и не-человеков (de Libera 1996). Но как только политический порядок модифицирован (что и показали исследования науки), не остается никаких оснований для сегрегации слов и миров, природы и культуры, фактов и представлений. Наоборот, мы убеждаемся в отсутствии такой сегрегации.

Обязательство пятое. Институты, обеспечивающие нормальный переговорный процесс, должны точно определять качество «правильного общего мира», на страже которого они стоят. Как я уже говорил выше, самым существенным в конструктивизме является возможность различения между хорошей и плохой конструкцией (а не абсурдный выбор между сконструированным и несконструированным). Философская традиция провела разделительную черту между моральным вопросом «жизненного блага» и эпистемологическим вопросом «общего мира». Но стоит только практическому дискурсу выйти на первый план, и мы сразу же увидим, что два вопроса соединились в один: какой общий мир является наилучшим и наиболее подходящим для совместного проживания¹⁴? Теперь слово композиция («собрание» об-

¹⁴ Отметки «2» и «3» на измерительной шкале Хакинга подразумевают именно это, переводя «контингентный характер» X (отметка «1») на уровень «X есть нечто плохое» и, далее, на уровень «от X следует отказаться». Но здесь не признают-

щего мира) обретает смысл, который, начиная с греков, выражается словом «космос» (чему противоположно — «какосмос»)¹⁵. Поиск всеобщего мира даже не начнется, если нам навяжут оппозицию между «не-созданным», всегда уже существующим, одним единственным лишенным ценностей миром, с одной стороны, и «создаваемой» мешаниной противоречивых социальных или субъективных ценностей и требований, с другой. Простого «существования», очевидно, недостаточно для реальности (*matters of fact*), которую усваивают, присоединяют, связывают и совмещают с разного рода претензиями и интересами. Она должна стать композицией, обстоятельствами (*states of affairs*)¹⁶.

Идея моего (весьма приблизительного) перечня состоит в том, что теперь мы можем сравнить программы на политической арене и посмотреть, к чему они приведут — к усилению или, напротив, ослаблению пяти перечисленных гарантийных обязательств. Я считаю, что этот список дает нам гораздо более эффективный инструмент классификации, чем система баллов, изобретенная Хакингом (*Hacking 1999: 199*)¹⁷. Поскольку у нас нет лучшего термина (я бы предложил «композиционизм», но он без родословной), давайте оставим слово «конструктивизм» для партий, которые выполняют обязательства и назовем «натуралистами» или «деконструктивистами» тех, кто не в состоянии платить по счетам. «Натуралисты» настаивают только на первой гарантии и не заботятся об остальных. «Партия деконструкции» старается сохранить второй и пятый пункт, но пренебрегает прочими. Я готов полностью отказаться от слова «конструктивизм», при условии, что найдется другое, способное определить тот конституционный порядок, о котором я говорил с помощью конструктивистской метафоры. Любой термин хорош, если он позволяет охарактеризо-

ся ни третье, ни четвертое обстоятельство, потому что мир, который настанет после «революции», будет точно таким же монолитным и закрытым для обсуждения, как тот, который революционеры хотят изменить.

¹⁵ Это условия, которые позволяют вместо различения между фактом и ценностью, поставить следующие два вопроса: какие сущности нам следует принять во внимание? Как они могут быть связаны воедино? (*Latour 1999b*).

¹⁶ Чтобы выявить разницу между двумя традициями эмпиризма и двумя соответствующими уровнями политической эпистемологии, я постарался уловить техническое значение английского различения между «*matters of facts*» и «*states of affairs*».

¹⁷ самого себя я бы не смог «подсчитать», руководствуясь шкалой Хакинга, несмотря на то, что являюсь одним из «подопытных кроликов» его книги. На мой взгляд, даже его собственная глава о доломитах не поддается учету в данной системе.

вать то, что а) не всегда нас окружало; b) скромного происхождения; c) составлено из разнородных частей; d) не является полностью подконтрольным изготовителю; e) могло не возникнуть; f) преподносит сюрпризы, а также налагает обязательства; g) нуждается в защите и поддержке, чтобы существовать. Я признаю, слишком много определений для одного маленького слова, да еще такого, которое оканчивается убийственным суффиксом «изм».

ЕСЛИ БЫ ТОЛЬКО КОНСТРУКТИВИЗМ И ДЕКОНСТРУКЦИЯ МОГЛИ РАЗОЙТИСЬ

Почему мое решение, скорее всего, окажется неудачным? Отнюдь не потому, что слово «конструктивизм» — это красная тряпка для участников «научных войн» (я все еще надеюсь, что их можно успокоить)¹⁸. Это слово связано с деконструкцией, вот что представляет гораздо большую опасность¹⁹. Приставка «де» как будто должна указать на противоположное направление, но этого явно недостаточно для критического духа, который тут же поднимает ироничную голову и, ликуя, говорит: «Если X — это конструкция, то мы легко можем „деконструировать“ ее в пыль». Отношение «конструкции» к «деконструкции» выглядит столь же необходимым, как экологическое отношение добычи к хищнику. Произнесите слово «конструкция», и вместо того, чтобы подумать, какие имеются средства и ресурсы для сохранения или реставрации постройки, Злой Волчище сразу зачавкает деконструктивистской пастью в страстном предвкушении. Дело в том, что сторонники критицизма разделяют со своими жестокими врагами, фундаменталистами, как минимум одну общую предпосылку: они тоже полагают, что если нечто создано, это само по себе является доказательством такой его неполноценности, что его следует деконструировать до тех пор, пока не будет достигнут угодный им идеал, — а именно то, к чему вообще не приложены человеческие руки²⁰.

Деконструктивизм выбирает извилистый путь, чтобы обогнуть те

¹⁸ Я, во всяком случае, попытался сделать это в работе (Latour 1999b).

¹⁹ Интересно отметить, что среди архитекторов есть только один явный деконструктивист — и даже дерридианец — Даниэль Либерскинд. Но даже беглого визита в построенный им клаустрогенный, волнующий и величественный еврейский музей в Берлине достаточно, чтобы понять, что он тоже конструктивист и притом мастер своего дела.

²⁰ Об этой мечте см. работы Галисона, Кернера и Мондзайна в (Latour and Weibel 2002).

вершины, которые конструктивизм или композиционизм, стремятся покорить — пусть и ценой «петляния» по склонам. Не странно ли, что такие разные по своим целям способы движения путают друг с другом? Правда, с большого расстояния они выглядят одинаково, поскольку сильно отклоняются от прямого пути, о котором грезят фундаменталисты. Они оба настаивают на неизбежных посреднических искажениях, т. е. на тех властных арбитрах, которые закрывают прямой доступ к объективности, истине, морали, священному или прекрасному. Но этим сходство исчерпывается. Деконструкция зигзагами сползает вниз, чтобы избежать опасности Присутствия. Композиционизм, петляя, идет в гору, стараясь ухватить столько Присутствия, сколько возможно. Деконструкция ведет себя так, как будто для слов не существует страшнее опасности, чем нести слишком много значений. Композиционизм, напротив, пытается выжать как можно больше реальности из хранящих ее ломких и хрупких посредников. Путь деконструкции извилист, потому что она все время отсрочивает произнесение слов, композиционизм хочет быть честным и петляет, чтобы обойти только самые неприступные кручи на пути вверх. Один убегает от Божественного лика, и желал бы его стереть, другой знает, что лика «самого по себе» не существует, а потому стирать нечего: лик должен быть написан и переписан во многих неподражательных вос-произведениях и представлениях (см. работу Кернера (Koerner 2002)).

Деконструктивисты ведут себя наподобие прославленных французских генералов, которые всегда отставали на одну войну: они еще бьются с наивностью, непосредственностью, «естественностью», как будто задача интеллигенции по-прежнему состоит в освобождении народа от избытка веры. Они так и не поняли, что критический дух давно умер от передозировки неверия. Так же как миниатюризация компьютеров сделала их общедоступными, массовое производство уменьшенных «моделей» критического духа удешевило сомнение настолько, что теперь любой может с легкостью сомневаться в самой сильной и крепкой достоверности, без усилий «деконструировать» самые прочные и высокие здания. Почему деконструктивисты никак не поймут, что «наивная вера в авторитеты» уже сменилась столь же массовой «теорией заговора», и этот общедоступный и дешевый ревизионизм вызывает мутации критического духа, который обращается в свою противоположность — «наивное неверие в авторитеты», или «критическое варварство»²¹. Композиционисты, напротив, рабо-

²¹ Я думаю, не случайно на Всемирный торговый центр обрушились два критических варварства, — одно вслед за другим. Первое развалило его до основания,

тают не над разоблачением веры, а над кропотливым производством доверия. Они считают, что наивность не представляет ужасного греха, но является утраченной живительной добродетелью, которая должна быть обретена вновь, в муках. Они не хватаются за пистолет, слышав слово «достоверность», потому что знают, каких трудов стоит произвести даже малую толику этого драгоценного продукта.

Можно ли убедить критическое сознание в том, что конструктивизм означает лишь медленное и постепенное достижение объективности, моральных норм, гражданского мира, благочестия, и потому все едва различимые посредники практик должны быть заботливо собраны и сохранены (а не развенчаны и уничтожены)? Боюсь, потребовались бы такие глубокие сдвиги в нашей интеллектуальной экологии, что их трудно себе вообразить²². Тем не менее, эта перемена необходима, если мы решимся на следующий, еще более трудный шаг — убедить фундаменталистов, что конструктивистская идиома может предоставить им прочную и долговременную гарантию спасения ценностей, за которые они столь поспешно готовы умереть. Сколько еще времени должно пройти, чтобы слово «конструкция» перестало звучать как медицинский приговор или признание слабости — приманки для деконструктивистов? Сколько еще будет звучать в этом слове воинственный клич, призыв к оружию, а не мольба о приумножении заботы и внимания, не вопрос: «Как лучше построить?»

В заключение — шутка в духе рейтингов Яна Хакинга. Я предлагаю следующий тест.

Когда вы слышите, что нечто дорогое для вас назвали «конструкцией», вашей первой реакцией будет (отметьте подходящий вариант ответа):

- а) схватиться за пистолет;
- б) замахнуться кувалдой;
- в) возвести строительные леса.

а второе добавило к ущербу еще и оскорбление, — утверждая, что это было дело рук самих жертв, которым помогали ЦРУ и Моссад... Честь вбить последний гвоздь в гроб критицизма принадлежит Бодрийяру: не хотел ли он сказать, что Башни, эти «образы саморазрушающегося капитализма» (выражение г-на Бен-Ладена), сами себя разрушили, привлекая летящие самолеты, чтобы совершить суицид? (Baudrillard 2002). Можно только надеяться, что такой широкий жест, такое предельное само-разрушение нигилистической мысли о нигилистическом акте само-разрушения, станет последним вздохом критического варварства... Но, увы, история показывает, что нигилизм не имеет дна.

²² Выставка «Iconoclash» была, на мой взгляд, такой попыткой локальной экологической перепланировки в садах, где произрастают наши предрассудки.

Ответ. Если вы отметили «а», то вы — фундаменталист и готовы уничтожить любого, призывающего к разрушению, устоять перед которым может лишь то, что не создано руками человека. Если вы отметили «б», тогда вы деконструктивист, полагающий, что «конструкция» доказывает слабость постройки и, следовательно, ее нужно превратить в руины, дабы расчистить путь для лучшей и более прочной структуры, не тронутой человеческими руками. Если вы отметили «в», тогда вы конструктивист, или, скорее, композиционист, посвятивший себя именно сохранению и поддержанию хрупких жилищ.

Если же вы отметили все три пункта, тогда вы безнадежно сбиты с толку...

Перевод с английского Ольги Столяровой

ЛИТЕРАТУРА

- Baudrillard, J. (2002). *L'esprit du terrorisme*. Paris: Galelée.
- Bensaude-Vincent, B. (1998). *Eloge du mixte. Matériaux nouveaux et philosophie ancienne*. Paris: Hachette Littératures.
- Bijker, W. (1995). *Of Bicycles, and Bulbs: Toward a Theory of Sociotechnical Change*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Bloor, D. (1999). «Anti-Latour» in *Studies in History and Philosophy of Science* 30, no. 1: 81–112.
- Bourdieu, P. (1986). «La Force du droit». *Actes de la recherché en sciences sociales* 64: 3–19.
- De Libera, A. (1996). *La querelle des universaux. De Platon à la fin du Moyen Age*. Paris: Le Seuil.
- Favereau, O. (2001). «L'Économie du sociologue ou penser (l'orthodoxie) à partir de Pierre Bourdieu». In *Le travail sociologique de Pierre Bourdieu. Dettes et critiques. Edition revue et augmentée*, edited by Bernard Lahire. Paris: La Découverte.
- Galison, P. (2002). «Images Scatter into Data, Data Gathers into Images». In B. Latour, and P. Weibel (Eds). *Iconoclash. Beyond the Image Wars in Science, Religion and Art*. Cambridge, Mass, MIT Press pp. 524–537
- Geslin, P. (1994). «Les salins du Bénin et de Guinée, ou comment l'ergonomie et l'ethnologie peuvent saisir le transfert de techniques et de sociétés». In *De la préhistoire aux missiles balistiques – l'intelligence sociale des techniques*, edited by Bruno Latour and Pierre Lemonnier. Paris: La Découverte.
- Hacking, I. (1999). *The Social Construction of What?* Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Haraway, D. (1999). *Gender, Race, and Nature in the World of Modern Science*. London: Routledge and Kegan Paul.

- Heinich, N. (1993). «Les objets-personnes. Fétiches, reliques et oeuvres d'art». *Sociologie de l'art* 6: 25-56.
- Jullien, F. (1995). *The Propensity of Things: Toward a History of Efficacy in China*. Cambridge: Zone Books.
- Jullien, F. (1997). *Traité de l'efficacité*. Paris: Grasset.
- Koch, R. (2002). «The Critical Gesture in Philosophy» In *Iconoclash: Beyond the Image Wars in Science, Religion and Art*, edited by Bruno Latour and Peter Weibel. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Koerner, J. (2002). «The Icon as Iconoclash». In B. Latour, and P. Weibel (Eds). *Iconoclash. Beyond the Image Wars in Science, Religion and Art*. Cambridge, Mass, MIT Press. pp. 164-214.
- Knorr-Cetina, K. (1999). *Epistemic Cultures: How the Sciences Make Knowledge*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Koolhaas, R., and Mau, B. (1995). *Small, Medium, Large, Extra-Large*. Rotterdam: Office for Metropolitan Architecture.
- Latour, B., and Lemonnier, P. (Eds.) (1994). *De la préhistoire aux missiles balistiques—l'intelligence sociale des techniques*. Paris: La Découverte.
- Latour, B. (1996). *Petite réflexion sur le culte moderne des dieux Faitiches*. Paris: Les Empêcheurs de penser en rond.
- Latour, B. (1999a). *Pandora's Hope: Essays on the Reality of Science Studies*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Latour, B. (1999b). *Politiques de la nature. Comment faire entrer les sciences en démocratie*. Paris: La Découverte.
- Latour, B. (2002a). «Gabriel Tarde and the End of the Social». In *The Social in Question: New Bearings in History and the Social Sciences*, edited by Patrick Joyce. London: Routledge.
- Latour, B. (2002b). *War of the Worlds: What about Peace?* Chicago: Prickly Press Pamphlet.
- Lemonnier, P. (Ed.). (1993). *Technological Choices: Transformation in Material Cultures since the Neolithic*. London: Routledge.
- MacKenzie, D. (1990). *Inventing Accuracy: A Historical Sociology of Nuclear Missile Guidance*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- McGrew, W. (1992). *Chimpanzee Material Culture: Implications for Human Evolution*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mondzain, M-J. (2002). «The Holy Shroud: How Invisible Hands Weave the Undecidable» In B. Latour, and P. Weibel (Eds). *Iconoclash. Beyond the Image Wars in Science, Religion and Art*. Cambridge, Mass, MIT Press.
- Petroski, H. (1996). *Inventing by Design: How Engineers Get from Thought to Thing*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Pickering, A. (1995). *The Mangle of Practice: Time, Agency and Science*. Chicago: University of Chicago Press.

- Rheinberger, H-J. (1997). *Toward a History of Epistemic Things: Synthetizing Proteins in the Test Tube*. Stanford, Calif.: Stanford University Press.
- Souriau, É. (1935). «L'oeuvre à faire». Paris: Félix Alcan.
- Souriau, É.. (1939). *L'instauration philosophique*. Paris: Félix Alcan.
- Stengers, I. (1993). *L'invention des sciences modernes*. Paris: La Découverte.
- Stengers, I. (1997). *Power and Invention*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Stengers, I. (1998). «La guerre des sciences: et la paix?» In *Impostures scientifiques. Les malentendus de l'affaire Sokal*, edited by Baudouin Jurdant. Paris: La Découverte.
- Suchman, L. (1987). *Plans and Situated Actions: The Problem of the Human Mashine*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tarde, G. (1999). *Monadologie et sociologie*. Paris: Les empêcheurs de penser en rond.
- Yaneva, A. (2002). «Scaling Up and Down: Models and Publics in Architecture – Case Study of Extensions of Whitney Museum for American Art». Paper presented at the seminar of Max-Planck Institute for the History of Science in Berlin, Department II.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

БРЮГГЕР УРС — специалист по финансовым рынкам, практикующий трейдер.

ГОФМАН ИРВИНГ — один из основателей современной социологии повседневности, автор теорий социальной драматургии и фрейм-анализа. В разные годы был профессором Калифорнийского университета (Беркли, 1958–1968) и университета Пенсильвании (Филадельфия, 1968–1982).

ЗИММЕЛЬ ГЕОРГ — немецкий философ и социолог-классик, создатель «формальной социологии», автор одного из первых неокантианских проектов в классической социальной теории.

КНОРР-ЦЕТИНА КАРИН — специалист в области социологии знания, один из наиболее ярких представителей «поворота к материальному» в современной социальной теории. Долгое время преподавала в Билефельдском университете (Германия), в данный момент — профессор Университета Констанца в Южной Германии, а также профессор социологии и антропологии в Чикагском университете.

КОПЫТОФФ ИГОРЬ — специалист по культурной антропологии, профессор университета Пенсильвании (США), автор ряда известных антропологических исследований в Конго, Камеруне и Кот-д'Ивуар.

ЛАТУР БРЮНО — специалист по философии науки и социологии техники, один из создателей акторно-сетевой теории (Actor-Network Theory, ANT) и родоначальников «поворота к материальному» в современной социальной теории. В настоящее время — профессор Парижской горной школы.

ЛО ДЖОН — исследователь, специалист по социологии науки и техники, один из создателей акторно-сетевой теории и представитель «поворота к материальному», автор ряда социологических исследований авиационной промышленности, медицинских технологий, техник навигации и пр. Профессор Ланкастерского университета (Великобритания).

Питц Уильям — специалист по истории права, юрист, независимый исследователь, преподаватель Университета Дюк (США). В недавнем прошлом — один из лидеров Американской партии «Зеленых».

ХАРРЕ РОМ — специалист по философии науки, социальной психологии, дискурс-анализу. Почетный профессор Линакер-Колледжа (Оксфорд, Великобритания), профессор психологии Джорджтаунского университета и адъюнкт-профессор философии Американского университета (Вашингтон, США). Среди опубликованных им работ — исследования по философии естественных наук, такие как «Разновидности реализма» (*Varieties of Realism*) и «Великие научные эксперименты» (*Great Scientific Experiments*). Он был в числе пионеров «дискурсивного» подхода в гуманитарных науках. В работе «Социальное бытие, персональное бытие и физическое бытие» (*Social Being, Personal Being and Physical Being*) он исследовал роль правил и условностей в различных аспектах человеческого познания, а в работе «Местоимения и люди» (*Pronouns and People*), — написана в соавторстве с Петером Мюльхаузлером — и в работе «Единственное Я» (*The Singular Self*) он развивает тезис о существовании тесной взаимосвязи между грамматикой и самовосприятием.

Социология вещей
Сборник статей под редакцией В. Вахштайна

Корректор *Е. Попова*
Оформление серии *В. Коршунов*
Верстка *С. Зиновьев*

Формат 70 × 100 ¹/₁₆. Бумага офсетная. Печать офсетная
Гарнитура ГТС New Baskerville. Усл. печ. л. 31,6. Уч.-изд. л. 21.
Тираж 1100 экз. Заказ №

Издательский дом «Территория будущего»
125009, Москва, ул. Б. Дмитровка, 7/5, стр. 2

Отпечатано в ГУП ППП «Типография „Наука“»
121099 Москва, Шубинский пер., 6